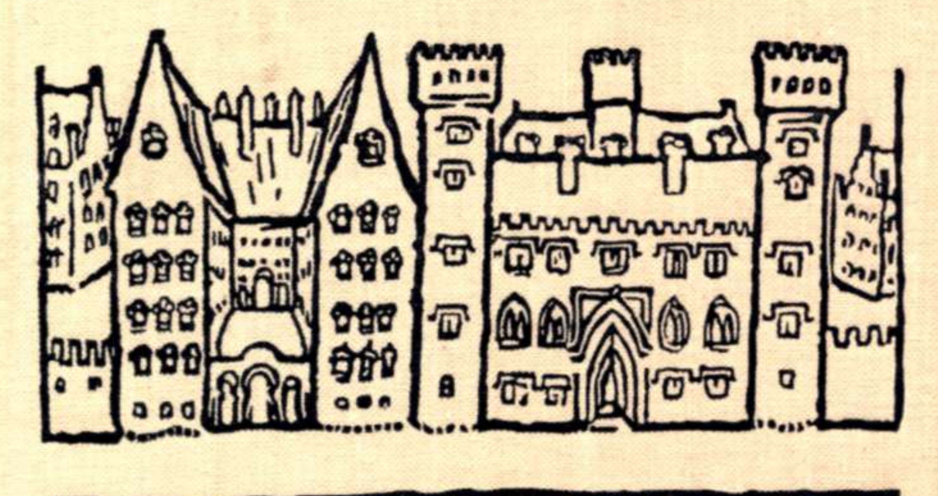
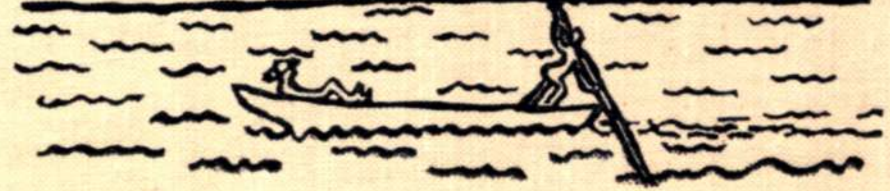
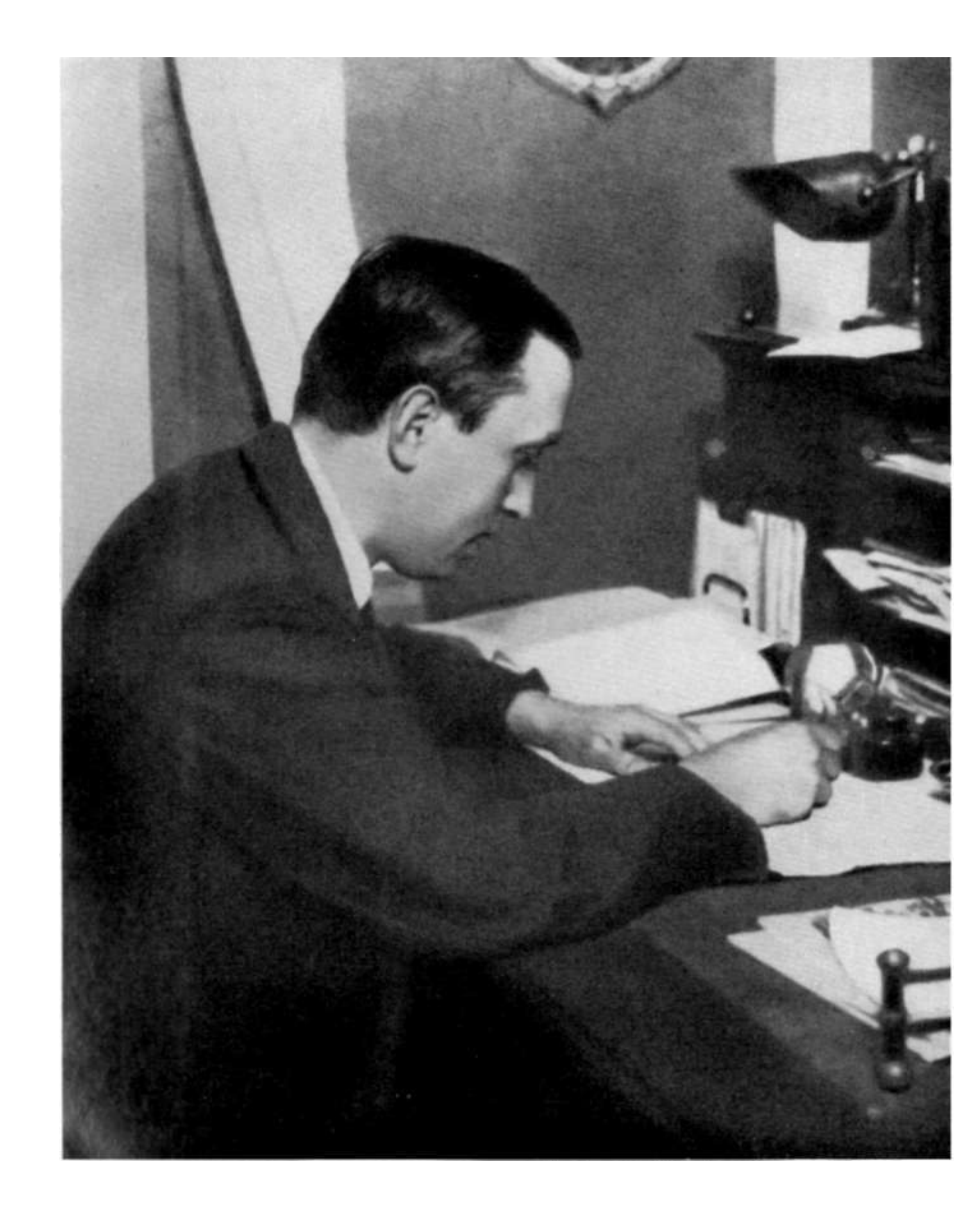
Карел Чапек





МОСКВА «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА» 1976

Карел Чапек

Собрание сочинений
в семи томах

С иллюстрациями
Карела и Иозефа Чапеков

Москва, «Художественная литература, 1976

Карел Чапек

Собрание сочинений

Том пятый

Путевые очерки

Перевод с чешского

Москва, «Художественная литература, 1976

И (Чехосл)
Ч19

Комментарии
И. Бернштейн

Оформление художников
В. Шумилиной и Л. Рабичева

Ч $\frac{70304-085}{028(01)-76}$ подписное

Письма из Италии

Очерки

Перевод
Н. АРОСЕВОЙ


KAREL
ČAPEK
ITALSKÉ
LISTY

Вместо введения

Накануне моего отъезда добрые друзья прислали мне внушительные тома по истории Италии, о древнем Риме, об искусстве как таковом и прочих вещах, настоятельно советуя все перечитать. К несчастью, я этого не сделал, и вот вам результат моей небрежности: сия книга.

Обычно человек делает вовсе не то, что хочет. Я, например, вообще не собирался путешествовать, а странствовал как одержимый, с помощью всевозможных средств передвижения, а по большей части — пешком, и когда добрался до берега Африканского моря, вознамерился было отправиться даже в Африку; я ничего не хотел писать, но вот написал целую книжку, да еще сочиняю к ней предисловие, в котором мне хотелось бы быстренько перечислить все то, о чем я, к сожалению, забыл в самой книге, — например, о флорентийском зодчестве, о различных сортах вина, а также о разнообразных способах подвязывания виноградной лозы, затем особенно — об орвиетском вине, о Тинторетто, о предместьях, которые я, из особого интереса к ним, облазил везде, где бы ни был, о храмах в Паэста, похожих издали на сушилки, — только вблизи различаешь их дорический стиль, — о прекрасных римлянках, чей стан столь же мощен и толст, как ствол дорической колонны, о соловьях в Фара Сабина, об особенностях ослиного рева, о дверях работы Бонанно и Барисано в Монреале и о великом множестве других вещей и явлений; но теперь вспоминать уже поздно.

Итак, я путешествовал не только не вооруженный всеми полезными знаниями, но и вовсе без плана; пальцем по карте намечал я свой путь, нередко соблазненный красивым названием или тем обстоятельством, что поезд отправлялся туда только в десять утра, так что мне не надо было рано вставать; однако, поскольку, по Гегелю, в коловращении мира осуществляется Абсолютный Разум, все эти случайности и прихоти удивительным образом приводили меня почти во все те места благословенной Италии, которые «надо видеть».

Правда, на земле нашей надо видеть все; все стоит того, чтобы посмотреть, — любая улица, любой человек, любой предмет, ничтожный или значительный. Нет в мире такого, что не заслуживало бы интереса и желания увидеть. Я с удовольствием бродил по местам, которым Бедекер не уделяет ровно никакого внимания, и не жалел ни об одном своем шаге, и совал свой нос всюду, куда только можно было, даже в прихожие добрых людей; иной раз смотрел я на знаменитейшие памятники старины, иной раз — просто на детей, на старых бабушек, на человечье горе и радость, на животных, а то и заглядывал прямо в окна жилищ. Но когда я принялся описывать все, что видел, мне стало как-то неудобно рассказывать о столь незначительных вещах, — а может быть, я поступил так из тщеславия или из-за какого-то личного недостатка, — но, одним словом, я в конце концов писал, пожалуй, по большей части именно о всяких прославленных памятниках. А посему прежде всего я начинаю с

предостережения

всем, кто будет читать эту книжку: пусть они не считают ее ни путеводителем, ни путевым очерком, ни своего рода чичероне, пусть считают ее чем угодно, только не этим. И пусть они, когда сами поедут куда-нибудь, полагаются, помимо расписания поездов, исключительно на особую милость судьбы, направляющую всех путников, ибо она покажет им больше, чем вообще можно описать или рассказать.

Венеция

I

Если то, что воспоследует, окажется несколько сумбурным и неупорядоченным, я не виноват; ибо у меня у самого все еще не улеглось как следует. Виденного набралось слишком много; я приведу все это в порядок после, причем самым простым образом: забуду. Теперь же я могу лишь с грехом пополам распределить свои впечатления по двум полочкам, под двумя обобщающими заголовками: что мне нравилось и что — нет.

I. *Что мне не понравилось?* 1. Чехословакия, потому что пограничные чинуши отобрали у меня аккредитив

на итальянский банк и любезно предоставили решать — возвращаться мне домой или ехать в Италию без денег. Я человек упрямый: поехал на авось, без аккредитива, проклиная республику, старую Австро-Венгрию и выбритого господина из пограничной таможни. 2. Не понравилась Вена, ибо платить за ужин, скажем, тридцать тысяч — математически дурацкое ощущение; в остальном — это мертвый город, и народ его какой-то удрученный. 3. Устрашающее количество туристов здесь, в Венеции. Немцы в большинстве своем носят рюкзаки или лоденовые костюмы, англичане — фотоаппараты, американцев все узнают по широким плечам, а чехов — по тому, что они смахивают на немцев и разговаривают слишком громко, — видимо, на родине у нас воздух более разрежен. 4. Собор св. Марка. Это не архитектура, это — оркестрион; смотришь — и начинаешь искать щелочку, куда бы бросить монетку, чтобы машина заиграла «О Венеция!». Щелочки я не нашел, вследствие чего оркестрион не играл. 5. Молодожены вообще, без указания причины. 6. Венецианки, потому что все они — русские. Одна, черная, как дьявол, со змеиными глазами, в традиционной шали с аршинной бахромой и с гребнем в прическе, — подлинный венецианский тип, на которую я вытаращил восхищенные глаза, — сказала вдруг своему кавалеру: *«Да, да, ясный мой»,* — на чистейшем русском языке; и я стал беднее на одну иллюзию. Я мог бы насчитать еще по меньшей мере дюжину вещей, которые мне не понравились, но спешу, окрыленный радостью, к тому,

II. *что мне понравилось.* 1. Прежде всего и, пожалуй, больше всего — спальный вагон, превосходный механизм для спанья, со множеством красивых медных рычажков, кнопочек, выключателей, ручек и прочих аппаратов. Стоит только нажать или потянуть — и тотчас перед вами откроется какой-нибудь спальный комфорт, какое-нибудь изобретение или устройство. Всю ночь я развлекался тем, что нажимал и дергал все вокруг себя; иногда, правда, — например, если я брался за вешалки, — усилия мои оставались втуне, видимо, вследствие моей неловкости. А быть может, с помощью этих вещей вызываются райские сновидения или еще что-нибудь. 2. Итальянские полицейские от самой границы. Они ходят парами, на фалдах их мундиров вышиты горящие бомбы, а на головах они носят этакие кораблики, какие встарь н*а*шивали учителя гимназии, только надевают они их поперек. Полицейские

чрезвычайно симпатичны и комичны и всегда напоминали мне — не знаю, почему — братьев Чапеков. 3. Венецианские улочки, если только там нет каналов и дворцов. Улочки до того запутаны, что до сих пор не все подверглись изучению; в некоторые из них, вероятно, еще не ступала нога человека. Лучшие из них насчитывают целый метр в ширину и настолько длинны, что в них свободно помещается кошка, и даже с хвостом. Это — лабиринт, в котором само прошлое заблудилось и никак не может выбраться. Я, который всегда кичился способностью ориентироваться, два часа пробродил вчера по кругу. С площади Святого Марка отправился на Риальто, куда от силы десять минут ходу; через два часа я наконец выбрался на площадь Святого Марка. Венецианские улицы самым решительным образом напоминают мне Восток, видимо, потому, что я никогда не был на Востоке, или еще — средневековье, вероятно, по той же причине. Зато на картинах Карпаччо Венеция — точно такая же, как и сегодня, только что без туристов. 4. Невыразимо приятно, что здесь нет ни одного автомобиля, ни одного велосипеда, ни одной пролетки, или экипажа, или линейки, но зато — 5. Очень много кошек, гораздо больше, чем голубей св. Марка, кошек огромных, таинственных, светлооких, которые иронически поглядывают на туристов из подъездов, а по ночам воют удивительным альтом. 6. Хороши итальянские королевские матросы, этакие миниатюрные голубые мальчики, и военные суда хороши, и вообще суда: парусники, пароходы, барки с шафрановыми парусами, серые торпедные катера с красивыми пушками, кряжистые транспорты; каждое судно по-своему прекрасно и заслуживает женского имени. Вот почему, вероятно, я мальчишкой так хотел стать моряком, — и еще сегодня, с острова Лидо, я следил за белым парусом, удаляющимся куда-то в сторону Востока, — и белые паруса манили меня вдаль бесконечно сильнее, чем белая бумага, на которой я все равно не открою новой земли.

II

Мне не хотелось бы много писать о Венеции; полагаю, она всем известна. Она на самом деле до невозможности похожа на всякого рода «souvenirs de Venice»; [1] когда

[1] венецианские сувениры (*франц.*).

я впервые стоял на площади Святого Марка, я был совсем сбит с толку и очень нескоро избавился от удручающего впечатления, что все это — не настоящее, что я просто-напросто в каком-нибудь луна-парке, где собираются устроить праздник «венецианской ночи». Я ждал только, когда забренчат гитары, а гондольер запоет по меньшей мере, как пан Шютц. К счастью, гондольер загадочно молчал, а под конец нашей прогулки безбожно обобрал меня, размахивая перед моими глазами каким-то тарифом. Что ж, хоть этот человек был, бесспорно, настоящий, неподдельный.

Зато канал Гранде вас, вероятно, разочарует.

Одни воспевают роскошь его дворцов, другие — меланхолию их умирания; я же нашел тут главным образом только достаточно скверную готику, которая принесла с собой для венецианских патрициев лишь пресловутое «каменное кружево», и они украсили им фасады своих жилищ, словно жабо. К сожалению, до меня не доходит смысл всей этой архитектурной вычурности, этого купеческого тряпичничества старой Венеции. Сюда постоянно что-нибудь ввозили: греческие колонны, восточную корицу, персидские ковры, византийские влияния, парчу, готику, Ренессанс; все годилось венецианским купцам, было бы достаточно парадным. И вот посмотрите теперь на венецианский Ренессанс, который вдруг почему-то начинается с коринфского стиля — балюстрады, балконы, мрамор, — все это показная красивость. Здесь ничего не было создано — правда, за исключением открытой лоджии в центре фасада; это хотя и красиво, но недостаточно для хорошей архитектуры. Единственным своеобразным талантом обладает Венеция — талантом превращаться в барокко. Ее ориентализм, ее декоративная готика, ее тяжеловесный Ренессанс — все это предопределило судьбу Венеции стать самым барочным городом нашей планеты; когда же началось настоящее барокко, Венеция уже протянула ноги, если я разбираюсь в истории.

Теперь я понял, почему я так неприязненно отношусь к венецианской красоте. В Венеции — только дворцы и храмы; дом простого человека — ничто в архитектурном смысле. Голый, тесный и темный, не расчлененный ни карнизом, ни портиком, ни хоть крошечной колонной, дурно пахнущий, как испорченный зуб, дом, вся живописность которого заключается лишь в кроличьей тесноте, —

он не обнаруживает ни малейшей потребности в прекрасном. Проходя мимо него, вы не порадуетесь ни красивому профилю карниза, ни дверным украшениям, которые приветливо встретили бы вас у входа. Это — бедность, но бедность, лишенная добродетели. Да, сотня или две сотни дворцов — это не культура, это всего лишь богатство; не красота жизни, а просто парадность. И не говорите мне, что причиной всему недостаток места; причина этого — сверхъестественное безразличие. Воздух Венеции до наших дней остался ленивым, каким-то деморализующим, ибо он рождает сонливость и склонность к безделью.

Впрочем, конечно, и в этом есть своя прелесть: вы бродите по улочкам, как во сне; в каналах плещет вода, у собора св. Марка играет оркестр, двунадесятиязычный говор сливается в смутный гул; а у вас такое чувство, будто уши вам заткнули ватой или будто вас обнимает дурманящая нереальность. Но в один прекрасный день вы сойдете с пароходика на острове Лидо; и тут ваш слух поразит звонок трамвая, затренькает велосипедист, вы услышите цокот копыт — и чары исчезли: господи, ведь во всей Венеции нет ни одной живой лошади! И действительно, все очарование Венеции — в звуках и запахах: тяжелый запах лагуны и слитный шум людских голосов.

Падуя, Феррара

Если отличительным признаком Венеции служат каналы, гондолы и туристы, то Падую характеризуют аркады и велосипеды, Феррару же — велосипеды, кирпичные дворцы и романский стиль. Велосипеды я оставлю в стороне; надеюсь, оставят в стороне и они меня. Что же касается Падуи, то знайте: увидеть за одно утро прекраснейшие произведения Джотто, Мантеньи и Донателло — величайшая милость, дар божий и радость, сходная с грезой. Это всего лишь маленькая, голая церквушка, эта Санта-Мария-дель-Арена; но Джотто расписал ее изнутри от пола до потолка, не оставив пустым ни кусочка, заполнив всю ее восхитительной простой логикой художника и христианина — ибо Джотто был насквозь пронизан духом разумным, набожным и ясным. Мантенья же — стальной рисовальщик, жесткий, острый, не знаю, как это выразить; поразительно привержен форме и в то же время

окутан пеленой бог весть какой странной, прекрасной и строгой печали. А Донателло — сама страстная скорбь, некая молчаливая, замкнутая горечь слишком совершенного духа. Все трое — самые мужественные среди художников. Священ день, в который тебе даровано познать этих троих.

Завершив этот священный день точкой, а затем — ужином (только уже не в Падуе, а в Ферраре), я со времени написания последней фразы приобрел здесь опыт, которым и хочу поделиться с вами: путешествуя по Италии, остерегайтесь так называемого вина di paese[1]. Оно очень дешевое, на взгляд невинное, и подают его в бутылках, емкость которых вы спервоначалу обязательно недооцените. Когда же вы истребите это вино, — а оно очень хорошо, — в душу вашу вступит некий задор, воинственность, желание петь, восторг и подобные ощущения. Так вот, окажись в эту минуту передо мной известный вам **, который там, у нас в Чехии, пишет невероятные глупости о театре, — я прирезал бы его на месте, в такой я вошел раж. И прирезал бы еще множество других, пишущих об искусстве, например ***, и прочих в общем-то уважаемых людей[2], чтобы затем, обагрив свои руки их кровью и громко распевая, прославляя Джотто, Мантенью и Донателло, отправиться на покой и, засыпая, видеть еще духовным взором церквушку Дель-Арена, и алтарь в Санта, и часовню в Эремитани, и, отрекшись от себя, я преклонился бы перед неувядаемым величием искусства и уснул бы с последним благодарным воспоминанием о вине di paese.

Но не добраться мне до крови далеких людей, не могу передать свой священный восторг, не умею описать фрески, на которые сегодня молился. За сегодняшний день я обошел все храмы Падуи и Феррары; не спрашивайте, сколько их было. И теперь я утверждаю: христианство умерло здесь, на юге, вместе с романским стилем, с готикой — на севере; Высокое Возрождение и главным образом барокко положили начало кое-чему новому и вовсе несимпатичному, а именно — католицизму. Христианство может

---

[1] местного (*итал.*).

[2] В припадке преступной гордыни, в первом раже я их назвал; да простят они мне это. Теперь я исправляю содеянное — не для того, чтоб избежать суда божьего, а просто потому, что перечислил слишком немногих. Этим я только хочу сказать, что в искусстве нужно быть новатором или чем-нибудь в этом роде.

говорить с нами только на языке ранних стилей — языке примитивном, строгом, праведном, оно — серьезное, чистое и в известной мере — простое. Рядом с ним ренессанс — язычество, а барокко — идолопоклонничество, фетишизм, одним словом — католицизм. Его культура заметно ниже культуры ранней религиозной чистоты. Вся эта маниакальная помпезность, весь этот мрамор, парча, лепка, позолота, все эти башнеобразные алтари, этот холодный блеск не сообщат нам и крохотной частицы того *религиозного чувства,* о котором нам с такой безмерной серьезностью и чистотой говорит часовня Джотто.

Если сегодняшнее утро было для меня грезой в Эремитани или в часовне Джотто, то послеобеденные часы стали грезой в феррарских улицах. Говорят: увидеть Неаполь — и умереть. В Ферраре я хотел бы не умереть, а пожить с неделю; пожить в одном из ее кирпичных дворцов, которые снаружи несколько смахивают на неоштукатуренные амбары, но дворы которых открываются прелестными тихими лоджиями, через которые видны прекрасные феррарские сады. Под чудесным вешним дождичком через кирпичную ограду перегибаются неизвестные мне деревья, цветущие фиолетовыми и желтыми цветами. Прямые улицы, дома с разноцветными ставнями: красными, желтыми, зелеными; романские пилястры, красно-кирпичные маленькие дворцы, красно-кирпичные церкви. И отовсюду выбивается, вырывается, ярко цветет свежая зелень теплой весны. Идешь без цели, ибо живешь, словно во сне; а во сне ведь ничего тебе не надо. Но стоит тебе увидеть через мраморную лоджию самый прекрасный сад из тех, которые ты когда-либо видел или увидишь, — и ты пожелаешь хоть ненадолго остановиться здесь, прервать свой бег сквозь пространство и время, побыть немного среди этой грезы.

Равенна, Сан-Марино

Равенна — сама по себе — полумертвый город без характерных черт; вдобавок тут происходит какой-то праздник фашистов, и по городу носятся эти «чернорубашечники» со своими карабинами и оркестрами, всюду — одни «fascio» [1], старички гарибальдийцы, музыка, колонны

[1] фашисты (*итал.*).

и заторы. Между прочим, фашисты в своей форме чем-то похожи на наших трубочистов; такие же у них черные шапочки с кистью, и зубы так же сверкают. Курьезное ощущение.

Впрочем, эта Равенна не имеет ничего общего с мертвой Равенной, с городом стариннейшей христианской архитектуры и прекраснейших в мире мозаик. Если я еще раз и более обстоятельно буду писать обо всем, что видел, — а я уверен, что не сделаю этого, — то глава о равеннских мозаиках будет самой трогательной. Признаюсь, даже у могилы Данте на меня не снизошло глубокое благоговение: но в Сан-Чельсо-э-Назарио мне хотелось склонить колена. А Сан-Витале — самое прекрасное из известных мне архитектурных пространств; Сан-Аполлинаре-ин-Классе — само благородство; но ротонда Галлы Плачиды, с темного свода которой сверкают священнейшие мозаики воистину небесной красоты, — эта ротонда, несомненно, одна из вершин христианского искусства. Но и о вас нельзя мне забыть, святые девы в Сан-Аполлинаре-Нуово, и о вас, небесные овечки в Сан-Аполлинаре-ин-Классе-фуори; никогда не забыть мне тебя, невыразимая прелесть христианства, что так порадовала меня в Равенне.

Ты же, Римини, ты — тоже не последний среди городов Италии. И если все прочее в тебе немногого стоит, то все же есть у тебя храм Малатесты работы Леона Баттисты Альберти: незаконченный фасад и внутренность, наполовину опошленная барокко, — но то, что осталось от Альберти, стоит дорого; и эти остатки примиряют меня с Возрождением, от которого мне так холодно было в Венеции. История называет Альберти «теоретиком Раннего Ренессанса»; но если вы умеете читать по следам, по памятникам рукотворным, то вы прочитаете по храму Малатесты такое огромное напряжение воли, такую совершенную, благородную строгость и чистоту стиля в каждой скульптурной детали, что будете жалкими Фомами неверными от искусства, если не предпочтете эти великолепные руины лучшим Сансовино и прочим барственным сооружениям блестящего Ренессанса.

Стиль — прежде всего чистота стиля! — и подите прочь со всякой живописностью и пышностью, если вы творите архитектуру. Стиль! — это все, это больше, чем человек: ибо с помощью стиля устремляется человек прямо к абсолюту.

Но вот, пока я так рассуждал о стиле и живописности, судьба покарала меня за поношение последней. Вместительный автоэкипаж с надписью «Римини — Сан-Марино» соблазнил меня съездить в эту, якобы самую маленькую республику в мире. Эти строки я пишу в самом ее сердце. Многие красоты сего почтенного государства ускользнули от меня, ибо по пути шел сильный дождь, клубились туман и тучи; знаю только, что ехали мы круто в гору, все время в гору, прямо в тучи, а теперь я сижу, окруженный облаками, в странном скалистом гнезде, со всех сторон зажатом тучами и дымящимися безднами. Вместо улиц тут сплошь лестницы, на самой вершине отвесного утеса — замок, и каждый дом здесь как бастион на каменистой террасе, а вокруг пропасти неизвестной глубины, в которых курится мгла, — короче, самая дикая, орлиная живописность, какую только можно себе представить.

Пока я в самом фешенебельном отеле республики поглощал бифштекс на растительном масле и козий сыр, сбежалось все Сан-Марино, чтобы поглазеть на меня. Один туземец, инженер, пустился со мной в разговор; в результате титанического единоборства со словами (дело в том, что он единоборствовал с французским языком, а я — с итальянским, причем оба языка оказывали нам бешеное сопротивление), он объяснил мне, что Сан-Марино — действительно независимая республика, что во время войны она поставляла только добровольцев; что население ее насчитывает пять тысяч граждан, которыми спокойно и благодатно правит синьор Гоцци, хотя сам я видел на придорожных тумбах надписи, возглашающие «evviva» [1] совсем иной личности, вероятно лидеру оппозиции. Упомянутый туземец попытался набросать для меня схему сан-маринской истории, но это было уж слишком трудно сделать при помощи рук. Чехов он считал греческим племенем. По причине названных языковых препятствий мне не удалось завязать более тесных международных отношений; пусть кто-нибудь другой продолжит мое дело, только пусть он выберет для этого день, когда не будет лить бесконечный дождь, когда не будет закутан в тучи этот странный скалистый утес, эта отвесная круча, являющаяся одной из самых стабильных европейских республик.

---

[1] да здравствует (*итал.*).

Флоренция

Накануне я писал вам во время дождя, в тучах, сидя в единственном, а следовательно, и лучшем отеле республики Сан-Марино. А утро вдруг понравилось небесам, тучи поднялись этажом выше, и открылась чудеснейшая панорама: море километрах в тридцати, горы, скалы, необозримая цепь гор и скал, и дальше — вся Эмилия; и на каждой горе — крепость, или башня, или человеческое гнездо, теснящееся на клочке величиной с ладонь, а под ногами пропасть, из которой отвесно подымается сан-маринская скала. Снизу она кажется диким, зубчатым гребнем, и еще за Фаэнцей я все оглядывался на нее, а потом уже приехал в Болонью.

Если Падуя — город аркад и галерей, то уж и не знаю, как назвать Болонью. Только каждая аркада здесь высотой с наш трехэтажный дом; портал в центре здания ведет в колонную залу, в которой вполне уместился бы приличный вокзал, а из этой залы через новый портик — выход во двор. Здесь какая-то вакханалия колонн и арок; каждый дом — дворец с колоннадой: целые улицы, чуть ли не весь город — из одних дворцов, и даже в самых бедных кварталах все равно — аркады, ведущие хотя бы в улицы или во дворы, галереи, портики, и все — в тяжеловесном стиле Ренессанс. Это — город парадный и несколько холодный; его слава — не в искусстве, а в учености и в деньгах. Какой-нибудь романский собор или готический замкообразный дворец подесты найдется в любом городе Италии; Болонья, кроме этого, обладает еще двумя падающими башнями, похожими на неудавшиеся четырехгранные заводские трубы.

Во Флоренции же не стану говорить вам об искусстве. Его здесь слишком много, так что голова идет кругом; под конец до того обалдеваешь, что и на тротуарную тумбу, облюбованную собаками, смотришь, воображая, что это — какая-нибудь фреска. Из всего этого неизмеримого половодья бессмертной красоты опять приковывает внимание Джотто и Донателло, Мазаччо и благословенный Фра Анджелико из Сан-Марко. На доме Джотто, магистра Jottus'a, есть мемориальная доска от 1490 года, на которой написано: «Hoc nomen longi carminis instar erat» — «Имя его равно длинной поэме». Да, это правда. И я записал его имя, как поэму, и заранее радуюсь, что встречусь с ним еще раз в Ассизах.

Об остальном можно сказать, что Флоренция до ужаса заражена иностранцами. Местный люд главным образом ездит на велосипедах и меньше, чем в других городах, марает стены надписями: «Viva il fascio»[1]. Что касается фашистов, то их крик звучит: «эйяэйяэйя», а приветствие заменяет этакий взмах руки, до того резкий, что прямо пугаешься. Но, поскольку я, слава богу, не политик, то могу снова вернуться к иностранцам. Больше всего мне жаль тех, которых платный гид гоняет по церквам и музеям. Гид или бормочет свои пояснения по-итальянски, и иностранцы его не понимают, или кричит им в уши какую-то тарабарщину, которую сам он считает французским или английским языком, и тогда они его и подавно не понимают. При всем том он по непостижимой причине всегда страшно спешит, будто дома у него рожает жена; он мчится, сдвинув шляпу на затылок, три четверти всех достопримечательностей пропускает и питает особую склонность к Капове.

Другая разновидность иностранцев держится за бедекер, как утопающий за соломинку или как искатели клада — за волшебную палочку. Они неустанно носят его раскрытым перед глазами; и когда они приближаются к какому-нибудь шедевру, бедекер в их руках, вероятно, как-то начинает трепетать, ибо тут они быстро вскидывают голову, бросают мимолетный взгляд на шедевр и потом вполголоса прочитывают, что цитирует бедекер об этом произведении искусства из Кроу и Кавальказеллы.

Третья разновидность — молодожены, игнорировать которых я твердо решил еще в Венеции.

Четвертая разновидность — «high-life»[2], которые без конца ездят в автомобилях; куда — я не знаю, потому что всю Флоренцию можно обойти за десять минут.

Пятый род иностранцев — копиисты. Они сидят в Питти или в Уффици и копируют самые пышные картины. Им почему-то не нравится, когда вы бесстыдно начнете рассматривать «их» мастера: видимо, это кажется им посягательством на их частную собственность. Они изготовляют миниатюры с картин Фра Бартоломео и открыточки с Боттичелли. Обладают чудесным талантом перевирать все

---

[1] Да здравствует фашизм (*итал.*).

[2] Здесь: богатые туристы (*англ.*).

цвета и до того замасливать свои работы, что они лоснятся, как пончик в сале. В большинстве своем это — пожилые мужчины или безобразные барышни. Бог весть отчего, но ни одна копия и ни одна копиистка не обладали красотой хотя бы в малой степени. Вот сегодня, в Фьезоле, сразу три таких барышни срисовывали амбит монастыря и кипарисы; а в двух шагах от них валялся в траве ребенок со щенком, и было это до того прекрасно, что я и смотреть забыл на задумчивый амбит или на «великолепную ** панораму Флоренции и долины Арно», как выражается бедекер; но три копиистки с важным видом продолжали мазать свои задумчивые амбиты и кипарисы, и ни одна не сняла очки, чтобы взглянуть на ребенка с собачкой или протереть глаза.

Сиена, Орвието

Сиена — это такой необычно милый маленький городок, он сидит на трех пригорках и улыбается, все равно — стекает ли по его спине теплый дождик или светит солнце; в нем есть несколько прославленных памятников старины, но он и сам по себе весь целиком — милый старый памятник. Хорошая, степенная кирпичная готика с редкими изюминками Раннего Ренессанса. Это — не насупленная, воинственная готика и не крепостной, гордый, неприступный Ренессанс вроде дворца Строцци. Все здесь как-то интимнее, веселее, пригожее, чем в других местах. В Сиену я поехал, собственно, ради Дуччо ди Буонинсенья, сиенского Джотто; но — странное дело — мирный, мягко-монументальный Джотто лучше подошел бы Сиене, чем более натуралистичный и трезвый Дуччо.

Приятнее всего бродить по улицам, взбегающим вверх и сбегающим вниз, словно расшалившаяся катальная горка, да глядеть на полоску синего неба над алыми зубцами старинных домов, на зеленые волны тосканских холмов, обступивших город. Строго говоря, тосканский край очень похож на красивый чешский пейзаж — только вместо картофеля здесь произрастает виноградная лоза, а каждый холмик чудесно коронован каким-нибудь городишком с башнями или старинной замковой твердыней. Отсюда, из Сиены, был родом Энеа Сильвио Пикколомини, у которого в свое время были кое-какие счеты

с Иржи Подебрадским и который впоследствии сделался папой. В соборе есть библиотека, стены которой расписал Пинтуриккьо эпизодами из деятельности Пикколомини. Благословенный сиенский воздух сохранил эти фрески в такой свежести, словно старый Пинтуриккьо только вчера наложил последний мазок на красочную арабеску вокруг окна. А еще есть тут готическая ратуша, вся внутренность которой, с головы до пят, расшита фресками, и собор, изнутри и снаружи выложенный цветным мрамором; фасад его переобременен украшениями, весь пол в сграффито. И еще — красивая огромная площадь, и Фонте Гайя, и «Мир» Лоренцетти, и уйма других приятных, радующих сердце вещей, да, есть здесь все это и еще многое другое.

Но Сиена — пустяк по сравнению с Орвието. Орвието — городок поменьше, да вдобавок он угнездился на столешнице своего рода каменного стола, который торчком вылез из земли до головокружительной высоты. Добраться до города можно по серпантину, от чего, пожалуй, отказался бы самый воинственный из врагов этого недоступного городка, или по канатной дороге, и тогда у вас непременно закружится голова. Наконец вы наверху, на высоте полутора тысяч — не метров, а лет; ибо Орвието — страшно древний, построенный из неоштукатуренных плит, весь в голых каменных кубиках. Единственное украшение позволили себе орвиетяне — собор. Меня, правда, ни в коей мере не волнует все это декоративное сплетение кружев и вышивание, которыми старые итальянцы украсили готику; но внутри собора одну из часовен, всю от пола до потолка, расписал Лука Синьорелли, странный и великий художник, одержимый видениями человеческих тел. Ему мало было «Страшного суда» с целыми слитками превосходно вылепленной мускулатуры: он еще окаймил всю часовню медальонами, из которых каждый — как иллюстрация к Дантову «Аду», и все связал между собою арабесками, состоящими из гирлянд человеческих тел в самых удивительных положениях и ракурсах. Казалось, художник никак не может насытиться видом человеческого тела в движении; опьяненный и все же поразительно точный, размашисто-страстный и в то же время сдерживающий себя строгостью, художник, ради которого стоит свернуть с торных итальянских дорог и подняться на скалу Орвието. В виде прибавки вы еще получите две большие

часовни, буквально устланные фресками добротного quattrocento [1].

Если бы мои знакомые видели, какую радость доставил я орвиетским мальчишкам, которым раздал чешские почтовые марки, — они, конечно, стали бы писать мне гораздо чаще. Мальчишки тотчас обступили меня, выпрашивая francobolli esteri [2]. Я отдал им, что у меня нашлось, и тут они вздохнули в восторженной радости: «Чекословаккиа!» Когда я в свое время коллекционировал марки, я бы с таким же счастливым вздохом принял марки Афганистана или Боливии. Наша родина для орвиетских ребят — нечто весьма экзотическое. Но раз уж зашла речь о дальних странах, то именно в Орвието за все свое путешествие я встретил первую женщину красоты поистине волшебной. Это была юная японка. Никогда я не думал, что японки могут быть так прекрасны. Она смотрела на Синьорелли, а я смотрел на Синьорелли и на нее. Потом она ушла, а Синьорелли остался. Это — ошеломляющий художник; но я никогда не поверил бы, что японки могут быть столь совершенного очарования.

Рим

Бог весть отчего я предпочел бы писать о Рокка-ди-Папа, чем о Риме. Рокка-ди-Папа — это крошечное скалистое гнездо высоко в Альбанских горах; по улицам его стекает навозная жижа, в которой валяются черные козы и еще более черные детишки, невероятное множество детей. Улицы там — просто лестницы, а дома — нечто вроде черных каменных ячеек, которые, как это ни странно, издали, — например, из окон Ватикана, — кажутся белыми сахарными кубиками. Такова Рокка-ди-Папа. Но Рокка-ди-Папа не занимает общественное мнение, Рокка-ди-Папа — вовсе не проблема культуры, а посему вернемся к Риму.

Махар нашел в Риме античность. Странно. Что до меня, то я нашел тут главным образом барокко. Колизей — произведение барокко. Весь императорский Рим — явно барочный. Потом наступила эра христианства и разом

[1] пятнадцатого века (*итал.*).
[2] заграничные марки (*итал.*).

положила конец императорскому барокко. Вследствие этого искусство в Риме уснуло и проснулось лишь при первой возможности, когда слегка ослабли тугие путы, которыми его стянуло христианство, когда снова можно стало вскипеть в новом приливе барокко, на сей раз под эгидой папства. Папский Рим — просто-напросто продолжение Рима императорского, по крайней мере, в области архитектуры; сейчас я, может быть, напишу величайшие глупости, но уж оставьте их мне. Так вот, я сказал бы примерно так: в Италии существуют две тенденции развития: римская — барочная, мировая, католическая, стремящаяся к гигантским размерам, роскоши, динамике, показной внешней форме; и другая — более примитивная, более строгая, более народная, если можно выразиться образно — этрусская, выпущенная из плена христианством; она создавала мозаики, забивалась в катакомбы, опростила скульптуру и архитектуру, говорила языком детским и интимным. Но время от времени всегда прорывалась тенденция барокко; она захватила в Италии готику и превратила ее в пышное, узорчатое барокко. Раннее Возрождение — это снова строгая, чистая по формам реакция против барочной тенденции, выигравшая бой в области итальянской готики. Но Высокое Возрождение — это уже, собственно говоря, новая победа идеи барокко. Итак, Рим непрестанно стремится к барокко, барокко — вот его родная речь; следовательно, у Рима столь же мало общего с античностью, как и у Микулашского проспекта.

Этот псевдоисторический обзор я делаю для того, чтобы мне не было стыдно, когда я скажу, что, в общем, Рим мне не нравится. Ни Форум Романум, ни ужасающая кирпичная развалина Палатина, ни что-либо другое не вызвало во мне священного трепета. Эти маниакальные размеры терм, дворцов и цирков, эта поразительная страсть строить все колоссальнее и колоссальнее, все экстенсивнее — это подлинно барочная одержимость, которая позднее заставила Павла V испортить собор св. Петра. Католичество через века подает руку языческому Риму цезарей; христианство же — всего лишь эпизод, разделаться с которым поскорее помог Рим.

Самое приятное в Риме — это некоторые маленькие божьи храмы: например, Санта-Прасседе, Санта-Мария-ин-Космедин, Санта-Саба или даже церковь св. Климента, где похоронен наш национальный патрон Кирилл. «Tumba

di San Cirillo» [1], — сказал причетник, указывая в подвале церкви на потрескавшийся маленький мраморный сундучок, придавленный несколькими оббитыми камнями. Для святого — пожалуй, слишком скромная гробница, особенно если вспомнить о пышных усыпальницах пап в соборе св. Петра.

К достопримечательностям Рима я отнес бы еще кошек на форуме Траяна. Это — небольшой газон, расположенный ниже улицы и огороженный решетками; посреди возвышается столп Траяна, один из нелепейших памятников в мире, а вокруг лежат поверженные колонны. В тот раз я насчитал на этих колоннах не менее шестидесяти кошек всех мастей. Это был восхитительный вид. Я отправился туда еще раз, лунной ночью; кошки сидели спинами друг к другу и вопили: вероятно, выполняли какой-то религиозный обряд. И я оперся на ограду, сложил руки и стал вспоминать свою родину.

Вот и у кошек есть свой бог, во имя которого они поют при луне: отчего же нет его у тебя? Ах, не нашел ты его ни в палящем зное южного Гелия [2], ни в холодной пышности католичества; быть может, он шептал тебе что-то среди чистоты храма Альберти или в сладостном мерцании равеннских церквушек, но ты плохо его понял. Ибо, помимо всего прочего, говорил он не по-чешски.

Неаполитанцы

I

Я не стану писать вам о Везувии или Голубом гроте. Тем более не стану писать о море: порядочный человек не распространяется о красоте своей, пусть и мимолетной, любви. Но, кроме прекрасной природы, главная достопримечательность здесь — коренные неаполитанцы.

У неаполитанцев традиции постарше римского форума. Говорят, еще Гете писал о стадах коз, которые по утрам бегают по улицам Неаполя, чтобы их доили на месте. В половине седьмого утра под моим окном раздается устрашающий рев; высовываюсь из окна — на улице

---

[1] Могила святого Кирилла (*итал.*).
[2] Солнца (от *греч.* Helios).

стоит стадо жующих коз (с лицами английских леди), и какой-то молодец доит их, издавая поощрительные вопли. Завидев меня, он выпускает вымя и, протянув ко мне руку, кричит что-то. Выползаешь из дому — и тут, прямо на парадной улице Виа-Партенопе, лежит поперек тротуара верзила, закинув руки под голову, черный, как копченая колбаса, и греет на солнце свой загорелый живот. Думаешь: ну, не умер, так спит; но стоит подойти к нему на расстояние окрика, как он вынимает руку из-под головы и говорит: «Signore, un soldo» [1]. Мальчишка на глазах у всех орошает тумбу и, не прерывая этого занятия, окликает тебя: «Signore, un soldo!» — видимо, требуя платы за таковое истинно неаполитанское зрелище. Если бы можно было зарабатывать криком, каждый неаполитанец превратился бы в Астора. Продавать газеты с диким воинственным рыком, вспрыгивать с ними на ходу в трамваи и поезда или от божьего утра сидеть на тротуаре над парой носков, четырьмя шнурками для ботинок, тремя лимонами и ниточкой бус и до вечера горланить, включаясь в оглушительный уличный концерт, — в этом, видимо, и состоит основное призвание здешнего люда. Идешь пешком где-нибудь в районе Поццуоли; какой-нибудь vetturino [2] решает вдруг, что ты обязательно должен сесть в его пролетку; в таком случае откажись от сопротивления. Полчаса он будет следовать рядом с тобой и кричать, кричать... Сначала по-итальянски, ты не понимаешь; потом по-английски, ты делаешь вид, будто не понимаешь; потом по-французски, по-немецки, наконец, заголосит: «Да, да, харашо гаспада, отто лире, ахт, майгер, мосье, вера ту, ту компри, отто лире, сэр, эйт, эйт, эйт!» [3] Наконец ты складываешь оружие перед подобным языковым феноменом и за несколько шагов до цели твоего путешествия влезаешь в его рыдван. Тогда он издает победный клич, его клячонка вздрагивает, vetturino всем телом повисает на вожжах, непрерывно вопя, каким-то непостижимым чудом делает резкий вольт прямо через канаву, изможденная лошадь сбавляет прыть, но через три шага снова подхватывает, ты летишь куда-то вниз, потом вверх, направо, налево, препоручаешь душу свою

[1] Синьор, один сольдо (*итал.*).

[2] Извозчик (*итал.*).

[3] Набор слов на разных языках, среди которых чаще всех фигурируют «восемь лир».

богу, и — ессо! — vetturino оглядывается торжествующе, словно победитель олимпийских заездов: приехали.

— Пятнадцать лир, синьор, — спокойно говорит он.

Ладно, даешь ему восемь.

— А чаевые? — не отстает удалец.

Ну, добавишь лиру: все-таки твоя жизнь этого стоит.

— А еще чаевые для коня...

Ты идешь взглянуть на Сольфатаро (не ходите туда, весь феномен смахивает на обыкновенное гашение извести у нас дома). Входная плата... шесть лир, гм. У входа без единого слова тебя берет под руку благородного вида господин; он держит какую-то плетенную из соломы косу и красиво насвистывает. К сожалению, ты слишком поздно соображаешь, что господин благородного вида — проводник, который у какой-то дыры зажигает на десять секунд соломенную плетенку, просто чтобы пустить дым. Потом он ведет тебя за какое-то строение; ты с благодарностью воображаешь, что там — уборная. А там всего лишь босой дед, он разрывает лопатой песок и предлагает тебе обжечь в этом песке руку; вдобавок он обязательно постарается сунуть тебе в карман три горячих камушка — на память — и подставляет открытую ладонь. Господин благородного вида, скрипя красивыми туфлями, выводит тебя наружу.

— Десять лир, сударь.

Ты недоумеваешь.

— Пять лир — моя такса, — объясняет господин, — четыре лиры за факел и лира на вино.

Сидишь вечером в приличном маленьком отеле; внизу море, вверху курится Везувий, в общем, все чудесно. К тому же на улице раздается звон гитары, и приятный голос запевает известную неаполитанскую песенку «Я оцарапалась». Вскоре к тебе подходит добрый молодец, подставляя шляпу: в ней на платочке лежат только пятилировые монеты. Тебе немного стыдно оттого, что ты бросил ему одну вдовью лиру; но любезный тенор ловко встряхивает шляпу, лира исчезает под платочком, и сверху остаются опять только пятилировые монеты.

Послушайте: я человек не расточительный и не плачу, за что не обязан; но прошу вас, когда я вернусь домой, не подавайте мне никто руки, чтобы я ненароком не сунул вам на чай. Или лучше, бога ради, скажите: есть ли на свете еще хоть что-нибудь даровое?

II

Да будет сказано по совести: красоты Неаполя — до некоторой степени надувательство. Неаполь некрасив, если только не смотреть на него издали. А издали он лежит, золотясь на солнце, а море такое синее, какое только можно себе вообразить; здесь, на переднем плане, — прекрасная пиния, а то, голубоватое, вдали, — Капри; Везувий выдохнул кусочек белой ваты, Сорренто светится далеко и чисто — боже, какая красота! Потом спускаются сумерки, густеет синь, выскакивают огоньки, вот уже целый полукруг искорок, а по морю плывет пароход, сияя зелеными, синими, золотыми огнями, — боже, какая красота! Но войди в город, путник, поброди по улицам, оглядывая все чешскими глазами, потешься, как можешь, живописностью здешней жизни — вскоре тебе станет от нее немного не по себе. Быть может, эти улицы живописны; но они же, во всяком случае, весьма безобразны. Ты бродишь под гирляндами грязного белья, прокладывая себе дорогу среди разного сброда, ослов, бродяг, коз, детей, автомобилей, корзин с овощами и прочим подозрительным свинством, среди мастерских, выперших до середины мостовой, отбросов, моряков, рыб, пролеток, зеленщиц, газетчиков, напомаженных девок, чумазых мальчишек, валяющихся на земле; все это толкается, орет, немилосердно сквернословит, выкрикивает, предлагает, голосит, щелкает кнутами и обманывает. Кажется, подлинная стихия неаполитанца — что-нибудь продавать; берется стул, старая упряжь, три свечки и вонючая камбала; и потом над этим день-деньской распевают какие-то заклинания, и называется это «торговля смешанным товаром». Вон убогий слепец продает семь тросточек; сжалишься над ним, купишь одну; убогий слепец требует за нее двадцать лир, ты даешь ему пять и уходишь: знай же, ты здорово попался. А вон идет молодец, несет стул на плече, а чтобы не было скучно, подыгрывает себе на корнете марш. Мне не повезло: я приехал в Неаполь через полчаса после прибытия короля Италии. Видимо, была устроена пышная встреча, улицы все еще забиты пролетками, автомобилями, двуколками, ослами, самыми удивительными рыдванами; чтобы убить время, кучера хлещут своих коняг, оглушительно щелкая кнутами, шоферы гудят что есть силы, все яростно орут, где-то в порту ухают пушки — я отроду не

слыхал такого гвалта. И, милые мои, итальянские парадные мундиры — то-то потеха! Никогда бы не поверил, что мужчина согласится навешать на себя такие балдахины, перья, шнуры, кисти и ленты, лампасы, султаны, постромки и лямки, вышивки, цацки, позументы и гирлянды, какие были на крупных и мелких сановниках этой живописной страны. Да, чтобы не забыть: потом я видел, как король проезжал по улицам; восторженный народ... попросту аплодировал ему, как в театре.

Но вернемся к моим маниям. Неаполь — город, абсолютно лишенный творческого духа. Здесь всегда была плохая живопись и отвратительная архитектура: здешние люди довольствуются синим небом и щедрой природой, благословленной богом. Но в одной церкви (не помню уже, был ли это Сан-Дженнаро или Сан-Кьяра, а может быть, и еще какой-нибудь святой) я нашел обетные образки совершенно в народном духе; их там несколько сотен, и среди них попадаются очаровательные. Обычно на них изображена комната в чрезвычайно убедительной перспективе; на постели, как следует накрахмаленной и тщательно постланной, лежит больной, несколько женщин в юбках образца 1870 года заламывают руки и прижимают к глазам наглаженные платки; на стене изображен святой образ, и перед ним стоит на коленях мужчина в черном, стоит оцепенело, прямо и объемно, как туго набитый мешок. Вероятно, небеса не в силах были устоять перед столь примерной молитвой и ниспослали больному исцеление, за что и были возблагодарены этим скрупулезно выписанным ex voto [1]. Но, знаете, некоторые из этих образков отличаются серьезной простотой таможенного служащего Руссо, а другие словно вобрали в себя беспокойность Мунка; это — в своем роде уникальная галерея анонимной живописи.

Все же остальное в Неаполе — это крик, грязь и живописность.

Палермо

Я предпочел бы даже не писать этого; мне стыдно, что я не могу четко сказать, что самое прекрасное в мире: путешествие по морю, Монреале или садик в Сан-Джован-

[1] приношением по обету (*лат.*).

ни-дельи-Эремити. Что касается Палермо, то еще вчера я написал бы вам, что это — самый чистый город во всей Италии; сегодня же, после того как я пошатался вокруг порта Кала, я думаю, что он — самый грязный город из всех, считая Неаполь и Рокка-ди-Папа. Зато бесспорное преимущество сицилийцев в том, что они почти совсем не попрошайничают, вообще они кажутся строже и достойнее, чем кудрявые неаполитанцы, там, севернее; в Сицилии, видимо, сказывается влияние испанской культуры. Испанское влияние — последнее по времени; первым было греческое, вторым и третьим — сарацинское и норманнское; Ренессанс заглянул сюда только так, мимоходом. Залейте все эти элементы культуры ослепительным солнцем, добавьте африканскую почву, тучи пыли и великолепную растительность: вот вам Сицилия.

Впрочем, нет, еще здесь есть местная культура, — ее вы можете увидеть на двуколках всех крестьян, населяющих залив Золотой Раковины. Дело в том, что эти двуколки великолепно размалеваны: сюжетами легенд, рыцарских турниров, историческими сценками, картинками войны, драматическими эпизодами современной жизни; и все это изображено с готической примитивностью, пожалуй, в манере фигур на старых картах; точно так же расписан потолок в Трибунале, если не ошибаюсь, относящийся к XV веку. Первую двуколку я вознамерился было тотчас купить: она показалась мне настоящим музейным экспонатом. Но за два дня я перевидал их несколько тысяч, и среди них попадались настоящие чудеса полихромии. Если где и живет народное искусство полной жизнью, так именно здесь.

А теперь — Монреале, чудо, богатейший ковчег романского искусства; это — собор, от потолка до пола выложенный золотыми мозаиками; они, правда, не достигают благородной красоты равеннских мозаик, — которые, к слову, старше на несколько столетий, — но могут считаться превосходнейшей, монументальнейшей сокровищницей романского декоративного искусства, так же, как и Капелла Палатина здесь, в Палермо, вызывающая головокружение, так же, как галерея с крестовыми сводами в Монреале, где вы можете сойти с ума от примерно трехсот фигурных колонн, причем каждая капитель оригинальна и представляет собой запутанный клубок орнамента и легендарных сцен, животных, мусийных работ — и, наконец, так же,

как орнаменты, и полы, и фризы, здесь в Монреале, превосходящие все, что я до сей поры представлял о возможностях чисто геометрической орнаментики. И затем — сам Монреале, странный город, прилепившийся на склоне горы посреди древовидных кактусов, пальм, смоковниц и не знаю каких еще удивительнейших деревьев, город, изобилующий испанскими и сарацинскими решетками, город мягкого, необычайно живописного барокко, грязного белья, осликов, детей, поросят, фронтонов в народном духе, прекрасных видов, простирающихся до самых Липарских островов, — первый город, в котором у меня в буквальном смысле слова разбегались глаза.

И — опять нечто совсем иное: садик, окруженный старой полуразвалившейся галереей с крестовыми сводами в Сан-Джованни-дельи-Эремити. Сама церквушка — старинная мечеть с мавританскими куполами; и на крошечном клочке земли, окруженном мавританскими стрельчатыми арками, выросло и расцвело все, что сумасшедшее щедрое небо даровало Золотой Раковине, палермскому заливу. Несколько апельсиновых и лимонных деревьев сгибаются иод бременем зрелых плодов — и одновременно цветут; финиковая пальма, осыпавшиеся розы, кусты, несущие литрового объема трубчатые соцветия, растительность, незнакомая мне, заросли цветов с дурманящим ароматом. На невероятно синем небе вырисовываются пять алых сарацинских куполов, похожих на гигантские глобусы. Мой бог, этот уголок земли был все же, пожалуй, самым прекрасным из всего, что я видел.

В Монреале есть чудесные мозаики о сотворении мира; сам Микеланджело в Сикстинской капелле не постиг с такой глубиной сотворение света, и вод, и суши, и небесных тел, а главное — он забыл или не сумел показать, как бог в день седьмый «увидел, что это — хорошо», и предался отдыху. Бог в Монреале отдыхает, погруженный в мечты, как хозяин после трудового дня, сложив руки на коленях. Впрочем, и сам творец забыл кое-что: он, правда, велел Адаму назвать именами всех зверей и тварей водяных, но не велел ему дать имя всем запахам. Вот почему язык человеческий не в силах выразить все ароматы и оттенки смрада. Смешайте запахи жасмина, гнилой рыбы, козьего сыра, прогорклого растительного масла, испарений человеческих тел, дыхание моря, эфирных масел от апельсинов, кошек — и вы получите вдесятеро слабейшее

представление о том, чем пахнет портовая улица. Да не забудьте еще детские пеленки, гниющие овощи, козий помет, табак, пыль, древесный уголь и помаду. Добавьте сюда запахи прели, помоев, мокрого белья, пригоревшего масла. Но и этого будет мало. Это просто невыразимо.

Невыразимы красоты и странности мира.

От Палермо до Таормины

Оплатите мне звонким золотом эти строки — не потому, что они отличаются какой-нибудь особенной красотой, а потому, что самому мне пришлось дорого за них заплатить. Но даже если считать по десять сантимов за каждую звездочку и по сантиму за каждый шумный вздох моря, по десять лир за красный огонек на вершине Этны и за бальзамический воздух по пол-лиры в час, — как видите, я не ставлю в счет ни бликов на море, ни пальм, ни старого замка, ни даже греческого амфитеатра, потому что ночью ему нечем привлекать взоры, — то все равно заплатить за это стоит, и да будет благословен господь за то, что он привел меня в эти края.

Своей волшебной властью он провел меня из Палермо сначала через всю Сицилию, мимо множества голых, странных и грустных холмов, аллеями кактусов, через серные рудники — в Джирдженти, то есть в небольшое местечко на холме, недалеко от которого — целая колония греческих храмов. Эти храмы были выстроены в дорическом стиле, и следовательно — очень красивы. В тот день как раз был праздник вознесения, и местный люд со всех окрестностей съезжался к этим **, наиболее сохранившимся памятникам древнегреческой культуры; люди пили и ели и рассказывали детям, что вот это, мол, греческие храмы; другие же с важным видом измеряли складными метрами поперечники колонн и каменных плит и вообще явно гордились упомянутыми храмами. Случилось так, что на обратном пути ко мне присоединился джирджентский юноша; он заговорил со мной на каком-то наречии, которое, вероятно, считал французским языком. Потом, уж не знаю, как это получилось, я вдруг оказался окруженным двенадцатью девушками, очень красивыми, а сзади них тянулась стайка славных парней; шествие это завершало стадо коз, покрытых белой шелковой шерс-

тью и с кручеными рожками. Так шел я в золотой закатной пыли, попеременно говоря то по-чешски, то по-итальянски, то по-французски, похожий на предводителя какой-то вакхической процессии; встречные, ехавшие на ослах или мулах, снимали перед нами шляпы и долго еще смотрели нам вслед. До конца своих дней не пойму я смысла этого античного эпизода.

После этого бог водил меня весьма сложными путями от берегов Африканского моря к берегам моря Ионического. Вдоль дороги — снова холмы, холмы зеленые или белые, гребенчатые, холмы серные или изрытые пещерами, как сыр, и странные города, вскарабкавшиеся на самые верхушки высоченных гор, — как Enna inexpugnabilis [1], она же Кастроджованни, торчащая в облаках над крошечным вокзальчиком, скорчившимся у самого входа в туннель; потом над зреющими хлебами выплывает снежная вершина Этны и снова исчезает в облаках, потом пошли малярийные болота и синее море, и вот уже — Сиракузы, город на острове, кусочек древних Сиракуз. Ведь древние Сиракузы стояли на суше и имели огромные размеры; там был театр, амфитеатр и прославленные каменоломни, а ко всему этому еще христиане нарыли гигантские катакомбы. Сиракузские каменоломни называются латомии и очень красивы: это — растительный рай, окруженный скалистыми стенами; единственный вход стережет кустод, которому платят за это. Потому-то тиран Дионисий содержал в латомиях своих пленников. Сиракузские крестьяне тоже разрисовывают свои повозки, только историческим сюжетам они предпочитают картинки из жизни знати; некоторые из этих повозок очаровательны.

Может показаться, что я мало говорю об античных памятниках. Я мог бы, конечно, написать о них больше: в путеводителе указано все — и к какому веку они относятся, и толщина колонн, и их количество. Но душа моя, видимо, слишком неисторична; лучшие мои впечатления об античности относятся скорее к явлениям природы — например, золотой закат в золотистых джирджентских храмах, или белый полуденный зной в греческом амфитеатре, по сиденьям которого бегают прелестные зеленые ящерицы; или одинокий благородный лавр у поверженной колонны, огромный черный уж во дворе дома трагического

[1] Энна непобедимая (*лат.*).

поэта в Помпее, запах мяты и бегонии — ах, самое прекрасное, самое безграничное в мире — это не вещи, а минуты, мгновения, неуловимые секунды.

А потом — Таормина, земной рай над шумящим морем, остров благоуханий и цветов между скалами, огоньки у моря, багровое зарево над Этной... Нет, теперь думай о родине; и пусть все здесь будет стократ прекраснее — думай о родине, о стране текучих вод и шумящих лесов, о стране скромного и интимного очарования.

Ибо не можешь ты заблудиться, если обратишься лицом к родине.

В руцех божьих

Всегда говорят: если вы куда-нибудь собираетесь поехать, выучите тамошний язык, чтобы лучше проникнуть в душу народа, и всякое такое. Что ж, вы действительно проникнете в таком случае в душу народа, но примерно в такой же степени, как если бы вы отправились в Новый Быджов, вы поймете все глупости, которые люди говорят друг другу, и будете задавать им ненужные вопросы, например, — как называется вон та гора или на сколько минут опаздывает поезд.

Я странствую по земле Италии, не обремененный подобными интересами; моих способностей и моего времени хватило только на то, чтобы выучить по-итальянски числительные (да и то самые простые); однако и это знание временами доставляет мне досаду, ибо разрушает сладостное чувство: предаться воле божьей. Конечно, в международных отелях вы договоритесь обо всем по-французски; но существуют места, интереснее всех отелей мира, вместе взятых, и там уже — конец космополитическому Вавилону, там ты уже не можешь ни расспрашивать, ни объясняться, ни требовать чего-либо от кого бы то ни было; здесь ты уже только надеешься, что люди накормят и напоят тебя, постелят тебе на ночь и куда-нибудь довезут — как и куда, это уж полностью в их власти, не в твоей; но ты вверяешь им себя, подобно бессловесной и беспомощной твари, неспособной самостоятельно выбирать, защищаться и браниться. И что же — они дают тебе есть и пить, заботятся о тебе, укладывают на покой; ты же принимаешь все это с тысячекратно большей благодарностью,

чем если бы отдавал им властные и пространные распоряжения.

Ты странствуешь с простотой святого Франциска. А так как языка ты не знаешь, то ничего не можешь требовать от людей. Да, требовать как можно меньше — вот подлинное смирение и покорность жизни; не желать ничего, кроме еды и ложа, принимать все, что тебе дают, и верить, что все относятся к тебе хорошо, — вот скромная беззаботность, порождающая в тебе целый ряд добродетелей. Ты скромен и благодарен, нетребователен и тих, доволен и доверчив; куда девалась вся твоя надменность, кичливость, нетерпение, сложная, эгоистичная разборчивость! Ты во власти других людей, а следовательно — в руцех божьих. Ты не можешь спросить — идет ли этот поезд до Кальдаро, или только до Ксирби, или до самой Бикокки, потому что не знаешь, как это сказать. И ты садишься, полагаясь на то, что «они» знают все это лучше тебя и привезут тебя в края прекрасные и нужные тебе. Ты не выбираешь ни еды, ни ложа: принимаешь, что дают, — и вот, оказывается, тебе дают лучшее из того, что имеют. Ты хочешь заплатить; они называют какую то цифру, и ты не понял, сказали тебе «лира пятьдесят» или «пятьдесят лир»; тогда ты отдаешь им все свои деньги, чтобы они сами выбрали, что считают нужным. Они очень хорошие: выбирают себе только полторы лиры. Кроме одного извозчика в Посилипи, меня никто ни разу не обманул; но в тот единственный раз вокруг моего мошенника собрались местные жители из Баньоли и, по-видимому, набросились на него с упреками, видя, что сам я совершенно не в состоянии его обругать.

Иногда возникают сложные ситуации: например, где-нибудь в Салерно хочешь узнать, есть ли сегодня пароход. Официант кафе не мог разобрать моего вопроса; тогда он созвал народ с улицы, народ расселся вокруг меня, заказал cafe nero * и принялся обсуждать — чего я могу хотеть. Я сказал им, что хочу в Неаполь; они закивали головами, посоветовались, потом все скопом отвели меня к поезду, где мне пришлось на память раздать им мои визитные карточки. Иной раз мне покровительствовали, словно маленькому мальчику, — как это сделала одна старушка в Сиене, — и разговаривали со мной, будто

[1] черный кофе (*итал.*).

с ребенком, в неопределенных формах глагола, с пояснительными жестами. Мое отношение к ним очень хорошее: я никогда им не возражаю, а они мне.

И прошу вас, поверьте мне: обладая хоть немного простотой и терпением, можно обойти весь мир. В общем и целом — за очень небольшим исключением — людям можно доверять; ничто так не укрепляет оптимизм, как этот вывод. Если бы я знал итальянский язык, я лишил бы себя радости понять это; и я даже увидел бы меньше, потому что меньше блуждал бы и не попадал в такие места, о которых ни слова не говорит Бедекер. Ты садишься в трамвай, а он, оказывается, едет в противоположную сторону; и, вместо того чтобы очутиться в каком-нибудь дурацком парке с великолепным видом на **, ты оказываешься в фабричном квартале и бродишь в невыразимой грязи какой-нибудь Аренеллы, пораженный гораздо больше, чем если бы ты любовался тропической растительностью палермских садов. И блуждать, и быть немым, и быть беспомощным, предавшись в руки божьи, — это великое наслажденье и громадная польза.

Подземные города

Я имею в виду два рода подземных городов: засыпанные города людей, живших когда-то на поверхности земли, и подземные некрополи мертвых. Помпея, Палатин, Остия, и — катакомбы в Риме, в Неаполе или в Сицилии. Вулканический пепел покрыл Помпею пятиметровым слоем; не знаю, что засыпало Остию трехметровым наносом красивой коричневой глины; Палатин засыпал сам себя, собственной массой кирпичей. Авентинский холм до сих пор спит, а под ним, наверное, скрывается тоже такой подземный город. Почти везде, где бы вы ни копнули заступом, найдете обломки стен, арки, фундаменты из больших каменных плит. Потом это называют термами, или дворцом, или театром того или иного цезаря, и люди ходят смотреть развалины. Одни развалины чрезвычайно обширны, другие походят на наши погреба; Помпея и Остия покажут вам довольно светлую страничку из истории античного жилья — красивые дома, атриумы с бассейнами, южную прелесть солнца, воздуха и воды; в Остии вы найдете превосходные мозаичные полы, в Помпее —

несколько фресок, любопытных и очаровательных, и всюду — колонны, капители, фрагменты скульптур, прекрасные резные карнизы — все как бессвязные слова или отдельные стихотворные строки, вырванные из мраморной искристой речи античных форм. В целом же эти города, эти улицы, эти внешние неприглядные дома были столь же тесны и нечисты, как нынешние, столь же полны крика, блох, мокрого белья, кошек и коз, смрада и мусора, как и любая неизвестная улочка у Тибра. А в центре этого шумного, тесного, душного муравейника располагался роскошный форум, театр, базилика, храмы, роскошные бани, триумфальные арки, дворцовые казармы и прочие императорские владения, пышные здания и монументы, такие же, какие через тысячу лет воздвигали другие императоры и папы в честь других богов или других династий.

Мир меняется не очень сильно; кое в чем античность конечно, обогнала нашу цивилизацию, — например, в том, что строила улицы неумолимо под прямым углом, совсем, как нынешний Чикаго, или в том, что придумала стандартизацию в жилищном строительстве, как в нынешней Америке. Изобретательностью здесь не могли похвалиться. Можно даже сказать, что латинский дух был необычно прямолинейным и деловитым, он увлекался роскошью в частной жизни — хотя и весьма ремесленной роскошью — и в еще большей мере парадностью общественных мест; это — дух весьма мало творческий, со вкусом грубым и стандартным, склонный к барочному размаху и перенасыщенности, дух скорее количественный, чем качественный, в художественном отношении мало выдающийся. И вот для этого сухого, гордого латинянина эллинские греки, то есть ремесленники повыше рангом, с помощью долота выполняли в самом искристом мраморе свои невероятные фокусы; они тесали все живописнее, свободнее, барочнее, словно материя совсем перестала им сопротивляться; но скучающий латинянин, не насытившийся ни колоссальными изваяниями цезарей, ни нежнейшими, воздушными эллинскими барельефами, начинает покупать строгие, застывшие египетские скульптуры и молиться в странных часовнях культа Митры. Посмотрите в римских музеях — какую уйму египетской пластики навезли древние римляне!

И вот в этот римский мир вторгается христианство и какой-то поразительной силой ломает его традиции.

Сначала христианство зарывается под землю, выдалбливая катакомбы; легенды рассказывают, что это было результатом преследования христиан — но я еще ни разу в жизни не читал о преследовании христиан, например, в сицилийских Сиракузах, а ведь там — крупнейшие катакомбы. Скорее мы имеем тут дело с какой-то гораздо более древней, доисторической подземной традицией; по крайней мере, в Сицилии есть гигантские пещерные некрополи сикулийских времен, некрополи, превратившие целые горные цепи в наслоения сплошных пещер. А взглянем на катакомбы Каллисты или у Санта-Агнеса-фуори: это вовсе не подземные убежища скрывающегося человека, — это сложное сооружение, создание кротовьего инстинкта; старинные же церкви запускают свои корни под землю хотя бы в виде своих склепов. Ведь еще кабильские мифы рассказывают, что праотец и праматерь человечьего племени вышли из подземелья. Правда, христианское искусство в истоках своих брало за основу ремесленный латинский стиль; но последний тотчас же «испортился», упростился, обрел священную неподвижность, тектоническое членение, строгую пластическую чистоту — так что переход от латинского искусства к раннехристианскому носит на себе все признаки скорее перелома, чем эволюции. Казалось, на арену выступил новый элемент не только культурный, не только социальный, но даже этнический; словно снова подал голос древний народный дух, которого не сумела ассимилировать сухая латинская цивилизация. Я сказал бы, что с приходом христианства ожили какие-то подземные морлоки, о которых писал Уэллс: народ, принесший из своего подземелья чары теней, замкнутых, молчаливых пространств, строгой интимности, застывших форм. Христианство дало им содержание и образные представления, огрубевшая античность — элементы форм, и этот примитивный, не исчерпанный еще народный дух, которому нечего было сказать в латинском мире, теперь наконец заговорил, начал творить, петь; из камешков он складывает святые, прелестные мозаики, представляющие собой искусство сумерек, сужает римскую базилику, превращая ее в замкнутый неф, быстро находит свой скульптурный стиль и при первой же возможности протягивает руку северным варварам, перенимая от них романскую архитектуру.

Простите меня — я не специалист и потому пишу это как роман; быть может, все это — бессмыслица, с профес-

сиональной точки зрения, или вещи, давно всем известные. Но я должен увязать одно с другим — все, что видел; переворот, который принесло с собой христианство в римский мир, беспокоит и задевает меня, как, пожалуй, ни одно романтическое явление под солнцем. Незнание не составляет греха.

Античность

Есть люди, имеющие отношение к античности (а некоторые даже и связь с нею), и есть другие, которые эти отношения только еще завязывают. Во втором случае происходит примерно следующее: попав впервые на крупный склад античных древностей, например, в ватиканский, термсский или неаполитанский музей, эти люди сначала благоговейно простаивают перед каждой скульптурой и восхищенно шепчут про себя какие-нибудь классические цитаты, например: «Caesar pontem fieri iussit!» [1] После первого получаса они незаметно ускоряют шаг. Через час проходят по следующим залам уже бодрым маршем. А еще через пятнадцать минут жалеют, что у них нет велосипеда.

Вторая фаза начинается, когда путешественник видит разом девять голов Сократа, выстроенных на стеллаже рядком, как банки с вареньем, семь Гомеров, тринадцать Адрианов и двадцатую Венеру в манере Праксителя; тогда он начинает понимать, что нужно уметь отличать каменотесные работы от ваяния. Осмотрев же все, он приходит к заключительному убеждению, что никакой античности вообще не существует, есть только слово, обозначающее такие разнородные предметы, как, например, творения Чимабуэ и Лангханса. По крайней мере, такое же резкое различие существует между Селинунтскими метопами в Палермо и каким-нибудь портретом Каракаллы.

Так вот, прежде всего существенно отличается скульптура греческая от римской, причем слово «греческая» не означает ровно ничего, потому что просто невозможно обозначить одним словом архаического Аполлона и пергамское барокко. Если кто скажет, что преклоняется перед античностью, — тот тем самым обнаружит, что видел

---

[1] Цезарь приказал: «Да будет мост!» (*лат.*).

только камни, а не скульптуру. Невозможно все это охватить одним вкусом; вы должны выбрать свое, а к остальному сохранить, по крайней мере, вежливое отношение. И если все это сделано из мрамора, это еще не означает, что все это — однородное.

Когда же путешественник убедится, что нет никакой античности как целого, он узнает взамен о существовании неисчислимого количества других, чрезвычайно интересных явлений. 1. Прежде всего существуют архаические местные искусства, и на первом месте — искусство этрусское, сильное и неуклюжее, затем — сикулийское искусство, от которого остались очень милые наивные урночки, этакие домики из глины с идиллическими барельефами, далее — подлинно дорическое искусство сицилийских колонистов: воспевать его мне, пожалуй, не надо. 2. Кроме того, существует греческий импорт, у которого столько же общего с собственно Италией, как и с Кенсингтонским музеем; римляне ввозили к себе скульптуры и скульпторов. Скульптуры сохранялись в своей первоначальной красоте, большинство же скульпторов портилось. Тут вы найдете аттический стиль, и аргивянский, и родосский, и пергамский, и эллинистический и прочие, найдете превосходные произведения, и копии, и обломки, за которые я отдал бы целого Лаокоона с умирающим галлом и Фарнезским быком, да еще дал бы в придачу все, что имею и что сумел бы одолжить у других. 3. Потом тут широко распространились местные греко-римские работы по камню в крупном масштабе, но тогда уж за дело активно принялись римляне или еще какая-то нация, и они трудились над камнем так, что пыль столбом стояла; и выходили из-под их резца дюжины одинаковых уродливых фигур; это было оптовое производство, конвейер, ремесло, виртуозность, физическая сила, реализм и барокко, но встречались (обычно в лапидариях) маленькие фигурки, от которых веяло народной свежестью, простотой, деревней с ее садами, оливами, шалфеем и родниками. 4. Потом началось собственно римское ваяние, грубое, натуралистическое, портретное и трезвое: цезари, борцы, матроны и хищные звери, бронза, цветной мрамор, цирки, политика и будничная действительность; искусство материалистическое, солидное, строгое, перезрелое и иссыхающее. 5. И во всю эту смесь то тут, то там врывается какая-нибудь новая струя: например, когда возникает возможность

расписать стены картинками в красках, тогда совсем другие руки, не те, что привыкли держать долото, а руки не сильные, мягкие, нежные наносят легонькие фресочки на стены Помпеи, изображения хрупких, как грезы, сооружений, трепетно-тонкие пейзажи и фигурки, легкие, как мотыльки; или наоборот, вдруг, не знаю какой фракиец или варвар создаст исполинскую грубость Каракалловых мозаик, вылепив страшные горы мускулов и чубатые, похожие на репу, головы heavy-weights [1] римского цирка — произведения тупые и громоздкие, и все же своим тяжелым языком форм указывающие путь будущим христианским мозаикам. Но даже сами римские саркофаги, эти слоновьи кади, перегруженные густыми гроздьями тяжеловесных и глубоких барельефов, свидетельствуют о том, как мало эллинского сока проникло сквозь римскую скорлупу. Взгляните на барельефы арок Сев*е*ра или Константина: это просто какой-то атавизм тяжеловесности, тут уж совсем исчезает импортированный нанос эллинистической культуры. Еще несколько шагов, и мы в Латеранском музее; искусство полуварварское переходит в христианский примитивизм.

Так, вместо античности, путешественник найдет следы всевозможных наций, вместо универсальной красоты — стихийные и подсознательные племенные влияния. Скажу вам, даже ради этого вывода стоило сюда ехать; конечно стоило, ибо в нем — свидетельство величайшей силы этнической. Народ, что бы он ни свершал, все равно рано или поздно, невольно и инстинктивно возвращается сам к себе и перерождается в себе самом.

И тогда мы видим: удивительно и могуче искусство.

Из Рима

Честное слово, я не пропустил ни одного прославленного памятника или арки, не миновал ни одного музея, или термы, или мавзолея, но расскажу вам о более скромных местах; такова уж моя мания, когда я странствую; и если бы мне захотелось сидеть, ни на что не глядя, то мне лучше сидеть бы у св. Лаврентия — это такой маленький фонтанчик, — чем в тени Колизея, где встрепанный

---

[1] борцов (*англ.*).

гид объясняет непромокаемым англичанкам, откуда на арену вытекала вода и через какие входы впускали исторических львов.

Я уже писал как-то о Сан-Пракседе и Сан-Пуденциане: теперь я еще раз вспоминаю вас, золотые мозаики, ибо нашел еще более прекрасные и святые у праведников Космы и Дамиана, куда никто не ходит и где не было ничего, только на органе играли чьи-то невидимые руки; двенадцать овечек, и среди них тринадцатая — это Христос; овечка на книге за семью печатями — он же; и еще раз он, во всей славе небесной: ибо в те времена, по-видимому, еще не знали изображения креста с мертвым и страшным Христом. А праведники — худые, с нежными руками и невероятно огромными, серьезными глазами; святые Петр и Павел ведут их к Христу, а он встречает их таким же глубоким и грустным взглядом. Не знаю, что сказать вам о св. Марии-ин-Трастевере, потому что, попав в Трастевере, я все свое внимание обратил на местный люд. Трастевере — нечто вроде римской Малой Стр*а*ны, мир маленьких людей, маленьких площадей и маленьких детишек; люди степенно сидят у ворот, об их колени почесываются романские овечки со сладкими глазами. Санта-Агнесса-фуори слишком далеко отсюда: там — катакомбы, мозаики и античные колонны, но прекраснее всего — сам внутренний простор ее, стены с колоннами, пилястрами и окнами под самым потолком; я нахожу такое расположение красивым и мудрым. Кроме того, там есть ротонда Санта-Констанца с чудесными мозаиками на белом фоне, изображающими ангелочков, которые собирают, свозят и давят голубой виноград. Выполнены эти мозаики еще совсем в римской традиции, но в то же время сделаны они так же по-детски, с той же наивной строгостью, как и первые христианские скульптуры, у которых почти одни только глаза говорят о новой вере человеческой.

Но если ваша душа полна грусти и задумчивости, если день полон золотого сияния, если вам уже все стало безразлично и вы просто хотите отдаться мгновению или судьбе — идите в Сан-Лоренцо-фуори. Не потому, что там есть красивый и даже двойной храм, слепленный из прелестнейших греческих карнизов и колонн, а потому, что есть там монастырский амбит, крошечный романский амбит с садиком и фонтанчиком. Престарелый халтурщик тщательно выписывает там акварелью убогий рисуночек,

какой-то монашек ковыряет пальцем в грядках, разговаривая сам с собой, как журчащий фонтанчик, и это — всё. Стены обложены плитами из катакомб: фрагмент барельефа, детское изображение рыбы или барашка, а главное — масса надгробных надписей.

URSUS VIXIT AN XXXXI

Какой-то Урсус прожил сорок один год; а ты — ты прожил пока только тридцать три.

IRENE IN PACE.
LAVRITIO CONG RENE MERENTI UXOR [1]

Это велела высечь на камне супруга заслуженного Лавриция. «Bene merens», — вот и вся похвала: он был добрый и заслуженный, можно ли требовать от человека большего? И ты будь bene merens.

CHERENNIUS VETERANUS [2]

Этот, вероятно, жил очень долго и умер одиноким, ибо никто не посвятил ему никаких изречений. На других плитах высечено просто «дети и вольноотпущенники». Вот он, конец античного великолепия: место цезарей и богов занимают эти «bene merentes», эти пекари, лавочники, мясники, завещая вечности свои имена, неуклюже врезанные в каменные плиты. Лавриций не был ни цезарем, ни героем, ни консулом: он был просто «bene merens». И только христианская простота сохранила его заслуженное и скромное имя на веки вечные. И знаете ли, скорее именно в этом усматриваю я весь смысл христианства, а не в языческом величии собора св. Петра. И потому так хорошо на душе, когда ты бродишь в красных амбитах монастыря у Сан-Лоренцо.

Сладостная Умбрия

Я приехал сюда не ради святого Франциска — ради святого Джотто; и вот очутился я в краю, что пригожее всех, в городках самых чистых и милых. О Вифлеем, зовешься ли ты Спелло или Треви — а может быть, Спо-

[1] Почившему в мире доброму и заслуженному Лаврицию — жена (*лат.*).
[2] Херениус, старый солдат (*лат.*).

лето или Нарни? Благословенны эти холмы, говорю я, на каждом из вас было бы и богу приятно родиться. И это я назвал еще не все города и не знаю даже, как зовутся деревни и хутора и крепостцы на вершинах пологих гор. Умбрийский бог сотворил равнину, чтобы росли на ней виноградные лозы и тополя, и холмы, чтобы их покрыли кудрявые рощи, кипарисы и уединенные человеческие гнезда, и горы, — чтобы там поднялись города с этрусскими стенами, готическими домами и великолепным римско-романским замком. У бога умбрийского нашлась восхитительная синяя краска для небосвода, и еще более чудесный цвет, которым он расписал дали и горы. Вот почему Умбрия такая чарующе синяя, самая синяя и голубая из всех краев,

Ассизы, тишина, синь небесная! Несомненно, великий, святой праздник — увидеть, как восславил Джотто святого Франциска, которого он, видимо, очень любил, ибо написал о нем мудрые, милые сердцу, бесконечно умиротворенные картины. Ах, зачем, помимо них, околдовал меня дикий, грандиозный Чимабуэ; и, раз уж околдовал он меня, — зачем остался так таинственно, неразрешимо окутан плащом разрушения, которым покрыты его удивительные фрески! Трудно мне было в Сан-Франческо вести борьбу между светлым Джотто и Чимабуэ Удивительным; но едва я выбрался из церковной сени, как тотчас потерялся: был поглощен светом; подавлен синью; ослеплен, оглушен тишиной; заворожен видами. Представьте себе Вифлеем в полуденном зное: каменные кубики неоштукатуренных домов, готические стрельчатые окна, арки, аркады от дома к дому, а между ними проглядывает синяя глубь земли и неба. В глубокой тени коридоров сидят женщины с шитьем, работают «bene merentes»; это — как картины Джотто. И все, вместе взятое, — XIV век; и чисто, словно землю вымели широкими подолами и пальмовыми листьями. Справа и слева вместо улиц — лестницы, и над каждой из них — арки и своды, и отовсюду вы можете заглянуть прямо в окна господа бога или вниз, на прелестную умбрийскую равнину, густо усеянную деревцами, аллеями, белыми кубиками домов, подернутую синью. Так скорей, скорей прочь отсюда! — чтобы остались эти видения летучим сном, длящимся мгновение.

Но куда бежал ты? Ведь и Перуджа — сон, греза, Вифлеем на голубой земле, под голубым небом; Вифлеем

несколько больших размеров, городок дворцов и домов, похожих на крепости, этрусских ворот и восхитительных панорам. Боже, как садится здесь солнце за синие волны гор! И как слепит оно путника, направляющегося к очаровательному ораторию Дуччо! Тебе не нравились Перуджино и Пинтуриккьо: их красота казалась тебе слишком сладкой и мечтательной, теперь ты видишь — ведь это подлинная сладость их мирного, негероического края, их ласковых холмов, края, самого зеленого и самого голубого во всей Италии, этих пологих, мягких земляных волн. Перуджино и Пинтуриккьо были умбрийцы, а ты — другого рода, и земля твоя тяжелее — вспомни только свой край. Господи, мир прекрасен тысячами образов, но умбрийской земле дарована особая милость. Что ж, да пребудет она с нею, а теперь — дальше, дальше!

Но я должен еще остановиться в Ареццо, чтобы порадоваться фрескам нежного и строгого Пьеро делла Франческа. Говорю вам — это дух светский, но исполненный благородной сдержанности: даже его сражающиеся оруженосцы рубятся с тихим выражением строгой задумчивости. Но его царица Савская с придворными дамами, его дева Мария с ангелом — это нежные, целомудренные кастелянши с высокими, бледными лбами, изящными, грациозными движениями и поразительным благородством. И какая-то томительная нега окутывает эти строгие, несколько суховатые, особенно дорогие мне творения.

Чтобы вознаградить меня за то, что я отважился посетить его в грозный зной предгрозового солнца, Ареццо показал мне еще несколько церквей, почти не задетых страшной волной католического барокко; показал он мне и свою античную достопримечательность в маленьком музее: весьма безнравственные сценки, выгравированные внутри светлых сосудов. Какое назначение имели эти сосуды — не знаю. Но и сегодня еще хороши эти девушки с глазами ящериц.

Тоскана

Лей, дождь, небесная влага, освежи мое северное сердце, чудесная прохлада. Ибо так хорошо отдыхать мне.

Где бы ни странствовал я по итальянской земле, всюду с особой тщательностью разыскивал я этрусские памят-

ники; ибо этрусский народ как-то беспокоит меня. Это были коренастые люди с толстыми шеями и воловьими взглядами; они делали черные вазы несколько тяжелой формы и странные надгробия: усопшие изображены на них в какой-то улиточьей позе. Наверное, этруски были очень спокойны и добры; а меня интригует, почему на христианские надгробия позднее возвращается этот низкорослый, толстошеий тип с квадратной головой и крепкими, короткими руками и ногами. В те времена Тоскана была, наверное, печальной и строгой страной, такой же примерно, как нынешняя Сицилия. Зато теперь — скорее сюда, все слова, обозначающие нечто милое, приятное, благодарное, прелестное, очаровательное, восхитительное, прекрасное и чарующее! Буркхардт говорит, что Тоскана создала Ранний Ренессанс. Я же думаю — Ранний Ренессанс создал Тоскану: на заднем плане синие и золотые горы, перед ними — холмы, сотворенные для того лишь, чтобы на каждом вознесся замок, крепость или бастион, склоны, поросшие кипарисами, рощицы пиний, рощицы дубков, рощицы акаций, гирлянды виноградников, сочный голубоватый орнамент, словно из-под резца Роббиа, синие и зеленые, бурные и ласковые речки: все точно так, как писал Фра Анджелико, Фра Липпи, и Гирландайо, и Боттичелли, и Пьеро ди Козимо, и прочие; и поверьте мне, это они придали тосканской земле сладостную полноту, нежную и живописную, они превратили ее в книгу картинок, чтобы мы могли листать ее с радостью, с улыбкой, с ясным взором... пока нас не поразит нечто совсем иное: Донателло, Мазаччо, загадочная и угрюмая, строгая и глубокая человечность. И тут уж речь ведет не тосканский край — тут уж говорит человек.

И все же эта прелестная флорентийская Тоскана долго и упорно воевала со всеми соседями: с Ареццо, Сиеной и Пизой, что и привело меня счастливым образом в Пизу. Пиза — в общем, довольно приятный город; много веков тому назад она была портом, вследствие чего до сих пор смердит. Я еще в Палермо размышлял о характере и сложности портового запаха. Кажется, тогда я забыл перечислить такие важные элементы его, как моча, рыбьи внутренности, все то, что валяется вокруг домишек, и разные тайны южной кухни, которые я не отваживаюсь, анализировать ближе. В остальном Пиза славится своей падающей башней; впрочем, здесь есть еще одна такая

же, у Сан-Никколо. Величайшая слава и особенность Пизы — ее красивые здания с колоннами, этакая счастливая склонность к легким аркадам, покрывающим все стены своим приветливым ритмом. Но и внутри зданий пизанцы никак не могли насытиться колоннами и пилястрами, и в соборе своем они возвели пять нефов, а вверху еще — галерею с аркадами, и все это красиво расписано полосами, на радость взорам. Но самая главная достопримечательность Пизы — это ее скульптура, и я признаюсь, что совсем обалдел от Джованни Пизано. Вы, историки, можете предпочитать Никколо Пизано, который воскресил античных муз; я лично глаз не мог оторвать от страстного, сурового Джованни, напоминающего мне Донателло, от Джованни, все внимание которого приковано к человеческой природе, включая сюда ее боль и уродство. Если же я захочу отдохнуть от этого потрясающего зрелища, пойду к Бонанно, сяду у церковного входа и буду смотреть на его святые барельефы, исполненные христианского духа и умиротворенности, как вряд ли что другое на свете. (Чтобы вы не говорили, будто я одержим христианством, скажу вам и о другом: здесь, в Пизе, у св. Стефана, хранятся мусульманские стяги, трофеи войн против неверных собак. И есть среди них три или четыре такой изумительной красоты, что, глядя на них, я забыл половину знаменитейших картин, которые решил не забывать никогда.)

Есть в Пизе еще Кампо-Санто, кладбище, сплошь расписанное старинными фресками, прелестными и поучительными. На одной из них изображено, как ангелы вынимают души из тел умерших; души — хорошо откормленные, настоящие здоровяки, и умершим приходится устрашающим образом раскрывать рты, чтобы душа могла протиснуться. Много здесь еще интересного; но Джованни Пизано произвел на меня самое неотразимое впечатление.

Генуя и Милан

По различным сведениям, так называемая Ривьера-ди-Леванте — прекрасный край, знаменитое побережье моря, о чем свидетельствуют, например, названия Рапалло, Сестри, Портофино, Нерви и так далее. Я не могу составить себе об этом суждения, ибо поезд мчится через эту

райскую страну исключительно под землей, сплошными туннелями, до самой Генуи. В Генуе я наконец выбрался на поверхность и нашел, к своему удивлению, весьма гористую местность, что придает генуэзским улицам довольно капризный характер: вы спускаетесь вниз, под горку, в надежде выйти к морю, и вдруг натыкаетесь на «salita» [1], карабкающуюся на загадочную высоту. Потому и здесь на улицах — сплошь ступени, подъемники, канатные дороги, туннели и виадуки; кроме того — невероятное количество дворцов, у которых вместо дворов и садов — портики и лестницы, ведущие вверх и вниз, что и составляет достопримечательность Генуи; и, наконец, порт — порт грандиозный, кипучий, тесный, поразительный, вы не можете наглядеться на него ни с близкого расстояния, ни с головокружительной высоты Кастелаччо. Порт — как переполненный коровник, где железные и деревянные коровы стараются перемычать друг друга, пускают воду, пережевывают уголь и железо, теснятся, фыркают, переминаются, жрут и испражняются; коровы трансокеанские, черные и красные, готовые лопнуть от сытости; и большие красивые парусники, и пароходики, похожие на оводов, кружат вокруг этих исполинских животных, и пузатые баржи, смахивающие на спящих свиноматок, и комариные лодчонки, рыбацкие шлюпки, белые пакетботы, сверкающие медью трубы, мачты, рангоуты, непролазные заросли рей и такелажа, порт изобильный и примитивный, богатый и средневековый, как вся Италия. Так что простите мне, если я слишком мало расскажу вам о Генуе: я не мог оторваться от зрелища этого порта и знаю, кроме этого, только еще то, что здешние полицейские носят долгополые кафтаны и палки вместо полицейских дубинок, что Генуя известна в истории своей скверной репутацией и что вместо неба здесь только веревки с грязным бельем; улицы же настолько узки, что разносчику с корзиной на голове приходится криком предупреждать прохожих, чтобы они посторонились. Что же до мраморных дворцов, то, как бы они ни именовались — Дориа, Бальби или Камбиасо, — все они сегодня заняты под банки; не стану говорить, что я по этому поводу думаю, но это я замечал повсюду. Такой же удел ожидает, несомненно, и церкви; в боковых приделах будут сидеть

---

[1] крутую улицу (*итал.*).

кассиры и доверенные, в центральном алтаре — сам господин заместитель директора; главный директор, конечно, будет иметь свою резиденцию еще выше, одесную бога-отца всемогущего.

Видел я еще вавилонский столп, в котором на протяжении пяти веков смешивались языки: это Миланский собор. Издали он походит на исполинскую груду сурьмы, кристаллизующейся тонкими иглами, или на гигантский мраморный артишок; каждая игла — это башенка или ростра, а стоит разгрызть ее, и окажется, что внутри она полна скульптур и на верхушке ее — тоже скульптура, но это вы увидите, только влезши на крышу; одних наружных скульптур на Миланском соборе две тысячи триста, как сообщает Бедекер, весьма умеренный в цифрах; но мне кажется, он не считал фигур, изображенных на барельефах. Это — одно из величайших чудачеств, какие я когда-либо встречал, но и вас это здание ошеломит своей экстенсивной необузданностью; правда, ценного в этих скульптурах мало, опорные арки слишком неинтересны, иглы и башенки — бессмысленны, но всего этого здесь такое множество, что в конце концов совершенно опутывает себя своей фантастической, сумасбродной, белоснежно-призрачной невоздержанностью.

Но есть в Милане и тенистые, почтенные, приятные на вид храмы, например св. Амброджо или св. Лоренцо, где осталось еще многое от рыжих лангобардов; некоторые из этих церквей снизу доверху расписаны сладостным Луини, другие — в строгом красивом стиле Браманте, но все это не имеет ровно никакого отношения к современному Милану. Милан — самое населенное из итальянских княжеств — как будто изо всех сил стремится стать маленьким Лондоном. Поэтому здесь множество пролеток, автомобилей, проклятых велосипедов, шума, банков, газетчиков, трамваев, мраморных уборных, светящихся реклам, людей, нескончаемые потоки уличного движения, масса полицейских в черных касках, похожих на служащих похоронных бюро, магазинов, гудки, спешка и прочее; народ здесь — безбожный, он не соблюдает праздников и не придерживается других традиций, как-то: лаццаронство — нищенство и живописность, не спит на тротуарах, не вывешивает на улицах свое грязное белье, не лупит своих животных, не шьет сапоги посреди улиц, не

распевает баркаролы, короче, не совершает ничего живописного; и смотрите-ка, все же тут легче дышится, хотя здешний воздух отнюдь не пропитан славным прошлым.

Море

Адриатическое, Тирренское, Африканское, Ионическое, Лигурийское, синее, зеленое, стальное, перламутровое, золотое и черное; мертвое, дремлющее, шумящее, вспененное; не забывай ни одного из этих переменчивых ликов моря. Молчи, не пытайся словами описать игру волн; ты чуть не плакал на пляже в Римини, такая тоска вдруг объяла тебя — тоска по всему на свете, — когда волна за волной ложилась к ногам, расстилая перед тобой свою радужную пену — потом на песке оставались слизь и грязь, а ты собирал ракушки и вспоминал все, что есть и что было. В Сорренто вода — синее любой другой воды на свете, а море в Салерно пронзило глаза твои страшным блеском, мечом гигантским и пламенным; вода в Генуе пахнет бочками, а в Остии море испещрено белыми полосами, а переливчатое море там, на юге, у Джирдженти, — это действительно подлинное море Галатеи, ибо сам я видел там нечто исполненное чуда, только оно было слишком далеко. Мессинский пролив весь усеян огоньками по обоим берегам, а море у Аренеллы — это скалы, похожие на золотых и черных коров, входящих в воду, а под Таорминой берег изгибается такой дивной арабеской, что можно смотреть на нее часами и все же не постигнуть ее; есть еще другие места, названия которых ты уже забыл, и в памяти осталась только немилосердная синь, зной, душераздирающий ослиный рев, зреющие апельсины и быстрое мелькание ящериц; все это смешивается у тебя в единое, почти бессознательное впечатление, сдобренное запахами помета и мяты.

Но это еще не все: есть еще загорелые дочерна рыбаки, которые бредут по пояс в воде, вытаскивая сети; и другие, которые свертывают паруса черных шаланд и выносят корзины с рыбами; и третьи — ты видишь, как они режут горизонт светлым треугольничком косого паруса, и хочешь быть там, с ними. Потом есть пристани: от крупных портов, где шум и грохот, как на заводе, до рыбацких гаваней, где гнилая вода полощет косматые брюха парусников, —

такова прекрасная, но дурно пахнущая Кала в Палермо, — и кончая самыми крохотными, маленькими заливчиками среди утесов, где покачивается на волнах единственная лодчонка, навевая на тебя непонятную грусть.

Да прибавь к этому рыбу на базарах: сверкающие всеми цветами радуги рыбьи тела, серебряные сардинки, стопудовые морские быки, четвертованные в Палермо, отвратительные каракатицы, морская слизь и мокрота, которую едят в Неаполе, черные угри, и рыбы белые, как женские руки, рыбы золотые, синие и алые, и красивая до невозможности водяная нечисть, которой ты восхищался в неаполитанском аквариуме; шафранные морские анемоны, пляшущие вуалехвостки, бесплотные морские огурцы, подернутые радужным дыханием, Круксовы трубочки, сотканные из тумана, внутри которых пульсирует радужный ток, морские розы, похожие на собачьи зады, раки-отшельники, страшные драчуны, морские языки, описывающие изящнейшие кривые, чудовища и цветы — существа, спутывающие все твои представления о жизни.

Но самое прекрасное, самое удивительное из всего этого — вода, убегающая за кормой.

Верона

Теперь разрешите мне сразу сказать все дурное о земле Италии: здесь слишком жарко и все слишком дорого, здесь много жуликов и блох, страшный гвалт, сплошное барокко, бандиты-извозчики, малярия, землетрясения и беды еще похуже; обо всем этом я говорю из мести. Жалкая Мантуя, колыбель Вергилия, могила Мантеньи! Убогое гнездо, куда я направил свои стопы, чтобы взглянуть на фрески великого, строгого Мантеньи, моего любимца! Разве это человечно, разве это по-христиански — отказать мне в праве посещения моей заветной цели, Камера-дель-Спроси, и только на том основании, что в тот день был какой-то (я действительно не знаю, какой) национальный и патриотический праздник? О, непреклонный кустод, устоявший перед соблазнительным шелестом моих денежных знаков! Бессердечный direttore [1], который лишь

[1] директор (*итал.*).

пожал плечами с выражением бесконечного сожаления и не склонился даже перед моими угрозами! Нудная, мелкобуржуазная Мантуя, где трое мальчишек таскались со знаменем, оживляя собой самые противные из всех улиц мира! Слушай же, земля итальянская, ты, что на моем кратковременном пути осчастливила меня по меньшей мере шестью национальными праздниками, специально для того, чтобы отогнать меня от врат равеннских памятников, и от дверей умбрийской школы в Перудже, и от всех земных красот в Неаполе, — слушай, что я тебе скажу: излишество вредно; а Мантуя уж и вовсе исчерпала мое терпение. Пусть же отныне ни один иностранец не ступит в Мантую ни ногой! И к вашему сведению, у них там ко всему прочему — скверные постели, отвратительная еда и неприятный народ.

Отомстив таким образом Мантуе, я снова могу преклонить колени перед достойнейшим храмом св. Зенона в Вероне. Правда, главная гордость Вероны — Паоло Веронезе, римский амфитеатр, Мороне, Скалигеры и копченая колбаса; но для меня Верона — это только Сан-Дзено, лангобардский братец норманнского Монреале, братец-простачок, он старше и беднее, на его долю не досталось ни венца из золотых мозаик или ослепительного chiostro [1], ни поражающего обилия золотых и мозаичных орнаментов; есть у него только простые задумчивые линии амбитов, внутреннее пространство — достойное, великодушное — и в особенности двери: двери огромные, покрытые медными барельефами, двери, врезанные в портал с каменными барельефами. Говорят, эти каменные фигурки принадлежат резцу некиих Николауса и Вилигельмуса, а гравюры по меди — немецкого происхождения. Но они великолепны или, вернее, трогательны. Вы улыбнетесь им, растроганные усилиями наивной руки рассказать, истолковать Библию, преодолеть невероятные затруднения — например, куда же, ради Иисуса Христа, поместить Христа, если он должен умывать ноги двенадцати апостолам, сидящим анфас? Ничего не поделаешь, пришлось изобразить склонившегося Христа спиной к публике. В каждой сценке вы чувствуете эту усиленную работу мысли: как это сделать, как выразить, как все разместить и совместить. Ни у Тинторетто, ни у Тициана,

[1] монастырского дворика (*итал.*).

ни у самого превосходного мастера вы никогда не ощутите *столько* душевной работы, *такого* усилия мысли, как в этих действительно наивных барельефах. Но что поделать: где вложена душа, там вы и найдете душу; и двери храма св. Зенона — самая прекрасная из Библий, какие я читал в своей жизни.

И потом везде, где нашлось немного места, на цоколях и капителях колонн, между арками, в общем, где только можно, высек, вытесал романский художник разных животных: собак, медведей и оленей, зайцев и жаб, коней, и овец, и птиц. Это совсем не такие животные, как на античных барельефах: там обычно изображается каледонский вепрь, дельфин Афродиты и еще что-нибудь из мифологии, — или, позднее, совсем уж натуралистические портреты зверей. А здесь сама природа, здесь — симпатия к полевому и лесному зверю, к такому, каким он вышел из рук господа бога; отношение человека к животному тут более интимное, сердечное, и... я бы сказал — более человечное, чем во всей античности. У человека есть свои личные дела с животными, и добрые и злые; Адам, изгнанный из рая, должен пахать землю, но (и это видно как раз у Сан-Дзено) он режет поросят и коптит их мясо, совершенно так же, как давит виноград, жнет, собирает яблоки, ездит верхом и охотится на диких зверей; так почему же не могут медведь или олень славить господа на фасаде церкви св. Зенона? Да, здесь — иное, более свежее отношение к миру; и поверьте мне, мы никогда не поймем, отчего погибла великолепная античность, если не найдем достаточно добродетелей в простоте той эпохи, что ее победила.

Церкви

Если бы за каждую осмотренную мной церковь мне даровали совсем маленькое отпущение грехов — я мог бы до конца дней своих грешить, как грешил до сих пор, и все же попасть на небо. А были среди них грандиозные храмы, огромные, как вокзал, почтамт и ратуша, сложенные вместе, — например, храм св. Петра, где человек раздавлен пространством, или Миланский собор, и собор во Флоренции, куда я забрался, хотя на дворе уже была ночь; там стоял запах ладана, и лишь пламя нескольких

свечек дрожало в разлегшейся тьме; но еще более странные минуты пережил я ночью в Падуе, в большой кирпичной церкви, где на меня набросился метафизический страх и церковный сторож; в Ареццо меня даже заперли в церкви, страшно высокой и темной, но вывел меня оттуда ангел в образе каменщика; тем не менее я успел рассмотреть чудесные барельефы, хотя и не знаю, кто их автор; ангел тоже не знал, но относятся они к переходному периоду между готикой и Ранним Возрождением. (Еще как-то меня заперли в катакомбах у св. Агнессы; но так как я тогда был вместе с папским нунцием, то зам*о*к чудесным образом открылся и — конец приключению.) Далее видел я церкви большие и красивые, как в Пизе, и в Монреале, и в Римини, много хороших святых церквей, некоторые — обнаженные и возвышенные, как полночь над заснеженным краем, и множество барочных, перегруженных украшениями, парчой и мрамором, так что даже становилось не по себе — как, например, церкви иезуитов в Венеции и Неаполе; видел я церкви небольшие, и еще поменьше, и совсем маленькие, знаменитые часовни — как золотая Капелла Палатина в Палермо, и Медицейская часовня во Флоренции, та самая, где стоят языческие, сверхъестественные надгробия работы Микеланджело, и благословенная часовня Джотто в Падуе, и Сикстинская капелла, которую Микеланджело расписал сценами сотворения мира; но этот страстный и трагический дух не сумел показать, как бог отдыхает в день седьмый. Затем — удивительные маленькие часовни, как христианская мечеть Марторана в Палермо и Сан-Стефано Ротондо в Риме, и часовня ортодоксов в Равенне, и потом — обыкновеннейшие божьи доходные домишки, белые и холодные, как чистое полотно; но и в них тебе иной раз делается легче на душе, неверующий человек!

Служители культа — это уже совсем другая глава. Я слушал много проповедей, не понимая ни слова; больше всех проповедников понравился мне бородатый капуцин во Флоренции, который ораторствовал так энергично, что только гром стоял; насколько я понял, он ужасно поносил противников церкви. Люди тут исповедуются до глубокой ночи, а иной раз собираются каноники, садятся на хоры и бормочут какие-то responsoria [1] быстро и горячо, как

[1] заклинания (*итал.*).

дервиши или как люди, которые страшно ссорятся. Многим путешественникам церковь в Италии кажется несколько средневековой; мне она скорее показалась мусульманской. Всевозможных монашеских орденов и ряс здесь столько, что сам Альфред Фукс не смог во всем этом разобраться; мне больше всего понравились те коричневорясые бородатые фратеры, которые бегают в сандалиях, — только я не знаю, есть ли у них под рясами какие-нибудь штаны.

Но настоящий хозяин церкви — это синьор кустод, или церковный сторож. Если в церкви есть хорошие картины, он закроет их полотном; если есть фрески, — по крайней мере, занавесит окна, чтобы, когда вы выразите горячее желание посмотреть фрески, он имел предлог раздернуть занавеси и протянуть руку за чаевыми. Некоторые сопровождают подобные действия целой лекцией, но это не очень мешает, если вы не знаете итальянский язык. Другие сторожа имеют свое собственное представление о достопримечательностях их храма; в Пизе, например, вы входите в баптистерий, чтобы взглянуть на кафедру для проповедей работы Никколо, а синьор кустод за вашей спиной вдруг начинает как-то странно вскрикивать и издавать губами трубные звуки: это он хочет продемонстрировать вам эхо. Или в Неаполе, в церкви св. Мартина, куда вы зашли, чтобы посмотреть на Риберу, церковный сторож влезает на колонну и бьет ключом по бронзовым завитушкам капителей, чтобы показать вам, что каждая настроена на иной звук. Есть еще церковные кошки, они больше ростом и обидчивее всех прочих: ни одну из них мне не удалось погладить.

Подытоживая, можно сказать, что раннехристианский и романский стили — самые подходящие для святынь: готика в Италии слишком уж расползлась в светлой просторности, что делает ее какой-то трезвой и ненасытившейся; эти недостатки она старается замаскировать фасадом, разукрашенным до того, что голова идет кругом. Ранний Ренессанс, со своей стороны, дышит чистотой, строгостью и мудрым ограничением; и хотя я уже воздал хвалу Альберти, должен еще сказать, что и в Мантуе он оставил после себя целомудренный, благородный храм. Браманте тоже был муж строгий и почтенный.

Все же остальное — просто барокко.

Больцано

Раньше эта местность называлась «верный Тироль»; теперь это провинция Венеции, а лет через пятьдесят окончательно станет итальянской страной. Прямо поразительно — до чего тут быстро пускает корни итальянский язык! Дети лепечут одну фразу по-немецки, другую — по-итальянски; мужичок в поезде спешит похвалиться тем, как здорово он уже научился произносить итальянские слова; служанки с ума сходят по кудрявым парням из итальянского гарнизона. Впрочем, новые хозяева этой страны проявляют и некоторую деликатность: они позволили здешним немцам оставить их патриотические памятники и названия улиц, и бог его знает что еще. Кроме гарнизона, сюда посылают на разбой еще и экскурсии школьников; один такой десятилетний фашист ни с того ни с сего обозвал меня «шубьяком», я не знаю, что значит это слово, но он при этом имел весьма героический и национальный вид.

И все же это — до мозга костей немецкая страна, и в самом хорошем смысле слова: чистая, приветливая, пригожая и заботливая. Даже горы посыпаны здесь свежим снегом и повсюду оборудованы канатными дорогами и чистенькими гостиницами. Внизу, в долине, растет легонькое винцо, на каждой горушке — какой-нибудь замок, а люди — степенные и чистые, рассудительные и доброжелательные; женщины страшно зубасты, но иной раз удивительно красивы — они какие-то молочные. И поверьте мне, после путешествия по Италии особенно радостно снова глядеть в бледно-голубые родниковые глаза. В горах промышляют главным образом прекрасными видами: повсюду натыканы бельведеры, и можно взять напрокат бинокль. Водишь взглядом по снеговым полям, с приятным головокружением меришь грозный обрыв и иногда внизу встретишь настоящих туристов, которые только что взяли какую-нибудь высокую гору; у туристов мосластые коленки и полупудовые башмаки, разговаривают они подчеркнуто громко и носят на шапке альпийский цветок; женщины-туристки обычно имеют пятнистые, некрасивые лица и слишком широкие плечи.

Раз уж я заговорил о горах, то самое прекрасное здесь — следующее: аромат дерева, текучие воды и луга.

О путник, ведь это как раз то, чего тебе так не хватало там, внизу, — хотя ты, быть может, и не сознавал этого. Только теперь ты вспоминаешь, что за все время ты почти ни разу не ступил на деревянный пол — только по мертвым, холодным, каменным плитам ходил ты и ел па цинковых или мраморных столах, спал в медных постелях и дышал каменной пылью. Ведь вся античность — каменная и металлическая, в ней нет ничего деревянного; вся ее соль — в камне; я же родился в стране дерева и люблю его на взгляд и на ощупь, ибо это — материал почти живой, наивный и народный, готический, строгий, неантичный, домостройный. Текучая вода — в ней уже вся поэзия севера: мотив водяных и русалок в противовес мотиву сатиров. Непересыхающие реки, вечные речушки, ручейки и родники, и вы, тончайшие водяные ниточки — не равна ли ты морю, чистая, прелестная, живая вода? Ибо страшен вид высохших русел и безводных скал. «Благословенна будь, вода, святое творение», — написано в Сан-Марино на водопроводе: pia creatura, текучая водичка! И лугов, настоящих лугов, тоже нет там, внизу; есть у них там виноградные лозы и тамаринды, оливы и пальмы и апельсиновые деревья, но лугов, густых, зеленых, шелковой муравы моего детства, — куда там!.. Разве только жесткие, с цепкими корнями кустики, обглоданные козами. Даже воробьев там нет, нет ни дроздов, ни трясогузок, ни жаворонков, ни щеглов, ни даже сверчков; чего-то не хватает, все время тебе чего-то не хватает в этой стране.

Но раз уж я забрался на эту сторону Тироля, надо же мне взглянуть на Госсензасс, Тускулум [1] Ибсена. Рассказывают — семь лет старый Ибсен ухаживал здесь за юной немкой. Эти годы записаны на мемориальной доске в отеле, и до сих дней живет в отеле девчушка, альпийская розочка, такая хорошенькая, что стоит добираться сюда только ради того, чтобы увидеть ее. А вокруг — леса ароматных деревьев, скошенные луга и гудящие воды; и дух Ибсена неустанно кружится над голубоглазой Гильдой. Все здесь уже так похоже, так похоже на север — и все же это еще последний предел новой Италии.

---

[1] прибежище (от *лат.* tusculum).

П а р а л и п о м е н а [1]

Перечитав теперь мои итальянские письма, я преисполнился невыразимой печали и стыда; вижу, что не сказал почти ничего, да к тому же еще забыл упомянуть о большинстве интересных и превосходных вещей. Я, жалкий грешник, не обмолвился, скажем, о «Тайной Вечере» Леонардо в Милане; но рядом с ней есть амбит, а за ним — зал собрания капитула, или как он там называется, и в нем какой-то фратер расписал кресла каноников библейскими пейзажами; говорят, они безыскусны; наверное, именно поэтому они очаровательны; среди них есть настоящие японские миниатюры, чрезвычайно причудливые и нежные. Что же касается да Винчи — идите, посмотрите в Амброзиане: это — дух настолько совершенный, что становится не по себе; но у художников его школы, например, в картинах некоего Салаино, меня чуть ли не ужаснуло, — не знаю, как выразиться, — нечто мягколюбовное, извращенно-сладостное в лицах персонажей. Есть выражения, которые не забудешь; у Боттичелли — это всегда озадаченное и унылое выражение человека, страдающего насморком, ибо его ангельские создания живут в райской прохладе; у персонажей Андреа дель Сарто — мягкие, глубокие тени в глазных впадинах, отчего глаза приобретают выражение жгучее и скрытнопытливое; у умбрийских художников — томная, кудрявая мягкость, подлинный salon de beauté [2], в жилы посетителей которого Рафаэль позднее влил более густой римской крови. Да, Рафаэль: вот князь среди художников, божественный счастливец, баловень муз, все, что хотите; надо вам видеть в Риме «Фарнезину» и «Станцы», чтобы поразиться, как это у него ловко выходит. Но он именно князь: вы никак не можете приблизиться к нему, и вам нравится, как он властвует во всей своей славе, однако спорить вы отправляетесь к Микеланджело, который отнюдь не божествен, ибо он сверхчеловечен; настолько сверхчеловечен, что кажется угрюмым и страшным, и он никогда не благословит вас. Вас благословит Джотто, праведник среди художников, и Фра Анжелико осенит вас крестным знамением; эти двое — самые набожные среди старых мастеров,

---

[1] Добавление (*греч.*).
[2] салон красоты (*франц.*).

если только не говорить о более старших. И все же — одинаково прекрасны добродетели мира сего: великолепный интеллект Мантеньи прежде всего, и Синьорелли, Синьорелли! Боже, сделай так, чтобы я стал строгим и сильным, как он! И, однако, стоит мне закрыть глаза — и я вижу Мазаччо, больше никого. Говорю вам, до сих пор я не встречал еще душу более рассудительную и честную, чем у этого великого.

Ах, не могу больше говорить обо всех этих скромных и удивительных, светлых и темных мастерах, которыми я восхищался; но есть во Флоренции Гуго ван дер Гус, очарование Севера, а в Неаполе — два страшных, пламенных Теотокопули, и да не умолчим мы об их славе, славе чужих стран, в блаженном саду итальянских муз.

Трижды будь благословенно имя Донателло! Горькая прелесть мальчишески стройных форм, природа, пронзенная болью, как молнией, все освещающей, беспокойная страстность души! Нет другого ваятеля, который бы так поразил нас образами духовного мира человека. Микелоццо, Майано, Росселино, Верроккьо, Мино да Фьезоле и вы, все остальные, куда девалась тонкая и реальная прелесть, которой бы только и цвести в вашем возрасте? Щеголи итальянского барокко, что сделали вы со строгими, чистыми заветами Брунеллески, Альберти, Браманте? Никогда мне не станет вполне ясно, почему в Италии искусство извратилось в барокко, виртуозность, эклектизм, опустилось до Караччи, Гвидо Рени, Бернини, барочных фокусников, штукатуров, парикмахеров и натуралистов, до мерзости церковной и светской, а в конце концов — до халтуры, бездарности и скуки. Я в самом деле не знаю, что говорят обо всем этом; я бродил по картинным галереям так же непрофессионально, как и по улицам, и находил прекрасное для себя, как если бы встречался с приключением. И когда я теперь, с отступом во времени, со значительными уже пробелами в памяти, стараюсь разобраться, что мне больше всего понравилось и что нет, — мне кажется, все же вела меня какая-то сила, нечто такое, что связывает раннее христианство с Джотто, древнюю античность с пластикой, например, романской, этрусков — с христианскими примитивами, а Ранний Ренессанс — с влечениями моей грешной души. Это... это... нечто очень народное, доморощенное, нечто примитивно-свежее; и во-вторых — серьезная интенсивность

духа, который сосредоточенно ищет вещественную, законную форму для новых представлений. Будь наивным или будь строгим: но, как порока, как змеи, как яда ядовитого, остерегайся рутины, блеска и наслажденческого распутства чересчур утонченного искусства. Будь прост — или будь одержим совершенством формы; но есть и третий путь, вероятно — самый первый из всех: быть личностью, так, чтобы каждая частичка твоего творения говорила о себе, о своем неповторимом, глубоко внутреннем содержании. И в этом — всё. Велик аллах. Велико искусство.

Итальянское искусство в самых лучших своих явлениях подает нам двойной пример: всегда начинать и много учиться. Начинать сначала, искать, экспериментировать, изобретать и обновлять, пробовать и решать, взвешивать возможности и дерзать; и, с другой стороны, наоборот: учиться, не щадя сил, учиться на других и на себе, подавлять порочную своеобразность, небрежность оригинальности, бесстыдные претензии быть самим собою — вот добродетели искусства этой чудесной поры цветения.

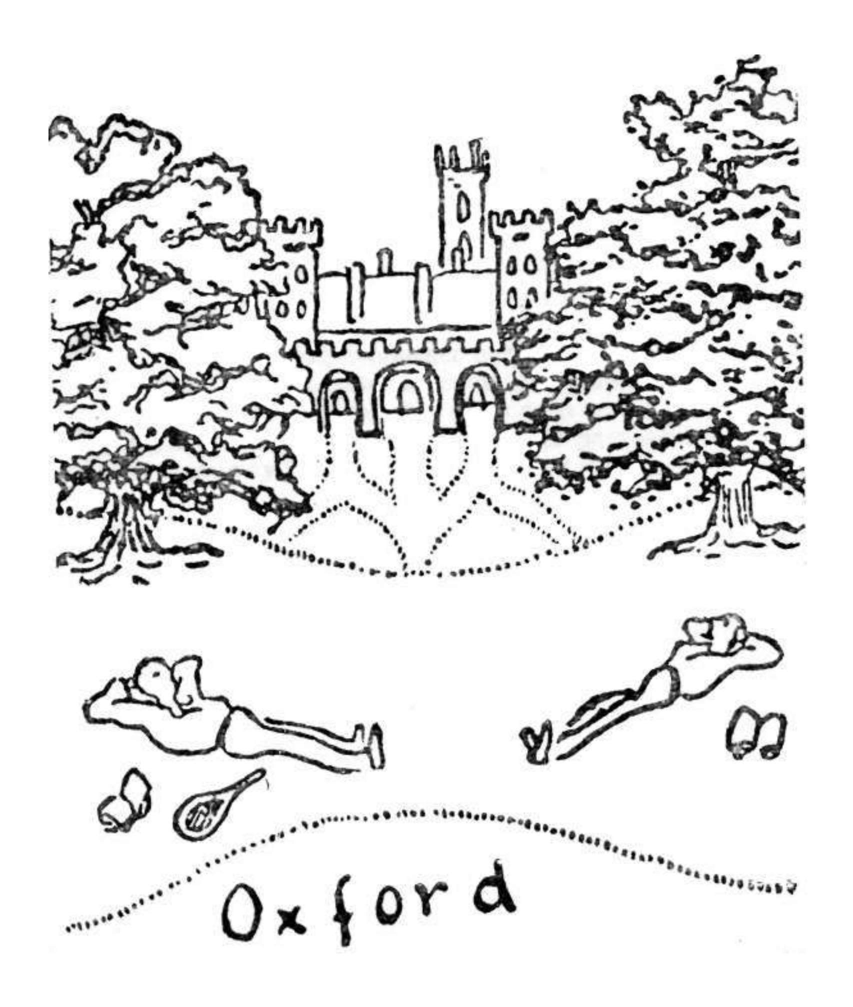
На этом я заканчиваю свое странствие по Италии. Я отправился туда, не думая — зачем и почему. Поэтому я доволен тем малым, что вынес оттуда. Наверное, я осрамился, обнародовав многие свои утверждения; часто я не знал, как это высказать, и часто о многом забывал. Писал я все это по ночам, невзирая на усталость и блох, и никогда не упускал случая выглянуть в окно, в сторону севера. Ибо на нашей родине, люди, у нас дома — тоже все прекрасно: равнины и холмы, леса и воды и все, что угодно. И, быть может, у нас тоже когда-нибудь настанет сказочное обилие картин и скульптур и прочих дивных чудес — ибо велико искусство, аминь.

Письма из Англии

ДЛЯ БОЛЬШОЙ НАГЛЯДНОСТИ
СОПРОВОЖДАЮТСЯ
РИСУНКАМИ АВТОРА

Перевод

В. ЧЕШИХИНОЙ


Oxford

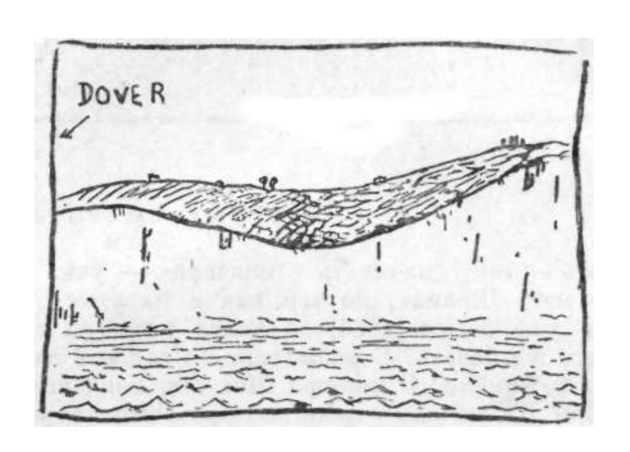
Англия

Первые впечатления

«Начинать — так начинать сначала», — учил меня когда-то мэтр Шолиак, но так как я на этом острове-вавилоне уже десять дней, то успел позабыть начало. Так с чего же начать? G поджаренного свиного сала или выставки в Уэмбли? С мистера Шоу или лондонских полицейских? Да, начало у меня выходит очень запутанное, но о полицейских я должен сказать, что при поступлении па службу от них требуются внушительная внешность и высокий рост. Они, как боги, на голову выше прочих смертных и пользуются неограниченной властью. Когда на Пикадилли такой двухметровый бобби поднимает руку, всякое движение прекращается, даже Сатурн застывает на месте, и Уран останавливается на своем небесном пути, пока бобби не опустит руку. Ничего до такой степени сверхчеловеческого я никогда не видал.

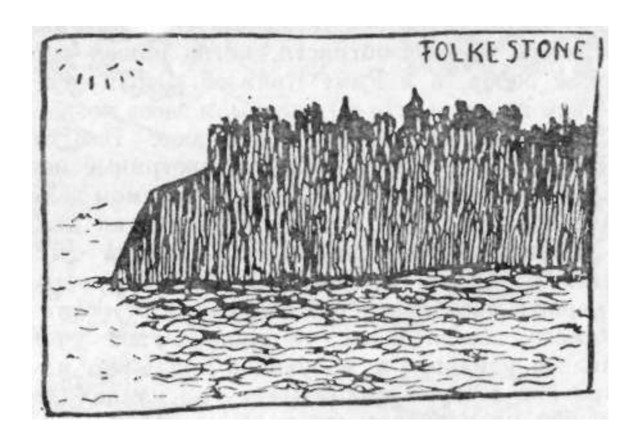
Но путешественника за границей больше всего поражает то, о чем он сотни раз читал или что много раз видел на картинках. Я был потрясен, когда нашел в Милане Миланский собор, а в Риме Колизей. Это почти пугает вас, ибо вам кажется, что вы уже были здесь когда-то или, по крайней мере, видели все это во сне. Вам странно, что в Голландии в самом деле есть ветряные мельницы и каналы, а на лондонском Стрэнде в самом деле такая толпа, что голова идет кругом. Существуют два совершенно необыкновенных впечатления: когда ты наталкиваешься па нечто неожиданное и когда встречаешь что-то хорошо известное. Человек, вдруг встретив старого знакомого, всегда громко выражает свое удивление. Вот так же удивился и я, увидав парламент на Темзе, джентльменов в серых цилиндрах — на улицах, двухметровых бобби на перекрестках и всякое такое. Для меня было настоящее откровение, что Англия в самом деле Англия.

Однако, чтобы рассказать все по порядку, я нарисовал вам, как выглядит Англия, если смотреть на нее со



стороны Ла-Манша. Белое — это просто скалы, а сверху растет трава. Сооружение довольно основательное, так сказать на скале, но все же, когда у вас под ногами континент, вы чувствуете себя более спокойно.

Затем я зарисовал для вас Фолкстон, где я пристал к берегу. В лучах заходящего солнца он казался замком с зубчатыми стенами; зубцы впоследствии оказались просто дымовыми трубами.



Сойдя на берег, я с изумлением обнаружил, что не умею говорить по-английски и не понимаю ни слова. Тогда я вскочил в первый отходящий поезд; на мое сча-

стье, он шел в Лондон. По дороге я убедился, что местность, которую я считал Англией, по существу, не что иное, как огромный английский парк: всюду лужайки и газоны, красивые деревья и вековые аллеи; там и сям, очевидно, с целью усилить впечатление, пасутся овцы — совсем как в Гайд-парке. Еще в Голландии я видел, как, обратив зады к небу, люди копаются в земле. А здесь — изредка красные кирпичные домики, девушка машет из-за живой изгороди, велосипедист едет по аллее, и все; удивительно мало людей; мы, чехи, привыкли к тому, что на каждом клочке земли кто-нибудь да копошится. Наконец поезд пошел между какими-то странными на вид домиками — добрая сотня совершенно одинаковых домов. За ними целая улица тоже совершенно одинаковых, потом еще и еще. Это кажется лихорадочным бредом. Поезд мчится через город, на котором лежит какое-то ужасное проклятие: ибо у каждого крыльца по какой-то безысходной необходимости высятся две колонны. Далее тянется квартал, где у каждого дома голые железные балконы; следующий квартал на веки вечные приговорен к серым кирпичным стенам; дальше мрачный и неумолимый рок предначертал всем домам синие веранды; еще дальше, очевидно, за какую-то неизвестную провинность, целому кварталу присуждено иметь по пять ступенек перед каждой дверью. Честное слово, мне было бы неизмеримо легче, будь три ступеньки хоть перед одним домиком, но по какой-то причине это невозможно. А потом идет улица, вся сплошь красная.

В конце концов я вышел из вагона и попал в объятия доброго чешского ангела-хранителя; меня вели направо, налево, вверх, вниз, одним словом — все было ужасно. Затем меня снова сунули в поезд и высадили в Сербитоне; там меня развлекали, кормили, уложили спать в перины; и было тут темно, как у нас, и тихо, как у нас, и мне снились всякие сны: пароход, Прага, еще что-то чудесное, что именно — забыл.

Слава богу, что мне не приснилось полсотни одинаковых снов подряд. Возблагодарим Же небеса за то, что хоть сны, по крайней мере, не вырабатываются en gros *, как лондонские улицы.

---

* оптом (*франц.*).

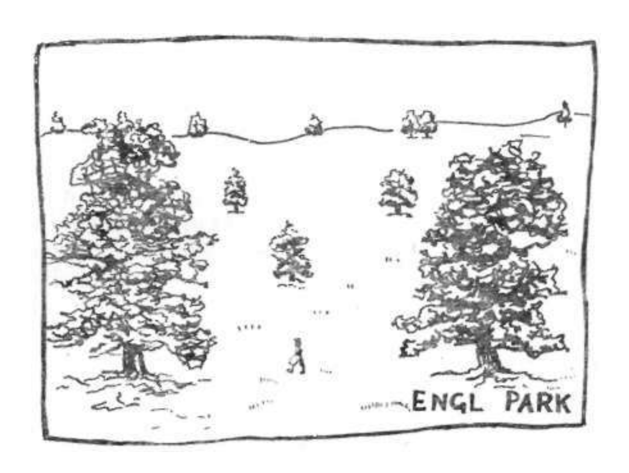
Английский парк

Самое прекрасное в Англии — это, пожалуй, деревья. Хороши, конечно, и газоны и полицейские, но лучше всего — деревья, такие могучие, красивые, старые, ветвистые, почтенные, огромные деревья, растущие на приволье. Деревья в Хемптон-Корте, Ричмонд-парке, Виндзоре и где хотите еще. Может быть, эти деревья оказывают большое влияние на английский консерватизм. Я думаю, что они поддерживают аристократические инстинкты, историческую преемственность, консервативность, протекционизм, гольф, палату лордов и прочие своеобразные древности. Я был бы, наверное, страстным лейбористом, если бы жил на улице Железных Балконов или Серых Стен, но, сидя под коренастым дубом в Хемптон-парке, я почувствовал в себе серьезную склонность признавать ценность старины, высокое назначение старых деревьев, гармоническую разветвленность традиций и какое-то почтение ко всему, что оказалось достаточно сильным, чтобы удержаться в веках.

Кажется, в Англии много таких старых-престарых деревьев; почти во всем, с чем вы здесь встречаетесь в клубах, в литературе, в домашнем быту, вы чувствуете запах древесины и листвы столетних, почтенных, страшно солидных деревьев. Здесь вы не увидите ничего нарочито нового; новшеством здесь является только метрополитен, и, вероятно, потому он так безобразен. А в старых деревьях и в старых вещах гнездятся домовые — веселые, шаловливые духи; такой дух присущ и самим англичанам. Они невероятно серьезны, солидны и почтенны, но вдруг что-то в них шевельнется, они скажут что-нибудь очень смешное, искрящееся юмором, и тут же снова станут солидными, как старое кожаное кресло; они, вероятно, тоже сделаны из старого дерева.

Не знаю почему, но эта трезвая Англия кажется мне самой сказочной и самой романтической страной из всех мною виденных. Должно быть, из-за своих старых деревьев; хотя нет: из-за газонов, вероятно, тоже. Потому что здесь ходят по траве, а не по дороге. Мы, в Европе, разрешаем себе ходить только по дорожкам и тропинкам, что сильно влияет на нашу психологию. Когда я в первый раз увидел в Хемптон-парке джентльмена, разгуливающего

по газону, я подумал, что это какое-то сказочное существо, хотя он был в цилиндре; я ждал, что вот-вот он поедет в Кингстаун на олене, пустится в пляс или что к нему подойдет сторож и обругает его страшными словами. Ничего не случилось; тогда и я набрался смелости и пустился напрямик к тому самому коренастому дубу, что стоит на рисунке на краю прелестной лужайки. И тут ничего не произошло; но в этот момент у меня было такое чувство безграничной свободы, как никогда. Очень странно:



человек, очевидно, не считается здесь вредным животным. Здесь не придерживаются того мрачного мнения, что под его копытами трава не растет. Он имеет здесь право ходить по траве, словно он русалка или крупный землевладелец. Я думаю, это оказывает большое влияние на его характер и мировоззрение. Это дает ему чудесную возможность ходить непроторенными путями и при этом не считать себя вредным существом, бродягой или анархистом.

Обо всем этом я раздумывал под дубом в Хемптон-парке, но в конце концов даже на старых корнях становится больно сидеть.

Посылаю вам рисунок, чтобы показать, как выглядит такой английский парк. Я хотел нарисовать еще оленя, но, признаюсь, не умею по памяти.

Лондонские улицы

Что касается самого Лондона, то весь он пропах бензином, горелой травой и смазочным маслом, в отличие от Парижа, где к этим запахам примешивается аромат пудры, кофе и сыра. В Праге каждая улица пахнет по-своему; в этом отношении Прагу не превзойти. Самое сложное — это голоса Лондона. В центре — на Стрэнде или на Пикадилли — словно прядильня с тысячами веретен; жужжат, стрекочут, звенят, гудят и грохочут битком набитые людьми автобусы, таксомоторы, автомобили и паровые машины; а вы сидите па империале автобуса, который не может двинуться дальше и дребезжит впустую, а вы подскакиваете, как заводная кукла, и трясетесь вместе с машиной. Есть, конечно, и боковые улицы, всякие gardens, squares, roads, grovs и crescents [1], вплоть до захудалой улицы в Нотингхилле, где пишутся эти строки: всевозможные улицы Двух Колонн, Одинаковых Решеток, Семи Ступенек Перед Каждым Домом и т. д.; так вот, если они оглашаются безнадежными вариациями на «и», это — продавцы молока, горестное завывание «йе-йей» означает самые обыкновенные щепки для растопки, «уо» — это воинственный клич угольщика, а страшный, исступленный матросский рев возвещает, что некий парень везет на продажу в детской колясочке пять кочанов капусты. А по ночам здесь устраивают свои концерты кошки, такие же дикие, как на крышах Палермо, вопреки всяким россказням о пуританской строгости английских



нравов. Только люди здесь тише, чем в других местах; друг с другом они разговаривают сквозь зубы и торопятся поскорей попасть домой. Это и есть самая удивительная особенность английских улиц; здесь вы не увидите на углу почтенных дам, которые сплетничают о том, что случилось у Смитов или у Гринов, ни влюбленных, бре-

[1] садики, площади, шоссе, парки и улицы (*англ.*).

дущих, словно лунатики, взявшись за руки, ни почтенных обывателей, сидящих на крылечках, скромно сложив руки на коленях (между прочим, я еще не видел здесь ни столяров, ни слесарей, ни мастерских, ни подмастерьев, ни учеников; здесь только магазины, одни магазины, да Вестминстер-банк и Мидленд-банк); не увидите вы и мужчин, пьющих на улице, ни скамеек на площади, ни ротозеев, ни праздношатающихся, ни служанок, ни пенсионеров, одним словом — никого, никого, никого. Лондонская улица — это только русло, по которому течет жизнь, стремящаяся поскорей попасть домой. На улице не живут, не разговаривают, не глазеют по сторонам, не стоят и не сидят; по улицам только пробегают. Здесь улица самое скучное место, тут вы не увидите тысяч захватывающих зрелищ и не столкнетесь с тысячами приключений. Это не то место, где люди свистят или дерутся, любезничают, отдыхают, сочиняют стихи или философствуют, ходят по нужде и пользуются жизнью, острят, занимаются политикой и собираются по двое, по трое, в группы, в толпы, в революционную грозу. У нас, в Италии, во Франции улица — нечто вроде большого трактира или общественного сада, площадь, место сборищ, стадион и театр, продолжение дома или крылечка. Здесь она не принадлежит никому и никого не сближает; вы не встречаете здесь ни людей, ни вещей, вы только проходите мимо них.

Стоит у нас человеку высунуться в окошко, и он уже на улице. Английские же дома отделены от улицы не только оконной занавеской, но еще и садиком и решетчатой оградой, плющом, газоном, живой изгородью, молотком у двери и вековыми традициями. У английского дома должен быть свой собственный садик, потому что улица для человека здесь не диковинный сад наслаждений; а в садике должны быть собственные семейные качели или спортивная площадка, потому что улица для англичанина не стадион и не увеселительное место. Поэзия английского дома оплачивается тем, что английская улица лишена поэзии. И никогда здесь по улицам не пройдут революционные толпы, для этого улицы слишком длинны. И слишком скучны.

Хорошо еще, что есть автобусы — корабли пустыни, верблюды, несущие вас на спине через каменную бесконечность Лондона. Я и сейчас не понимаю, как они не

заблудятся, — ведь по большей части из-за здешней облачности они не могут отыскать пути по солнцу или по звездам. Я до сих пор не знаю, по каким таинственным признакам водитель отличает Ледбрук-Гров от Грейт-Вестерн-род или Кенсингтон-парк-стрит. И не понимаю, почему он предпочитает совершать рейсы в Ист-Эктон вместо Пимлика или Хаммерсмита. Все эти места так поразительно похожи друг на друга, что для меня непостижимо, почему, собственно, он специализировался на Ист-Эктоне. Должно быть, у него там дом, один из тех — с двумя колоннами и семью ступеньками у входа. Эти дома немного похожи на семейные гробницы; я пытался было нарисовать их, но при всем желании мне не удалось передать достаточно ярко безнадежность этих улиц; кроме того, у меня нет с собой серой краски.

Кстати, чтобы не забыть: само собой разумеется, я побывал из любопытства на Бэкер-стрит и вернулся чрезвычайно разочарованный. Там нет и следа Шерлока Холмса; это невероятно приличная торговая улица, для которой нет цели более возвышенной, чем влиться в Риджент-парк, что ей после долгих усилий, в общем, удается. Если еще упомянуть, что на ней имеется станция метро, то будет исчерпано все, в том числе и наше терпение.

Traffic

Никогда в жизни я не примирюсь с тем, что здесь называется «traffic», то есть с уличным движением. С ужасом вспоминаю тот день, когда меня впервые привезли в Лондон. Сначала меня везли в поезде, потом мы бежали по каким-то бесконечным застекленным залам, меня втолкнули в решетчатую клетку, походившую на весы для скота; но это был лифт, он спускался вниз по отвратительному бронированному колодцу; потом меня извлекли из клетки, и мы понеслись по извилистым подземным коридорам, — это было как страшный сон. Затем мы очутились в туннеле или канале с рельсами, с ревом примчался поезд, меня швырнули в вагон, и поезд полетел дальше; там стоял тяжелый, удушливый воздух, по-видимому из-за близости преисподней. Потом меня снова вытащили из вагона, и мы бежали по новым катакомбам прямо к движущимся лестницам, которые грохочут, как

мельницы, увлекая вверх стоящих на них людей. Говорю вам, это кошмар. Еще несколько коридоров и лестниц, и, несмотря на мое сопротивление, меня выволокли на улицу, где у меня душа ушла в пятки. Бесконечной, беспрерыв-



ной лентой тянулись в четыре ряда всевозможные экипажи: автобусы, пыхтящие, облепленные роями людей, как стадо несущихся мастодонтов, рокочущие автомобили, грузовики, паровые машины, велосипедисты, автобусы, летящая свора автомобилей, бегущие люди, тракторы, машины

скорой помощи, люди, карабкающиеся, как белки, на империалы автобусов, снова стадо моторизованных слонов... Но вот все это остановилось, гудит и звенит и не может двинуться дальше; и я тоже не могу сейчас продолжать, потому что вспоминаю ужас, охвативший меня при мысли, что мне надо перебежать на другую сторону улицы. Однако мне удалось это сделать вполне благополучно, и после этого я бесконечное множество раз переходил лондонские улицы, но до конца своей жизни не примирюсь с ними.

Я возвращался тогда из Лондона ошеломленный, подавленный, разбитый душой и телом; впервые в жизни я почувствовал слепую, яростную ненависть к современной цивилизации, Мне казалось, что есть что-то варварское и катастрофическое в таком страшном скоплении людей: говорят, что в Лондоне семь с половиной миллионов жителей, но сам я не считал. Знаю только, что первое впечатление от этой громадной толпы было почти трагическим. Мне стало страшно, и я отчаянно затосковал по Праге, как малое дитя, заблудившееся в лесу. Да, не скрою от вас, я боялся: боялся, что потеряюсь, что попаду под автобус, что со мной что-нибудь стрясется, что я погиб, что человеческая жизнь не стоит гроша ломаного, что человек — просто увеличенная во много раз бактерия, мириады которых кишат на какой-нибудь заплесневевшей картофелине, что все это только отвратительный сон, что человечество будет истреблено какой-то ужасной катастрофой, что человек бессилен, что я ни с того ни с сего заплачу и надо мной все будут смеяться: все семь с половиной миллионов лондонцев... Возможно, когда-нибудь я пойму, что так напугало меня с первого взгляда и наполнило бесконечным ужасом; впрочем, теперь я уже чуточку попривык, хожу, бегаю, лавирую, езжу, карабкаюсь на империал автобуса или низвергаюсь под землю в лифте и сажусь в вагон метро, как и все, но только при одном условии: нельзя об этом думать. Стоит только осознать, что происходит вокруг, мною опять овладевает мучительное ощущение чего-то зловещего, чудовищного и катастрофического, совершенно для меня непонятного. И потому-то меня охватывает невыносимая тоска.

Иногда все вдруг останавливается на какие-нибудь полчаса, просто потому, что всего этого слишком много. Где-нибудь на Черинг-Кросс образуется пробка, и пока

она рассосется, вереницы машин выстраиваются от Банка вплоть до Бромптона, а вы тем временем можете в своей машине размышлять, как это будет выглядеть лет через двадцать. Такие заторы случаются, видимо, очень часто, а потому над тем, как быть, ломают головы множество людей. До сих пор не решен вопрос, будут ли ходить пешеходы по крышам или под землей, но ясно одно: по земле ходить им не придется. В этом и состоит самое замечательное достижение современной цивилизации. Что касается меня, то я отдаю предпочтение земле, как великан Антей. Я нарисовал вам картинку, но в действительности все это выглядит еще хуже, потому что все это шумит, как фабрика; все-таки англичане — спокойный народ: шоферы не гудят как сумасшедшие, а люди совсем не ругаются.

Между прочим, я расшифровал кое-что: дикий крик на улице «о-эй-о» означает картофель, «ой» — растительное масло, а «у-у» — бутыль с чем-то непонятным. А иногда на самой оживленной улице на краю тротуара выстраивается целый оркестр и играет, трубит, барабанит и собирает пенни; либо к окнам подходит итальянский тенор и поет арии из «Риголетто», «Трубадура» или песнь жгучей тоски «Оцарапалась я», совсем как в Неаполе. Зато я встретил только одного человека, который свистел; это случилось на Кромвель-род, и это был негр.

Гайд-парк

А когда мне особенно взгрустнулось на английской земле, — это было в английское воскресенье, отравленное невыносимой скукой, — я двинулся по Оксфорд-стрит; мне просто хотелось пойти на восток, чтобы быть ближе к родине, но я ошибся, пошел прямо на запад и очутился около Гайд-парка; это место называется Marble Arch, потому что там находятся мраморные ворота, которые никуда не ведут; я, собственно, так и не знаю, по какому случаю они там поставлены. Мне даже жалко их стало, и я пошел на них посмотреть и увидел парк. Там были толпы людей, и я помчался узнать, что случилось. А когда я понял, что тут делается, я сразу повеселел.

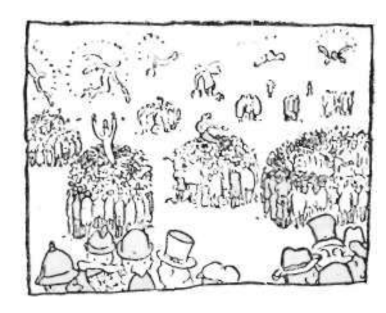
Гайд-парк занимает огромное пространство; желающие могут принести с собой стул или трибуну или не при-

носить ничего и начать ораторствовать. У оратора сейчас же находится пять, двадцать или триста слушателей, ему отвечают, с ним спорят, кивают головами, а иногда поют вместе с ним духовные или светские гимны. Иногда слушателей привлекает на свою сторону оппонент и сам берет слово; иногда толпа взбухает, делится на части почкованием, как простейшие одноклеточные организмы или колонии клеток. Некоторые кучки имеют прочный, постоянный состав, другие не перестают дробиться и переливаться, растут, разбухают, множатся или распадаются. У более крупных сект есть нечто вроде специальных переносных кафедр для проповедника, но большинство ораторов стоит просто на земле; посасывая мокрую сигарету, они говорят о вегетарианстве, господе боге, воспитании, о репарациях или о спиритизме. Я в жизни не видывал ничего подобного.

Так как я, грешный, уже много лет не посещал никаких проповедей, то подошел послушать. Из скромности я присоединился к небольшой тихой кучке; речь произносил горбатый молодой человек с красивыми глазами, по-видимому, польский еврей. Прошло много времени, пока я понял, что тема его речи — всего-навсего школьное дело. Тогда я перешел к большой толпе, где на кафедре метался пожилой человек в цилиндре. Оказалось, это представитель какой-то Hyde park Mission [1]. Он так размахивал руками, что я испугался, как бы он не перелетел через перила. В следующей группе ораторствовала немолодая леди. Я совсем не против женской эмансипации, но нельзя долго слушать женский голос; на общественном поприще женщинам мешают их органы (я имеют в виду органы речи). Когда выступает дама, мне всегда кажется, что я маленький мальчик и меня бранит моя матушка. Кого бранила эта английская леди в пенсне, я толком не понял; знаю только, что она кричала, чтобы все углубились в себя. В следующей группе проповедовал католик перед высоким распятием. Я впервые увидел, как проповедуют истинную веру еретикам. Это было очень красиво, и проповедь кончилась пением. Я пытался вторить; к сожалению, я не знал мелодии. Несколько групп занимались исключительно пением. Это делается так: в середине становится невзрачный человек с дирижерской па-

---

[1] Миссии Гайд-парка (*англ.*).



лочкой и дирижирует, а вся толпа поет очень громко и даже стройно. Я хотел послушать молча, потому что я из другого прихода, но мой сосед, джентльмен в цилиндре, предложил мне принять участие, и я громко запел, прославляя господа бога без слов и без мелодии. Проходит мимо влюбленная парочка, он вынимает изо рта сигару и поет, девушка тоже поет, поет старый лорд и юнец с тростью под мышкой, а потрепанный человечек в середине круга дирижирует грациозно, как в Большой Опере; ничто еще мне здесь так не нравилось. Потом я пел с двумя другими сектами, слушал проповедь о социализме и извещение какого-то Metropolitan Secular Society; [1] останавливался около небольших кучек спорящих. Один необычайно оборванный джентльмен, отстаивал консервативные общественные принципы, но он говорил на таком ужасном кокни, что я его совсем не понял; ему возражал эволюционный социалист, судя по всему — процветающий банковский служащий. Другая группа насчитывала всего-навсего пять слушателей. Она состояла из смуглого индуса, какого-то одноглазого человека в приплюснутой кепке, толстого армянского еврея и двух молчаливых мужчин с трубками. Одноглазый с ужасающим пессимизмом твердил, что «нечто есть иногда ничто», тогда как индус отстаивал более радостную теорию, что «нечто всегда есть нечто». Это он повторил раз двадцать на необыкновенно ломаном английском языке. Далее там стоял одинокий старичок, державший в руке высокий крест с хоругвью, на которой было написано «Thy Lord calleth thee»; [2] старичок слабым хриплым голоском проповедовал что-то, но никто его не слушал. И я, пропащий чужестранец, подошел и стал его слушателем. Потом я собрался отправиться восвояси, потому что стемнело, но меня остановил какой-то нервозный субъект и стал говорить мне невесть что. Я ответил, что я иностранец, что Лондон страшная штука, но что англичан я люблю; что я повидал на свете

---

[1] Столичного Мирского Общества (*англ.*).

[2] Господь твой призывает тебя (*англ.*).

немало, но ничто мне так не понравилось, как ораторы в Гайд-парке. Не успел я все это сказать, как вокруг нас стояло человек десять и молча слушало. Я мог попробовать основать новую секту, но мне не пришло в голову



ни одного достаточно бесспорного догмата веры, да и по-английски я говорю плохо, поэтому я потихоньку удалился.

В Гайд-парке за решеткой паслись овцы. И когда я на них посмотрел, одна, видимо, самая главная, поднялась и начала блеять. Я прослушал ее овечью проповедь и, только когда она кончила, отправился домой удовлетворенный, с просветленной душой, словно после церковной службы. Я мог бы сделать отсюда превосходные выводы насчет демократии, английского характера, жажды веры и прочего, но я охотнее оставлю весь этот эпизод в его первобытной красе.

Natural history museum[1]

— А вы были в Британском музее?
— А видели вы коллекцию Уоллеса?
— А были вы уже в Галерее Тэта?
— А видели вы Мадам Тюссо?

[1] Естественно-исторический музей (*англ.*).

— А осматривали вы Кенсингтонский музей?

— А вы побывали в Национальной галерее?

Да, да, да, я был всюду. А теперь разрешите мне присесть и поговорить о другом. Так что я хотел сказать? Ах, да. Чудесна и величественна природа, и я, неутомимый паломник по картинным галереям и музеям изящных искусств, должен признаться, что наибольшее наслаждение я получил от созерцания раковин и кристаллов в Естественно-историческом музее. Конечно, и мамонты и праящеры очень симпатичны, а также рыбы, бабочки, антилопы и прочие звери лесные, но раковины лучше всего, потому что вид у них такой, будто игривый дух божий, вдохновленный собственным всемогуществом, сотворил их для своего развлечения. Розовые, пухлые, как девичьи губы, пурпурные, янтарные, перламутровые, черные, белые, пестрые, тяжелые, как поковка, изящно-филигранные, как пудреница королевы Мэб, гладко обточенные, покрытые бороздками, колючие, округлые, похожие на почки, на глаза, на губы, стрелы, шлемы и ни на что на свете не похожие, они просвечивают, переливают красками, как опалы, нежные, страшные, не поддающиеся описанию. Так что же я хотел сказать? Ах да, когда я проходил затем по сокровищницам искусства, осматривал коллекции мебели, оружия, одежды, ковров, резьбы, фарфора, изделий чеканных, гравированных, тканых, тисненых, кованых, мозаичных, писанных маслом, покрытых эмалью, вышитых и плетеных, я снова видел: чудесна и величественна природа. Все это те же раковины, но возникшие по иной божественной и необходимой прихоти. Все это создал нагой мягкотелый слизняк, трепещущий в творческом безумии. Какая великолепная вещь — японская натсуке или восточная ткань! Владей я ими, чем они были бы для меня! Таинственным проявлением духа человеческого, выраженного языком чуждым и пленительным. Но в этом грандиозном, устрашающем нагромождении исчезает индивидуальность художника, творческая манера, история, — остается лишь неразумная стихия, неуемная творческая сила, фантастическое изобилие прекрасных, удивительных раковин, безвременно выловленных из океана. Так будьте же подобны природе: творите, творите прекрасные, удивительные вещи — с бороздками или витками, пестрые, прозрачные. Чем обильнее, чудеснее и чище вы будете



творить, тем ближе будете вы к природе, или, быть может, к богу. Нет ничего величественнее природы!

Но я должен еще сказать о кристаллах, формах, законах, красках. Есть кристаллы огромные, как колоннада храма, нежные, как плесень, острые, как шипы; чистые, лазурные, зеленые, как ничто другое в мире, огненные, черные; математически точные, совершенные, похожие на конструкции сумасбродных, капризных ученых или напоминающие печень, сердце, громадные половые органы или испражнения животных. Есть кристаллические пещеры, чудовищные пузыри минеральной массы, есть брожение, плавка, рост минералов, архитектура и инженерное искусство. Ей-богу, готическая церковь не самый сложный из кристаллов. И в человеке таится сила кристаллизации. Египет кристаллизовался в пирамидах и обелисках, Греция — в колоннах, средневековье — в фиалах, Лондон — в кубах черной грязи. Как таинственные математические молнии, пронзают материю бесчисленные законы построения. Чтобы быть равным природе, надо быть точным математически и геометрически. Число и фантазия, закон и изобилие — вот живые, творческие силы природы; не сидеть под зеленым деревом, а создавать кристаллы и идеи, вот что значит идти в ногу с природой; творить законы и формы, пронзать материю жгучими молниями божественного расчета.

О, как мало в нашей поэзии оригинальности, как мало в ней смелости и точности!

Путешественник продолжает изучение музеев

Мировые сокровища собрала в своих коллекциях богатая Англия; не слишком отличаясь творческим талантом, она привезла к себе фризы Акрополя, египетских колоссов из порфира и гранита, каменные ассирий-

ские рельефы, узловатую скульптуру древнего Юкатана, улыбающихся Будд, японскую резьбу и лаки, лучшие образцы искусства европейского континента и беспорядочные груды памятников культуры колониальных стран: кованое железо, ткани, стекло, вазы, табакерки, книжные переплеты, статуи и картины, эмали, инкрустированные секретеры, сарацинские сабли и, да поможет мне бог, не знаю, что еще, вероятно, все, что имеет какую-нибудь ценность на свете.



Я, конечно, должен был бы теперь прекрасно разбираться в разных стилях и культурах, должен был бы поговорить о различных этапах в развитии искусства, расклассифицировать и распределить в своей голове по рубрикам весь материал, который выставлен здесь напоказ с целью поучения. А я вместо этого раздираю одежды свои и вопрошаю: совершенство человеческое, где ты? Ужасно, что оно всюду; ведь это страшно — открыть совершенство человека на заре существования; открыть его в создании первого каменного наконечника, найти в рисунках бушменов, в Китае, на Фиджи, в древней Ниневии, всюду, где человек оставил следы своей творческой жизни. Я видел столько предметов, что мог бы выбрать самый совершенный. Ну, так я скажу вам, что не знаю, какой человек совершеннее, выше и интереснее — тот, что создал первую урну, или тот, что отделывает знаменитую портландскую вазу. Не знаю, что совершеннее — быть пещерным человеком или британцем из Вест-Энда, не знаю, что выше и божественнее — искусство писать на холсте портрет королевы Виктории или рисовать пингвина пальцем в воздухе, как делают туземцы Огненной Земли. Говорю вам — это потрясающе; потрясающа относительность времени и пространства, но еще более потрясает относительность культур и истории: нигде, ни в прошлом, ни в будущем, нет точки покоя, идеала, завершенности и совершенства человека; ибо оно —

всюду и нигде, и каждая точка в пространстве и во времени, где человек воздвиг дело рук своих, — непревзойденна. И я уже не знаю, что совершеннее — портрет кисти Рембрандта или маска для обрядовых плясок туземцев Золотого Берега или Берега Слоновой Кости; я видел слишком много. И мы должны сравняться с Рембрандтом или с резчиком масок на Золотом Берегу или на Берегу Слоновой Кости; нет движения вперед, нет «верха» и «низа» — есть только бесконечное новое творчество. Вот единственный урок, который дают нам история, все культуры, коллекции и сокровища всего мира: творите неистово, творите постоянно; вот в этой точке пространства, в этот миг надо создать произведение, самое совершенное из всего, что было создано человечеством: надо достичь той же высоты, какая была и пятьдесят тысяч лет назад, какая есть в средневековой Мадонне или вон в том пейзаже Констебля. Когда есть десять тысяч традиций, — значит, нет ни одной; нельзя выбрать какую-то частность из преизбытка сокровищ: можно лишь прибавить к нему нечто небывалое.

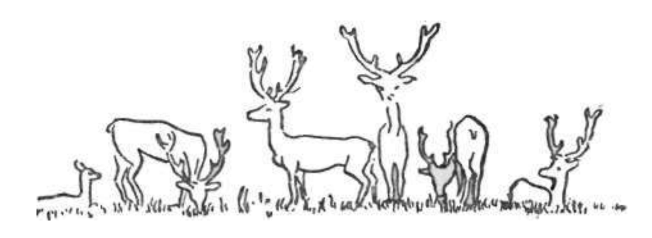
Если вы ищете в лондонских коллекциях резьбу по слоновой кости или вышивку на кисете для табака, вы их найдете; если вы ищете совершенство человеческого творчества, вы найдете его в Индийском музее, в Вавилонской галерее, у Домье, Тернера, Ватто, в эльджиновских мраморах. Но, выйдя из этого собрания сокровищ мира, вы можете часами, миля за милей, ездить на крыше автобуса, от Илинга до Истхэма и от Клепхэма до Бетнал-Грина, и вашему глазу почти не на чем будет остановиться, чтобы порадоваться красоте и расцвету человеческого творчества. Искусство — то, что запрятано в витринах картинных галерей, музеев или во дворцах богачей. Но его нет на улицах — ты не увидишь ни красивых оконных карнизов, ни памятника на перекрестке, не услышишь его приветливой, интимной или величавой речи. Не знаю, быть может, это всего лишь протестантизм, что так иссушил искусство этой страны.

Путешественник осматривает животных и знаменитых людей

Я осрамился бы, если бы не побывал в Зоо и в Кью-гардене, потому что надо знать обо всем. Вот я и видел, как купаются слоны и как пантеры греют в лучах захо-

дящего солнца свое шелковистое брюхо; видел страшную пасть бегемота, похожую на огромные коровьи легкие, дивился жирафам, которые улыбаются жеманно и сдержанно, как старые девы, видел, как спит лев, как совокупляются обезьяны и как орангутанг надевает на свою голову корзину, словно человек шляпу. Индийский павлин развернул передо мной хвост и кружился, вызывающе загребая когтями, рыбы в аквариуме блестели радужными красками, а носорог, казалось, натянул на себя шкуру, сшитую на какое-то гораздо более крупное животное. Ну, довольно, хватит и перечисленного; я не хочу больше ничего видеть.

И все же, поскольку не так давно я не сумел нарисовать оленя по памяти, я помчался в Ричмонд-парк, где они пасутся целыми стадами. Они подходят к людям без всякого страха, но предпочитают вегетарианцев. Хотя «зафиксировать» оленя дело трудное, мне все-таки удалось нарисовать целое оленье стадо. За ними в траве паслась парочка влюбленных, но я не стал их рисовать — ведь они занимались тем же, что и наши влюбленные, только более откровенно.



Я обливался п*о*том в теплицах Кью среди пальм, лиан и всего, что буйно произрастает на плодородной земле. Я смотрел на солдата в красном мундире и огромной бараньей шапке, который ходит перед Тоуэром и при каждом повороте чудн*о* топает, — так собаки иной раз скребут задними лапами по песку. Не знаю, к какому историческому событию относится этот своеобразный обычай. Был я и у Madame Tussaud *.

Madame Tussaud — это музей знаменитых людей, то есть их восковых изображений. Есть там королевская

[1] Мадам Тюссо (*франц.*).

семья (а также король Альфонс, немного попорченный молью), министерство Макдональда, французские президенты, Диккенс и Киплинг, маршалы, мадемуазель Ленглен, выдающиеся убийцы последнего столетия и вещи Наполеона — его носки, пояс и шляпа; далее там выставлены на позор императоры Вильгельм и Франц-Иосиф, еще довольно свежий с виду, несмотря на свой преклонный возраст. Я остановился около одной, особенно удачной фигуры человека в цилиндре и стал искать в каталоге, кто это такой. Вдруг этот самый человек в цилиндре зашевелился и пошел прочь; это было страшно! А через несколько минут две барышни искали в каталоге объяснение, кого изображает моя фигура. У Madame Tussaud я сделал одно открытие, несколько неприятное для меня: или я ни черта не смыслю в человеческих физиономиях, или человеческие лица лгут. Так, например, мне сразу бросился в глаза сидящий господин с козьей бородкой, под номером 12; в каталоге я нашел: «12. Томас Нейл Крим, казнен в 1892 году. Отравил стрихнином Матильду Кловер. Был обвинен также в убийстве еще трех женщин». Да, действительно, лицо у него очень подозрительное. «Номер 13, Франц Мюллер, убил господина Бриггса в поезде», гм! Номер 20, бритый господин, имеющий почти благородный вид: «Артур Деверё, казнен в 1905 году, прозван «чемоданным убийцей» за то, что прятал трупы своих жертв в чемоданы». Ужасно! Номер 21, — нет, этот почтенный священник не может быть «миссис Дейер, ридингская убийца младенцев». И вдруг я заметил, что перепутал страницы каталога и вынужден исправить свои впечатления; сидящий господин под № 12 — это простонапросто Бернард Шоу, № 13 — Луи Блерио, а № 20 — Гульельмо Маркони.

Никогда больше не стану судить о людях по их лицам.

Clubs [1]

Как бы поскромнее выразиться? Ну, вот как: я незаслуженно удостоился чести попасть в некоторые самые недоступные лондонские клубы, что не с каждым путешественником случается. Попытаюсь описать все, что я

---

[1] Клубы (*англ.*).

там увидел. Название одного клуба я забыл и не помню, на какой улице он находится. Меня вели по какому-то средневековому переулку, потом налево, направо и еще куда-то, пока мы не подошли к дому с наглухо закрытыми окнами; мы вошли в помещение, напоминающее сарай, оттуда вел ход в подвал, где и помещался самый клуб. Там были боксеры, литераторы, красивые девушки, стояли дубовые столы на земляном полу, комнатушка с ладонь, — трущоба фантастически жуткая. Я ждал, что меня там прикончат, а мне подали еду на глиняных тарелках и были со мной милы и приветливы. Увез меня оттуда чемпион Южной Африки по бегу и прыжкам, и я до сих пор помню хорошенькую девушку, которая училась там у меня чешскому языку.

Другой клуб — знаменитый, старинный, необычайно почтенный; его посещали Диккенс, Герберт Спенсер и многие другие, которых перечислил мне тамошний метрдотель, мажордом или швейцар (не знаю, кем именно он там был); он их всех, наверное, читал, потому что казался очень благовоспитанным и солидным, как какой-нибудь архивариус. Он водил меня по всему историческому зданию, показал библиотеку, читальню, старинные гравюры, теплые уборные, ванные, какие-то исторические кресла, залы, где джентльмены курят, где джентльмены пишут и курят, а также залы, где джентльмены курят и читают; всюду веет дух славы и старых кожаных кресел. Да, будь у нас такие старые кожаные кресла, то были бы у нас и традиции. Подумайте только, какая возникла бы историческая преемственность, если бы Фр. Гётц мог сидеть в кресле Закрейса, Шрамек — в кресле Шмиловского, а профессор Радл, допустим, — в кресле покойного Гатталы! В основе наших традиций нет таких старых, а главное — таких удобных кресел, а поскольку сидеть не на чем, традиции висят в воздухе. Я подумал об этом, когда уселся поглубже в одно из этих исторических кресел; чувствовал я себя отчасти историческим лицом, — во всяком случае, очень удобно, и разглядывал выдающихся людей; одни из них висели по стенам, другие сидели в мягких креслах и читали «Punch» [1] или «Who is who» [2]. Все молчали, что тоже способствует подлинной респекта-

[1] «Панч» (*англ.*).
[2] «Кто есть кто» (*англ.*).

бельности. И у нас надо бы завести такие места, где все молчат. Вот старик на двух костылях ковыляет через залу, и никто ехидно не скажет ему, что у него превосходный вид; другой зарылся в газеты (лица его я не вижу) и вовсе не ощущает острой потребности говорить с кем-нибудь о политике. Житель континента придает себе вес разговорами; англичанин тем, что молчит. Мне казалось, что все находившиеся в клубе — члены Королевской академии, знаменитые покойники или бывшие министры, потому что все присутствующие молчали; на меня никто не взглянул, когда я вошел и когда я вышел. Я хотел держать себя так же, как они, но не знал, что делать с глазами: когда я молчу, то глазею по сторонам, а если не гляжу, то думаю о странных или смешных вещах; и я невольно громко рассмеялся. Никто даже не оглянулся; это произвело на меня гнетущее впечатление. Я понял, что здесь совершается некий обряд, состоящий из курения трубки, перелистывания «Who is who» и главное — безмолвия. Это не молчаливость одинокого человека, не молчаливость философа-пифагорейца, не молчание перед лицом бога, не молчание смерти, не немая мечтательность; это совершенно особое, изысканное молчание людей высшего общества, молчание джентльмена среди джентльменов.

Побывал я и в других клубах; в Лондоне их сотни; все они разной масти и разных целей, но лучшие из них находятся на Пикадилли или по соседству; и везде старые кожаные кресла, обряд молчания, безукоризненные кельнеры и параграф устава, запрещающий доступ женщинам. Как видите, все это большие достоинства. Кроме того, все клубы построены в классическом стиле, из камня, черного от копоти и белого там, где его омывает дождь; всюду отличная кухня, огромные залы, тишина, традиции, горячая и холодная вода, какие-то портреты, бильярды и много других достопримечательностей. Существуют также политические клубы, клубы женские и ночные, но там я не бывал.

Тут были бы уместны рассуждения об общественной жизни Англии, о мужском аскетизме, прекрасной кухне, старинных портретах, английском характере и некоторых иных вопросах, тесно связанных с этими, но я, как человек путешествующий, должен неустанно шагать дальше в поисках новых впечатлений.

Крупнейшая ярмарка образцов, или British Empire Exhibition[1]

I

Если вы хотите, чтобы я сразу сказал, чего больше всего на выставке в Уэмбли, то я скажу не колеблясь: людей; людей и школьных экскурсий. Я сторонник роста народонаселения, деторождения, детей, школ и наглядного обучения, однако должен признаться, что тут мне временами хотелось иметь пулемет, чтобы проложить себе дорогу через толкающееся, бегущее, топочущее, ошалелое стадо мальчишек, с круглыми шапочками на стриженых головах, или через цепочку девочек, взявшихся за руки, чтобы не потерять друг друга. Иногда мне удавалось, ценой невероятного упорства, протолкаться к киоску, где продавались новозеландские яблоки или красовались рисовые метелки из Австралии, или бильярд, сделанный на Бермудских островах; мне даже посчастливилось увидеть статую принца Уэльского, сделанную из канадского масла, и я пожалел, что большинство лондонских памятников сделано не из масла. И сейчас же поток людей снова оттеснил меня, и я посвятил себя созерцанию шеи толстого джентльмена и уха пожилой леди, оказавшихся передо мной. Впрочем, я не возражал — сколько людей толпилось бы в отделе австралийских холодильников, если бы выставить там багровые шеи толстых джентльменов, или в глиняном дворце Нигерии — корзины с сушеными ушами пожилых леди!

Я беспомощно отказываюсь от своего замысла издать иллюстрированный путеводитель по выставке в Уэмбли. Как изобразить этот рог коммерческого изобилия? Выставка полным-полна чучел овец, сушеных слив, мягких кресел, сделанных на Фиджи, гор смолы-дамары или оловянной руды, гирлянд бараньих окороков, сушеной копры, похожей на огромные мозоли, пирамид консервов, резиновых козырьков, старинной английской мебели с южноафриканских фабрик, сирийского изюма, сахарного тростника, тростей и сыров. И новозеландские щетки, гонконгские сласти, какие-то малайские растительные масла, австралийские духи, модель каких-то оловянных рудников;

[1] Британская имперская выставка (*англ.*).

граммофоны с Ямайки и целый горный хребет сливочного масла из Канады! Как видите, это настоящее путешествие вокруг света или, вернее, странствования по слишком большому базару. На такой гигантской ярмарке мне еще не приходилось бывать.

Красив Дворец механики. И прекраснейшие произведения британского изобразительного искусства — это локомотивы, пароходы, котлы, турбины, трансформаторы, такие странные машины с двумя рогами спереди, механизмы всякого рода, всевозможно вращающиеся, трясущиеся и стучащие чудовища, гораздо более фантастические и бесконечно более элегантные, чем праящеры в Естественно-историческом музее. Не знаю, как эти машины называются и для чего они служат, но они красивы, и порою простая гайка (этак фунтов на сто весом) — верх формального совершенства. Некоторые машины красные, как перец, другие массивные и серые, одни блестят медью, иные черные, великолепные, как надгробия. И удивительно, что век, который придумал две колонны и семь ступенек перед каждым домом, в металле нашел неисчерпаемую поэтическую оригинальность и красоту форм и функций. А теперь представьте себе, что все это громоздится на площади, обширнее Вацлавской, что здесь собрано больше, чем в коллекциях Ватикана и Уффици, вместе взятых, что все это по большей части вращается, шипит, хлопает намасленными клапанами, щелкает стальными челюстями, потеет маслом и блестит медью! Это миф века металла. Современная цивилизация достигла совершенства лишь в одном — в механике. Машины великолепны, безукоризненны, но жизнь, которая им служит или которой служат они, вовсе не великолепна, не блестяща, она не самая совершенная и не самая красивая; даже то, что производят машины, — не совершенно, но Они, Машины, богоподобны. И к вашему сведению, во Дворце промышленности я нашел настоящего идола. Это вращающийся несгораемый шкаф, сверкающий бронированный шар, который медленно, безостановочно вертится на черном алтаре. Изумительно и немного жутко.

О, умчи меня домой, «Летучий шотландец», превосходный стопятидесятитонный локомотив, перенеси меня через море, о белый, светящийся огнями пароход; и я сяду там на жесткую межу, поросшую тимьяном, и закрою глаза, потому что в моих жилах течет деревенская кровь,

и меня слегка встревожило то, что я видел. Это совершенство материи, из которого не вытекает совершенство человека, эти блистающие орудия тяжелой и неискупленной жизни приводят меня в смятение. Какой вид имел бы рядом с тобой, о «Летучий шотландец», тот нищий, который сегодня продал мне спички? Он был слеп и изъеден чесоткой; это был плохой и сильно поврежденный механизм: это был всего лишь человек.

II

Кроме машин, выставка в Уэмбли показывает еще два зрелища: сырье и изделия из него. Сырье обычно красивее и интереснее. Слитки чистого олова — нечто более совершенное, чем чеканное или гравированное оловянное блюдо; оранжевая или пепельно-серая древесина откуда-нибудь из Гвианы или Саравака решительно привлекательнее готовых бильярдных столов, а прозрачный, тягучий сырой каучук с Цейлона или из Малайи, собственно говоря, гораздо красивее и таинственнее резинового коврика или резинового бифштекса; я уже не говорю о всяких африканских злаках, о бог весть где выросших орехах, ягодах, семенах, зернах, плодах, косточках, водорослях, колосьях, маковых головках, луковицах, стручках, стеблях и волокнах, кореньях и листьях; о сушеных, мучнистых, маслянистых и травянистых плодах всех цветов, вкусов и запахов; их названий (по большей части очень красивых), я не помню, а назначение их для меня тоже загадочно: я подозреваю, что из них получаются продукты, которыми пользуются для смазки машин, для производства искусственной муки или сдабривания сомнительных пирожных в грандиозных лайонсовских обжорках. Из мореных, полосатых, темно-коричневых, бурых, крепких, как металл, древесин выделывается старинная английская мебель, а отнюдь не негритянские идолы, храмы или троны черных или коричневых королей. Разве лишь сплетенные из тростника корзины или мешки, в которых было свезено сюда все это торговое богатство Британской империи, дают некоторое понятие о негритянском или малайском ремесле, вписавшем в эти изделия нечто от себя своеобразным красивым техническим почерком. Все остальное — европейская про-

дукция. Впрочем, чтобы не соврать: не совсем все. Существует несколько общепризнанных отраслей производства экзотики, как, например, массовое изготовление Будд в Индии, китайских вееров, кашмирских шалей или дамасских клинков, которые так ценят европейцы. И вот оптом выделываются сидящие Сакья-Муни, анилиновые лаки, экспортный китайский фарфор, слоны из слоновой кости и чернильницы из змеиной кожи или смолы мастикового дерева, гравированные блюда, перламутровые безделушки и прочие предметы с ручательством за подлинное экзотическое происхождение. Народного туземного искусства больше не существует; негр в Бенине вырезывает фигурки из слоновых клыков, как будто он окончил мюнхенскую академию, а дайте ему кусок дерева, и он вырежет из него кресло для клуба. Ну, очевидно, он уже не дикарь, и стал, — кем же именно? — да, стал рабочим цивилизованного предприятия.

В Британской империи — четыреста миллионов цветных людей, а на выставке Британской империи они представлены лишь несколькими рекламными марионетками, небольшим числом желтых или коричневых торговцев да кое-какими памятниками старины, которые очутились здесь скорее ради курьеза, для увеселения публики. Я не знаю, что это означает: страшный упадок цветных народов или страшное молчание четырехсот миллионов; я даже не знаю, что в конце концов страшнее. Выставка Британской империи грандиозна по величине и по изобилию. Тут вы найдете всякую всячину вплоть до львиных чучел и вымирающих эму; только одного здесь нет — духа четырехсот миллионов человек. Это выставка английской торговли. Это как бы поперечный разрез через тонкий слой европейских интересов, которые обволокли своей сетью весь мир, не очень заботясь о том, что находится под ними. На выставке в Уэмбли можно видеть, что делают для Европы четыреста миллионов человек и, отчасти, что Европа делает для них; но здесь вы не найдете того, что они делают сами для себя. Немногое из этого представлено и в Британском музее — у величайшей колониальной державы нет даже настоящего этнографического музея...

Но прочь дурные мысли! Пусть людской поток толкает и песет меня от новозеландских яблок к гвинейским кокосам, от сингапурского олова к золотоносной руде Южной

Африки; пусть проходят передо мною пространства и пояса земного шара, горные недра и плоды земные, воспоминания о животных и людях, все, из чего в конечном счете прессуются шелестящие пачки фунтов стерлингов. Тут все, что можно обратить в деньги, все, что можно купить и продать: от горсти зерна до салон-вагона, от куска угля до манто из голубых песцов. Душа моя, чего из этих богатств земного шара хотелось бы тебе? «По правде говоря, ничего, ничего; я хотела бы снова стать маленькой, очутиться опять в лавке старого Проузы в Упице, таращить глаза на черный пряник, перец, имбирь, ваниль и лавровый лист и думать, что это и есть все сокровища мира, все благовония Аравии, все пряности далеких стран. Я хотела бы удивляться, принюхиваться, а потом убежать домой и читать роман Жюля Верна о чудесных, далеких, неведомых краях.

Ибо я, глупая душа, представляла себе их совсем по-другому».

Ист-Энд

Он начинается недалеко от центра мира, за Английским банком, Биржей и джунглями прочих банков и меняльных контор. Этот Золотой берег почти непосредственно омывают черные волны Восточного Лондона. «Не ходите туда без проводника, — советовали мне туземцы из Вест-Энда, — и не берите с собой много денег». Ну так это явно преувеличено. На мой взгляд, Пикадилли или Флит-стрит более дикая страна, чем Собачий остров или пресловутый Лаймхауз с Китайским кварталом или весь Поплар с евреями, с матросами и жалким Ротерхайтом по ту сторону реки. Со мною ничего не случилось, я благополучно вернулся оттуда, только очень подавленный, хотя выдержал в свое время полицейский обход в Коширже и видел портовые притоны Марселя и Палермо. Да, очень неприглядные улицы с грязными домами, со множеством детей на мостовой, со странными фигурами китайцев, скользящих, как тени, по лавкам, еще более странным, с пьяными матросами, благотворительными ночлежками, с подростками в кровоподтеках и с отвратительным запахом тряпья и чего-то подгорелого. Я видывал места куда похуже, вопиющую нужду, грязную, воспаленную, как

болячка, неописуемую вонь и вертепы страшнее волчьего логова. Но это не то, совсем не то. В Восточном Лондоне страшно не то, что можно видеть и обонять, а то, что всего этого так неизмеримо, непоправимо много. В других местах безобразная нищета существует, как помойная яма в грязном закоулке между двумя домами, как нарыв или омерзительные отбросы, а здесь миля за милей тянутся ряды черных домов, безотрадные улицы, еврейские лавочки, всюду преизбыток детей, кабаков, благотворительных ночлежек. Миля за милей от Пекхема до Хэкни, от Вулворта до Баркинга — Бермондсей, Ротерхайт, Поплар, Бромли, Степни-Боу и Бетнал-Грин, — все это кварталы, переполненные рабочими, евреями, кокни, портовыми грузчиками, людьми неимущими и опустившимися; кварталы одинаково безличные, прокопченные, голые, бесконечные, пересеченные грязными линиями грохочущего транспорта, и от всех одинаково веет безнадежностью. И на юге, и на северо-западе, и на северо-востоке опять то же самое: миля за милей покрытые копотью постройки, где вся улица — лишь вытянутый в бесконечную горизонтальную линию доходный дом, фабрики, газохранилища, железнодорожные пути, глинистые пустыри, склады товаров, склады людей, без конца, без надежды. Это, безусловно, самые отвратительные кварталы и самые жалкие улицы на свете, и нищета здесь на более высоком уровне, потому что даже последний нищий не ходит в лохмотьях. Но, боже мой, сколько народу, сколько миллионов людей живут в этой большей половине Лондона в тесных, однообразных, безотрадных закоулках, извивающихся на плане Лондона, как черви в гигантском трупе!

Вот в чем трагедия Ист-Энда: всего этого чересчур много, и изменить все это невозможно. Сам дьявол-искуситель не посмеет здесь сказать: «Хочешь, я разрушу этот город и в три дня воздвигну новый, лучше этого, не такой закопченный, не такой бездушный, бесчеловечный и пустой». Если бы он сказал так, я бы, кажется, пал перед ним ниц. Я ходил по улицам, названия которых напоминают Ямайку, Кантон, Индию, Пекин; они все одинаковы, во всех окнах одинаковые занавески, это могло бы показаться почти приличным убранством, если бы их было не пятьсот тысяч. В таком потрясающем количестве эти бараки теряют характер человеческого жилья и приобретают вид геологического напластования; это —

черная лава, извергнутая фабриками; это осадок, оставляемый торговлей, проплывающей по Темзе на белых пароходах, или это наслоилась сажа и пыль. Пойдите полюбуйтесь, какие красивые дома понастроили на Оксфорд-стрит, Риджент-стрит или на Стрэнде для товаров, для вещей, сделанных руками человека; ибо изделия рук человеческих имеют определенную ценность. Немного стоила бы рубашка, если бы она продавалась в таких скучных и голых стенах, а человеку почему же здесь не жить, то есть спать, есть отвратительную пищу и плодить детей.

Быть может, кто-нибудь, более знающий, завел бы вас в места поживописнее, где и грязь романтична, и нищета оригинальна, а я заблудился среди Улиц Несметного Количества и не могу найти выход.

И известно ли вообще, куда ведут эти бесчисленные черные улицы?

Country [1]

Итак, на поезд, и ехать куда-нибудь, напевая про себя под стук колес: «Прочь отсюда, прочь отсюда». И вот бегут мимо Улицы Несметного Количества, барабаны газохранилищ, стрелки путей, фабрики, заводы, кладбища; вот в бесконечные ряды городских построек вклиниваются полосы зелени; видишь последнюю трамвайную остановку; тихое предместье, зеленую траву и первых овец, склонившихся к земле в извечном обряде пожирания пищи. Еще полчаса, и ты уже за чертой самого большого города на свете; выходишь на какой-то маленькой станции, где тебя встречают гостеприимные люди, — и вот ты в английской country.

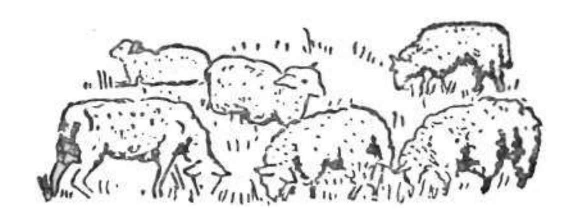
Где найти поэтические слова, чтобы изобразить тихую, зеленую прелесть английской деревни? Я побывал на юге, в Сэррее, и на севере, в Эссексе; ходил по дорогам, окаймленным живыми изгородями, настоящими живыми изгородями, которые делают Англию настоящей Англией, ибо они ограничивают, но не стесняют. Полуоткрытая калитка ведет в столетнюю аллею парка, более глухого, чем лес, а немного дальше стоит красный домик с высокими трубами, между деревьев виднеется церковная коло-

---

[1] Деревня (*англ.*).

кольня, луг со стадом коров, табун лошадей, которые смотрят на тебя красивыми, спокойными глазами; чистая, словно выметенная, тропинка, бархатистая поверхность пруда с кувшинками и ирисами, парки, замки, газоны и снова газоны, ни одной нивы, ничего, что кричало бы об изнурительном человеческом труде; рай, где сам господь бог сотворил асфальтовые и посыпанные песком дорожки, насадил вековые деревья и сплел из плюща покрывала для красивых домиков.

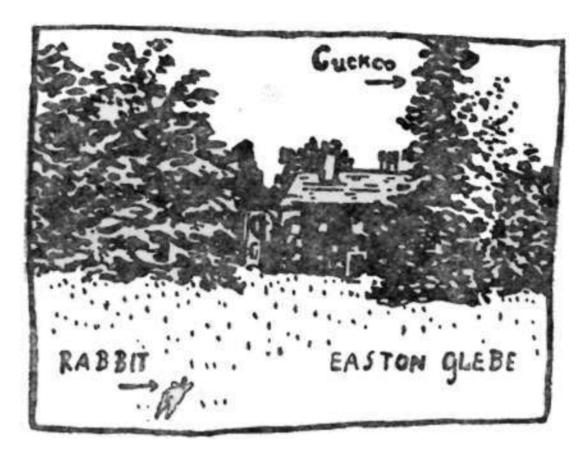
Мой дядюшка, чешский крестьянин, недовольно покачал бы головой при виде стада рыжих и черных коров на прекраснейших в мире лугах и сказал бы: «Эх, жалость-то какая, сколько навозу зря пропадает! — И добавил бы: — Почему бы не посадить здесь сахарную свеклу, а тут вот, люди добрые, какая пшеница бы выросла, а там картофель, а вместо этого кустарника я посадил бы черешню и вишню, а вон там посеял люцерну, а подальше



овес, а на том участке — рожь или рапс; ведь земля-то какая, хоть на хлеб намазывай, а ее взяли да под пастбище пустили!» Видите ли, дядюшка, говорят, дело того не стоит: пшеницу-то сюда из Австралии возят, сахар из Индии, картофель из Африки или еще откуда-нибудь; знаете, дядюшка, здесь и крестьян-то уже нет, и все тут только сад. «Ишь ты, — возразил бы он, — что-то мне д*о*ма больше нравится: пусть это всего лишь свекла, да зато работу видишь. А здесь никто даже за этими коровами и овечками не смотрит; как их только не украдут! Честное слово, парень, тут человека не увидишь; разве там вон кто-то едет на велосипеде, а там кто-то на вонючем авто мчится; парень, парень, да неужто здесь так никто и не работает?»

Трудно было бы мне изложить дядюшке экономическую систему Англии: слишком сильно чесались бы у него руки по тяжелому плугу. Английская деревня существует

не для работы, а для услаждения взора. Повсюду зелено, как в парке, природа нетронута, как в раю. И я блуждал по зеленой тропинке в Сэррее под теплым дождем, среди кустов цветущего желтого дрока и рыжего вереска, который рос вперемежку со светло-зеленым папоротником; и не было там ничего, кроме неба и пологих холмов, потому что домики с людьми попрятались среди деревьев, и только приветливое облачко дыма возвещает о готовящемся обеде. Я вспоминаю о тебе, добрый старый дом с бревенчатым потолком и огромным очагом, в котором может целиком



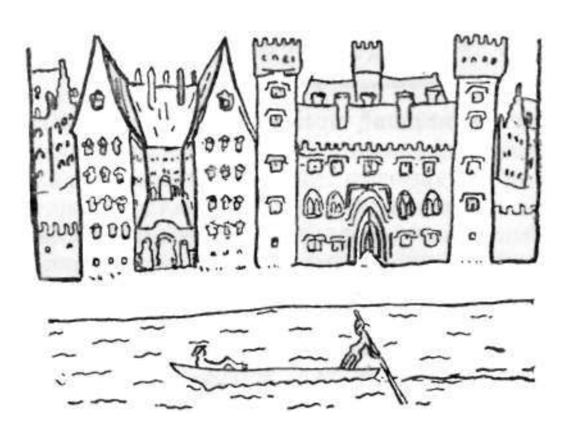
уместиться промокший путник, вспоминаю дубовый стол, и доброе гильфордское пиво в глиняных кружках, и беседу с веселыми людьми за английской ветчиной и куском сыра. Еще раз спасибо, и — пора дальше.

Я странствовал, как дух, по лугам в Эссексе, перелезал через изгороди в помещичьи парки и видел водяные лилии и гладстонии на черном омуте, танцевал в амбаре танец, которому никогда не учился, взбирался на церковные колокольни и раз двадцать в день восхищался гармонией и совершенством жизни, которыми окружает себя англичанин в своем доме. Английский дом — это теннис, горячая вода, гонг, зовущий к обеду, книги, газоны, изысканный комфорт, сложившийся и освященный столетиями, свобода детей и патриархальность родителей; гостеприимство и формы приличия, удобные, как халат; короче говоря, английский дом, — это английский дом, и я нарисовал его на память вместе с кукушкой и кроликом;

здесь живет и пишет один из умнейших людей в этом мире, а снаружи кукует кукушка по тридцать раз подряд. И на этом я заканчиваю сказку о самом прекрасном, что есть в Англии.

Кембридж и Оксфорд

По первому впечатлению это провинциальный городок, и вдруг, боже мой! чей это старинный замок? Оказывается — студенческий колледж с тремя дворами, собственной часовней, королевским залом, где студенты обедают, с парком, стадионом и мало ли чем еще. Есть и другой колледж, еще больше, с четырьмя дворами, с парком за рекой, собственным собором, огромной средневековой трапезной, пятисотлетними балками, с галереей старинных портретов, с еще более старинными традициями и еще более знаменитыми именами. Третий колледж — самый старый, четвертый прославился научными открытиями, пятый — спортивными рекордами, шестой — самой красивой часовней, седьмой — уж не знаю чем, и так как их не меньше пятнадцати, я их все спутал. Вижу



только прямоугольные замки, подобные крепостям, огромные дворы, где бегают студенты в черных мантиях и четырехугольных беретах с кисточкой, у каждого из них по две, по три комнаты в замковых крыльях; вижу средневековую часовню, выпотрошенную протестантизмом, акто-

вые залы с помостом для masters и fellows [1] и потемневшие портреты почтенных earls [2], государственных деятелей и поэтов, которые здесь учились; вижу прославленные backs, то есть задние фасады колледжей над речкою Кэм, через которую переброшены мостики в столетние парки; плыву по приветливой речке между backs и парками и думаю о наших студентах, об их тощих желудках и сапогах, стоптанных от беготни по урокам. Кланяюсь тебе в пояс, Кембридж, потому что я удостоился здесь чести отобедать на помосте среди ученых masters в таком громадном и таком старинном зале, что мне казалось, будто я вижу сон. Жму тебе обе руки, Кембридж, за удовольствие поесть из глиняных горшков в «Полумесяце» вместе с masters, студентами и другой молодежью; мне было хорошо среди них.



И видел я еще газоны, по которым имеют право ходить только masters, но ни в коем случае не undergraduetes [3], и лестницу, на которой имеют право играть в шарики только graduetes [4], но не студенты; видел профессоров в кроличьих мехах и в красных, как лангуст, мантиях; видел, как graduetes становились на колени и целовали руку вице-канцлеру; из всех этих чудес мне удалось нарисовать только одного почтенного пробста колледжа, угостившего меня стаканчиком шерри, которое было ровесником, по крайней мере, Питту Старшему.

Потом уже на память я нарисовал кембриджские колледжи так, как они мне снились несколько раз; на самом деле они еще больше и красивее.

Иногда мне снится и кембриджский кролик. Ему дали вдохнуть какой-то газ и хотели узнать, как отнесется

---

[1] профессоров и студентов (*англ.*).

[2] графов (*англ.*).

[3] студенты, то есть не получившие еще звания бакалавра (*англ.*).

[4] окончившие университет, то есть получившие звание бакалавра (*англ.*).

к этому кроличья селезенка. Я видел, как он умирал, прерывисто дыша и выпучив глаза. Теперь он является мне по ночам; упокой, господи, его ушастую душу.

Что мне сказать теперь плохого об Оксфорде? Я не могу похвалить Оксфорд, если хвалю Кембридж, и моя дружба с Кембриджем обязывает меня метать громы и молнии на гордый Оксфорд. А мне там, к сожалению, понравилось — колледжи там еще больше и, вероятно, еще старше, там живописные тихие парки, галереи с портретами не менее знаменитых предков, залы для банкетов, памятники и почтенные педели. Но вся эта пышность и традиции существуют не для всякого, — по-видимому, колледжи ставят себе целью воспитывать не ученых специалистов, а джентльменов. Представьте себе, что наши студенты обедают по меньшей мере в Вальдштейнском зале, едят на тяжелом старинном серебре, что их обслуживают ливрейные лакеи, а к экзаменам их подготовляют домашние профессора **в** аудиториях, обставленных всякого рода креслами и кушетками, представьте себе... Впрочем нет, ребята, лучше не думайте об этом!

Путешественник осматривает соборы

Соборные города — это маленькие городишки с огромными кафедральными соборами, где совершаются бесконечно долгие богослужения; причем церковный сторож подходит к туристу и велит сесть на скамью и слушать, как поет хор, а не глазеть на потолок и колонны. Таково обыкновение сторожей в Эли, Линкольне, Йорке и Дэрхеме; что делается в других местах, не знаю, потому что больше нигде не был. Я прослушал невероятное множество литаний, псалмов, гимнов и песнопений, причем заметил, что в английских соборах перекрытия обычно деревянные, вследствие чего в английской церковной архитектуре не развилась опорная система континентальной готики и вертикальные устои имеют вид сложной системы труб; убедился, что протестантские церковные сторожа черствее душой, чем католические, но так же падки на чаевые, как и сторожа итальянские, только, как джентльменам, им надо давать больше; и, наконец, я увидал, что реформация, посбивав головы статуям и изгнав из церковных

стен иконы и прочие языческие идолы, поступила по-свински. Из-за этого английские соборы голы и странны, словно нежилые дома. А еще безобразнее то, что закрытые хоры для священника, служек и избранных прихожан расположены посредине главного нефа, прочие же смертные сидят внизу и ничего не видят, кроме более или менее украшенных резьбой перил хоров и задней стенки органа. Таким образом, главный неф основательно изуродован, единое цельное пространство разрезано пополам. Ничего нелепее я никогда не видал. И так как на хорах все еще что-то поют, то надо встать и убраться отсюда.



Эли, Эли, lama sabachtani? [1] Подвел еси меня, Эли, мертвый город у подножия романского собора, когда я, утомленный и жаждущий, в пять часов пополудни стучался в двери чайных и трактиров, пивных, табачных киосков и писчебумажных магазинов, и не открыли мне. В пять часов пополудни Эли спит; к сожалению, у меня не было времени исследовать, что делается в Эли в три часа пополудни или в десять часов утра, — вероятно, там вообще всегда спят. Я уселся в общественном парке среди коровьих лепешек и полюбовался почтенным собором, воздвигнутым здесь во славу божию. Галки, летающие вокруг колокольни, — это, вероятно, души сторожей, при жизни пугавших людей в церкви.

Линкольн лепится на холме, у него есть замок и собор и что-то оставшееся еще от римлян — забыл, что именно. Собор мрачный и красивый, и там отправляют какие-то службы для трех сторожей, которые неприязненно караулят меня. Что я могу поделать? Прощайте, церковные сторожа, поеду осматривать Йорк.

[1] зачем ты меня покинул? (*арамейск.*).

В Йорке собор еще красивее; хотел было осмотреть его, да церковный сторож сказал, чтоб я оставил эту затею — через минуту начнется служба. И я пошел пройтись по городскому валу и оттуда нарисовал Йоркский собор, несмотря на то, что в нем шло богослужение; вероятно,



за это я попаду в английское пекло. Вокруг раскинулся чудесный Йоркшир, край раскормленных коров и знаменитых свиней, центр всех английских окороков и свиного сала; улицы в Йорке старинные и красивые, фронтоны домов выступают вперед, а балки почернели. Я многое мог бы порассказать о делах и днях Йорка, но нужно ехать в Дэрхем.

Собор в Дэрхеме очень старый и высится на крутой скале. В соборе совершаются богослужения с проповедью, пением и церковными сторожами; тем не менее я увидел гробницу Бэды Достопочтенного, кряжистые колонны, сводчатые коридоры и экскурсию хорошеньких американок. Колонны покрыты глубокими бороздами, создающими особенное, почти полифоническое впечатление. Кроме того, есть еще в Дэрхеме гробница святого Кэтберта, старинный замок и старинные каменные домики. Хорошенький городок раскинулся на холмах, и... больше я о нем ничего не знаю. Итак, английская церковная архитектура в целом не столь живописна и не столь пластична, как на континенте. С тех пор как бриттам, еще до норманнского нашествия, удалось построить огромные церковные нефы с деревянными перекрытиями, они в средние века остались им верны, — очевидно, в силу извечной консервативности. Английские церкви — это просторнейшие залы с широкими окнами, без сводов и без массивной системы опорных устоев, арок, чаш и тому

подобных пластических побрякушек. Церкви имеют по две четырехгранных башни над порталом и одну над алтарем, статуи изгнаны реформацией, остались лишь скудные скульптурные украшения, внутреннее пространство изуродовано хорами и органом, а общее впечатление сильно портит присутствие церковных сторожей.

И еще словечко о вас, маленькие церковки без хоров и церковных сторожей, голые и холодные зальцы божьи, с дубовым потолком, с зеленым кладбищем вокруг и четырехгранной колоколенкой среди деревьев, которая так же типична для английской деревни, как купол луковицей для нашей деревни, — колоколенкой, отзванивающей часы навеки неизменным церковным звоном над вечно неизменными надгробиями усопших.

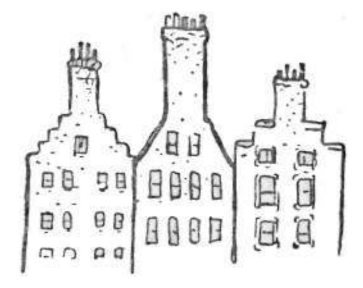


Поездка в Шотландию

Эдинбург

А теперь на север, на север! Бегут мимо графство за графством, в одном коровы лежат, в другом стоят, кое-где пасутся овцы, кое-где лошади, а порой видны только вороны. Появляется серое море, скалы и болота, исчезают живые изгороди и вместо них тянутся каменные заборы. Каменные заборы, каменные деревни, каменные города; за рекой Твид — каменная страна.

Мистер Бон был почти прав, когда объявил Эдинбург красивейшим городом на свете. Город действительно красив своеобразной каменно-серой красотой; там, где в других городах течет река, здесь проходит железная дорога; по одну сторону старый город, по другую — новый, с широкими, как нигде, проспектами, и куда ни посмотришь — всюду видны статуи или церкви; в старом городе страшно высокие дома, каких нет нигде в Англии, а на шестах, перекинутых через улицы, полощется белье, словно флаги всех национальностей, — этого тоже нет в Англии; на улицах чумазые рыжие ребятишки — и этого нет в Англии; и кузнецы, столяры и всякие интересные дядьки — этого нет в Англии; и удивительные переулочки — wynds или closes, их нет в Англии; и толстые, растрепанные бабы, каких нет в Англии; словом, здесь начинается такой же народ, как в Неаполе или у нас. Смотрите, как странно: у здешних старинных домов дымовые трубы торчат по фасаду, вместо башен, — как я нарисовал. Кроме Эдинбурга, этого нигде на свете не встретишь. Город расположен на холмах; иной раз бежишь куда-нибудь и вдруг — под ногами у тебя глубокая зеленая долина с красивой рекой; идешь, а над головой у тебя перекидывается по мосту другая улица, точно в Генуе; или попадаешь на совершенно круглую площадь, как в Париже. То и дело приходится удивляться. Войдешь в парламент, а там толпами снуют адвокаты в париках с двумя хвостиками сзади, точно лет сто назад. Идешь полюбоваться на замок, который так живописно стоит на отвесной скале, и по пути натыкаешься на целый



оркестр волынщиков и компанию highlanders; * у них штаны из клетчатых пледов и шапки с ленточками, зато волынщики носят юбочки в красную и черную клетку и на поясе мешочки из козьей шкуры; в сопровождении целого оркестра барабанщиков они гудят на блеющих волынках удалую песню. Взвиваются палочки над головами барабанщиков, вьются и подскакивают в удивительном диком танце, а волынщики с голыми коленками блеют воинственную песню и выступают по замковой эспланаде мелкими шажками, словно балерины. Бум-бум-бум, бум-бум-бум, палочки вьются все быстрей, скрещиваются, взлетают, и вдруг музыка переходит в траурный марш, волынки выводят бесконечную тягучую мелодию, горцы стоят навытяжку — позади них замок шотландских королей, а еще дальше — вся страшная, кровавая история этой страны. Бум-бум-бум, бум-бум-бум, палочки пляшут над головами бешеный хитроумный танец, — да, здесь музыка все еще зрелище, как в старину; и волынщики подпрыгивают в такт, перебирая ногами, как нетерпеливые кони перед битвой.

Другая страна и другие люди. Это провинция, но провинция монументальная; страна сравнительно бедная, но сильная, лица здесь смуглые, фигуры коренастые, зато девушки красивее, чем в Англии, и красивы чумазые ребятишки, жизнь раздольная, молодецкая, наперекор кальвинизму. Честное слово, здесь мне очень понравилось; и от радости я вам дам еще в придачу море у Лейта и Ньюхэвена, холодное стальное море, синие раковины на память и привет с рыбацких барок; и еще добавлю древнее живописное местечко Стирлинг с замком шотландских королей; если бы вы стояли у старой пушки на замковом бастионе и в руках у вас был ключ к шотландским горам — что бы вы там увидели?



[1] горцев (*англ.*).

Перед замком ходит балерина со штыком в клетчатой kilt; [1] десять шагов к воротам, десять обратно, смирно, на караул, к но-ге, — балерина встряхивает юбочкой и,



танцуя, возвращается обратно. На юге поле битвы Роберта Брюса, на севере — синие горы, а внизу, по зеленому лугу, вьется река Форт так, как ни одна река на свете не вьется; вот я и нарисовал ее, чтобы каждый видел, что это река красивая и радостная.

Loch Tay [2]

Если бы я был поэтом, как Карел Томан или Отакар Фишер, я написал бы сегодня небольшое, но красивое стихотворение. Я написал бы стихи о шотландских озерах, овеянных шотландским ветром и орошенных ежедневным шотландским дождем: в стихах говорилось бы о синих волнах, о вереске, папоротнике и задумчивых тропинках; и я умолчал бы, что эти задумчивые тропинки повсюду обнесены забором (видимо, для того, чтобы феи не могли устраивать на них танцы). Что же, приходится рассказать суровой прозой, как здесь красиво: голубовато-лиловое озеро между голыми скалами — это озеро называется Лох Тэй, и каждая долина называется Глен, каждая гора Бен, и каждый человек Мак; озеро голубое и спокойное, колючий ветер, косматые черные и рыжие бычки на лугах; смоляно-черные ручьи и скалы, как в балладах, пустынные, поросшие травой и вереском, — как все это описать? Лучше всего, конечно, в стихах, по я не могу придумать рифмы к слову «ветер».

Вчера вечером этот же ветер занес меня в замок Финлариг, и я ужасно напугал старика сторожа, потому

---

[1] юбочке (*англ.*).
[2] Озеро Тэй (*шотл.*).

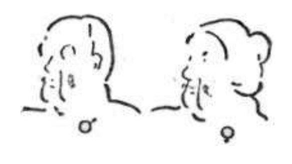
что он как раз в этот момент подметал бывший эшафот и, кажется, принял меня за привидение. Успокоившись на этот счет, он на своеобразном наречии, но с большим удовольствием рассказал мне о месте казней: там есть дыра, и через нее отрубленные головы падали в подземелье, но, по-моему, весьма возможно, что это отверстие и подземная камера, которые очень смахивают на отхожее место, служили вовсе не кровавым делам, а естественным нуждам. Находившийся там американец осматривал все это со скептической улыбкой, как явную чепуху; по ведь американцы ничего не смыслят в тайнах Старого Света. Дедушка-сторож необычайно гордился своим замком, он показывал всякие деревья, старые подковы, камни и невероятно долго, очевидно, по-гэльски, распространялся о королеве Марии Стюарт, маркизе Балохбуихе и о шотландской истории. В замке есть помещение со статуями; одна из них изображает королеву Марию Стюарт, другая — какого-то рыцаря Кэмпбелла, третья — шута королевы. Я нарисовал его для вас.



Очень оригинальна одна старая статуя, о которой дед рассказывал, очевидно, на основании старинных преданий: она изображает сварливую женщину; так как ее брань невозможно было выдержать, шериф велел, чтобы все пострадавшие от ее языка публично отхлестали ее по заду, что якобы и показывает наглядно скульптура. Я расхожусь с местными авторитетами, мне кажется, эта статуя гораздо древнее шерифов, сварливых женщин и замка Финлариг, я думаю, она изображает что-нибудь очень древнее, возможно — муки грешников в преисподней. Впрочем, я ее тщательно зарисовал.



Мне также удалось нарисовать чету шотландцев — мужа и жену. Шотландцы по большей части коренасты, с цветущими лицами и толстыми шеями; у них много детей и симпатичные старинные названия



кланов. Юбки, или кильты, они носят только на военной службе да играя на волынке. Клетчатые пледы называются тартанами и играют роль гербов: у каждого клана — тартан своих цветов, что, несомненно, служило когда-то достаточным поводом к истреблению всех кланов с тартанами иного цвета.

Шотландское воскресенье еще хуже английского, а шотландское богослужение дает представление о бесконечности. Пасторы, не столь розовые и благодушные, как в англиканской церкви, носят колючие усы. По всей Шотландии по воскресеньям не ходят поезда, закрываются вокзалы и не делается ровно ничего; странно, что не останавливаются также и часы. Только ветер рябит воду в лазурных и стальных озерах между голыми склонами гор. Я плыл по такому озеру, в конце концов моя лодка очутилась на мели, я положил перо и отправился бродить по задумчивым тропинкам между проволочными изгородями.

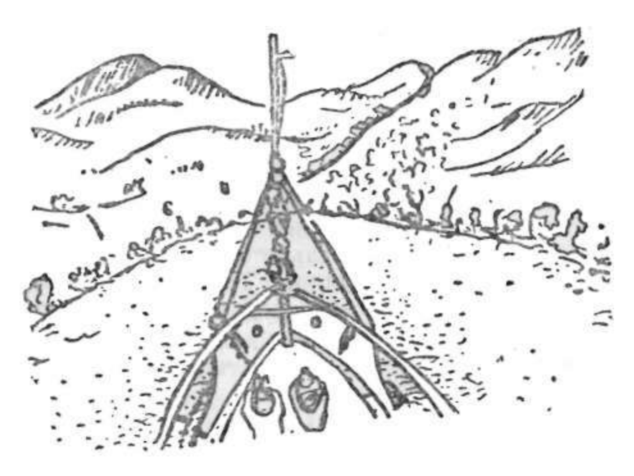
* * *

И под серыми небесами мне открылась другая Шотландия: длинные пустынные глены с разрушенными каменными хижинами, каменные заборы, сбегающие по склонам, каменный, едва ли не единственный на много миль и как будто необитаемый дом, то тут, то там поле овса высотою с палец, все остальное лишь папоротники, камни и трава, жесткая, как мох; иногда заблеет овца, карабкаясь без пастуха по откосу, иногда жалобно закричит птица, внизу, между суковатыми дубками шумит черная, дожелта вспененная река Дохарт. Странная, суровая, словно доисторическая страна. Тучи переползают через гребни гор, сетка дождя застилает унылый, пустынный край, который до сих пор не покорился человеку; а внизу шумит по черным камням черная река Дохарт.

«Binnorie, o Binnorie...» [1]

Неси меня, «Королева озер», по седым гребням синего Лох Тэя между пустынных скалистых берегов, которые уходят в небеса, попеременно угощающие меня то дож-

[1] «Биннори, о Биннорн...» (*шотл.*).



дем, то солнцем; неси меня, чистенькое суденышко, по блестящему шелку Лох Тэя.

Неси меня, красный почтовый поезд, по самым зеленым из зеленых долин, по долинам, где растут узловатые деревья, где бурлят пенистые речки, где пасутся овцы с длинным руном, неси меня но гленам северного изобилия. Подожди, серебряная осина, постойте, кудрявый дубок, черная сосна и густая ольха; подожди, девушка с пугливым взглядом дикарки.

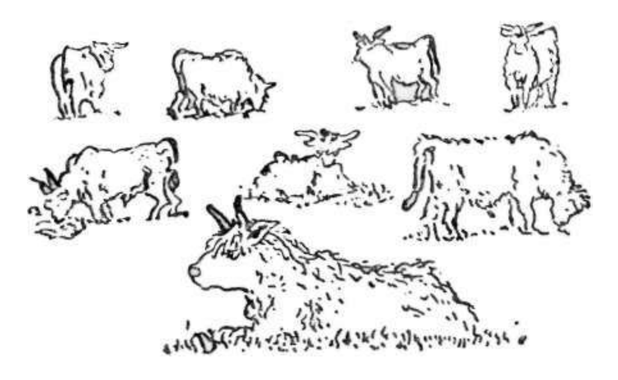
Или нет, на север, на север, в черные горы с пыхтеньем неси меня, поезд. Над купами зелени темно-синие горы; долины с рыжими коровами, светлая и темная листва, блестящие озера и северная прелесть березок; без конца голые, округлые купола гор, обрывы, лощины, глены в зарослях и горные склоны, покрытые рыжим вереском; северная красота лугов, березовые рощицы, а на севере — на севере блестит стальным клинком морская гладь.

Инвернесс — городок форели и горцев — построен целиком из розового гранита. Домики сложены из четырехугольных каменных плит, очень красиво обтесанных. А такие навесы над крыльцом есть только в Инвернессе.

А теперь в горы, в глубь страны, в край гэльского языка. Боже мой, никогда еще я не видел такого печального, мрачного края: на каждом шагу лысые скалы, только еще выше и страшнее; ничего, кроме хилых березок, а вот и их уже нет, в черной воде торфяных болот плавают лишь клочья водорослей называемых бородой

святого Иоанна; а еще дальше и этого нет — одни камни, камни, поросшие жесткими пучками ситника.

Тучи ползут по серым лысым скалам, моросит холодный дождь, туманы поднимаются над черными камнями, открывая темный глен, унылый, как вой собаки. Миля за милей — ни души, ни жилья, а если и промелькнет домик, то из того же серого камня, что и скалы вокруг; и стоит он один-одинешенек на протяжении многих миль. На озере нет рыбаков, на речке — мельницы, на пастбище — пастухов, на дорогах — путников. Только в более плодородных долинах пасутся шотландские быки с длинной косматой шерстью; они стоят под дождем или лежат в болоте; поэтому, вероятно, и обросли такой густой шерстью; как я и нарисовал.



А у шотландских овец настоящие плащи из шерсти, на мордах — словно черные маски, никто не пасет этих овец, только тянется каменная стена по пустынным склонам, указывая на присутствие человека: «До этой стены — мое пастбище».

И вот, наконец, так пустынно, что не видно ни стад, ни знаков собственности, стоит только полуразрушенный домишко и развалившаяся изгородь на поросшем бурым мхом, пропитанном влагой склоне. Конец жизни; должно быть, здесь ничего не изменилось за десять тысяч лет; люди только проложили тропинки и провели железные дороги, а страна осталась такой же; нигде ни деревца, ни кустика, одни только холодные озера, хвощ и папоротник, бурый вереск без конца да черный камень, чернильно-темные пики гор, изрытые серебряными нитями стремитель-

ных горных речек, черная слякоть торфяных болот, мрачные туманные глены между лысыми вершинами и снова озеро с бурыми водорослями, водная гладь без птицы, страна без людей, тоска без причины, путь без цели; я не знаю, чего ищу, но это, в конце концов, одиночество; напейся этой безмерной тоски, прежде чем снова очутиться среди людей, пропитайся одиночеством, душа ненасытная, ибо не видела ты ничего более великого, чем эта пустыня.

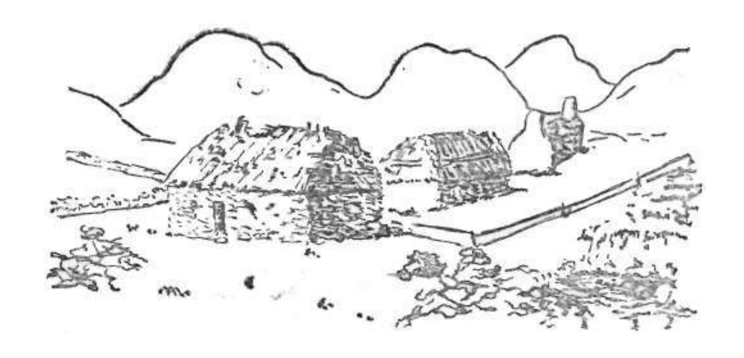
А теперь меня везут в долины, на межах мелькают желтые искорки дрока, по гранитным осыпям стелются горные сосны да искривленные хилые березки; черный ручей стремительно скачет по долине, вот уже пошли сосновые леса, пурпуром расцветают рододендроны и краснеет наперстянка; березы, кедры, дубы и ольха, северная глушь, папоротник по пояс и девственные заросли можжевельника; солнце прорывается сквозь облака, и вот внизу плещется море, глубоко врезавшееся в горные склоны.

Terra Hyperborea [1]

Я в стране по имени Скай, что значит «небо», но я нахожусь не на небе, а лишь на одном из Гебридских островов. Большой странный остров, состоящий из фьордов, торфяных болот, скал и горных пиков; среди бледно-голубой гальки собираю разноцветные ракушки и по особой милости неба нахожу помет дикого лося, того самого лося, который служит гэльским русалкам дойной коровой. Склоны пропитаны влагой, словно губка, вереск хватает меня за ногу, но зато, друзья мои, я вижу острова Раасай и Скальпай, Рум и Эйгг, вижу горы со странными древними названиями вроде Беинн на-Каллаих, Сгурр на-Банахдих, Ликан Нигеан ан-т-Сиосалаих или даже Друим нан Клеохд, хотя вон та лысая вершина — всего-навсего Блавен, да, да, полностью — просто Блавен. А вот этот ручеек — Аан-Рейдге-Мгойр, а заливчик с песчаной отмелью Срон Ард-а-Мгуллайх. Все эти и прочие названия свидетельствуют о прелести и своеобразии острова Скай.

---

[1] Земля Гиперборейская (*лат.*).



Остров красив, но беден, и у хижин такой доисторический вид, словно их строили еще при покойных пиктах, о которых, как известно, ничего не известно. Потом пришли гэльские каледонцы и откуда-то из Норвегии — викинги; король Хокон даже оставил здесь после себя каменный замок — почему это место и называется Киль Акин. Вообще же все завоеватели оставляли остров Скай в первобытном состоянии, таким, каким он вышел из рук божьих: диким, пустынным, изрезанным морем, влажным и гористым, страшным и прекрасным. Каменные хижины зарастают травой и мхом или, покинутые людьми, разваливаются.

Раз в неделю светит солнце, и тогда открываются окрестные горные склоны, окрашенные во все непередавае-



мые оттенки синевы — лазурной, перламутровой, матовой, индиговой, черной, розовой, зеленой; синевы глубокой, воздушной, туманной, подобной налету дыхания на стекле или просто воспоминанию о чем-то прекрасно-синем. Все эти и другие бесчисленные оттенки синего цвета я видел на синих вершинах Куиллина, но ко всему этому там было еще синее небо и синий морской залив, и об этом вообще уже нельзя рассказать; скажу только, что при взгляде на эту бесконечную синь в моей душе расцвели неведомые мне доселе божественные добродетели.

Но потом все заволакивается туманом, потянувшимся из долины и с гор, море становится серым, и холодные потоки дождя изливаются на отсыревшие склоны. Но у хороших людей горит в очаге торф, древняя женщина поет шотландскую балладу, и я вместе со всеми пою странную древнюю песнь:

tha tighin fodham, fodham, fodham,
tha tighin fodham, fodham, fodham,
tha tighin fodham, fodham, fodham,
tha tighin fodham, eirigh.

Потом мы беремся за руки, становимся в круг и поем что-то шотландское о прощании или о встрече.

Среди отмелей вокруг острова видна узкая полоска открытого моря — путь китоловов в Исландию и Гренландию. Дружище, почему тебе становится грустно при взгляде на эту полоску открытого моря? Привет вам, страны, которых я, вероятно, никогда не увижу!

Ах, я видел синее и огненное море, и мягкие пляжи, и пальмы, склонившиеся над лазурными волнами, но вот эти серые холодные озера околдовали меня; смотрите, вон вышагивает журавль среди водорослей, а чайка или морская ласточка с резким криком кружится над волнами; в зарослях вереска кричит бекас и вспархивает стая серых дроздов, косматый бычок удивленно смотрит на человека, а на голых склонах пасутся овцы, издали похожие на желтоватых вшей, а вечером роями летают мириады мошек, забиваются в нос, и почти до полуночи длится северный день.

...И это синее море, плещущее у ног, и этот открытый путь на север...

«But I am Annie of Lochroyan»[1]

И все-таки капитан парохода не соблазнился этим открытым путем на север; он был человек благоразумный, плавал не в Гренландию или Исландию, а всего-навсего до Маллайга и, очевидно, не читал Джека Лондона.

Почему вы гонитесь за нами, чайки, крикливая морская чернь? Если бы я умел летать, как вы, я полетел бы через Шотландию, отдыхая на легких озерных волнах, потом — через море в Гамбург; там есть река Лаба, и я полетел бы над ней на сильных крыльях; только у города Мельника свернул бы я к другой реке, пока не долетел бы до Праги; я промчался бы под триумфальными арками всех мостов, крича и смеясь от радости: «Добрые люди, я лечу прямо из Шотландии, чтобы погреть белое брюшко на теплой Влтаве». Прекрасна, чудесна страна, называемая Каледонией или землей Стивенсона, но какая она грустная и пасмурная! Там, в Праге, правда, вместо озер — Вацлавская площадь, вместо Ладгар Бгеинн — набережная с белыми акациями, и Вышеград, и Петршинский холм. И еще я должен передать вам привет, люди, от путешественника, плывущего сейчас по Слит-Саунду.

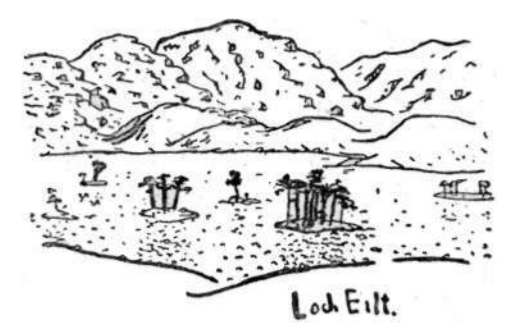




[1] «А я Энни из Лохройана» (*англ.*).

Я нарисовал этот самый Слит-Саунд вместе с горой Ладгар; нарисовал я и пристань в Маллайге, и матроса, чтобы никто не мог сказать, будто я опять о чем-то умолчал или изобразил мир не таким, каков он на самом деле — с барками и матросами.

Промчи меня, поезд, по всем уголкам Каледонии — ибо хорошо здесь моему сердцу и грустно. Вот озеро Морар и Лох Шиэль, вот горные пики, кручи и глены, могучие вершины с титаническими откосами, выгнутые хребты и крупы исполинских допотопных чудовищ с густыми зелеными чащами под мышкой и в изгибах голых тел; горы, утыканные валунами, как праздничный торт — миндалем; сверкающие озера с очаровательными остров-



ками, как Лох Эйлт; и вообще озера всюду, где только представляется случай; озера, вытянутые в длину, блещущие на солнце; ветер рябит зеркальную гладь с серебряными тропинками водяных духов; горы, скалистые или пологие, словно поднявшееся гранитное тесто, полосатые вершины, морщинистые и голые, как шкура бегемота, синие, рыжие, зеленые, — без конца, без конца безлюдные горы.

Наконец Форт Вильям, один из железных засовов, когда-то сдерживавших мятежных горцев; а над ним Бен Невис — самая высокая вершина этой горной страны, массивный, мрачный молодец над фьордом, покрытый сетью белых водопадов, рождающихся в снежных полях на вершине, — а дальше снова горы и горы, глены и озера, тенистые долины, потоки черных вод, — страна, которую бог сотворил из твердого вещества и вручил человеку, чтобы бороться на ней с человеком же — ибо со скалами и вересковыми зарослями бороться нельзя.

А это коротенькое письмецо я посвящаю тебе, Глазго, город без красот, шумный город торговли, заводов и верфей, порт со всяческими товарами. Что о тебе сказать? Красивы ли фабрики, доки и склады, подъемные краны в порту, башни сталелитейных заводов, стада газохранилищ, дребезжащие машины с товарами, высокие дымовые

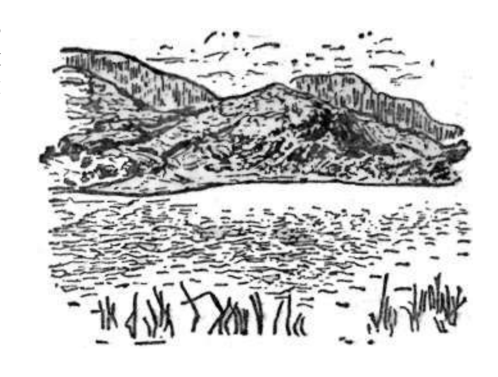


трубы и гремящие паровые молоты, конструкции из железобетона, буйки на воде и горы угля? Я, бедный грешник, смотрю и думаю, что все это очень красиво, живописно, монументально, но жизнь, которая всем этим порождена, — улицы, люди, лица у станков и в конторах, жилища, дети, еда, жизнь, вся жизнь, которая кормится от всех этих больших и сильных вещей, — эта жизнь совсем не красива и не живописна; ее, сырую и грязную, липкую, шумную, вонючую и душную, уродливую и тяжелую, — тяжелее голода, безобразнее нищеты, — покинул дух божий, — и легла на меня усталость сотен тысяч, и я бежал от тебя, Глазго, потому что у меня не хватило духу смотреть и сравнивать.

Боже, дай мне силы додумать...

Озерный Край

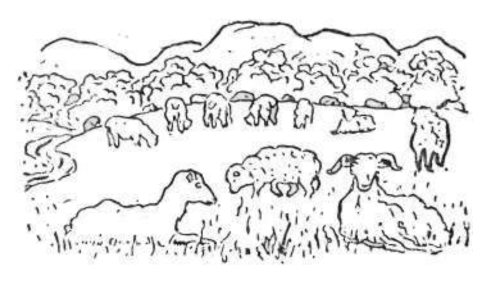
Чтобы не говорили, будто озера существуют только в Шотландии, есть они и в Англии; там им предоставлен даже целый округ; есть там Дервентуотер, озера Бессентуэйт, Уостуотер, Терльмерское, Грасмерское и Уайндер-



мерское, Эльсуотер и т. д.; здесь-то и жили поэты «озерной школы», а могила Вордсворта находится в Грасмере, возле красивой старинной церковки с дубовым потолком, в долине, поросшей кудрявыми деревьями; предложение у меня получилось длинное, и все же оно не исчерпывает всех красот прелестного Озерного Края. Так, например, Кесвик — городок, в отличие от всех других городков на свете, построенный из ярко-зеленых камней; но зеленой краски у меня здесь нет, и я постарался нарисовать для вас хотя бы здание общинного самоуправления — это тоже красивый дом. Для удобства туристов здесь есть гора Скиддау, а затем чудесное озеро Дервентуотер, лежащее между рощами и парками; я рисовал его в такой приятный и тихий вечер, что мне было даже страшно от радости; закат расчесывал кудрявые волны золотым гребнем; здесь-то, у притихших камышей, и сидел путник, и его не тянуло домой — так упоительно спокойна была вода. Путеводитель по Озерному Краю называет всевозможные горы, ущелья, красивые виды, а также камень, на котором сиживал Вордсворт, и прочие местные красоты. Я и сам придумал несколько паломничеств, а именно:



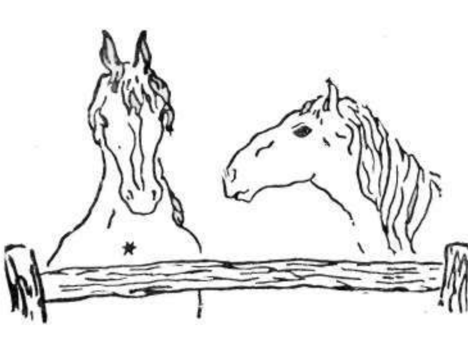
1. *Паломничество к овцам.* Хотя в Англии овцы имеются повсюду, но овцы Озерного Края особенно курчавы, пасутся на шелковистой траве и напоминают души праведников в царствии небесном. Никто за ними не смотрит, и они проводят время в еде, в мечтах и благочестивых раз-



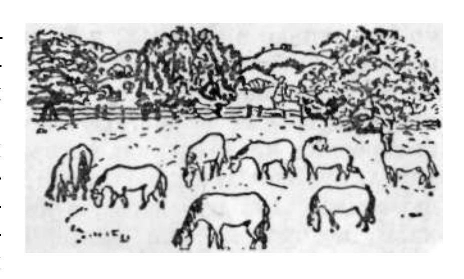
мышлениях. Я нарисовал этих овец, вложив в рисунок столько тихого и кроткого умиления жизнью, насколько это возможно достичь при помощи вечного пера.

2. *Паломничество к коровам.* В отличие от прочих, у коров Озерного Края шерсть имеет особенный красный оттенок, кроме того, их отличает от остальных соплеменниц благодатная прелесть тех мест, где они пасутся, и мягкость выражения. Целыми днями они прогуливаются по райским лугам, а когда ложатся, то не спеша, с важностью пережевывают благодарственные молитвы. На своем рисунке я окружил их всеми красотами Озерного Края; вы видите мост, перекинутый через речку с форелью, нежный кустарник, кудрявые деревья, пологие приветливые холмы с лесочками и живыми изгородями, хребты кембрийских гор и, наконец, полный тепла и света небосвод; среди деревьев виднеются фронтоны домиков из красноватого или зеленого камня; и вы поймете, что быть коровой в Озерном Крае — это великая милость, которой удостаиваются лишь самые праведные и самые достойные из всех тварей земных.





3. *Паломничество к лошадям.* Лошади в Англии ничего не делают, а только пасутся целыми днями или прогуливаются по густой траве. Быть



может, это вовсе не лошади, а Свифтовы гуингнмы — мудрый, почти божественный народ, который не занимается ни торговлей, ни политикой и даже не интересуется скачками в Аскоте. На человека лошади смотрят ласково и почти без отвращения; они необыкновенно разумны. Иногда они задумываются, иногда бегают с развевающимся хвостом, а иногда поглядывают так властно и гордо, что рядом с ними человек чувствует себя какой-то обезьяной. Нарисовать лошадей оказалось самой трудной из задач, которые мне до сих пор приходилось решать. Едва я попытался набросать рисунок, как лошади меня окружили, и одна из них настойчиво порывалась сожрать мой альбом; мне пришлось спасаться бегством, так как она не хотела довольствоваться тем, что я показал ей свои рисунки издали.

Много еще красивого в Озерном Крае: извивающиеся реки, величественные деревья с густой листвой, вьющиеся ленты дорог, горное эхо и мирные долины, волнующиеся и тихие озера; а по этим извилистым дорогам тарахтят шарабанчики, набитые туристами, проносятся автомобили и мчатся женщины на велосипедах; лишь Овцы, Коровы и Лошади вдумчиво и неторопливо пережевывают красу природы.

Северный Уэлс

В Священном писании, правда, совершенно ясно сказано: «Ac efe a ddywedodd hefyd wrth y bobloedd. Pan weloch gwmmwl yn codi o'r gorllewin, yn y fan y dywedwch. Y mae cawod yn dyfod; ac felly y mae» (Лука, XII, 54) [1]. И хотя уэлская Библия говорит это о западном ветре, я именно при западном ветре отправился на гору Сноудон, или, вернее, Эрири-и-Виддфа, чтобы полюбоваться оттуда видом на весь Уэлс. Ac felly y mae: не только шел дождь,

---

[1] Сказал же и народу: когда вы видите облако, поднимающееся с запада, тотчас говорите: дождь будет; и бывает так.

но я очутился в облаках, и было так холодно, что на вершине Сноудона я не отходил от печки. Приятно смотреть на огонь; глядя на рдеющие угли, можно мечтать о множестве самых чудесных вещей. Путеводитель расхваливает разнообразные красоты вида с горы Сноудон, а я ничего не видел, кроме белых и серых туч, и ощущал их присутствие даже под своей рубашкой; с виду они не слишком уродливы, потому что они белые, но разнообразия я что-то не заметил. И все-таки мне не было дано увидеть Лливедд-а-Моэл-Оффрвн, и Квм-и-Ллан, и Ллин-Ффиннон-Гавс, и Гриб-и-ддизгиль; скажите сами, разве не стоят такие красивые названия небольшой порции тумана, ветра, холода и облаков?

Что касается языка жителей Уэлса, то он до некоторой степени невразумителен и, как мне говорил один ученый приятель, очень сложен; например, отца называют то «dad», то «tad», иногда же «nhad», смотря по обстоятельствам. Сложность языка видна уже из того, что одна деревня поближе к Англии просто называется Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllamtysiliogogogoch. Но имейте в виду, что кельтский язык в Уэлсе звучит красиво, особенно в устах темноволосых девушек почти французского типа. К сожалению, старые уэлские женщины носят



мужские кепи; это, очевидно, остаток местного костюма, в состав которого входил у женщин необычайно высокий мужской цилиндр.

В остальном Уэлс вовсе не так странен и страшен, как названия его деревень и местечек. Один городок называется Пэнмэнмавр, а там только и есть, что каменоломни да морские купанья. Я не знаю, почему некоторые имена оказывают на меня магическое действие; я захотел

во что бы то ни стало посмотреть Ландудно и был удручен: во-первых, это название произносится совсем не «Лландудно», а иначе, во-вторых, это просто-напросто такая же куча гостиниц, скал и песку, как и любой другой морской курорт Великобритании. Я добрался до самого Карнарвона, главного города Уэлса; это такая глушь, что там на почте не знают о существовании нашей страны, и в семь часов вечера вы не получите ужина; зачем я провел там два дня, я сам не знаю. Там находится огромный старинный замок принцев Уэлских, я нарисовал бы его, но он не уместился у меня на бумаге; тогда я нарисовал только одну из его башен, где как раз заседал автономный галочий парламент. Такого количества галок я никогда не видал и не слыхал; рекомендую вам обязательно съездить в Карнарвон.



Уэлс — страна гор, Ллойд-Джорджа, форели, туристов, черных коров, сланца, замков, дождей, бардов и кельтского языка. Лысые фиолетовые горы чудесны, усеяны камнями; в отелях висят отсыревшие фотографии устроителей певческих состязаний; эти состязания здесь нечто вроде национальной особенности; у уэлских овец длинные хвосты, и хоть режьте меня — это все, что я знаю о Северном Уэлсе. Кому этого покажется мало, пусть сам едет в Карнарвон. Пересадка — в Бангоре.

Письма об Ирландии

I

По правде говоря, я собирался писать письма из Ирландии. Туда всего несколько часов пути; почему я туда не еду, мне самому не совсем понятно. Думаю, что в этом повинен ирландский вопрос.

Я спрашивал об Ирландии почти всех англичан, шотландцев, кимров и гэлов, с которыми встречался, допытывался, что именно следует смотреть в Ирландии и куда направить там свои стопы; мне кажется, эти расспросы были им почему-то неприятны. Мне советовали съездить лучше в Оксфорд, в Стретфорд на Авоне или на морские купанья.

От этого мое любопытство разгорелось еще больше.

— Поезжайте на север, — говорил мне один.

— Поезжайте на запад, — советовал другой без особенного энтузиазма.

— Поезжайте на юг, — уговаривал третий, — я там, правда, не был, но если вы непременно хотите ехать...

II

В о п р о с. Мне хотелось бы посмотреть Ирландию. Что вы на это скажете?

О т в е т. Ах-хе-хех-хе-хе-хе-ох-ох. Э?

В о п р о с. Что вы сказали?

О т в е т. Да там не очень спокойно.

В о п р о с. Разве так уж опасно?

О т в е т. Ну, там, случается, и мосты взлетают на воздух, а уж поезда...

В о п р о с. Неужели каждый поезд?

О т в е т *(несколько неуверенный)*. Нет, зачем же каждый... Знаете что? Съездите-ка в Белфаст. Там почти то же самое...

III

А мистер Шоу посоветовал мне поехать лишь в одно местечко в Ирландии: это небольшой островок на юге; название его я забыл. Там, по его, словам, народ вполне благонадежен. Жаль только, добавил мистер Шоу, что к этому островку невозможно пристать.

IV

Ладно, буду действовать на собственный страх. Куплю какой-нибудь путеводитель по Ирландии, выберу несколько красивых мест и буду писать письма из Ирландии.

От самого Глазго я бегаю по всем книжным лавкам и покупаю путеводитель по Ирландии. Но книготорговцы вежливо качают головой; нет, у них нет никаких путеводителей по Ирландии. Есть путеводители по Корнуэлсу и Дюкери, по Сноудону и выставке в Уэмбли, но, к сожалению, ничего, абсолютно ничего об Ирландии. «Наши туда не ездят».

V

Отсюда до Ирландии всего несколько часов езды; но, скажите, стоит ли без всякой надобности срывать завесу со страшной тайны, скрывающей от меня эту страну? Лучше я всегда с радостью и умилением буду взирать на карту Ирландии: вот страна, с которой я не снял покрывала.

Дартмур

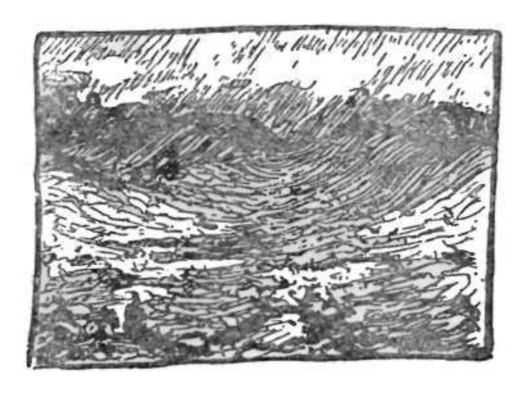
Ну, теперь я все видел: и горы, и озера, и море, и пастбища, и земли, подобные саду, не видел только одного — настоящего английского леса, потому что в Англии, так сказать, за деревьями леса не видно. И я соблазнился местом, которое на карте обозначено «Dartmoor Forest», то есть «Дартмурский лес»; кроме того, Дартмур, если я не ошибся, в истории литературы — место действия «Собаки Баскервиллей». Дорогой я взглянул на то место, откуда отправилась на «Остров Сокровищ» стивенсоновская «Эспаньола»; это было в Бристоле, скорее всего у того моста, где стоял бриг, пахнущий апельсинами. Больше в Бристоле нет ничего примечательного, если не считать красивой церкви, в которой происходило какое-то молебствие, собора, где тоже совершалось богослужение с пением и проповедью, и, наконец, старинного здания больницы, откуда я срисовал кариатиду-химеру с окладистой бородой; для Бристоля это достаточно любопытно.



В Эксетере меня захватило английское воскресенье, объединившееся с дождем. Воскресный день в Эксетере соблюдается так неукоснительно и так свято, что даже церкви закрыты, а что касается пищи телесной, то путешественник, пренебрегший холодным картофелем, вынужден ложиться спать с пустым желудком; не знаю, почему это доставляет такое удовольствие эксетерскому господу богу. В остальном Эксетер красивый городок с приятным тихим дождиком и старинными английскими домами, о которых речь будет ниже, а сейчас я тороплюсь в Дартмурский лес.

Дорога туда идет по живописно извивающемуся шоссе, по отлогим холмам, по тем заросшим кудрявой зеленью

местам, где самые непроходимые живые изгороди, самые крупные овцы, самый густой плющ, и боярышник и самые развесистые деревья, а хижины крыты самым толстым слоем соломы, какой я когда-либо видел. В Девоншире старое дерево твердо, как скала, и совершенно, как скульптура. Дальше идут длинные, голые, пустынные холмы без единого деревца; это и есть Дартмурский дремучий лес. Там и сям среди вереска одиноко торчат гранитные глыбы, напоминающие алтари каких-то великанов



или допотопных ящеров. Это, к вашему сведению, «tors». Кое-где в вереске журчит красноватый ручеек, чернеет бездонный омут, ярко зеленеет трава на болоте; говорят, в этих местах может засосать всадника вместе с конем; проверить это я не мог, ибо коня у меня не было. Невысокие холмы заволакиваются пеленой; не знаю, облака ли спускаются так низко, или это испарения от вечно влажной земли; туманная сетка дождя окутывает край гранита и болот, тяжелые тучи висят над ним, в трагическом сумраке на минуту показываются пустыри, покрытые вереском, можжевельником и папоротником, — вот все, что осталось от непроходимого дремучего леса, росшего здесь когда-то.

Что это за свойство у человека, — когда он видит такой край тоски и ужаса, у него перехватывает дыхание... Неужели это красиво?..

По горам, по долам, по горам, по долам зеленого Девона — между двумя рядами живых изгородей, разрезающих на квадраты обширный край, как благоуханные

межи у нас, в Чехии, все время мимо старых деревьев, под мудрым взглядом пасущихся коров — по горам, по долам еду я к рыжему побережью Девона.

Гавани

И, само собой разумеется, я осматривал портовые города и видел их столько, что теперь все путаю. Итак, минутку: Фолкстон, Лондон, Лейт, Глазго — это четыре; затем Ливерпуль, Бристоль, Плимут... а может быть, их было и больше. Самый живописный из всех — Плимут, прячущийся между скалами и островами; там есть старый порт в Барбикене, с настоящими матросами, рыбаками и черными барками, и новый порт с капитанами, статуями и полосатым маяком у набережной Хое, где устраиваются гулянья. Маяк я нарисовал, но на рисунке не видно, что это бледно-голубая ночь, не видно, что на море буйки и пароходы подмигивают зелеными и красными огоньками, что у подножья маяка сижу я, а на коленях у меня — черная кошка (я имею в виду настоящую живую кошку), я глажу кошку, любуясь морем, огоньками над водой и всем миром в приступе сумасшедшей радости, что я существую на свете; а там, в Барбикене, воняет рыбой и океаном, как во времена старого Дрейка и капитана Мэрриэта, и светится спокойное, широкое море; да, Плимут — самый красивый порт.



Но Ливерпуль, друзья, Ливерпуль — самый большой; за его грандиозность я прощаю ему свою обиду: по случаю какого-то конгресса или королевского посещения (не знаю, что именно там было) он не захотел предоставить путешественнику ночлег и привел меня в ужас новым собором, огромным и скучным, как развалины терм Каракаллы в Риме, и окутался в полночь пуританской тьмой, чтобы я не мог найти жалкий трактир, где мне дали отсыревшее ложе, пахнущее кислятиной, как бочка с капустой;

говорю, все это я Ливерпулю прощаю, потому что я увидал нечто грандиозное на пространстве от Дингля до Бутла и даже до Биркенхеда на противоположном берегу, желтую воду, ревущие паровые паромы, буксирные пароходы — брюхатых черных свиней, покачивающихся в волнах, белые, трансатлантические пароходы, доки, бассейны, башни, подъемные краны, лебедки, элеваторы, дымящие фабрики, грузчиков, баржи, склады, верфи, бочки, ящики, чаны, тюки, дымовые трубы, мачты, такелаж, поезда, дым, хаос, гудки, звонки, стук, пыхтенье, разверстые утробы кораблей, запах пота, мочи, лошадей, воды и отбросов всех частей света; словом, если бы я еще



полчаса громоздил слова, я все равно не сумел бы изобразить величину и беспорядок того, что называется Ливерпулем. Прекрасен пароход, когда он, гудя, разрезает воду своей высокой грудью, изрыгая дым из толстых труб; прекрасен он, когда исчезает постепенно за выпуклостью воды, волоча за собой дымовую завесу; прекрасны дали и цель для человека, который стоит на носу отваливающего парохода; прекрасна скользящая по волнам парусная лодка, — хорошо уезжать и приезжать. О родина моя, не имеющая морей, не слишком ли узок твой горизонт, тебе не хватает, пожалуй, шумных далей? Да, да, но могут быть шумящие просторы в наших головах; и если нельзя уйти в плавание, можно, по крайней мере, мечтать, бороздить широкий и высокий мир в полетах мысли; на свете еще хватит места для путешествий и больших кораблей. Да, надо всегда отплывать — море есть всюду, где есть отвага.

Только не вздумай, рулевой, повернуть обратно; мы плывем еще не домой. Останемся еще, постоим на ливерпульском рейде и посмотрим на все, прежде чем возвратиться к себе; этот рейд так велик, грязен и шумен. Где же, собственно, настоящая Англия: там, в тихих и чистых коттеджах среди бесконечно старых деревьев и традиций, в жилищах безупречных, спокойных и утонченных людей, или здесь, на этих мутных волнах, в грохочущих доках, в Манчестере, в Попларе, на глазговском Бруми-лоу? Хорошо, признаюсь, я этого не понимаю; там, в той Англии, слишком уж все безупречно и красиво, а здесь слишком уж...

Ну, ладно, я не понимаю этого, словно это не одна страна и не один народ. Ладно, теперь поднимай якоря, пусть море обдаст меня брызгами, пусть меня обвеет ветром, кажется, я видел слишком много.

Merry old England [1]

Но мы должны еще задержаться, должны выяснить, где же, собственно говоря, веселая старая Англия? Старая Англия — это, скажем, Стретфорд, это Честер, Эксетер и не знаю, что еще. Стретфорд... Стретфорд... подождите, был ли я там? Нет, не был и не видел дома, в котором родился Шекспир, не говоря уж о том, что дом снизу доверху переделан, а кроме того, возможно, никакого Шекспира вообще не существовало. Но зато я побывал в Сольсбери, где жил и работал совершенно несомненный Мессинджер, в лондонском Темпле, где, как установлено документально, останавливался Диккенс, в Грасмере, где жил исторически достоверный Вордсворт, и во многих других, документально засвидетельствованных местах рождения и жительства. Ладно, я нашел в разных местах эту самую добрую старую Англию, которая внешне оставила после себя черные балки и резьбу, в результате чего у нее сейчас полосатый черно-белый вид. Я не люблю слишком смелых гипотез; но мне кажется, что черные и белые полоски на рукавах английских полицейских восходят, как показывает мой рисунок, к полосатым старинным постройкам.



Ибо Англия — страна исторических традиций, а все существующее имеет какую-нибудь причину, как учит, если не ошибаюсь, Джон Локк. В некоторых городах, как, например, в Честере, полицейские носят белые плащи, словно хирурги или парикмахеры; возможно, это — традиция со времен римского владычества. Затем старая Англия любила выступающие вперед верхние этажи

[1] Веселая старая Англия (*англ.*).

и крыши, так что старинный дом вверху всегда шире, чем внизу; да еще и окна выступают наружу, как выдвинутые наполовину ящики, и поэтому такой дом с его этажами, эркерами, выступами и нишами похож на огромную складную игрушку или старинный секретер с выдвижными ящиками, которые на ночь, возможно, задвигаются и запираются, и дело с концом. В Честере есть еще достопримечательность, нечто называемое «rows». Это — галерея, впрочем только на втором этаже, и с улицы туда входят по ступенькам, а магазины там находятся внизу и наверху; ничего похожего нет нигде на свете. В Честере же есть собор из розового камня, между тем как в Йорке собор бурый, в Сольсбери — серовато-голубой, как щука, а в Эксетере — черно-зеленый. Почти в каждом английском соборе колонны имеют вид сложенных вместе труб, прямоугольный алтарь, уродливый орган посреди главного нефа и нервюры, разбегающиеся веером по сводам; то, что в соборах не успели испортить пуритане, докончил своими высокостильными реставрациями покойный Уайэтт. Возьмите хотя бы собор в Сольсбери, это нечто до такой степени совершенное, что становится тошно. И вот, трижды обежав город Сольсбери, как Ахиллес Трою, и убедившись, что до отхода поезда остается все-таки еще два часа, садишься на единственную в городе скамейку между тремя одноногими старцами и с изумлением наблюдаешь, как полицейский надувает щеки, чтобы рассмешить грудного младенца в колясочке. В общем же, нет ничего хуже, чем дождь в маленьком городке.



В Сольсбери покрывают черепицей даже стены домов; я это нарисовал к радости тех кровельщиков, которым, может быть, попадет на глаза это письмо. В северных графствах дома строили из красивых серых камней; по этой причине в Лондоне почти все дома построены из безобразных серых кирпичей. В Беркшире и Хемпшире строили все подряд из кирпичей, красных, как перец;

поэтому в Лондоне тоже есть улицы из красных кирпичей, словно ангел смерти обагрил их кровью. В Бристоле какой-то архитектор понастроил тысячи странных окон в несколько мавританском духе, а в Тевистоке у всех



домов фасады, как у Принстоунской тюрьмы. Боюсь, этим и исчерпывается все разнообразие английской архитектуры.

Но самое красивое в Англии — это деревья, стада и люди; а также пароходы. Старая Англия — это также пожилые румяные джентльмены, с весны носящие серые цилиндры, а летом гоняющие мяч на площадках для гольфа и кажущиеся такими свежими и милыми, что, будь мне лет восемь, мне захотелось бы с ними поиграть; и еще пожилые леди с неизменным вязаньем в руках, — леди тоже румяные, красивые, приветливые, они пьют горячую воду и никогда не пожалуются вам на свои недомогания.

Путешественник обращает внимание на людей

Я хотел бы быть в Англии коровой или ребенком; но будучи взрослым, нуждающимся в бритве мужчиной, я наблюдал людей этой страны. Так вот, неправда, что все без исключения англичане носят только клетчатые костюмы, курят трубки и отращивают бакенбарды; что касается бакенбард, то единственный подлинный англичанин — это доктор Боучек в Праге. Зато все англичане ходят в непромокаемых плащах или с зонтиками, на



голове у них плоская кепка, а в руках — газета; если это англичанка, то она носит непромокаемый плащ или теннисную ракетку. Природа проявляет здесь необыкновенную склонность покрывать все растительностью: косматой шерстью, руном, щетиною и прочими видами волос; так, у английских лошадей растут настоящие волосяные кусты или кисти на ногах, а английские собаки — это просто смешные комки косматой шерсти. Только английский газон и английский джентльмен ежедневно бреются.

Что такое английский джентльмен, объяснить вкратце невозможно; вам бы надо было знать для этого, по крайней мере, английского официанта из клуба, железнодорожного кассира или даже полицейского. Джентльмен — это равномерная смесь молчаливости, благожелательности, достоинства, спорта, газеты и приличия. Ваш визави в поезде два часа будет донимать вас тем, что не удостоит даже взгляда, и вдруг встанет и подаст чемодан, до которого вы не можете дотянуться. В таких случаях люди охотно помогают друг другу, но никогда не найдут, о чем поговорить, разве что о погоде. По этой причине англичане, вероятно, и выдумали все игры — ведь во время игры не разговаривают. Их молчаливость доходит до того, что они даже не ругают публично правительство, поезд или налоговую систему; в общем, это невеселый, замкнутый народ. Вместо трактиров, где сидят, пьют и болтают, они изобрели бары, где стоят, пьют и молчат. Более разговорчивые люди бросаются в политику, как, например, Ллойд-Джордж, или в литературу; потому-то в английской книге полагается не меньше четырехсот страниц.

Возможно, что именно молчаливость повлияла на манеру англичан проглатывать половину слова, а вторую произносить сквозь зубы; вот почему англичан трудно понять. Я ежедневно ездил до станции Ледбрук Гров. Подходит кондуктор, и я говорю: «Ледбрук Гров». — «Э?» — «Ледбхук Гхов!» «...???Э?» — «Хевхув Хов!» —

«Аа, Хевхув Хов!» — Кондуктор, просияв, дает мне билет до Ледбрук Грова. В жизни я этого не постигну!

Но если познакомиться с англичанами поближе, то они очень милые и деликатные люди; они никогда много не говорят, потому что никогда не говорят о себе. Они забавляются, как дети, но с самым серьезным, каменным выражением лица; у них множество правил приличия, всосанных с молоком матери, но при этом они непринужденны, как щенята. По характеру они тверды, как кремень, не способны приспособляться, консервативны, немного робки и необщительны; они не в состоянии выйти из своей оболочки, но эта оболочка солидна и во всех отношениях превосходна. С ними нельзя обменяться несколькими словами, не получив при этом приглашения на обед или ужин; они гостеприимны, как святой Юлиан, но всегда сохраняют в своих отношениях с другими известное расстояние. Иногда вам делается не по себе от одиночества, которое вы ощущаете среди этих приветливых и доброжелательных людей; но если бы я был маленьким мальчиком, я знал бы, что им можно доверять больше, чем самому себе, и я был бы здесь свободен и уважаем, как нигде на свете; полицейский надувал бы щеки, чтобы меня рассмешить, пожилой господин играл бы со мной в шарики, а седовласая леди отложила бы роман в четыреста страниц, чтобы ласково взглянуть на меня серыми и все еще молодыми глазами.

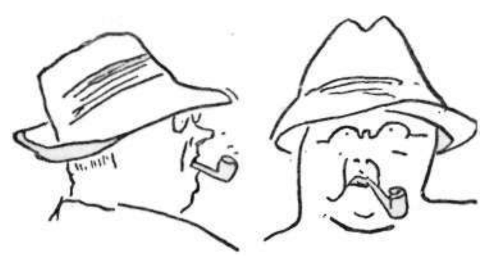
Несколько портретов

И есть еще несколько человек, которых я должен вам изобразить и описать.

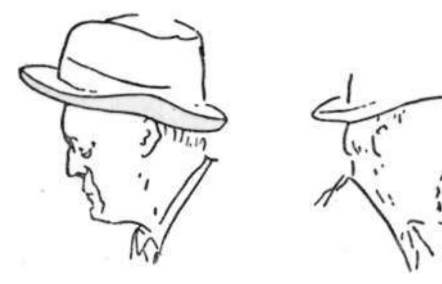
Вот мистер *Сетон Уотсон,* или *Scotus Viator*; [1] вы его знаете, потому что он воевал вместе с нами, как архангел Гавриил. У него есть дом на острове Скай, он пишет историю Сербии, а по вечерам слушает пианолу возле камина, где горит торф; у него высокая красивая жена, два непромокаемых мальчугана и синеглазое дитя в пеленках; окна его дома обращены на море и острова, у него детский рот, а комнаты увешаны портре-

[1] Шотландский Путник (*лат.*).

тами предков и видами Чехии; он — мягкий, нерешительный человек, с гораздо более нежным лицом, чем можно было бы ожидать от такого строгого и справедливого шотландского путника.



Вот мистер *Найгель Плейфер* — режиссер, который привез в Англию мои пьесы, но он способен и на лучшее; это невозмутимый человек, художник, антрепренер и один из немногих, по-настоящему современных, английских режиссеров.



А это — мистер *Джон Голсуорси* в двух видах: драматурга и романиста, потому что надо знать его с обеих сторон. Это очень скромный, мягкий и прекраснейший человек с лицом священника или судьи, хрупкий, худощавый, созданный из такта, сдержанности и задумчивой нерешительности, невероятно серьезный, только в деликатно собранных морщинках вокруг глаз таится ласковая улыбка. У него жена, очень на него похожая, а его книги — прекрасные и мудрые произведения чуткого и порою грустного наблюдателя.



Вот мистер *Г.-К. Честертон;* я изобразил

его с крылышками, отчасти потому что повидать его я мог только мельком, отчасти же по той причине, что он отличается райской жизнерадостностью. К сожалению, в момент нашего знакомства он был, по-видимому, стеснен несколько официальной ситуацией; он мог только улыбаться, но его улыбка стоит трех. Если бы я мог написать о его книгах, о его поэтическом демократизме, о его гениальном оптимизме, получилось бы самое веселое из моих писем; но я взял себе за правило писать лишь о том, что видел своими глазами, поэтому я представляю вам объемистого человека, напоминающего своими формами Виктора Дыка, с мушкетерскими усиками и застенчиво-лукавыми глазками под пенсне, с растопыренными ручками, как полагается толстяку, и с развевающимся галстуком; это одновременно ребенок, великан, кудрявый барашек и буйвол; у него крупная голова с каштановой шевелюрой, смуглое лицо с мечтательно-капризным выражением: с первого же взгляда он вызвал во мне застенчивость и пылкое влечение. И больше я его не видел.

А это мистер *Г.-Д. Уэллс.* Один рисунок изображает его в обществе, а другой — дома; у него массивная голова, могучие, широкие плечи, сильные, горячие ладони; он похож на рачительного хозяина, на трудящегося человека, на отца семейства и на кого хотите еще. У него тонкий, глуховатый голос человека, не привыкшего много говорить, лицо, носящее следы размышлений и работы, уютный дом, красивая жена, подвижная, как чечетка, двое взрослых веселых сыновей и слегка прищуренные, чуть затененные густыми английскими бровями глаза.



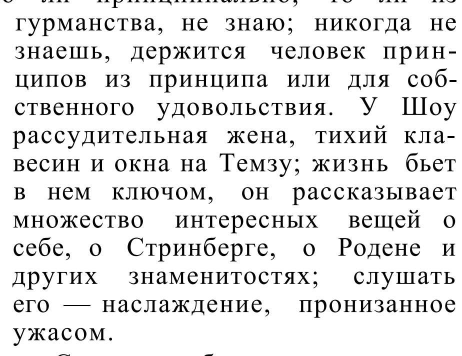


Простой и умный, здоровый и сильный, очень образованный и очень обыкновенный в самом хорошем жизнелюбивом смысле этого слова. Говоря с ним, забываешь, что перед тобой большой писатель, потому что беседуешь с думающим, универсальным человеком. Желаю вам долго здравствовать, мистер Уэллс!

А вот существо почти сверхъестественное — мистер *Бернард Шоу;* я не мог лучше нарисовать его, потому что он все время в движении, все время разговаривает. Огромного роста, тонкий, прямой, он похож то на господа бога, то на весьма злокозненного сатира, который, однако, за время тысячелетних превращений утратил все слишком естественное. У него белые волосы, белая борода и очень



розовая кожа, нечеловечески ясные глаза, большой воинственный нос; в нем есть что-то рыцарское, напоминающее Дон-Кихота, что-то апостольское и что-то позволяющее относиться с иронией ко всему на свете и в том числе к самому себе; я никогда в жизни не видел существа более необыкновенного; по совести говоря, я его боялся. Мне казалось, что это какой-то дух, лишь играющий в знаменитого Бернарда Шоу. Он вегетарианец, то ли принципиально, то ли из





гурманства, не знаю; никогда не знаешь, держится человек принципов из принципа или для собственного удовольствия. У Шоу рассудительная жена, тихий клавесин и окна на Темзу; жизнь бьет в нем ключом, он рассказывает множество интересных вещей о себе, о Стринберге, о Родене и других знаменитостях; слушать его — наслаждение, пронизанное ужасом.

Следовало бы нарисовать еще многих замечательных и прекрасных людей, с которыми я встречался; были среди них мужчины, женщины, очаровательные девушки, литераторы, журналисты, сту-

денты, индийцы, ученые, клубмены, американцы и все прочие; но пора проститься, друзья; я не хочу думать, что больше вас не увижу.

Бегство

Под конец я открою ужасные вещи: например, английское воскресенье — это нечто страшное. Говорят, воскресенье существует, чтобы ездить на лоно природы; это неправда — на лоно природы едут, чтобы в дикой панике скрыться от английского воскресенья. В субботу каждого британца одолевает темное инстинктивное стремление бежать куда глаза глядят, подобно тому, как темный инстинкт заставляет животное спасаться от надвигающегося землетрясения. Кто не мог сбежать, прячется хотя бы в церковь, чтобы в молитвах и пении переждать грозный день. Это день, когда не готовится пища, никто никуда не ездит, никто ни на что не смотрит и ни о чем не думает. Не знаю, за какие невероятные преступления осудил господь бог Англию на еженедельное наказание воскресеньем.

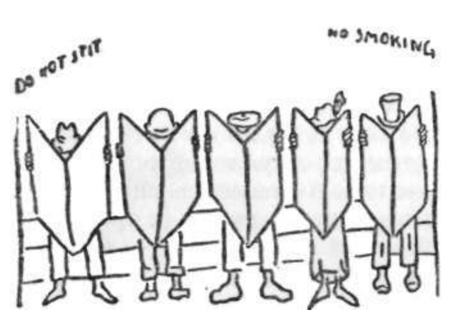
Английская кухня бывает двух родов: хорошая и посредственная. Хороший английский стол — это попросту французская кухня; посредственный английский стол в посредственном отеле для среднего англичанина в значительной степени объясняет английскую угрюмость и молчаливость. Никто не может с сияющим видом выводить трели, прожевывая pressed beef *, намазанную дьявольской горчицей. Никто не в состоянии громко радоваться, отдирая от зубов липкий пудинг из тапиоки. Человек становится страшно серьезным, — если он поест лосося, политого розовым киселем, получит к завтраку, к обеду и к ужину нечто бывшее в живом виде рыбой, а в меланхолическом меню называемое fried sole [2], если трижды в день он дубит свой желудок чайным настоем да еще выпьет унылого теплого пива, наглотается универсальных соусов, консервированных овощей, custard [3] и mutton; [4] этим, видимо, и исчерпываются все

---

1 прессованную говядину (*англ.*).
2 жареная камбала (*англ.*).
3 желе из молока и яиц (*англ.*).
4 баранины (*англ.*).

телесные услады среднего англичанина, — и начинаешь постигать причины его замкнутости, серьезности и строгости нравов. Напротив, гренки, запеченный сыр и жареное сало — это, безусловно, наследие старой веселой Англии. Я убежден, что старый Шекспир не вливал в себя настоя таннина, а старик Диккенс не услаждал свою жизнь мясными консервами; что же касается старины Джона Нокса, то тут я не так уверен.

Английской кухне недостает этакой легкости и цветистости, радости жизни, мелодичности и грешного чревоугодия. Я сказал бы, что этого недостает также и английской жизни. Английская улица не веселит. Обыкновенная заурядная жизнь лишена веселых звуков, запахов и зрелищ. Обыкновенный день не искрится приятными случайностями, улыбками и зародышами происшествий. Вы не можете слиться с улицей, с людьми и звуками. Ничто не подмигнет вам дружески и общительно.



Влюбленные молча целуются в парках, упорно, плотно стиснув зубы. Пьяницы в одиночку пьют в барах. Средний человек едет домой, читая газеты, и не глядит по сторонам. Дома у него камин, садик и неприкосновенность частной семейной жизни. Кроме того, он культивирует спорт и weekend [1]. Больше ничего о его жизни я выяснить не мог.

Континент более шумен, менее упорядочен; он грязней, несдержанней, пронырливей, страстнее, сплоченнее, влюбленней, сластолюбивей; он шумлив, груб, болтлив, распущен и как-то менее совершенен. Прошу вас... дайте мне билет прямо до континента.

На пароходе

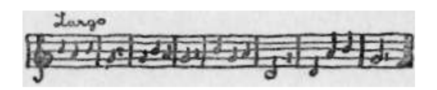
Человек, находящийся на берегу, хотел бы очутиться на пароходе, который отчаливает от пристани; человек, находящийся на пароходе, хотел бы очутиться на берегу,

[1] отдых в конце недели (*англ.*).

который виднеется вдали. Будучи в Англии, я беспрестанно думал о том прекрасном, что осталось дома. А дома я, вероятно, буду думать, что в Англии лучше и приятнее, чем где бы то ни было.

Я видел величие и силу, богатство, благоустройство и зрелость, ни с чем не сравнимую. Но ни разу я не пожалел, что Чехословакия — маленький, неустроенный кусочек земли. Быть небольшим, недоделанным и незаконченным — это хорошая, мужественная миссия. Существуют огромные великолепные трехтрубные трансатлантические пароходы с первым классом, ваннами и сверкающей медью; и существуют небольшие дымящие пароходики, которые пыхтят по океанам; друзья, сколько надо мужества, чтобы быть таким маленьким и неудобным средством передвижения! И не говорите, что у нас мелкие масштабы; вселенная вокруг нас, слава богу, так же необъятна, как и вокруг Британской империи. Маленький пароходик не вместит столько, как большой корабль, но, друзья, он может доплыть так же далеко, а то и еще дальше! Все зависит от команды.

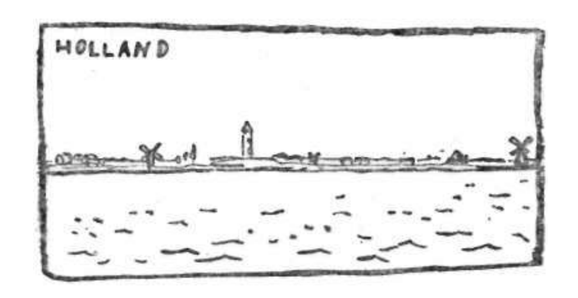
В голове у меня еще все гудит, как у человека, который, выйдя с огромного завода, оглушен тишиной за его стенами; а то вдруг начинает казаться, будто у меня в ушах продолжают звонить колокола всех английских церквей:



Но в эти ноты уже все время врываются чешские слова, которые я скоро услышу. Мы небольшой народ, и поэтому мне будет казаться, что я со всеми лично знаком.

Первый, кого я увижу, будет полный, крикливый человек с виргинской сигарой во рту, человек, чем-то недовольный, холерического темперамента, возбужденный, болтливый и с душой нараспашку. И мы встретимся как старые знакомые...

Узкая полоска на горизонте — это уже Голландия со своими ветряными мельницами, аллеями и черно-белыми коровами, плоская, прекрасная страна, демократичная, сердечная и привольная.



А белый английский берег тем временем скрылся из виду. Жаль, я забыл с ним попрощаться. Ладно, дома переварю все, что видел, и, о чем бы ни зашла речь — о воспитании детей или о транспорте, о литературе или об уважении к человеку, о лошадях или креслах, о том, каковы люди или какими они должны быть, я начну с видом знатока: «А вот в Англии...»

Но никто не станет меня слушать.

Прогулка в Испанию

ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ АВТОРОМ

Перевод
Е. ЭЛЬКИНД



Nord & Sud Express[1]

Так называемый Международный Экспресс занимает в наш век среди других видов транспорта важное место по причинам, с одной стороны, практическим, которые нас здесь интересуют меньше, а с другой стороны — по мотивам лирического свойства. Ежеминутно в современной поэзии мчится на вас Трансконтинентальный Экспресс; проводник с непроницаемым лицом объявляет: Париж, Москва, Гонолулу, Каир; sleeping-car'ы[2] скандируют динамичный ритм Скорости, и летящий пульман овеян романтикой дальних странствий, — не забывайте, что пылкое воображение переносит поэтов только в купе и каюты первого класса. Позвольте мне, друзья мои, поэты, сообщить вам некоторые сведения о пульмановских вагонах и спальных купе: поверьте, что они снаружи — когда проносятся в огнях мимо уснувшей станции — гораздо романтичней и заманчивей, чем изнутри. Экспресс гонит с великолепной скоростью — это, конечно, бесспорно, но бесспорно и то, что ты должен как пр*о*клятый отсидеть в нем четырнадцать или двадцать четыре часа, а этого зачастую достаточно, чтобы сдохнуть со скуки. Паровичок Прага — Ржеп едет с менее импозантной скоростью, но есть приятное сознание, что через полчаса ты вышел, и иди, куда захочешь, искать новых приключений. Человек в пульмане не мчится со скоростью девяноста шести километров в час — человек в пульмане сидит и зевает, отсидит одну ягодицу, перевалится на другую. Одно только служит ему утешением: сидит он с удобствами. Иногда небрежно взглянет в окно; за стеклом убегает станция, названья которой ему не прочесть, промелькнет городок, в котором ему нельзя выйти; никогда не пройдет он по этой аллее, окаймленной платанами, не остановится на том мостике, чтобы плюнуть оттуда в реку, и не узнает даже ее названия. «А черт с ним со всем, — думает человек в пульмане. —

[1] Экспресс Север — Юг (*англ.*).
[2] спальные вагоны (*англ.*).

Где мы едем? Только еще Бордо? Тьфу, пропасть, как тащится поезд!»

Посему, если хотите почувствовать хоть немножко дорожной экзотики, садитесь на паровичок, астматично пыхтящий от станции к станции. Прижмите нос к вагонному стеклу, чтоб ничего не пропустить. Вот входит синий солдатик, вот малыш машет вам ручкой; французский крестьянин в черной блузе предлагает отведать винца своего производства, молодая мать кормит ребенка грудью, бледной, как луч луны, зычно обсуждают что-то парни, покуривая едкий самосад, бормочет молитвы засаленный патер, уткнувшись в свой требник; дорога расправляется, откидывая станцию за станцией, как бусины на четках. Потом наступает вечер, немного грустные от утомленья люди, словно беженцы, начинают дремать под мигающим светом вагонных лампочек. Тут по соседнему пути, грохоча, промчится сияющий Международный Экспресс со своим грузом томительной скуки, со всеми своими слипингами и дайнингами [1].



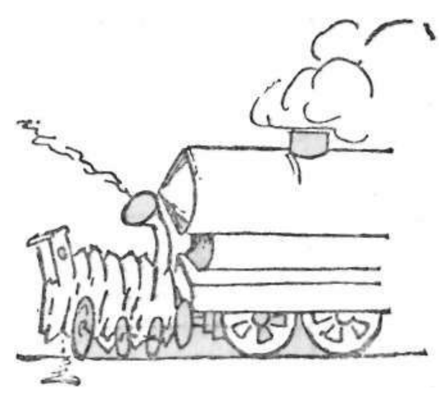
«Что это? Только Дакс? Боже милостивый, как мы ползем!»

* * *

Кто-то написал недавно панегирик Чемодану, имея в виду, конечно, не простой чемодан, а Чемодан Трансконтинентальный, облепленный наклейками отелей Стамбула и Лиссабона, Тетуана и Риги, Сент-Морица и Софии, — гордость и путевой дневник хозяина. Открою вам страшную тайну: ярлыки эти продаются в бюро путешествий. За небольшое вознаграждение на чемодан вам наклеят Каир, Флиссинген, Бухарест, Палермо, Афины и Остенде. Хочу

[1] Спальный вагон и вагон-ресторан (от *англ.* sleeping-car и dining-car).

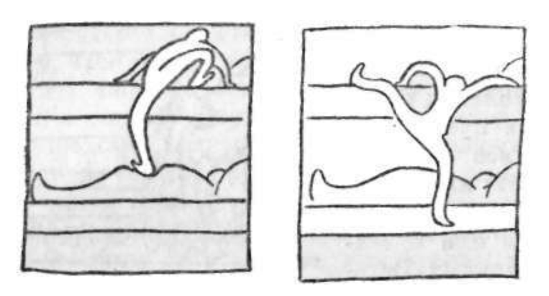
надеяться, что, открывая эту тайну, я наношу Чемодану Международному непоправимый удар.



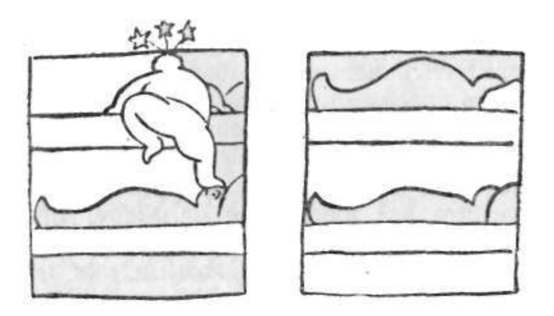
Другой на моем месте из стольких тысяч километров пути, быть может, вынес бы иные впечатления: например, встречи с Венерой Международной или с Мадонной Спальных Вагонов. Ничего в этом роде со мной не бывало. Было, правда, крушение поезда, но тут я уже совсем ни при чем. У небольшой станции наш экспресс бросился на товарный состав; бой был неравный, эффект получился такой, как если бы Оскар Недбал сел вдруг на чей-нибудь цилиндр. Товарному пришлось несладко, с нашей же стороны всего пять раненых — победа полная. В ситуациях подобного рода пассажир, выбравшись из-под груды чемоданов, свалившихся ему на голову, прежде всего бежит смотреть, что, собственно, произошло, и лишь удовлетворив свое любопытство, начинает ощупываться — все ли цело? Убедившись, что все как будто на месте, принимается с чисто техническим сладострастием разбирать, как схлестнулись между собой паровозы и как мы здорово смяли этот состав. Сам виноват, не надо было лезть. Одни только раненые бледны и расстроены, будто им нанесли незаслуженное личное оскорбление. Потом в дело вмешивается администрация, а мы идем в руины вагона-ресторана, чтобы выпить по случаю нашей победы. До самого конца пути мы едем но зеленой улице: видимо, нас боятся.

Массу неожиданных и сильных впечатлений можно получить еще в спальном вагоне при попытке залезть на верхнюю полку, особенно, если на нижней кто-то уже спит. Не совсем приятно наступить на голову или на живот человеку, когда не знаешь, какой он национальности и какой у него характер. Чтобы попасть наверх, используют ряд сложных гимнастических приемов: например, подъем с локтей или подъем с маха, прыжок

с подскоком, прыжок ноги врозь; иногда дело улаживают добром, иногда прибегают к насилию. Когда вы наконец



залезли, смотрите, чтоб не захотелось пить или чего-нибудь другого, — а то придется лезть обратно; положитесь на волю божью и старайтесь лежать в полной



неподвижности, как покойник на столе, пока за окнами убегают неведомые края и поэты па родине пишут стихи о Международных Экспрессах.

D. R., Belgique, France[1]

При достаточных средствах и свободе торговли на этот предмет я непременно стал бы коллекционировать государства. Граница государства, как я вижу, — это не пустяк. Я не люблю таможенников и скучаю, когда проверяют пас-

[1] Г[ерманская] р[еспублика] (*нем.*), Бельгия, Франция (*франц.*).

порта, но, оказавшись по ту сторону границы, всякий раз вновь с восторгом убеждаюсь, что попал в другой мир, где своя речь, свои дома, свои жандармы, свой цвет почвы и своя природа. За синим проводником входит зеленый, которого через два часа сменит коричневый. Это, скажу я вам, «Тысяча и одна ночь». За чешскими яблонями пошли бранденбургские сосны на белых песках, вот машет крыльями мельница, словно куда-то бежит, земля стелется ровно и плодит главным образом стенды, рекламирующие сигареты и маргарин. Это Германия.

Потом — скалы, заросшие плющом, горы, выдолбленные человеком в поисках руды, глубокие зеленые долины рек, заводы и домны, железные ребра буровых вышек, отвалы щебня, словно неостывшие вулканы, — смесь буколической природы с тяжелой промышленностью, концерт, в котором свирель и carillon[1] аккомпанируют фабричной сирене; сплошной Верхарн, «Les Heures Claires»[2] и «Les Villes Tentaculaires»[3]. Сплошная Фландрия старого поэта: страна, которая не может разложить свои богатства и у которой они все в одном кармане; милая Бельгия; маменька с ребенком на руках, солдатик, задержавшийся, чтоб попоить коня, таверна в долине, трубы и страшные башни индустрии, готический собор, железоплавильня, стадо коров среди шахт; все тут свалено вместе, как в старой лавке, — один бог знает, как все тут у них уместилось.

И снова земля раскидывается вольнее — это Франция, страна ольхи и тополей, тополей и платанов, платанов и виноградников. Серебристая зелень. Да, да, серебристо-зеленая — вот ее цвет; розовый кирпич и голубая черепица, легкая дымка тумана, больше света, чем красок, Коро. На полях ни души, наверное, давят виноград нового сбора; винцо из Турени, винцо из Анжу, вино Оноре де Бальзака, винцо графа де ла Фер. Garçon, une demi-bouteille[4], ваше здоровье, башенки Луарской долины! Черноволосые женщины в черных платьях. Что это? Только Бордо? Ночь дышит смолистым ароматом; это Ланды, земля сосен. Потом другой запах, острый, бодрящий: море.

---

[1] колокольный звон (*франц.*).
[2] «Светлые часы» (*франц.*).
[3] «Города-спруты» (*франц.*).
[4] Гарсон, полбутылки (*франц.*).

Апдай — пересадка! Жандарм с лицом молодого Калигулы, в клеенчатой треуголке, чертит на чемоданах магические знаки и величавым жестом выпускает нас на перрон. Ничего не поделаешь: тут вам Испания.

Camarero, una media del Jeres [1]. Ничего не поделаешь. Обольстительная чертовка, с ногтями, крашенными хенной. Хороша, да не про вас! А вот чучело жандарма недурно бы захватить домой для коллекции.

Кастилия la vieja [2]

Был я в Испании, могу побожиться, и есть тому ряд свидетельств: например, наклейки отелей на чемоданах. И все-таки земля эта закрыта для меня непроницаемым покровом тайны на том серьезном основании, что, когда я вступил на нее и когда я ее покинул, была глубокая ночь, как будто нас с повязкой на глазах перевозили через реку Ахерон или сквозь Горы Снов. Я силился что-нибудь разглядеть в темноте за окном и видел лишь какие-то скорчившиеся черные тени на голых откосах, — наверное, скалы или деревья, а может быть, какие-то огромные животные. У этих гор была резкая, необычная форма. Я решил встать пораньше и рассмотреть их, когда рассветет. Я действительно встал очень рано; судя по времени и по карте, мы находились где-то в горах, но под алой полоской зари я увидел лишь голую гладь, коричневую и тяжелую; это было как море или фата-моргана. Я решил, что я брежу: подобной равнины я в жизни не видел; и я снова уснул, а когда еще раз проснулся и глянул в окно, стало ясно, что это не бред, а другая земля, и имя ей — Африка.

Не знаю, как это выразить: там есть зеленый тон, но он другой, чем у нас, он темный и серый. Есть там коричневые краски, но не такие, как у нас: это не цвет пашни, а цвет камней и праха. Есть красные скалы, но что-то горестное в их красном цвете. И есть там горы, только сложены они не из минералов, а из глины и валунов. Валуны эти не вырастают из земли, а словно нападали сверху. Называются эти горы Сиерра де Гвадаррама; бог,

---

[1] Официант, полбутылки хереса (*исп.*).

[2] старая (*исп.*).

их создавший, наверное, был страшно силен, иначе разве мог бы он наворотить здесь столько камня? Среди валунов растут темно-зеленые летние дубки, а дальше уже почти ничего не растет, только тимьян да терновник. Огромный дикий край, высохший, как пустыня, таинственный, как Синай; трудно выразить это словами: тут другой континент, тут — не Европа. Он строже, он грозней, чем Европа; он старше Европы. Дикость пейзажа здесь не унылая, она торжественная и дивная, суровая и взволнованная. Одетые в черное люди, черные козы и свиньи на знойном коричневом фоне. Тяжелая, дочерна прокопченная жизнь среди раскаленных камней.

Вон те голые валуны — это речка, вот эти голые камни — равнина, а эти голые стены из камня — кастильское пуэбло. Четырехугольная башня, а вокруг — стена: скорее крепость, а не деревня. Она срастается с каменной почвой, как старые замки — со скалами, на которых стоят. Домики жмутся друг к другу, словно ждут нападения; из середины их вырывается башня, как донжон замка. Вот вам испанская деревня. Жилища людей, слитые с землею из камня.

А на буром каменном склоне, как чудо: исчерна-зеленые сады, аллеи черных кипарисов, дремучий темный парк; огромный сухой и гордый куб, ощетинившийся четырьмя башнями, монументальное одиночество, жилище отшельника, надменно глядящее тысячью окон, — Эль-Эскориал. Монастырь испанских королей. Замок скорби и гордости, вознесшийся над иссохшей землей, объеденной покорными ослами.



Пуэрта-дель-Соль

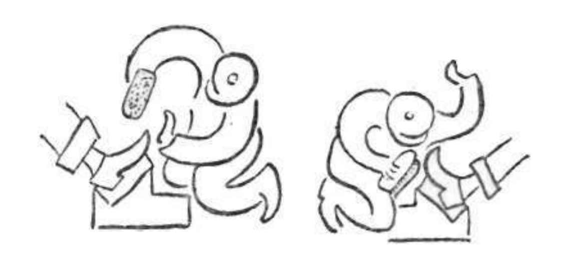
Знаю, знаю: вместо всего этого следовало показать многие другие вещи, скажем, историю Мадрида, вид на Мансанарес, сады в Буэн Ретиро, королевский дворец с алыми гвардейцами и целой оравой горластых и красивых детей во дворе, ряд соборов и музеев и прочие основные достопримечательности. Если они вас интересуют, прочтите о них в другом месте, — я предлагаю вам только Пуэрта-дель-Соль, ну и из личной симпатии Калле-де-Алькала и Калле Майор заодно с теплым вечером и всем людом мадридским.



Есть на свете священные места; есть улицы, краше которых нет на свете, их красота необъяснима и загадочна, как миф. Есть Каннбьер в Марселе, Рамбла в Барселоне, Алькала в Мадриде. Если вырезать их из окружающей обстановки, выварить, лишить собственной жизни и того особого, присущего только им духа, а потом поместить где-нибудь в другом месте — вы, наверное, не найдете в них ничего замечательного. «Что ж, — скажете вы, — вполне красивая и широкая улица, и что из того?» Что из того, маловеры? Вы разве не видите, что эта площадь — знаменитая, да что я говорю, достославная Пуэрта-дель-Соль — Ворота Солнца, центр мира и пуп Мадрида? Не видите, как выступает здесь вон этот патер — самый достойный и самый осанистый из всех патеров мира, опоясанный свернутым плащом, как солдат скаткой? А вон испанский идальго, переодетый жандармом, в лакированной шляпе, отогнутой на затылке вверх; а еще кабальеро — по меньшей мере маркиз — с орлиным носом и мощным голосом крестоносца возглашает «Эль Со-о-оль» и другие названья газет; этот конкистадор, опершись на метлу,

величавыми жестами представляет какую-то пантомиму, не иначе — Метение Улиц. Нет, серьезно, они красивые люди: суховатые смуглые крестьяне с Сиерры, привозящие на ослах зелень и дыни; красные, синие, зеленые мундиры — их хватило бы на дюжину театральных постановок; limpiabotas [1] со своими ящиками...

Но подождите, это особая глава, и называется она — чистка сапог. Чистка сапог — народный испанский промысел, точнее — народный испанский танец или обряд. В другом месте земли — ну, например, в Неаполе — такой чистильщик кинется на ваш ботинок с яростью



и будет драить его щеткой, словно демонстрируя физический опыт получения тепла или электричества трением. Испанская чистка сапог — это танец, и в нем, как в сиамских танцах, участвуют одни руки. Танцор опускается перед вами на колени, как бы желая показать, что посвящает танец вашей светлости, изысканно-изящным жестом подворачивает вам штанину, грациозно промазывает соответствующий ботинок какой-то благовонной мазью, после чего впадает в танцевальный транс: подкидывает щетку, подхватывает щетку; лихо пристукивая, перебрасывает щетку из руки в руку, учтиво и искательно касаясь ею вашего ботинка. Смысл этого танца ясен: воздаяние почестей; вы — благородный гранд, принимающий ритуальные знаки почтения от рыцарского пажа, — и по всему телу от ног разливается у вас приятное чувство необыкновенного величия, за что, понятно, стоит дать чистильщику положенные полпесеты.

[1] чистильщики сапог (*исп.*).

— Oiga, camarero, una copita de Fundador [1]. Ей-богу, caballeros [2], мне тут нравится; так людно, шумно — но нет гомона, — приветливая галантность, прелесть своеобразия; все мы тут кавалеры: тот оборванец и guardia [3], я и уборщик улиц — все мы тут благородные, а посему да здравствует южное равенство! Madrileñas! [4] Горбоносые красотки, черные мантильи, черные глазищи — какая стать в ваших полузакутанных фигурах; señoritas [5] с черноглазыми маменьками, мамы и похожие на кукол niños [6] с аккуратными круглыми головенками, папы, не стыдящиеся любви к своим детям, бабушки с четками, добряки с разбойничьими физиономиями, господа, просящие милостыню, господа с золотыми зубами, господа уличные продавцы газет — сплошь кабальеро, четкая звучная толпа, где веселятся и лодырничают в добродушном аллегро.

Но вот наступает вечер, воздух прогрет и свеж, и весь Мадрид, кто только на ногах, прохаживается, толчется и течет волнами от Калле Майор по Калле-де-Алькала; кабальеро в мундирах, кабальеро в штатском, в сомбреро и в кепках, девушки всех поименований, то есть madamisolas [7], doncellas [8] y muchachas [9], señoritas y mozas [10], y chulas [11], madamas y señoras [12], dueñas, [13], dueñazas [14], y dueñisimas [15], hijas, chicas, chiquitas y chiquirriticas [16], черные очи под черной мантильей, красные губы, красные ногти и черный, искоса брошенный взгляд, неповторимая променада, праздники будней, манифестация страсти и флирта, цветных глаз, аллея неиссякаемых любовных чар.

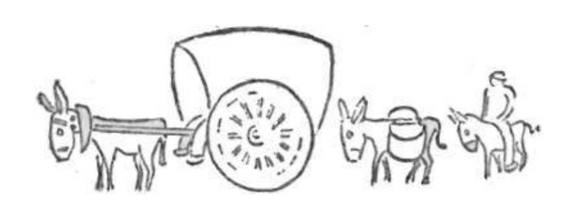
Каннбьер, Рамбла, Алкала — улицы, краше которых нет на свете; улицы, до краев наполненные жизнью, как чаша вином.

---

[1] Эй, официант, стаканчик фундадора (*исп.*).
[2] кабальеро (*исп.*).
[3] гвардеец (*исп.*).
[4] Жительницы Мадрида! (*исп.*).
[5] девицы (*исп.*).
[6] дети (*исп.*).
[7,8] барышни (*исп.*).
[9,10] девушки (*исп.*).
[11] молодухи (*исп.*).
[12] благородные дамы (*исп.*).
[13] матроны, дуэньи (*исп.*).
[14] старые ворчуньи, вековуши (*исп.*).
[15] властные старухи (*исп.*).
[16] дочки, девочки, девчонки, девчушки (*исп.*).

Перед вами теплая бурая равнина, усеянная пуэбло, ослами, оливами и куполовидными колодцами; среди этой равнины ни с того ни с сего поднимается гранитная скала, и на ней-то все это громоздится и лепится; внизу, в глубокой расселине бурых скал, течет бурая Тахо.

Что же касается самого Толедо, то не знаю, право, с чего начать: с древних римлян, с мавров или католических королей; но поскольку Толедо — город средневековый, начну с того, с чего на самом деле начинается средневековый город: с ворот. Есть там, к примеру говоря, ворота, которые называются Бисагра Нуэва, в несколько терезианском стиле, с габсбургским двуглавым орлом более, чем в натуральную величину; глядя на них, кажется, что приведут они в наш Терезин или Иозефов, но, вопреки всем ожиданиям, они сливаются с кварталом, именующимся Аррабал, и вид его оправдывает его имя. Тут вы оказываетесь перед другими воротами, которые называются Ворота Солнца и выглядят так, будто вы очутились в Багдаде. Однако эта мавританская дверь выводит вас на улицы самого что ни есть католического города, где каждый третий дом — собор с окровавленным Христом и экстатическими ретабло Греко. И бредете вы



по извилистым арабским уличкам, сквозь решетки заглядываете в мавританские дворики, которые называются patios и выложены толедской майоликой, сторонитесь, когда проходят ослы, груженные винами или маслами, дивитесь на чудесные гаремные переплеты окон, словом, идете как завороженный. Как завороженный. Здесь можно останавливаться через каждые шесть шагов: вон вестготская колонна, вот мозарабская стена, вот чудотворная дева Мария, которая всех женит и выдает замуж, вот мудехарский минарет и ренессансный дворец, похожий на крепость,

и готические оконца, и топко изукрашенный фасад в estilo plateresco[1], и мечеть, и уличка, до того узкая, что осел едва ли пройдет по ней, если разведет уши; вид на тенистые майоликовые дворики, где среди кадок с цветами журчит фонтанчик; вид на тесные улички, петляющие между голыми стенами и решетками окон; вид на небо; вид на соборы, в каком-то исступленье изукрашенные всем, что только можно обтесать, выпилить, отлить, выложить, что можно чеканить, расписывать, вышивать, сплетать в филигрань, золотить и унизывать драгоценными камнями. Тут, что ни шаг, останавливаешься, как в музее, или ступаешь как завороженный — ибо все это сработано тысячелетием, отмечено пламенным словом аллаха, крестом Иисуса, золотом инков, жизнью многих историй, богов, культур и рас и, наконец, слито в какое-то фантастическое единство. Сколько историй, сколько цивилизаций уместилось на твердой ладони толедской скалы! А потом, на одной самой узенькой уличке, из зарешеченного окна человеческой клетки вам откроется Толедо с птичьего полета — сплошная волна плоских крыш под синим небом: арабский город, мерцающий в бурых скалах; сады на кровлях, сладостная лень patios с их сокровенной и приятной глазу жизнью.



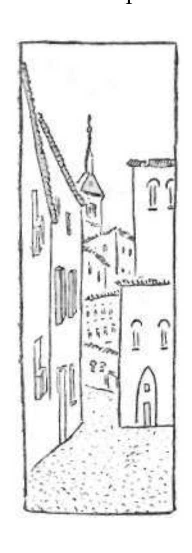
Если бы мне пришлось взять вас за руку и повести по Толедо, чтобы показать все, что явилось мне там, я бы, кажется, прежде всего заблудился в этих убогих извилистых уличках, но не стал бы жалеть об этом, потому что и там проходили бы мимо нас ослики, мерно тикая по мостовой своими деликатными копытцами, и там виднелись бы раскрытые patios и майоликовые лестницы, — словом, и там живут люди. Я, наверное, разыскал бы ту мудехарскую часовню, белую и холодную, с красивыми подковообразными арками; неподалеку есть скала, спадающая прямо к Тахо, с которой открывается великолепная и строгая панорама; и синагога Дель-Трансито, покрытая хрупким и удивительно тонким мавританским орнамен-

[1] стиле платереско (*исп.*).



том. А соборы! Вот хоть бы тот, с надгробной статуей графа Оргазского работы Греко; или другой — с мавританским стрельчатым коридором, дивным, как сон. А госпитали с дворами, как у дворцов! Один стоит сразу же за воротами, там — нищие монашенки в огромных чепцах, похожих на птиц, распластавших крылья, и длинная вереница сирот, уцепивших друг друга за плечи и с пеньем не то «Антонино», не то «Сантониньо» [1] семенящих к собору; есть там для них и старая аптека с хорошенькими обливными баночками и горшочками, на которых означено «Divinus Quercus» или «Caerusa», «Sagapan» или «Spica Celtic» — испытанные старые лекарства.

И еще кафедральный собор, о котором я ничего не мог бы сказать толком; был в нем, но так как перед тем хватил толедского вина, вина равнины Вега, винца настолько жидкого, что бежит в рот само, вина густого, как целительное масло, то и не поручусь, что все это мне не приснилось и не примерещилось. Помню, что было там всего очень много: великолепные миниатюры, умопомрачительная цибория, уходящие в поднебесье решетки, резные ретабло с тысячью скульптур, балюстрады из яшмы, кресла каноников с резьбой вверху, внизу, с боков и сзади, картины Греко, орган, бушующий в неведомых просторах, каноники, толстые и высохшие, как треска, часовни, выложенные мрамором, часовни расписанные, часовни черные, часовни золотые, турецкие хоругви, балдахины, ангелы, свечи и ризы, безудержная готика, безудержный барок, платерескные алтари, чурригерескный, нелепо вздутый транспарант под темным благородным сводом, смешение вещей бессмысленных и наводящих оторопь, пылающих огней и тьмы кромешной... нет, верно, все это мне чудилось; весь этот путаный и страшный сон я видел, когда опустился на соломенный соборный стуль-



[1] Святое дитя (от *исп.* Santo niño).

чик, — не может быть, чтобы какой-нибудь религии на свете понадобилось все это.

Что ж, кабальеро, обожравшись пластикой, поди проветрись на толедских уличках. Прелестные оконца, готические сводики и мавританские ajimez [1], чеканные rejas [2], дома под куполами, patios, полные детей и пальм, дворики из azulejos [3], мавританские, еврейские, христианские улички, караваны ослов, безделье в тени, — в вас, я скажу, в тысяче ваших мелочей, биении истории не меньше, чем в таком соборе; лучше всякого музея — улица живых людей. Чуть было не сказал: тут ты себе представляешься человеком, который забрел в другой век. Но это не соответствует истине. А истина гораздо удивительней: «другого века» просто нет — что было, то и есть. Если бы тот кабальеро был опоясан мечом, а этот патер проповедовал слово аллаха, а эта девушка оказалась толедской еврейкой, это было бы ничуть не удивительней, ничуть не отдаленнее, чем стены уличек толедских. И, попади я в другой век, он был бы не другой век, а еще одно захватывающее удивительное похождение. Как Толедо. Как вся Испания.

Posada del Sangre

Харчевня «На крови». Тут жил дон Сервантес де Сааведра, пил, делал долги и писал свои «Назидательные повести». В Севилье есть еще одна харчевня, где тоже он писал и пил, и есть тюрьма, в которую его сажала за долги; в этой тюрьме, впрочем, теперь таверна. Пользуясь личным опытом, могу любому доказать, что если в Севилье он пил мансанилью и после этого посасывал лангусты, то в городе Толедо с наслаждением тянул толедское винцо и заедал его наперченным chorizo [4] и jamon serrano а по-иному, черной сырой ветчиной — и прочими вещами, располагающими к возлияниям, творчеству и красноречию. И по сей день в посада-дель-Сангре пьют из кувшинов толедское вино, жуют chorizo, а во дворе

---

[1] сдвоенные окна (*исп.*).
[2] решетки (*исп.*).
[3] разноцветных кафелей (*исп.*).
[4] сыром (*исп.*).

кабальеро распрягают ослов и заигрывают со скотницами, совсем как во времена дона Мигеля, — в чем можно усмотреть еще одно свидетельство немеркнущего гения Сервантеса.

Однако, раз уж мы в таверне... Oiga, viajero[1], в чужих краях надо пить и закусывать, где только можешь, если хочешь узнать их; и чем дальше от дома, тем больше надо там выпить и съесть. И тогда ты увидишь, что все народы на свете — исключая саксонцев и бранденбуржцев — стремились разными путями и способами, равно как разными приправами и соусами, воплотить рай на земле, — пекли, жарили и коптили разнообразнейшую благодать, дабы вкусить хоть временное блаженство. У каждого народа свой язык, и у каждого, как говорится, «язык не лопатка — знает, что сладко». Познавай же язык народа; ешь его кушанья, пей его вина. Впитывай жадно гармонию его рыб и сыров, масел и копченостей, хлеба и фруктов, в оркестровом звучании его вин, которых столько, сколько музыкальных инструментов. Есть вина резкие, как баскские свирели, простые, как венды[2], пронимающие, как гитары. Итак, потешьте путника своей игрой, полнозвучные добрые вина! A la salud de usted, don Miguel![3] Я, как вы видите, нездешний, приехал из-за тридевяти земель, но мы бы, мне кажется, тут подружились. Налейте-ка еще стаканчик. А знаете, у вас, у испанцев, есть с нами кое-что общее; у вас, к примеру, есть такое «ч», как наше, и есть красивое раскатистое «р-р-р», как и у нас, вы, как и мы, берете уменьшительные формы — a la salud de usted. Приехали бы вы к нам, пан Сервантес, мы бы выпили белопенного пива, а на тарелку положили бы другие кушанья, — пускай у каждого народа свой язык, но все поймут друг друга, когда имеются в виду такие важные, хорошие понятия, как славная таверна, реализм, искусство и свобода мысли. A la salud.

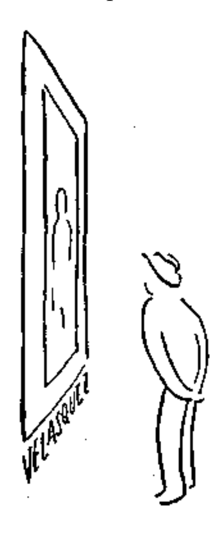


---

[1] эй, путник (*исп.*).
[2] род дудки.
[3] Ваше здоровье, дон Мигель! (*исп.*).

Веласкес, ó la grandeza[1]

Смотреть Веласкеса поезжайте в Мадрид. И потому, что там его больше, чем в других местах, и потому, что как раз там он кажется явлением почти закономерным, — среди великолепия, заключенного в рассудочную рамку; между монаршей роскошью и криками толпы, в том городе, одновременно накаленном и холодном. Если бы мне пришлось определить Мадрид двумя словами, я бы сказал: это город дворцовой парадности и грибных дождичков революций. Посмотрите, как люди здесь держат голову, — это наполовину grandeza, наполовину упрямство. Считая, что я хоть немного разбираюсь в городах и людях, скажу так: если Севилья полна блаженного безделия, а Барселона полускрытого кипенья, то в воздухе Мадрида ощущаешь легкую, чуть раздражающую напряженность.



Так вот, Диего Веласкес де Сильва — рыцарь Калатравский, гофмаршал и придворный живописец того самого бледного, холодного и странного Филиппа IV, принадлежит Мадриду испанских королей по двойному праву. Во-первых, он высокороден — он так независим, что даже не лжет. Но это уж не пышная золотая знатность Тициана — в ней резкий холод, неумолимая, тонкая наблюдательность, страшная меткость глаза и мысли, правящая рукой. Думаю, что король сделал его гофмаршалом не потому, что хотел наградить, а потому, что его боялся, потому, что не мог оставаться спокойным под пристальным проницательным взглядом Веласкеса; король не мог снести равенства с живописцем и потому возвел его в гранды. И тогда это был уже испанский Палатин, писавший бледного короля с усталыми веками и ледяным взглядом, бледных инфант с накрашенными щечками — жалких, затянутых в корсет кукол. Или придворных карликов с разбухшими головами, дворцовых шутов и уродцев, надутых нелепой важностью, идиотичных и искалеченных

[1] или величие (*исп.*).

выкидышей народа, невольную карикатуру на величие двора. Король и его карлик, двор и его скоморохи, — Веласкес не мог бы дать эти сопоставления так остро и последовательно, если бы в них не было особого смысла. Королевский гофмаршал едва ли стал бы рисовать дворцовую челядь, если бы сам этого не захотел. Уж, по крайней мере, одну-то жестокую и холодную истину он раскрывает этим: таков король и его мир. Веласкес был слишком независимый художник, чтобы заниматься только служением королю; и слишком важный человек, чтобы довольствоваться простым отображением виденного. Он слишком хорошо видел — такими глазами мог смотреть только весь его ясный, высокий ум.

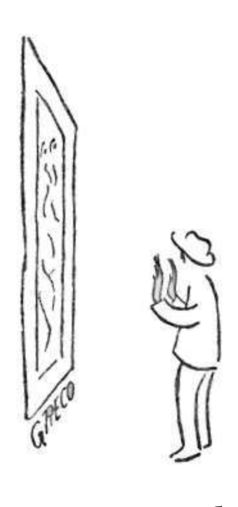


Эль Греко, ó la devocion [1]

Доменико Теотокопули, прозванного Эль Греко, ищите в Толедо; не потому, что для Толедо он типичен более, чем что-либо другое, а потому, что там его полно, и потому, что в Толедо вас ничто уже не удивляет, — даже Эль Греко, грек по крови, венецианец по краскам, готик по манере письма, который прихотью истории попал в разнузданный барок. Представьте себе готические вертикали, если на них налетает вихрь барокко; это ужасно: готическая линия вспучивается, буйный барок выхлестывается из взорванных отвесов готики, пронизывая их насквозь; иногда кажется, что картины трещат под натиском этих двух сил. Напор так яростен, что деформирует лица, коробит тела и драпирует одеяния тяжелыми, взволнованными складками; облака заворачиваются, как простыни под ураганным ветром, сквозь них пробивается свет, внезапный и полный трагизма, заставляя краски вспыхивать с неестественной и жуткой силой. Словно настал Судный день, когда на небе и земле являются чудесные знамения.

[1] или истовая вера (*исп.*).

И так же, как это сквозное, двойственное освещение, в картинах Греко ощущается какая-то раздвоенность, проступают в предельной взаимной истерзанности два начала: прямое и чистое видение бога, возвысившее искусство до готики, и распаленный мистицизм, которым экзальтировал себя слишком земной католицизм барокко. Старый Христос был не Сын человеческий — а сам Бог во славе.



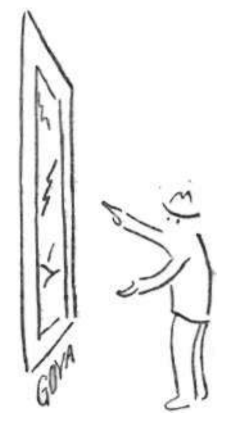
Византиец Теотокопули носил в себе старого Христа, но в барочной Европе нашел Христа очеловеченного, Христа, облеченного в плоть. Старый бог в светозарном сиянье восседал величаво, неприступно и немного оцепенело; бог барочный и католический вместе с хорами своих ангелов прямо-таки валился с небес на землю, чтобы схватить верующего и втащить в свои пышные и благодатные пределы. Византиец Греко пришел из базилик святого молчания в храмы ревущих органов и безудержных крестных ходов; для него это, я бы сказал, было слишком: чтобы не потерять в подобном гаме свою молитву, он начал сам кричать голосом диким и неестественным. Им овладевает какое-то безумие веры; он не находит успокоения в этом мирском, суетном гуле; он должен перекричать его еще более исступленным воплем. Странное дело: этот восточный грек преодолевает барокко Запада тем, что придает ему пафос, доходящий до экстаза, и лишает барок его рыхлой, дородной телесности. Чем старше он становится, тем больше противоестественного появляется в его фигурах, — тела вытягиваются, лица искажает мученическая худоба, глаза закатываются, недвижно устремляясь горе. Туда, ввысь! К небу! Краски утрачивают реальность; тьма его воет, краски горят, словно озаренные вспышкою молнии. Неестественно тонкие бесплотные руки воздеваются к небу в ужасе и изумлении — грозные небеса разверзаются, и старый Бог приемлет неистовый вопль ужаса и веры.

Говорю вам, грек этот был потрясающий гений; некоторые утверждают, что он был безумен. Всякий человек, с такой горячностью вносящий в свое видение бред собст-

венной души, немножечко безумен или, во всяком случае, маньерист, поскольку содержание и форму своего в*и*дения берет только из самого себя и ниоткуда больше. Приезжим в Толедо показывают La Casa del Greco;[1] не верю, что этот прелестный домик с красивым садиком, выложенным майоликой, принадлежал тому непонятному греку. Домик для этого слишком уж по-мирскому приветлив. И слишком богат. Известно, что Эль Греко, кроме двухсот своих картин, не оставил сыну другого наследства. Тогда в Толедо едва ли был большой спрос на ретабло чудаковатого выходца с Крита. Только теперь в благоговейном изумлении толпятся вокруг его картин люди; но это люди без религии, их не приводит в замешательство отчаянный надсадный крик его истовой веры.

Гойя, ó el reverso[2]

В Мадридском Прадо десятки его картин и сотни рисунков; Мадрид уже из-за одного Гойи — великий город и место стечения паломников. Ни до, ни после не было художника, который бы так широко, с таким стремительным и дерзким размахом схватил все существо своей эпохи и написал ее лицо и изнанку; Гойя — не реализм, Гойя — это штурм; Гойя — это революция; Гойя — это памфлетист, помноженный на Бальзака.



Самое безмятежное его создание: картоны к шпалерам. Сельская ярмарка, дети, нищие, танец на улице, раненый каменщик, пьянчужка, девушки с кувшином, сбор винограда, снежная вьюга, игры, деревенская свадьба — сама жизнь с ее радостями и тяготами, игривые и лихие сценки, зрелище благостное и значительное; такой поток жизни народной не хлынет на вас ни в одном цикле рисунков другого художника. Это звучит, как народная песенка, как скачущая хота, как милая сегидилья; рококо, но уже

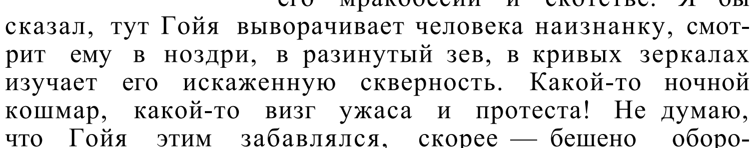
[1] Дом Греко (*исп.*).
[2] или изнанка (*исп.*).

с чертами народности; они написаны с нежностью и радостью, неожиданной в этом художнике ужасов. Так он относится к народу.

Портреты королевской фамилии: Карлос IV, одутловатый и флегматичный, похожий больше на тупого и спесивого чиновника, королева Мария-Луиза со злобными колючими глазами, безобразная склочница и злая потаскуха; вся их семья, скучающая, наглая и противная. Монаршие портреты Гойи — всегда немного оскорбление. Веласкес не льстил — Гойя уже в глаза высмеивает их p. t.[1] величества. Десять лет, как кончилась французская революция, а художник без церемоний разделывается с троном.

А через несколько лет — другое восстание: испанский народ зубами и когтями впился во французского завоевателя. Две потрясающие картины Гойи: отчаянное нападение испанцев на мамелюков Мюрата и казнь испанских повстанцев. В истории живописи нет репортажа, равного им по гениальности и пафосу; при этом Гойя как бы мимоходом использует приемы современной композиции, которые Мане постиг лишь через шестьдесят лет.

«Maja desnuda»:[2] открытие секса в современном понимании. Нагота невиданной дотоле сексуальности и обнажения. Конец эротической лжи. Конец наготы аллегорической. Единственная nudita[3] из рук Гойи, но обнажения в ней больше, чем в тоннах академического мяса.



Картины со стен дома Гойи: этим-то жутким шабашем украсил художник свой дом. Почти все это — черно-белая живопись, лихорадочно брошенная на полотно; сущий ад, в озарении синей молнии. Колдуньи, уроды и чудища: человек во всем его мракобесии и скотстве. Я бы сказал, тут Гойя выворачивает человека наизнанку, смотрит ему в ноздри, в разинутый зев, в кривых зеркалах изучает его искаженную скверность. Какой-то ночной кошмар, какой-то визг ужаса и протеста! Не думаю, что Гойя этим забавлялся, скорее — бешено оборо-

[1] p[leno] t[itulo] — полный титул (*лат.*).
[2] «Маха обнаженная» (*исп.*).
[3] голенькая (*исп.*).

лялся от чего-то. Томительное чувство говорило мне, что в этом истерическом инферно — рожки католического дьявола с остроконечным капюшоном инквизиции. В Испании тогда отменена была конституция и восстановлена Святая Ofi icium;[1] в спазмах междуусобиц и пустив в дело спровоцированный фанатизм подонков, началась черная и кровавая реакция деспотизма. Кладовая ужасов Гойи — негодующий вой омерзения и ненависти. Ни один революционный политик не швырял в лицо миру столь горячечный и столь желчный протест.

Графические листы Гойи: фельетоны великого журналиста. Сцены мадридской жизни, народные празднества и обычаи, chulas и нищие, сама жизнь, сам народ; Los Toros, бой быков во всей его рыцарской куртуазности, живописности и кровавой жестокости; Инквизиция, адский маскарад церкви, язвящие и яростные листы патетического памфлета; «Desastros de la guerra»[2], грозное обличение войны, непреходящий документ, сострадание, лютое и жестокое в своей страстной прямоте; «Капричос», дикий смех и рыдания Гойи над несчастными, отвратительными и причудливыми созданьями, присвоившими себе бессмертие души.

Нет, люди, мир еще не охватил всю грандиозность этого художника, художника, новейшего из новых, еще не научился его понимать. Этот выкрик, хриплый и штурмующий, эта порывистая патетическая человечность; никакого академизма, никакого художнического штукарства; способность видеть сверху и с изнанки, видеть людей, видеть жизнь, видеть обстановку; с такой доподлинностью видеть — означает действовать, драться, выносить приговор и пробуждать. В Мадриде революция: Франсиско Гойя-и-Люсиентес возводит баррикады в Прадо.

Y los otros[3]

Меня уже ничем не удивишь; повидав Гойю, я уже не останавливаюсь, пораженный, перед творениями мастеров светлых или темных. Один из таких темных, строгих мастеров — Рибера; мне нравятся его костистые старцы

---

[1] Инквизиция (*исп.*).
[2] «Бедствия войны» (*исп.*).
[3] И другие (*исп.*).

и жилистые детины, которым он дает имена мучеников и святых; а вот — другой, более светлый мастер, наполовину земной, наполовину спасенный, черный, как монашеская ряса, и белый, как наглаженный стихарь, — это Сурбаран, имя у него широкое и плечистое, как и его творенья. Целую жизнь он рисовал монашествующую братию; это всё парни кряжистые или же сухонькие, но всегда вытесанные из крепкого дерева; по ним видно, сколько стойкой выдержки, сколько сдержанной мужественности заключалось когда-то в идее иночества. Хотите зреть торжество мужества в его угловатой ширококостной стати, в этом его суровом, нелепо обритом сословии? Не глядите на портреты полководцев и королей — посмотрите на великих монахов благочестивого славного Сурбарана.


ZURBARAN o os frailes

Если хотите понять Мурильо, отправляйтесь в Севилью, вы увидите, что красота его — благодатная нега Севильи. Пречистые девы Мурильо в мягком и теплом сиянье — это же кроткие севильяночки, девушки милые и достойные; и славил любезный дон Эстебан небеса тем, что нашел


MURILLO o los niños

свой рай в Андалузии. Рисовал он и прелестных кудрявых мальчиков из Трианы или какого-нибудь barrio; [1] теперь они рассеяны по всем музеям мира, — в Испании же и

[1] предместья (*исп.*).

теперь остались, с невероятно шумной непосредственностью озоруют на всех paseos [1] и plazas; [2] а как завидят иностранца, желающего поглядеть на мальчиков Мурильо, сбегаются со всех сторон с воинственными криками и начинают выманивать pesetas и perros по бесстыжей и искони свойственной детям юга привычке попрошайничать.

И когда я сейчас мысленно подвожу итог всему, что я видел в искусстве Испании, когда вспоминаю восковых Иисусов и пестро расцвеченные скульптуры со всеми аксессуарами замученного, растерзанного тела, надгробные статуи, вызывающие чуть не обонятельное ощущение распада, портреты, чудовищные и неумолимые, — боже милостивый, какой это паноптикум! Испанское искусство словно дало обет показать человека таким, как он есть, с ужасающей убедительностью и почти с пафосом: вот Дон-Кихот! а вот король! вот уродец! Смотрите — се человек! Быть может, тут сказалось католическое неприятие нашей грешной и бренной земной оболочки — быть может...

Но погодите, о маврах я еще поговорю. Нельзя себе представить даже, что это были за искусники: их tapisserie [3], их краски, архитектурные кружева и сводики, весь этот блеск и волшебство — какая изысканность, какая неистощимая творческая сила, какая пластическая культура! Но человек был для них, по Корану, запретен; они не смели воспроизводить человека или создавать идолов по его образу и подобию. И только христианская вновь завоеванная Испания принесла с крестом и образ человека. И, верно, с тех времен и, верно, потому, что заклятье Корана наконец было снято с образа человека, стал он заполонять испанское искусство с настойчивостью, иногда даже пугающей. Страна, так непередаваемо живописная, Испания до самого XIX века не знала пейзажной живописи — только изображения человека: человека на дереве креста, человека, облеченного властью, человека-урода, человека мертвого и разлагающегося... Вплоть до апокалиптического демократизма Франсиско де Гойя-и-Люсиентес.

---

[1] проспектах (*исп.*).
[2] площадях (*исп.*).
[3] шпалеры (*франц.*).

Андалузия

Признаюсь откровенно, когда я проснулся в вагоне и прежде всего посмотрел в окно, то совершенно забыл, где я: вдоль полотна тянулось что-то похожее на живую изгородь, а за ней — ровное бурое поле, из которого там и сям торчали какие-то растрепанные поределые деревья. У меня было ясное и успокоительное ощущение, что я где-то на перегоне между Братиславой и Новыми Замками, и я стал одеваться и умываться, громко насвистывая «Кисуца, Кисуца» и другие подобные песенки, и только исчерпав весь свой запас народных песен, понял, что живая изгородь — вовсе не изгородь, а густая поросль двухметровых опунций, тучных алоэ и каких-то малорослых пальмочек, скорее всего хамеропс, и что растрепанные деревья — финиковые пальмы, а эта бурая, распаханная равнина, судя по всему, — Андалузия.

Как видите, друзья, где б вы ни ехали: по распаханной пампе, по австралийской кукурузной плантации или пшеничным полям Канады — везде это будет такое же, как и под Колином или Бржецлавом. Нескончаемо разнообразие природы, и люди разнятся по языку, цвету волос и тысяче всяких обычаев — и только труд крестьянина везде один, расчесывает гладь земли одинаково ровными протяженными бороздами. Иными будут и дома, и церкви, и даже телеграфные столбы в каждой стране свои, — а вот распаханное поле всюду одинаково, в Пардубицах, как и в Севилье. И в этом что-то великое и немножко однообразное.



Должен, однако, заметить, что андалузский крестьянин не идет по земле, как у нас, тяжело и размашисто, — андалузский крестьянин едет на ослике, имея вид до невозможности библейский и комический.

Calles sevillanas[1]

Бьюсь об заклад на бутылку aljarafe[2] или чего хотите, что любой гид, любой журналист, даже любая путешествующая барышня не назовет Севилью иначе, как «нежно-ласковая». Есть фразы и определения с одним противным раздражающим свойством: в них заключается правда. Вот хоть убейте или обзовите меня пустословом, дешевым краснобаем — а Севилья все равно нежно-ласковая. Тут уж ничего не поделаешь, по-другому это не назовешь. Нежно-ласковая — да и полно; что-то веселое, нежное так и поигрывает в уголках глаз и уст ее.

Потому, может быть, что эта тесная уличка такая беленькая, словно ее белят по субботам. Или, может быть, потому, что из всех окон, сквозь все решетки так и лезут цветы, пеларгонии и фуксии, пальмочки и всякая цветущая и кудрявая зелень. Через улицу от крыши к крыше еще с лета протянуты парусиновые полотнища, прорезанные лазурью неба, как синим ножом, и вы идете будто не по улице, а по уставленному цветами коридору дома, где ждут вас в гости; вот сейчас на углу кто-то пожмет вам руку и скажет: «Как это мило, что вы пришли», или «Que tal»[3], или другое столь же нежно-ласковое. И так тут по-домашнему чисто, пахнет цветами и постным маслом, шипящим на сковородах, каждые решетчатые воротца ведут в сад маленького рая, который называется патио, тут еще есть собор с майоликовым куполом и порталом, разукрашенным, как в большой праздник, и над всем этим — светлый минарет Хиральды. А эта узкая петляющая уличка зовется sierpes, должно быть, потому, что вьется, как змея; тягучей тоненькой струйкой вливается в нее севильская жизнь: клубы, распивочные, лавки, полные кружев и цветастых шелков, кабальеро в светлых андалузских шляпах — уличка, куда не смеют заезжать повозки, потому что тут слишком много людей; они потягивают вино, болтают, заходят в лавки, смеются, — словом, под разными предлогами не делают ровно ничего. Есть еще кафедральный собор, вросший в старый квартал между домами и патио, и откуда ни посмотри — видна

---

[1] Севильские улицы (*исп.*).
[2] постного масла (оливкового) (*исп.*).
[3] «Как поживаете» (*исп.*).

только его часть, будто он так велик, что взгляд смертного не может его охватить целиком. Потом еще какой-то изразцовый соборик, небольшие дворцы со светлыми приятными фасадами, аркады и балконы, чеканные решетки, зубчатая стена, за которой виднеются пальмы и широколистые бананы, — везде что-то красивое, прелестный уголок, где хорошо и куда мог бы возвращаться памятью



всю жизнь. Вспомни когда-нибудь тот деревянный крест на маленькой площади, белой и тихой, как келья девы в монастыре; милые кроткие баррио с самыми узкими уличками и самыми красивыми крошечными площадями на свете...

Да, все это было, был сумрак, и дети на улицах плясали севильяну под ангельские звуки шарманки; там где-то есть Casa de Murillo [1] — господи, да живи я в нем, я, наверное, мог бы описывать только самые деликатные и отрадные вещи; и там же — красивейшее место на земле, называется Plaza de Doña Elvira [2] или Plaza de Santa Crus [3], — впрочем, это, кажется, два места, не знаю уж,

[1] дом Мурильо (*исп.*).
[2] площадь Доньи Эльвиры (*исп.*).
[3] площадь Святого Креста (*исп.*).

какое красивее, и не стыжусь признаться, что едва не плакал там от умиления и от усталости. Желтые и красные фасады, зеленый сад посередине — сад из фаянса, буксов, мирт, детей и олеандров, — чеканный крест, вечерний колокольный перезвон; и среди всего этого аз, недостойный, потрясенно восклицаю: «Боже, да это сон, это сказка!..»

А потом остается только молчать, растворяясь во всей этой красоте. Быть бы сейчас молодым и пригожим, иметь звучный голос, приударять за красоткой в мантилье — большего, кажется, и не надо. Довольно одной красоты. Красота красоте, впрочем, рознь: очарование Севильи — как-то очень сладостно, интимно и любовно; она по-женски теплая, с крестиком на груди, вся дышит ароматом табака и мирты, блаженно замерла в беспечной лени, полная сладострастной неги и достоинства. Будто вокруг не улички и площади, а коридоры и патио в доме одного приятного семейства; ходишь чуть не на цыпочках, только никто не спросит: «Что тебе здесь надо, caballero indiscreto?» [1]

(Есть там один большой коричневый дворец, богато изукрашенный, в стиле барокко; я думал, это королевский замок, а оказалось — государственная табачная фабрика, та самая, на которой крутила сигареты Кармен. Эту Кармен берут на фабрику и по сей день в больших количествах, за ухом ее цветок олеандра, и живет она в Триане, дон Хосе стал жандармом в треугольной шляпе, а испанские сигареты и теперь очень крепкие и черные, оттого, вероятно, что делают их жгуче-черные девушки из Трианы.)

Rejas y patios

Если севильские улицы напоминают вам коридоры и дворики, то окна людских жилищ — птичьи клетки, развешанные по стенам. Знайте, что они все без исключенья зарешечены и выдаются вперед; решетки называются rejas и иногда со всем кузнечным мастерством до того искусно выведены разными спиралями, пальметтами и всевозможными затейливо перегнутыми и перекрученными прутьями, что и впрямь остается лишь петь под таким

[1] дерзкий кабальеро (*исп.*).

окном серенаду о sus ojitos negros [1] или mi triste corazon [2] (м-брум-брум, м-брум-брум, — под аккомпанемент гитары). Oiga, niña:

Para cantarte mis penas
hago ha-ablar mi guitarra;
si no entiendes lo que diçe-e
no digas que tienes alma [3] (м-брум).

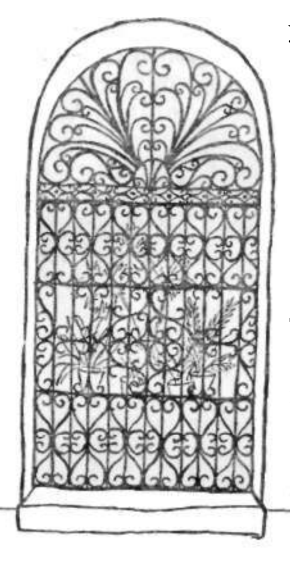
Ибо вы даже не представляете себе, до чего выигрывает такая niña, когда ее, как редкостную птичку, держат в клетке.

Вообще, по-видимому, кованая решетка — национальное испанское искусство; мне в жизни не выковать и не выкрутить из слов ничего, что могло бы сравниться с решеткою храма, что же касается светской решетки, то у каждого дома вместо двери — красивая решетка, окна рябят решетками, и с решетчатых балконных оград свисают лианы цветов, из-за чего Севилья в целом напоминает мусульманский гарем, или клетку птицы, или нет, постойте: напоминает музыкальный инструмент с натянутыми струнами, и их перебирают глаза ваши, сопровождая серенаду своего восторга. Севильская решетка это не предмет, который загораживает, — а предмет, который обрамляет; она — декоративная рама, открывающая вид на дом. До чего хорош вид на Севильское патио, на беленькие входы, выложенные фаянсом, на открытый дворик,



[1] ее черных глазах (*исп.*).
[2] своем печальном сердце (*исп.*).
[3] Так слушай, девочка:

Чтобы пропеть тебе свои страданья,
заставил я заговорить мою гитару;
если не понимаешь язык ее,
не говори, что у тебя есть сердце (*исп.*).



устланный цветами и пальмами, — маленький рай человеческой семьи! Дом за домом дышит на вас тенистой прохладой своего патио; и даже в самом захудалом из домишек, пусть на кирпичном настиле, — крошечные зеленые джунгли цветочных горшков, всякие там аспидистры, олеандры, мирты, вероники, брызжущие из земли драцены и еще разная дешевенькая райская ботва, а на стенах вдобавок — горшки с традесканцией, с аспарагусом, и карделин, и паникум, и клетки с птицами, и во дворике на соломенном кресле наслаждается отдыхом чья-нибудь бабушка; а есть ведь патио, выложенные майоликой, окруженные сладостными аркадами, где журчит фаянсовый фонтан и раскрывают свои веера латания и хамеропс, раскидывают непомерные листья бананы, кокосы? кентии и фениксы — из густой листвы филодендронов, аралий, кливий, юкки и эвонимуса, не считая папоротников, хрустальной травки, бегоний, камелий и прочей кудрявой, перистой, саблевидной и буйной листвы потерянного рая. И все это размещено в горшках во дворике величиной с ладошку, и перед каждым домиком невольно хочется остановиться, как перед дворцом, когда через красивую решетку смотришь на его патио, похожее на рай и знаменующее семейный очаг.

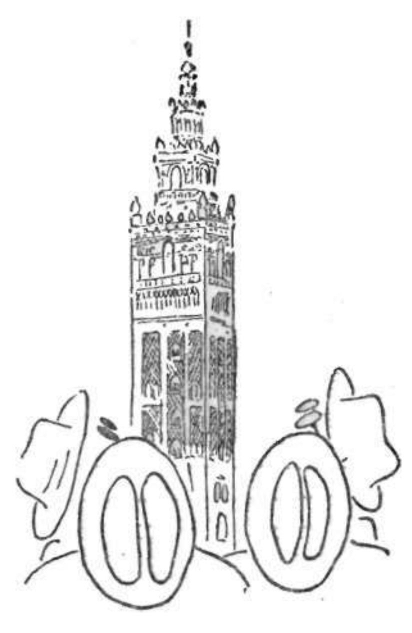


Семья и семейный очаг. Везде на свете есть семьи и жилища, но лишь в двух уголках Европы люди создали семейный очаг в наиболее полном, традиционном и поэтическом смысле слова. Один такой уголок — старая Англия, заросшая плющом, с ее каминами, мягкими креслами, книгами; другой — Испания с красиво зарешеченным видом на царство супруги, на средоточие жизни семьи, на цветущее сердце дома. В этой пылкой и теплой стране нет семейного очага — есть семейное патио, в нем видите вы семейный уют, детей, каждодневный праздник человечьей жизни. И держу пари, тут неплохо быть женщиной, ведь она коронована славою и величием семейного патио, в ореоле пальм, лавров и мирт. Я верю, что уют и красота домашней обстановки — своего рода осанна женщине, это возглашает устав ее, возвеличивает достоинство и украшает трон ее. Я имею в виду не тебя, большеглазая muchacha, а твою матушку, почтенную даму с усиками, восседающую на соломенном кресле, в честь которой пишу эти строки.

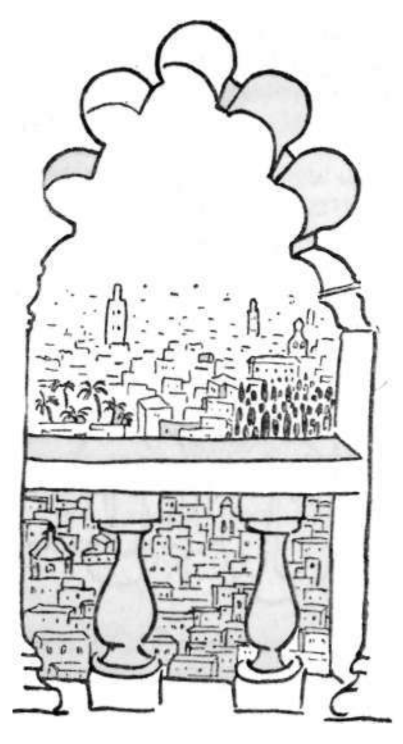
Хиральда

Хиральда — опознавательный знак Севильи; она так высока, что видна отовсюду. Если, блуждая по свету, вы увидите высоко над крышами портик и башенку Хиральды — знайте, что вы в Севилье, за что воздайте хвалу добрым джиннам и святым угодникам. Итак, Хиральда — это мавританский минарет с христианскими колоколами; она увита всякими красотами арабской орнаментики, на самом верху ее — статуя Веры, а основание — из вестготских и римских камней. Это как во всей Испании: римский фундамент, мавританское великолепие и католическое содержание. Рим почти не принес сюда своей городской цивилизации, зато оставил нечто более долговечное: латинского земледельца, а таким образом латинский язык. И в это вот провинциальное латинское захолустье вторглась высокоразвитая блестящая, почти декадентская культура мавров. Она была, по существу, парадоксальная культура: и в тончайшей своей изысканности сохраняла кочевнический дух. Дворцы и замки мавров всегда выдают исконных обитателей шатра. Мавританское патио — сладостный образ оазиса; журчащий фонтанчик испанского дворика

и поднесь воплощает мечту кочевника о прохладных родниках; сад из цветочных горшков — сад переносный. Обитатель шатра свернет свой дом со всем его убранством и роскошью и взвалит на осла, поэтому дом его из текстиля, а роскошь его филигранная. Шатер — вот его замок; он устлан всяческим затейливым великолепием, но великолепие это такое, что его можно унести на спине; оно тканое, оно вышитое, оно вязанное из козьей или бараньей шерсти. Дворцы кочевников — из крашеных ниток; и мавританская архитектура сохраняла изысканнейшую красоту и плоскость ткани. Вот и возводил такой мавр кружевные аркады и вышитые своды и стены, затканные орнаментом. И хоть не мог скатать Хиральду и вывезти на вьючных мулах, покрыл ее стены ковровым узором и тонким плетеньем, словно сидел, поджав под себя ноги, и всю ее выткал и вышил. И когда потом латинский земледелец с вестготским рыцарем мечом и крестом выгнали восточного кудесника, они так никогда и не смогли отряхнуть с себя этот роскошно вытканный сон; готический estilo florido[1], ренессансный estilo plateresco, барочный estilo churriguerresco[2] — все это сплошь архитектурное изукрашивание и вышивание, филигранные позументы и кружева, которые обволакивали, словно в волшебном сне окутывали камень стен, превращая их в причудливо переливающиеся драпировки. Исчез народ, но живет его культура. Страна, самая что ни есть католическая, так и не перестала быть мавританской. Все это и еще многое другое вы увидели бы своими глазами на севильской Хиральде.

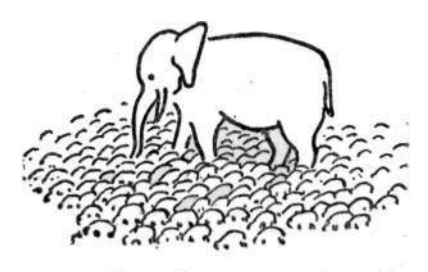


[1] стиль флоридо (*исп.*).
[2] стиль чурригерреско (*исп.*).



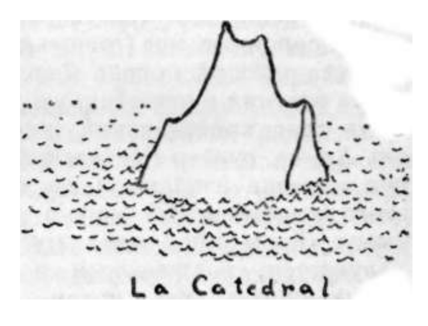
С Хиральды вы увидите и всю Севилью, белую и ясную, так что глазам больно, розовеющую плоскими черепичными крышами, прошитую фаянсовыми куполами и колокольнями, зубчатыми стенами, пальмами и кипарисами; а прямо под вами — огромный, почти чудовищный кров собора: каскады колони, шпилей, круто изогнутых арок, контрфорсов и башенок, а вокруг — неоглядную зеленую и золотую равнину Андалузии, искрящуюся белизной человеческих домиков. А если глаз у вас зоркий, увидите больше: увидите семьи на дне патио и садики на балконах, на террасах, на плоских крышах — везде, где возможно поставить цветочный горшок; увидите женщин, которые поливают цветы или белят белой известкой белоснежный кубик своего дома, словно весь смысл этой жизни в ее красоте.

Теперь, когда под нами целый город, заглянем в два места, особенно почитаемых и изукрашенных всеми дарами искусства. Одно из них — кафедральный собор. У каждого порядочного кафедрального собора двоякая функция. С одной стороны, он настолько велик, что порывает все связи с домами людей; стоит среди них, как священный слон среди овец, одинокий и чужеродный — божий утес в гуще людского муравей¬uика. С другой же, он —


La Catedral

единственное вольное пространство, распахнувшееся в недрах города; он шире городской площади, больше базара; из узких уличек, двориков и чуланчиков людского быта сюда вы всходите как на вершину горы; все эти своды, колонны простор не стесняют — наоборот, раздвигают его вдохновенным размахом, оставляя широкую, уходящую в небо пробоину в тесноте средневекового города. Тут уж дыши полной грудью, вот где тебе раздолье, душа. Вот где во имя божье вздохни с облегчением.

Что там внутри, этого я уже и не скажу. Алебастровые алтари и грандиозные решетки, гробница Колумба, резьба и Мурильо, золото и инкрустации, мрамор и барок, ретабло и пюпитры и еще много разных католических вещей, которые я даже и не видел, ибо смотрел на то, что за всем этим, — на пять огромных, круто вздыбившихся нефов, на эти корабли господни, величественный флот, плывущий по сверкающей Севилье; какой груз искусства и культа отягощает борта их и, несмотря на это, сколько там еще священного и вольного простора!



Второе место — ayuntamiento, то есть ратуша. Севильская ратуша снаружи вся расшита рельефами, фестонами, гирляндами, колоннами, кариатидами, гербами и масками, а внутри от потолка до пола сплошь окутана резьбою, балдахинами, позолотой, фаянсом, лепными завитушками и всем добром, какое только могут изготовить мастера всех цехов. Есть что-то помпезное и немного наивное в этом самолюбованье городской общины, в нем что-то от добродушной вальяжности бубнового или червонного короля. Эти старые ратуши всегда умиляют меня своим откровенным провозглашением славы и блеска общины; в них, я бы сказал, старая городская демократия воздвигала себе самой трон и украшала его, как алтарь; или — как резиденцию короля.

В наши дни демократия если и разорится на какой-нибудь дворец, то обязательно построит банк или торговый дом. В эпохи менее передовые строили храм и ратушу.

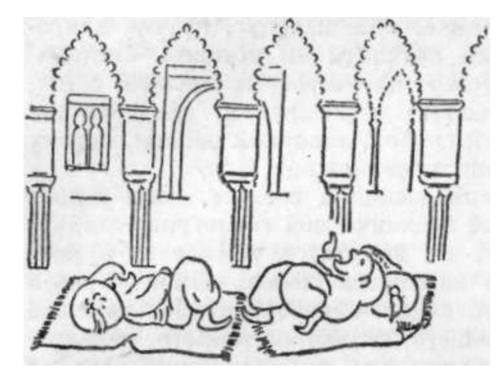
Алькасар

Снаружи это средневековая зубчатая стена из голых каменных плит; а внутри — мавританский замок, исписанный стихами из Корана и от пола до верхушки изукрашенный невообразимыми причудами и чарами Востока. Знайте, что этот замок «Тысячи и одной ночи» мавританские зодчие построили для христианских королей. В лето тысяча двести сорок восьмое (говоря стилем исторических хроник) христианнейший король Фердинанд в день святого Климента вступил в отвоеванную у мавров Севилью; но совершить этот христианский подвиг помог ему некий Ибн аль-Ахмар, султан Гренадский, из чего явствует, что религия издавна заключала контракты с политикой. После этого христианский король изгнал из Севильи триста тысяч богом проклятых мусульман, по соображениям, разумеется, религиозным и просветительским; но еще целых триста лет потом продолжали мавританские искусники строить христианским королям и идальго дворцы и расписывать стены их своей хрупкой орнаментикой и куфическими сурами Корана, что проливает некоторый свет на вековую борьбу христиан с маврами.

Ну, а если бы мне все-таки понадобилось описать словами залы, покои и патио Алькасара, я бы взялся за это, как каменщик, — прежде всего навез строительный материал: камень, майолику, алебастр, мрамор, драгоценное дерево и телегу красивейших слов, чтобы замешать стилистический раствор; потом, по-строительски, начал бы снизу, от фаянсовых полов, на которые поставил бы тонкие мраморные колонки, больше всего потрудившись над их основанием и капителью, но особенное внимание обратил бы на стены, облицованные чудесными майоликовыми изразцами, окутанные кружевом алебастра, покрытые нежными, переливчатыми многоцветными арабесками, прорезанные окнами, аркадами, ажурами, павильонами, ахимезами, галереями — целым набором изыс-

канно вычерченных подков, ломаных дуг, кругов и провесов; а надо всем этим раскинул бы потолки, сводики, перекрытия из сталактитов, алебастровых кружев, сеток, звезд, ячеек резьбы, золота и росписи и, проделав все это, устыдился бы своей грубой, топорной работы, потому что описать это словами невозможно!

Возьмите лучше калейдоскоп и вертите, пока голова не закружится от такой нескончаемой геометрии; глядите на водную рябь, пока не замутится в глазах; курите гашиш, пока свет не заменится нескончаемой чередой исчезающих и проступающих образов; прибавьте сюда все, что ни есть одуряющего, галлюцинаторного, переливчатого, сладострастного; все, что туманит разум; все, что походит на кружево, филигрань, парчу, самоцветы, сокровища Али-Бабы, драгоценные ткани, сталактитовые гроты и просто сновидение; и все это прихотливо мерцающее, фантастическое, почти бредовое, разберите вдруг удивительно стройным, аккуратным и строгим рядом, подчините законам какой-то тихой и созерцательной сдержанности, какой-то мудрой мечтательной отрешенности, расстилающей эти сокровища сказок самой тонкой, почти невещественной, неосязаемой пеленой, вздымающейся на легких аркадах. Это непередаваемое великолепие так лишено рельефности, что становится почти нетелесным, — кажется, это фантом, неуловимый отблеск, упавший на стену. Как материально, как примитивно и тяжеловесно наше искусство по сравнению с этими дивными маврами; оно скорей для осязания, а не для зрения, как будто мы обеими руками держим и ощупываем то, что нравится, хватаем это сильно и грубо, как свою собственность. Бог знает, какая оторванность, какой чудовищный восточный спиритуализм привел мавританских зодчих к их чисто оптическому чародейству, к этим словно пригрезившимся нетелесным постройкам, сотканным из кружев, блесток, ажура и калейдоскопических образов; это насквозь мирское, чувственное, сладострастное искусство уничтожает самую материю, превращая ее в волшебную дымку. «Жизнь есть сон». И тут вы уже начинаете понимать, что латинский земледелец с римским христианином должны были смести эту чересчур утонченную украшательскую расу. Европейская массивность и трагичность должна была перевесить духовный сенсуализм одной из самых изысканных культур.



Говоря короче, отличие стиля европейских зданий от мудехарской архитектуры заключается хотя бы в том, что готика, да и барок, рассчитывали на человека стоящего или коленопреклоненного, а мавританские зодчие, явно, возводили свои постройки для духовных сибаритов, которые лежали на спине и услаждались, глядя на все эти колдовские своды, арки, фризы и нескончаемые арабескные орнаменты, простертые у них над головой, дабы служить неиссякаемым источником мечтательного созерцания.

Тут, откуда ни возьмись, на эти фантастические нежные патио, замкнутые зубчатой стеной, слетает стайка белых голубей, и, словно удивившись, вы вдруг понимаете подлинный род этой магической тектоники: чистейшая лирика.

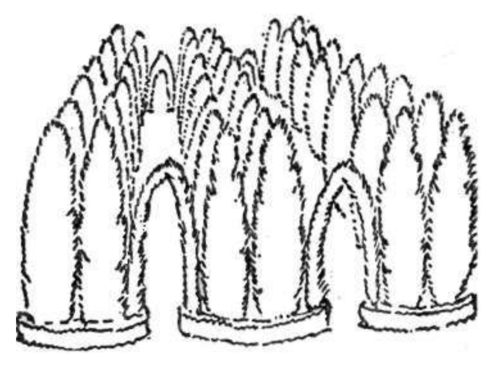
Jardines [1]

Сады Алькасара устроены, как все испанские сады; впрочем, есть там вещи, которых вы не найдете в другом месте, например: baños — сводчатая купальня доньи Марии де Падильи, любовницы христианского короля Педро Жестокого. Говорят, по правилам тогдашнего этикета, придворные кавалеры должны были пить воду из ее купальни, но я не верю этому, ибо в Севилье едва ли видел кабальеро, пьющего воду.

Я попытался нарисовать по памяти вид обыкновенного испанского сада, но так как на одном листе это не поместилось, вынужден был рисовать на трех.

1. Испанский сад состоит прежде всего из кипарисов, подстриженных буксов, мирт, волчьих ягод, лавров,

[1] Сады (*исп.*).



лавровишней, остролиста, жимолости и всех этих декоративных кустарников, пирамид и шаров, из которых тут выстрижены, вывязаны и выложены шпалеры, аллеи и коридоры, своды и арки, живые изгороди, стенки, бордюры, загородочки, окна, кулисы, лабиринты — целая умная геометрия старой и строгой школы садового искусства; в этой залитой солнцем стране человек понимает, что главное — не садовая зелень, а садовая тень.

2. Во-вторых, испанский сад состоит прежде всего из кирпичей, изразцов, глазури, майоликовых лестниц, фаянсовых стенок, ниш, скамей, а также майоликовых бассейнов, фонтанов, водоемов, водопадов, фонтанчиков и канавок с журчащей водой; фаянсовых павильонов, беседок, сводов и балюстрад; причем означенная майолика очень красиво выложена черно-белыми шашками, сетками, полосками, узорами или раскрашена охрой, индиго и венецианской красной краской; а этот фаянсовый мир целиком заполняют цветочные горшки: горшки с камелиями, фикусами, азалиями, абутилонами, бегониями, колеусами, хризантемами, астрами — целые аллеи и рощицы хорошо обожженных цветочных горшков; горшки на земле и на кромках фонтанов, на террасах, на лестницах.



3. И, в-третьих, испанский сад состоит прежде всего из самых буйных зеленых джунглей, густой тропиче-



ской поросли, откуда вздымаются пальмы, кедры, платаны, а их обвивают лианы, бугенвилеи, клематисты, аристолохии, бегонии и еще побеги с такими большими листьями и цветами, похожими на повилику (которые идут здесь под названьем «campanilla»)[1], и побеги, цветущие, как дурман, которые тоже называют «campanilla», и еще ползучие растения с цветами, как огромные клематисты, и тоже называемые «campanilla»; ну, и затем из драцен, фикусов, хамеропсов, акаций, фениксов — да и бог их там ведает, как они все называются! А каких только нет у них листьев! Лоснящиеся и кожистые, бахромчатые, как страусовое перо, вытянутые, как палаши, колыхающиеся, как хоругви; ну, скажу вам, если этаким листком прикрылась Ева — то отнюдь не из стыдливости, а из желания щегольнуть и пофорсить. В этих девственных райских кущах нет места ни цветочкам, ни травке; быть может, траву здесь выращивают лишь в горшках.

Я изобразил все это на трех рисунках, а на самом деле это одно целое, что изобразить, разумеется, невозможно. Испанский сад — это подстриженное сооружение садового искусства, пронизанное фаянсовыми фонтанами,

---

[1] колокольчик (*исп.*).

террасами, нишами и лестницами, заставленное цветочными горшками и покрытое дикими зарослями пальм, перевитых лианами; и все это иногда помещается на клочке земли, изрытой канавками и водоемами. В жизни не видел сада такой страшной скученности и насыщенности, как в Испании. Английский парк — облагороженная природа; испанский сад — искусственный рай. Французский парк — монументальная постройка; испанский сад — сладостная мечта. В упоительных тенистых уголках его, полных журчания струй, майоликовой прохлады, пьянящего аромата и тропической листвы, и поныне слышны тихие шаги другой, более сластолюбивой расы. И здесь прошли мавры.

Mantillas [1]

Все нижеследующее да послужит к чести и прославлению севильянок. Они миниатюрны, смуглы, черноволосы, с черными игривыми глазами и ходят большей частью в черном; руки и ноги у них маленькие, как и требуется по канонам старой рыцарской лирики, и вид такой, будто они собираются к исповеди,— то есть полный святости и немножечко грешный. Но особую торжественную величавость придает им peineta, высокий черепаховый гребень, венчающий каждую севильянку; гребень пышный и триумфальный, подобный короне или нимбу. Эта хитроумная надстройка превращает каждую чернявую чикиту [2] в благородную видную даму; с такой вещью на голове надо ступать гордо, нести голову, как святыню, и только постреливать глазками, что севильянки и делают.

Еще более возвеличивает севильянок mantilla, кружевная накидка, наброшенная на этот королевский гребень; мантилья черная или белая, напоминающая чадру мусульманки, капюшон затворника, митру архиерея и шлем крестоносца; мантилья, которая одновременно и венчает женщину, и защищает от нескромных глаз, и приоткрывает самым соблазнительным образом. Отродясь не видел на женщине ничего более строгого и изощ-

---

[1] Мантильи (*исп.*).
[2] девчонку (от *исп.* ch. quita).



ренно-изысканного, чем эта смесь монастыря, гарема и вуали любовницы.

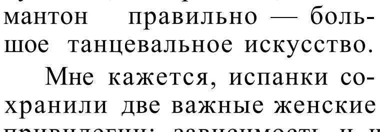
Но позвольте здесь остановиться и воздать хвалу женам севильским. Какая уверенность в себе, какая национальная гордость понадобилась этим черноволосым chulas, чтобы ради старинной традиционной мантильи и пейнеты презреть все модные кодексы мира! Севилья — это не деревня. Севилья — веселый, богатый город, где самый воздух напоен любовью; и уж если севильянки не расстаются со своей мантильей, то это, — с одной стороны, правда, — потому, что она им к лицу, с другой же — потому, что им угодно оставаться просто-напросто испанками, славными, издавна чтимыми испанками, — но, главное, потому, что она им к лицу.

Если на голове у севильянки не корона, то, во всяком случае, венец: за ухом в черные волосы вколот целый





букет или хотя бы красная роза, камелия, цветок олеандра; а с плеч приспущена шелковая шаль с большими вышитыми розами и тяжелыми кистями, узлом завязанная на груди; или mantòn de Manilla, такой просторный шелковый плащ — шаль, или облачение, — расшитый розами и оканчивающийся кистями, по, чтоб носить его, нужно особое уменье. Его присобирают и спускают с плеч, затем туго перехватывают в талии, руку упирают в бок, стан прогибают и немного откидывают и при этом пристукивают деревянными каблучками; говорю вам, носить мантон правильно — большое танцевальное искусство.



Мне кажется, испанки сохранили две важные женские привилегии: зависимость и честь. Испанку стерегут, как клад; после вечерни нет на улице ни одной девушки, я даже наблюдал, что девиц легкого поведения сопровождают дуэньи, — видимо, чтобы охранять их честь. Говорят, будто здесь каждому мужчине в семье, от дальнего прадяди и до внука, дается право и вменяется в обязанность, что называется, с мечом в руке блюсти девическую честь своих сестер, кузин и прочих родственниц. Конечно, в этом что-то от гарема, но есть тут и большое уважение к достоинству женщины. Муж гордится своим саном рыцаря и стража, жена окружена вниманьем и почетом, как сокровище, которое стерегут, — и в деле чести обе стороны квиты.

А народ тут и правда красивый; парни в широкополых андалузских шляпах, дамы в мантильях, девушки с цветком у уха и обжигающим взглядом из-под стыдливых ресниц; как грациозно они выступают, напыщенно поводят шейкой, как голубки; как здесь красиво ухаживают, сколько страсти и деликатности в их нескончаемой любовной



игре! И сама жизнь тут звучная, но без гомону; во всей Испании ни разу не слышал я никакой перебранки, ни одного грубого слова, оттого, может быть, что браниться здесь означает пускать в ход ножи. Это мы на севере без конца ссоримся, потому что не размахиваем при этом ножом; и простите меня, если я не скажу вам, какая из этих двух норм поведения выше.

Триана

Триана — цыганское и рабочее barrio Севильи, на другом берегу Гвадалквивира; кроме того, триана — особый вид танца и особый вид песенки, так же как гранадины — типичные песни Гранады, мурсианы — Мурсии, валенсианы — Валенсии, картахенеры — Картахены, а малагеньп — Малаги. Представьте, что у Жижкова есть свой особый танец, а у Дейвице — своя народная поэзия, что Градец Кралове музыкальным фольклором резко отличается от Пардубиц, а Часлав, к примеру говоря, всегда можно узнать по самой огневой и самобытной пляске. Насколько мне известно, Часлав пока еще такое не осилил.

Конечно же, я побежал в Триану глядеть цыганок; был воскресный вечер, и я представлял себе, что gitanas[1] будут танцевать на всех углах под звуки бубна, заманят меня к себе в табор, и там со мной произойдет нечто ужасное; я покорился своей участи и кинулся в Триану. Не ничего решительно не произошло; не потому, что там мало цыган и цыганок, — их там полно, — но никакого табора нет, есть только лишь маленькие домики с чистенькими патио, где целые оравы цыганских ребятишек, кормящие

[1] цыганки (*исп.*).

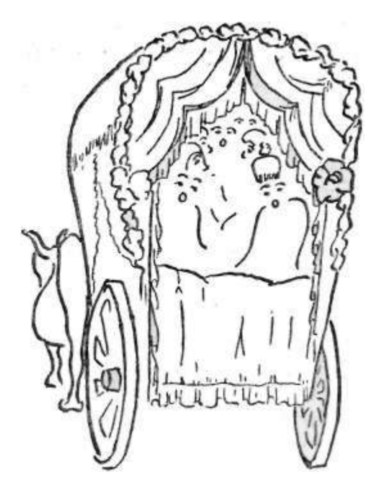
матери, девушки с миндалевидными глазами и красным цветкам в иссиня-черных волосах, стройные цыганы с розой в зубах,— мирный воскресный люд, сидящий на завалинке; и я сидел между ними и кидал миндальные взгляды на тамошних девушек. Могу дать о них следующую информацию: они большей частью красивого чистого индийского типа, с оливковым цветом лица и крепкими зубами; у некоторых немного косой разрез глаз; а в крестце они прогибаются еще резче, чем девушки из Севильи. Полагаю, вам этого достаточно; мне тоже, в ту теплую трианскую ночь, этого было вполне достаточно.



И за то, что я довольствовался малым, бог трианский послал мне в награду целую ромерию. Издали неожиданно затрещали кастаньеты, и по трианской уличке, влекомая волами, поплыла высокая повозка, увешанная венками и множеством тюлевых занавесочек, пологов, балдахинов, вуалей, вся в оборках, воланах и разных фестончиках, а в ее белоснежном кузове было полным-полно девушек, которые трещали кастаньюэлями[1] и пели в полный голос, как поют в Испании. Свидетель бог, эта застланная повозка в свете красного лампиона вид имела роскошный и дивный, как свадебная постель, полная девушек. Одна за другой голосисто затягивали они сегидилью, пока остальные стучали в такт кастаньетами, хлопали в ладоши и гикали. Из-за другого угла плыла другая такая же повозка с грузом нарядных стучащих и хлопающих девушек. И экипаж с упряжкой из пяти ослов и мулов, которым правил кабальеро в андалузской шляпе. За ним — другие кабальеро верхом на танцующих конях. Я спросил местных, что все это значит, и мне ответили:



[1] кастаньетами (от *исп.* castañuelas).



— Vuelta de la romeria, sabe? [1]

Ромерия, да будет вам известно, — такое паломничество к какому-нибудь святому в округе; со всей Севильи съезжается и сходится туда народ, и заметьте, народ обоего пола. Подолы юбок у этих девушек украшены были широким рюшем, или как там его называют, и чирикали они, будто целый воз воробьев.

Когда же эта веселая ромерия под рокот кастаньет скрылась за поворотами трианских улиц, я понял вдруг секрет этого национального инструмента: кастаньюэли напоминают одновременно и соловьиное щелканье, и стрекот цикад, и мерное тиканье ослиных копытцев по мостовой.

Коррида

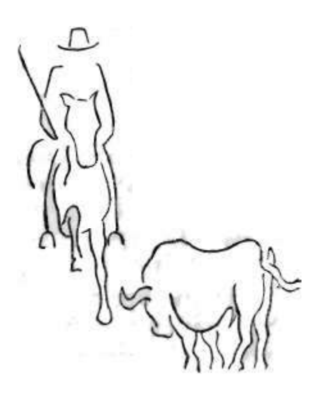
Мне на колени, пока я пишу это, забралась кошка и громко мурлычет. И хоть сие животное порядком мне мешает и отвязаться от него нет никакой возможности, но умертвить его копьем или эспадой, в пешем бою или a caballo [2] я все-таки, надо думать, не смог бы. А потому не сочтите меня кровожадным или садистом, если на глазах у меня забили шесть быков, а я ушел только перед седьмым, — и то скорее не по соображениям морального порядка, а потому, что мне это уже стало приедаться. Коррида оказалась не совсем удачной; и главным образом из-за того, по-моему, что были чересчур живучие быки.

Могу сказать, что ощущения мои при бое быков были очень разные: были и восхитительные мгновенья, которые нельзя забыть, и ужасные минуты, когда хотелось убе-

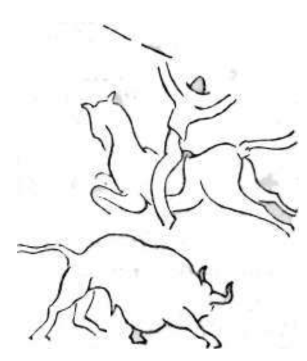
---

[1] Возвращение с богомолья, понимаете? (*исп.*).
[2] на коне (*исп.*).

жать оттуда на край света. Самое красивое, конечно,— торжественный въезд всех кадрилий на арену; но это надо видеть своими глазами: желтый песок под синим небом, круглая plaza de toros *, облепленная людьми, потом блеск фанфар, и на арену въезжают расшитые альгвазилы, за ними в сверкающих куртках и затканных золотом плащах, в треугольных шляпках и коротких шелковых панталонах вступают матадоры, эспады, бандерильеро, чуло, пикадоры на своих клячах и четверка мулов, увешанных бубенцами; и все идут так величаво и грациозно — ни один оперный хор в мире не смог бы так пройти.



В тот день была не совсем обычная программа, состязание «frente a frente» — лоб в лоб — двух матадоров-солистов в традициях старинной аристократической конной корриды. Это были: кордовский капитан кавалерии дон Антонио Каньеро, одетый а-ля андалузец, и португальский рехонэадор Жоао Бранко Нунсио, в голубом наряде рококо. Сначала на арену, танцуя, въехал дон Антонио на андалузском жеребце, рыцарски приветствовал инфанту и президента, потом конем и сомбреро свольтировал приветствие всей публике; и тут распахнулись ворота, и на арену вылетел черный ком мускулов — бык с каменной глыбой груди и шеи, остановился, ослепленный солнечным горном, взмахнул хвостом и с какой-то веселостью припустился за единственным неприятелем, с тоненькой пикой в руке поджидавшим его на коне посредине арены. Рад был бы вам нарисовать последовательно, как все было дальше, но невозможно передать словами этот танец быка, коня и наездника. Хорош он, боевой бычок, когда стоит так, фыркая, блестящий, как асфальт,



[1] арена для боя быков (*исп.*).

огнедышащий зверь, только что доведенный в клетке до бешенства; вот замер, зарывшись ногами в песок, и горящими глазами ищет соперника, чтобы его разорвать. А к нему красивым парадным шагом пританцовывает конь, крутит боками, словно балеринка, мягко подкидывается, будто на пружинах; смоляная глыба мускулов приходит в волнение и стремительно, как стрела, с неожиданной упругостью каучуковой массы, опустив чуть не до земли голову, бешеным рывком кидается в атаку. Признаюсь, в эту секунду у меня от ужаса взмокли ладони — как один раз в горах, когда нога моя вдруг поехала вниз. Но то была действительно только секунда; два скачка — и танцующий конь изящным галопом, высоко подбрасывая ножки, преспокойно кружит за костистым крупом быка. Аплодисменты, прогремевшие, как выстрел, остановили упрямый бег резинового танка — тут уж бычка взорвало: он ударил хвостом и. галопом помчался за лошадью. Однако тактика быка — атаковать по прямой, а тактика коня и всадника — ускользать в крутых поворотах. Бык, выставив вперед голову, летит, чтобы сокрушительным ударом поднять на рога и перебросить через себя противника, и неожиданно останавливается с удивленным и глуповатым видом, когда оказывается всего только перед пустой ареной. Но бык не только поддает рогами, он еще вспарывает страшным боковым рывком; его стремительный разбег способен завершиться неожиданным завалом в сторону, как раз против лошадиного паха; не знаю, конь или всадник угадывает первым этот предательский поворот, но только я с невероятным облегчением кричал и бил в ладоши, когда еще через секунду красавец-конь опять выделывал свои пируэты в пяти шагах от быка. Наверно, и коню игра эта стоит предельного напряжения нервов,— ведь каждые пять минут рехонэадор скрывается за барьер и выезжает на свежей лошади.

Изумительно красивое и возбуждающее зрелище весь этот танец, и я едва не забыл вам сказать, что в нем убивают; говоря честно, я сперва забыл об этом, и когда сидел перед ареной. Правда, я видел, как один раз рехо-эадор с разбегу оперся своей ланзой [1] о бычий затылок, но бык, как ни в чем не бывало, встряхнулся и поскакал дальше, — это походило на игру. Другая ланза

[1] копьем, пикой (от *исп.* lanza).

осталась торчать у него в шее, подрагивая, как ручка с пером, вонзившаяся в половицу. Бык делал отчаянные попытки стряхнуть впившийся ему в шею предмет, мотал головой, вставал на дыбы, но копье прочно ушло в пятипудовый ком мускулов. Тогда бык остановился, начал раскидывать ногами песок, словно собираясь в него закопаться, и заревел от боли и гнева; с морды у него капала слюна, — должно быть, по-бычьи это означает плакать. А перед ним уже снова легко и плавно подкидывается конь с неприятелем. Раненый бык перестает мычать, фыркает, горбит холку и бешеным рывком кидается в атаку. Я закрыл глаза, думая, что сейчас на песке арены будет сплошная каша из растерзанных и растоптанных тел. Но, взглянув еще раз, увидел, что бык стоит с поднятой головой, в затылке у него качается переломленная ланза, а напротив балетным шагом переступает с ноги на ногу конь, и только в его прижатых ушах — ужас. Какое доблестное сердце у этого коня; сколько отваги и изящества в блистательном наезднике, когда глаза в глаза с быком он стискивает конские бока коленями; но сколько стойкости и врожденного героизма в быке, который плачет, а не сдается. Конем правит человек, а человеком — тщеславие; быку же надо только одного: остаться на арене в одиночестве. Кто смеет встать между мною и всеми коровами света? Глядите, вот он наклоняет лоб и опять бросает всю свою страшную тяжесть против единственного соперника, приплясывающего по арене; бык обрушивается на него каменной глыбой, но уже минутами сухожилия ног его неожиданно обмякают. Он пошатнулся? Нет, пустяки; вперед и только вперед! ура, за честь быков! Тут, словно молния, сверкнула третья ланза. Бык оступился, но тут же воспрянул, вот уже набирают силу его мускулы для нового разбега... и неожиданно он ложится — спокойно, как жующая корова. Наездник с конем кружит около отдыхающего бойца. Бык распрямился, словно хотел вскочить, но как будто раздумал: нет, полежу еще ка-



пельку. Тогда наездник вихрем завертел коня и ускакал с арены под ураганным огнем рукоплесканий и криков. Бык положил голову на землю: только минуточку, только мгновенье покоя... Тело его расслабилось и снова напряглось, ноги неуклюже напружились и как-то неестественно и странно выставились из черной груды тела. Rigor mortis [1]. В другие ворота, гремя бубенцами, вбежала упряжка мулов и через несколько секунд, под хлопанье бичей, рысью поволокла мертвого и тяжелого быка по песку арены.

Ну вот, я рассказал вам, как все было, ничего не утаив. Красиво это или жестоко? Не знаю; то, что я видел, было скорее красиво; и когда я думаю об этом теперь... было бы лучше, если бы этот отважный и гордый бычок издох, оглушенный ударом на бойне? Было бы это человечнее, чем умереть вот так, в битве, как подобает бойцу с храбрым и страстным сердцем? Не знаю; знаю лишь, что с явным облегчением смотрел некоторое время на пустую арену, огненно-желтую под синим небом, посреди возбужденной шумящей толпы.

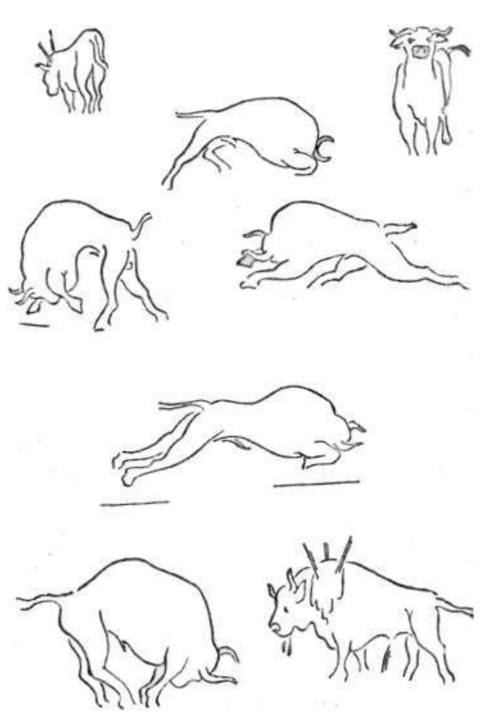
Теперь в этот круг галопом въехал голубой, искрящийся португалец; пустив коня карьером, объехал арену, закружился, приветственно помахал шляпкой; конь его был еще грациознее, еще красивее поднимал ножки по правилам высокого искусства верховой езды. Черный бык, вырвавшийся из ворот, был зверь упрямый и злокозненный; он сгорбился, выставив рога для удара, но не поддался соблазну броситься в атаку сразу; а лишь когда подрагивающий конек переступал с ноги на ногу в двух шагах, вылетел на врага, как камень из пращи. Он был так уверен в исходе, что едва не перекувырнулся в том месте арены, где должен был прийтись удар в конскую грудь; но в ту секунду, когда всколыхнулась черная масса бычьего тела, конь, повернутый коленями всадника, взвился, как пущенная стрела, на полном бешеном карьере сделал разворот и, высоко закидывая ножки, словно танцуя гавот, уже опять скакал к храпящему быку. Я в жизни не видел такого наездника, не представлял себе, что можно до такой степени слиться с конем, не шелохнуться в седле, когда он идет рысью и вскачь, поворачивать его в десятую долю секунды, останавливать, швырять во все стороны, переводить с галопа на испанский шаг, на переступь,

---

[1] Трупное окоченение (*лат.*).

и уж не знаю, как там все эти балетные коленца называются, и при этом держать поводья в одной руке с такой легкостью, словно это и не поводья, а паутинка, пока в другой стережет свою жертву жало клинка. А теперь представьте себе, что этот кавалерийский танец всадник, разряженный, как игрушечка, исполняет перед рогами рассвирепелого быка,— правда, на этот раз концы их обезопасили латунными шариками, — что он убегает, отшатывается и нападает, летит стрелой и отпрыгивает, как резиновый мячик, на лету жалит быка ланзой, переламывает древко и, безоружный, преследуемый храпящим зверем, скачет к барьеру за новой. Три копья всадил он с молниеносной быстротой и, уже не глядя на быка, отгарцевал с арены; ревущее животное предстояло еще ударить мечом, и, наконец, пунтильеро заколол его кинжалом. И это было отвратительно, как бойня.

Третий бык предназначался обоим конкурентам. Первое копье было за португальцем; пока его конь поигрывал перед неприкрытыми рогами быка, жеребчик андалузца переступал с ноги на ногу, готовый подключиться к игре в любую минуту. Но с третьим быком шутить было опасно: воинственный и фантастически быстрый, он с того самого момента, как ворвался на арену в облаках песка и пыли, не переставая нападал. Разбег следовал за разбегом, бык этот был подвижнее коня и прогонял своего всадника по всей арене; потом вдруг бросился на выжидающего андалузца. Андалузец повернул коня и начал удирать,



бычок упрямо следовал за ним и уже настигал его. Тогда в какой-то миг рехонэадор, спасая жизнь себе и лошади, поднял копье, чтобы остановить быка; но ведь первый удар принадлежит португальцу! Андалузец опустил копье, уж и не знаю, каким напряжением воли, рванул копя в сторону и ускакал под бурю аплодисментов и криков, — такие вещи испанцы умеют ценить. Португалец перехватил своего быка и галопом повел за собой; на скаку всадил в него ланзу, но бык тряхнул головой — и копье отлетело далеко в песок. Теперь настает очередь испанца; он перехватывает быка и старается измотать его, заставляя гоняться по всей арене. Дон Жоао тем временем, возвратившись на свежей лошади, присматривается к происходящему. Похоже, что у этого быка своя стратегия: он гонит андалузца к барьеру и метит в его левый бок. Зрители взволнованно поднимаются с мест: еще секунда — и бык настигнет всадника с незащищенной левой стороны; тут прямо наперерез быку кидается голубой разряженный наездник, конь вздыбливается и отскакивает, бык дергается головой к новому противнику, тот отступает; но тут уж андалузец поворачивает коня и втыкает в бычий затылок ланзу, как нож в масло. В эту минуту все, как один, поднялись с мест, люди кричали от восторга; и даже у меня, хоть я и не терплю игру со смертью даже в литературе, потому что смерть — это не забава и не зрелище, даже у меня в эту минуту как-то странно сжалось горло: от пережитого испуга, разумеется, но, думаю, что и от восхищения. Впервые я увидел рыцарство, как говорится о нем в книге: с мечом в руке, лицом к лицу со смертью, с готовностью положить жизнь за честь игры. Нет, как хотите, — что-то в этом есть; что-то великое и красивое.

Но и третьей ланзы мало было тому фанатичному быку, опять пришлось подскочить человеку с кинжалом... Потом арену разровняли граблями, и она лежала чистая и желтая в синем воскресном полудне Севильи.

Lidia ordinaria [1]

Вторая часть корриды — состязание в обычном стиле, в нем больше драматизма, и смотреть его тяжелей. Я не хочу судить о бое быков по тому состязанию: тогда был

[1] Состязание в обычном стиле (*исп.*).

несчастливый день. Первый же бык, получив бандерилью, рассвирепел и упрямо повел атаку; но кричавшие зрители не хотели, чтобы он был сначала «измотан», — затрещали фанфары, арена опустела, и сверкающий золотом эспада Пальменьо пошел эстоковать быка. Однако тот был еще слишком резвый, с первого же разбега боднул Пальменьо в пах, перебросил через себя и ринулся к его простертому телу. Перед этим я видел, как разъяренный бык рвал и топтал кем-то брошенный плащ, и у меня, кажется, в прямом смысле слова оборвалось сердце. В тот же миг подскочил тореро с плащом и бросился прямо быку на рога, закрыл ему глаза плащом и повел наступающего быка за собой; а два чуло тем временем подняли несчастного Пальменьо, красивого даже в бесчувствии, и стремительно унесли с арены. «Pronóstico reservado» [1], — писали на другой день газеты о его ранении.

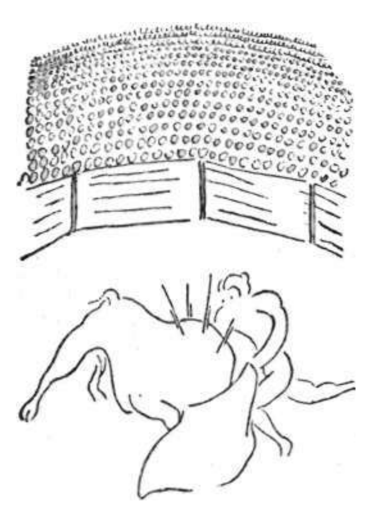


И если бы я после этого ушел, я бы унес с собой одно из самых сильных впечатлений моей жизни; безымянный чуло, которого не упомянут газеты, подставил бычьим рогам свой живот, чтобы отвести их от раненого матадора; без колебаний привлек на себя бешено ринувшегося быка и еле успел увернуться в последнюю секунду; и сейчас же другой тореро приманил быка плащом на себя, чтобы первый мог золотым сверкающим рукавом отереть со лба пот. Потом оба эти безымянные отступили, и на смену раненому маэстро вышел новый эспада со шпагой в руке.

У матадора sobresaliente [2] длинное и грустное лицо; он, безусловно, непопулярен, и бык его из тех, которых называют «злобный». G этой минуты коррида вырождается в чудовищную бойню: публика, остервенев, криком и свистом толкает нелюбимого эспаду прямо на рога дикого

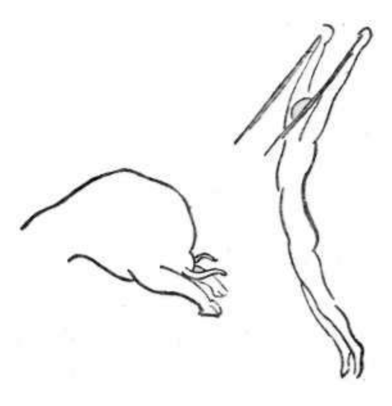
[1] «Исход не ясен» (*исп.*).
[2] высшей квалификации (*исп.*).

зверя; и он идет, сжав зубы, как идут на смерть, и рукою, хотя и нетвердой, эстокует быка. Бык вышибает у эспады шпагу, и она, мотаясь, остается торчать в ране. Новые крики протеста. Тореро бегут отвлечь быка плащами. Толпа яростным криком гонит их обратно: подавай им геройскую смерть быка, да и только. И опять бледный матадор со шпагой и мулетой идет убивать по правилам игры; но бык уперся и стоит, задрав голову, шея его топорщится бандерильями и словно прикрыта кровяным плащом. Эспада острием шпаги пробует наклонить ему голову, чтобы можно было проколоть лопатку, но бык стоит и мычит, как корова. Тореро накидывают ему плащи на торчащие бандерильи, чтобы, растревожив боль, вывести из упрямой неподвижности; но бык ревет, мочится от боли и роет песок арены, словно хочет укрыться в земле. Наконец матадор нагибает ему голову и эстокует недвижное животное; но и эта рана не последняя: пунтильеро, как ласка, кидается на бычий загривок и докалывает его кинжалом. Под злобный смех и выкрики двадцати тысяч зрителей уходит долговязый матадор, так и переливаясь золотом, с черным традиционным пучком волос на затылке; запавшие глаза его смотрят в землю. Никто не протягивает ему через барьер руку; и этот обреченный человек должен забить еще трех быков.



И опять, как тяжелый сон, закружилась, завертелась коррида во всем ее ужасе и искрящейся красоте. Опять засверкали тореро в золотых пелеринках и куртках; жалкие клячи, с завязанными глазами, ввезли золотых пикадоров, которые, не сходя с места, будут поджидать быка; сейчас им занимаются тореро: взмахивают плащами, подскакивают, увертываются. Он небольшой, но проворный, как дикая кошка. Тореро стараются заманить его к пикадору, тот протянул свою длинную пику, а его кляча

с завязанными глазами содрогается от страха и вот-вот встанет на дыбы, только недостает на это сил. И бык поддается на провокацию: с жаром кидается на пикадора; наталкивается шеей на клинок, едва не выбив пикадора из седла, но тут же встряхивается и опять бросается вперед, поднимает на рога тощую кобылу вместе со всадником и швыряет о доски барьера.



В наши дни по приказу диктатора брюхо и грудь кляче пикадора защищают специальным волосяным матом, — бык почти всегда поднимает и швыряет эту лошадь, но уже редко когда вспарывает ее бок, как бывало раньше. И все-таки эпизод пикадоров тяжелый и глупый; нехорошо смотреть, как одряхлевший работяга мерин бьется в судорогах страха, тащить и подставлять его страшным ударам быка, потом поднимать на ноги и опять гнать на бычьи рога; ведь от тех двух пикадоров быку предстоит получить три глубокие раны тупым копьем, чтобы он потерял немного крови и был «castigado» [1]. Бой может быть прекрасен; но страх, друзья мои, будь это страх человека или животного, — невыносимое и унизительное зрелище. И вот, когда лошадь, седок и копье сплетаются в один клубок, подскакивают тореро с плащами и уводят за собой храпящего быка, всегда выигрывающего это первое сраженье ценою скверной раны между лопаток.

Пикадоры уехали. Бык некоторое время бешено кидается на красные шелковые подкладки плащей, и на арену стремглав вбегают бандерильеро. Они искрятся и сверкают больше остальных, если это еще возможно; в руках у них тонкие копья, или, вернее, длинные деревянные стрелы, украшенные бумажными лентами и розетками. Бандерильеро скачут перед быком, орут на него, машут руками, бегут ему навстречу, и наконец он слепо вскидывает на них рогами чуть не от земли. Но с первым же

[1] «запятнан» (*исп.*).

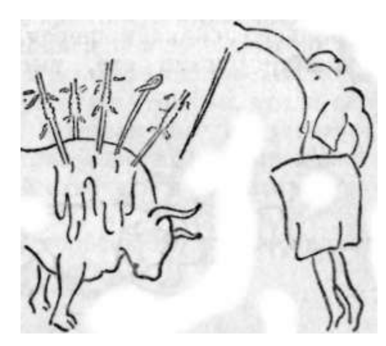
рывком быка бандерильеро поднимается на носки и, весь напрягшийся, прогнутый, словно лук, держа наготове бандерильи в высоко поднятых руках, ждет. Нет, говорите что угодно, а эта легкая танцевальная поза человека перед разъяренным зверем — прекрасна. В последнюю долю секунды, как молнии, сверкают обе бандерильи, бандерильеро отскакивает и отбегает в сторону, а бык немыслимыми прыжками силится стряхнуть две качающиеся у него в шее рогатины. Через минуту в нее воткнута вторая пара разубранных бандерилий, и легконогий бандерильеро, спасаясь, прыгает за барьер. Раны быка теперь сильно кровоточат, огромная шея залита целыми пластами крови; торчащие бандерильи делают ее похожей на пронзенное семью стрелами сердце девы Марии.



И снова выбегают чуло выматывать и одновременно дразнить быка своими плащами, потому что нельзя допускать, чтобы он делался безучастным. Они машут перед ним красными подкладками, бык в ослеплении кидается на самое большое красное пятно — на плащ, иначе говоря, — и тореро едва успевает увернуться от удара. Но этот бык решил, кажется, позабавить публику; неожиданно бросился на тореро с таким проворством и такой отчаянной решимостью, что все, как блохи, поскакали за барьер. Бык только хлестнул хвостом, одним прыжком следом за ними перенесся за барьер и погнал их по коридору между ареной и публикой. Весь персонал корриды опрометью бросился спасаться на арену; бык победоносно проскакал коридор, возвратился на арену, гордо помахивая хвостом, и новым натиском швырнул всех, кто там был, за барьер.



Теперь он — полновластный хозяин арены, и весь его вид говорит об этом; кажется, он так и ждет, что амфитеатр разразится овацией. Снова подскочили чуло немножко его погонять. Толпа взревела, желая швырнуть эспаду на зверя, еще полного нерастраченных сил. Искрящийся золотом эспада, с запавшими глазами и плотно сжатым ртом, встал перед ложей президента, держа красную мулету в левой руке и склоненную шпагу в правой; было видно, что ему уже все едино; он ждал знака, но президент медлил. Быка окружили скачущие тореро, и он погнался за ними, выставив рога и не отставая ни на вершок. Зрители угрожающе поднимались и вопили. Ожидающий знака эспада наклонил голову с черным пучком, и президент кивнул: зазвучали фанфары, арена мигом опустела, и эспада с бесстрастным лицом, подняв шпагу, дал клятву, что бык примет смерть. Потом, помахивая мулетой, пошел по арене к быку.



То была нехорошая коррида. Эспада рисковал жизнью с какой-то отвагой отчаяния; бык даже не давал ему возможности эстоковать, гонял его по песку арены, унес на рогах мулету и яростно преследовал незащищенного матадора, пока тот не прыгнул за барьер, потеряв при этом шпагу. Иногда такой танец человека и зверя — захватывает; эспада, держа перед собой мулету, старается приманить животное; бык бросается на красный лоскут, тело человека подается в сторону, запавшие глаза выбирают на бычьей шее место для удара. Все это не занимает и секунды; и снова рывок, скачок в сторону и удар, не попадающий в цель. Эта дуэль быка с человеком до того напрягает нервы, что скоро все ощущения притупляются. Который раз выбегают чуло сменить измаявшегося эспаду, но публика ревом загоняет их обратно. Эспада слегка пожимает плечами и снова идет на быка. Сделал красивый выпад, но эстоковал плохо. И только после пятого удара бык растянулся на песке. Творится что-то страшное; эспада идет как побитый, освистан-

ный целым амфитеатром, и мне еще мучительнее жаль его, чем издыхающего быка.

Шестой бык — огромный и белый, неповоротливый и мирный, как корова; его чуть не силой заставили, спотыкаясь, побежать к лошади пикадора. Тореро с плащами тянули его за рога, чтобы он хотя бы отмахивался, а бандерильеро скакали перед ним как ошалелые, махали руками, ругали его, высмеивали и наконец вызвали



па вялую и неуклюжую атаку. Толпа раздраженно шумела, требовала, чтобы бык сражался, и это вело лишь к тому, что ревущее, залитое кровью животное терзали еще больше. Я хотел уйти, но люди повставали с мест, грозили кулаками, орали; пройти не было никакой возможности,— и я закрыл глаза, приготовившись ждать, пока все не кончится. Когда, просидев так целую вечность, я снова открыл их, пошатывающийся на ослабевших ногах бык еще жил.

И только когда собирались выпускать седьмого быка, я протиснулся к выходу и побрел по севильским улочкам; я испытывал странное чувство: мне было как-то стыдно, но вот не знаю хорошенько — своей жестокости или своей слабости. Там, в амфитеатре, была минута, когда я стал кричать, что это бесчеловечно; возле меня сидел голландский инженер, постоянно живущий в Севилье, и его удивил мой крик.

— У меня это двадцатая коррида,— сказал он,— и только первая казалась мне жестокой.

— Это плохая коррида,— утешал меня какой-то испанец,— а посмотрели бы вы настоящего эспаду.

Возможно; но едва ли я увидел бы эспаду более трагического образа, чем тот сверкающий верзила с лицом скотника и грустными запавшими глазами, на собственном горбу вынесший неприязнь двадцати тысяч зрителей. И если бы я лучше знал испанский, я подошел бы и сказал:

— Что делать, Хуан иногда не выходит, служить публике — горький хлеб.

А после я думал: в Испании мне никогда не приходилось видеть, как бьют коня или осла; собаки и кошки на улице доверчиво ластятся к чужим, и, значит, человек к ним хорошо относится. Испанцы не жестоки к животным. Коррида, по сути, от века начавшийся бой человека со зверем, в ней вся красота боя, но и вся его тяжесть. Испанцы, вероятно, так ясно видят эту красоту и этот бой, что не способны замечать жестокости, которая им сопутствует. Тут столько восхитительной красочности, крутых ловких вольтов, риска и великолепной отваги... но во второй раз я бы на корриду не пошел.

А какой-то искусительский голосок во мне добавляет: разве что эспада будет совершенство...

Flamencos

Фламенко значит «фламандский»; но по странной случайности фламенко — это абсолютно ничего фламандского, наоборот, скорей что-то цыганское и мавританское, и от Востока, и от разгула ночных кутежей; никто не мог мне объяснить, откуда это название, но на севере Испании не любят фламенко как раз потому, что в нем столько восточного. Фламенко поют и танцуют, бренчат на гитарах, выбивают ладонями, выстукивают кастаньетами и деревянными каблучками да еще при этом покрикивают. И фламенко — певцы и певички, танцоры, балеринки и гитаристы, которые с полночи до утра откалывают разные штучки в ночных кабаре. Такого самородного певца зовут обычно Красавчик из Кадиса или Хромой из Малаги, Курносый из Валенсии или Мальчик из Утреры; нередко это цыган, и чем ловчей выводит свои трели, тем шире расходится слава о нем за пределы провинции. Не знаю, право, с чего начать, чтобы показать вам все это; начну по алфавиту.

Alza! Ola, Joselito! Bueno, bueno! [1]

Bailar [2]. Андалузский танец танцуют обычно соло; забряцают и разразятся стремительной рокочущей прелю-

---

[1] А ну, давай, Хоселито! Хорошо, хорошо! (*исп.*).

[2] Танцевать, плясать (*исп.*).



дией гитары, в группе сидящих начнут покачивать бедрами и подергивать плечами, притопывать, хлопать в ладоши, начнут трещать кастаньетами,— и вдруг кого-нибудь словно подхватит, руки взметнутся, и ноги пойдут отплясывать яростный танец. Тут бы надо взять словацкий одземок, негритянский кек-уок, танго du rêve [1], казачок, апашский танец, приступ бешенства, демонстрацию рас-

[1] мечта (*франц.*).



путства да еще разные жесты бурного восторга, раскалить все это добела и начать при этом греметь кастаньетами и покрикивать; и тогда бы все это забурлило, закрутилось, как танец фламенко, со страстными музыкальными и пластическими замедлениями, в оглушительном ритме кастаньет. В отличие от северных танцев, испанский танец танцуют не только ноги, а и все выгибающееся тело и особенно — щелкающие кастаньетами, легко взмывающие руки, а ноги, почти не отрываясь от земли, притопывают и выбивают дробь. Я бы сказал, ноги лишь сопровождают то, что вытанцовывают бедра, плечи, руки, дугою выгибающийся стан, который так и ходит волнами между неистово стучащими кастаньетами и каблучками. Испанский танец — это непостижимая и почти оркестровая слитность острого, отрывистого ритма струн, кастаньет, бубна и каблуков с неторопливой, тягучей волной танцующего тела. Музыкальное сопровождение и все, что к нему относится, включая вскрикиванья и хлопки, идет в каком-то вихревом такте, то учащающемся, то замирающем, как биенье сердца, но тело танцора при этом ведет, как на скрипке, плавную и упоительную, страстную мелодию соло — она ликует, о чем-то молит и жалуется, подхлестываемая стремительным ритмом танечного угара. Вот так это и происходит.



B r i n d a r[1]. Потом затрещат гитары суровым, словно разрывающим струны аккордом, зрители закричат и начнут подносить танцору вино из своего бокала.

C a n t a r[2]. Cantos flamencos[3] поются вот как: певец, которого зовут Niño de Utrera[4] или что-нибудь в этом духе,

[1] Поднимать тост, подносить, предлагать (*исп.*).
[2] Петь (*исп.*).
[3] Песни фламенко (*исп.*).
[4] Мальчик из Утреры (*исп.*).

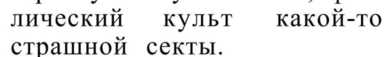
садится на стул менаду гитаристами, начинающими гулкое, рокочущее вступление, пронизанное дробными пиччикато, замедлениями и прерывами, и, подняв голову, прикрыв глаза, начинает, как кенар, петь, положив на колени руки. Зайдется песней, как взаправдашняя птица: во всю силу легких резнет протяжным, тонким, уходящим вверх воплем, страшно интенсивным и долгим, словно побился об заклад, сколько сумеет выдержать на одном дыханье; неожиданно этот предельно напрягшийся голос задрожит длинной трелью, тягучей и ноющей колоратурой, которая поиграет немного сама с собой и штопором пойдет книзу, раскрутится каким-то особым причудливым зигзагом и, тут же упав, замрет в звучных гитарных перекатах. И опять, вторгаясь в их аккорды, разливается этот нагой, кричащий патетический голос, страстным речитативом поведывает о каких-то своих страданьях, расширяется тягуче и упоенно на стремительном ритме гитар и одним духом соскользнет в эту волнистую, длинную голосовую арабеску, умирающую в треске гитар. Словно блестящий и гибкий клинок выписывает в воздухе мелькающие восьмерки и зигзаги; это похоже и на призывы муэдзина, и на захлебывающиеся переливы поющей на жердочке канарейки; дикарская монодия и при этом дьявольская профессиональная виртуозность; страшно тут много природы, цыганских заклятий, какой-то мавританской культуры и безудержной откровенности. Это вам не медовый воркующий голосок венецианских гондольеров и неаполитанских мазуриков; в Испании кричат в голос, грубо и исступленно. В песнях обычно несчастная любовь, угрозы, ревность и месть; это такие поющиеся эпиграммы в одну строфу, продолженные длинной волной раскручивающейся и замедляемой трели. Так поют сегидильи, но также и малагеньи, гранадины, таранты, солеары, видалиты, булерии и прочие cantos,— все они отличаются друг от друга скорее содержанием, чем музыкальной формой,— ведь даже у саэт, которые на святой неделе распеваются в Севилье во время крестных ходов, такой же страстный стиль раздольного фламенко, как и у любовных сегидилий.

Castañuelas не только музыкальный инструмент, который щелкает, гремит, выводит трели, воркует и журчит (я это пробовал — такт выбивать и то невероятно тяжело), — castañuelas прежде всего принадлежность

танца, до самых пальцев доводящая его волну; руки, когда в них кастаньеты или бубен, сами собой взлетают полукругом в прелестную исходную позицию испанских танцев. Ну, а на слух castañuelas — целая Черная Африка с ее неистовой потребностью барабанного ритма. Когда в вихре такого танца среди пронзительных подхлестывающих выкриков и ритмических хлопков трещат кастаньеты, так что едва не лопается барабанная перепонка, то это, милые мои, такая зажигательная кутерьма, что впору самому вскочить и пойти в огневой пляс — так это страшно ударяет в ноги и в голову.



Девушки-цыганки, как правило, из Трианы; танцуют в длинной юбке с волочащимся подолом, которую в былые времена снимали; и самый танец их, по сути, — танец живота, когда, широко упершись ногами, запрокидываются чуть не до пола. Все жарче подхлестывает музыка танцовщицу, все резче ходит выпяченный живот, пупок и бедра крутятся, скользят по-змеиному руки, каблучки вызывающе топают, все тело выгибается, будто бьется в руках насильника, глухой вскрик — и цыганка опускается на землю, словно сраженная судорогой сладострастия. Это удивительный танец, мятежный и судорожный; воинствующая сексуальность, она крадется, идет на приступ и ускользает; фаллический культ какой-то страшной секты.





Дети, танцующие на улицах севильяну, — отменный танец, когда, заведя руку над головой, другую упирают в бок, поддергивая юбочку для легкого па ножкой; танец кичливый, гордо заносящийся и деликатный. Группы танцующих девочек,

как кукольные балеринки, вытопывают башмачками горячий штурмующий танец взрослых.

E r o t i c a[1]. У эротики испанского танца обширный диапазон — от любовных заигрываний до любовных спазм; и всегда — даже в наитактичнейшем контрдансе — это эротика, которая чуть подзадоривает; не та, что прямо отдается, как в танго, а та, что поддразнивает, ускользает и манит, бросает вызов, грозит и немножко высмеивает. Чертовский и обольстительный танец; но никогда не ослабевает в нем стальная пружина гордости.

F a n d a n g o[2] танцуют в длинной юбке со шлейфом; кружиться в такой юбке, легонько откидывая шлейф ножкой, вертеться волчком и удерживать ритмический рисунок — большое искусство и восхитительное зрелище; весь этот танец чудесным ключом бьет из пены воланов и кружевных нижних юбок.

G i t a n o s[3] танцуют парой пантомиму полов, пантомиму завлечения и упрямства, любовных объяснений и мучительства — классическую партию мужчины и женщины, причем женщины, я бы сказал,— пройдохи, а мужчины — тирана, который волочит ее по земле. Но уж если цыган танцует один, он отбрасывает все условности пантомимы; тут тогда чистое безумие поворотов, скачков и присядок, стремительных жестов и осатанелого топанья; танец такой безыскусственный, что выражает лишь какой-то расходившийся огонь.

G u i t a r r a[4] звучит совершенно иначе, чем мы здесь себе представляем; звенит металлом, как оружие, бряцает воинственно и сурово; не лепечет, не воркует, не сюсюкает медоточиво, не тренькает,— гудит, как тетива, рокочет, как бубен, гремит, как лист жести; это мужественный, бурный инструмент, и играют на нем молодцы, похожие на разбойников с гор, рвущие струны порывистым резким щипком.

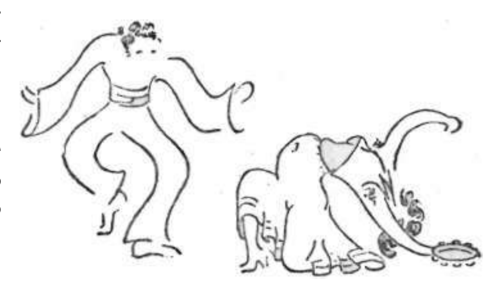
H i j a ! Ola, hija![5]

C h i q u i t a . Bueno, bueno, chiquita![6]

---

[1] Эротика (*исп.*).
[2] Фанданго (*исп.*).
[3] Цыгане (*исп.*).
[4] Гитара (*исп.*).
[5] Дочка! Давай, давай, дочка! (*исп.*).
[6] Хорошо, девчоночка, хорошо! (*исп.*).

Jota[1]. Арагонская хота — это песня и танец; песня с затрудненными кадансами, суровая, дикая, стремительно разбегающаяся и снова тягучая, ярко мавританского склада, но без завитушек фламенко; каждая строфа соскальзывает в такую протяжную и круто замирающую жалобу. И хота — прелестный танец, стремительный, буйный, с мощным темпом галопа, прорывающимся из округлой затихающей кантилены.



Muy bueno, chica! Otra, otra![2]

Ola, nina! Ea![3]

Palmoteo, или хлопки. Пока один из группы танцует, другие сидят вокруг и выбивают такт ладонями, словно не могут выдержать эти потоки ритма, хлещущие в гитарных каскадах. И кричат. И топают. А гитаристы ерзают на стульях, топают и покрикивают. Да тут еще кастаньеты...



Rondalla — такая пузатая арагонская мандолина, звенящая металлом и певучая, подыгрывающая хотам-песням.

U. El U — валенсийская песня, экстатический рев певца в треске труб и сумасшедшем вихре кастаньет; отродясь не слыхивал такой знойной и яростной песни, как этот тягучий, надсадный вопль мавров.

Zapatear, или стучать подметками в ритмическом угаре.

Zamacuco[4].

---

[1] Хота (*исп.*).
[2] Хорошо, малютка, очень хорошо! Еще, еще! (*исп.*).
[3] Ух, девочка! Эх! (*исп.*).
[4] Опьянение (*исп.*).

Bodega [1]

Испания, как всякая старая добрая страна, придерживается строгого деления на провинции; есть тысяча и одно различие между Валенсией и Астурией, Арагоном и Эстремадурой; даже природа присоединяется к этому областному патриотизму и родит в каждой провинции свое вино. Знайте, что вина кастильские придают храбрости, вина, скажем, из провинции Гранада будят тяжелую, ожесточающую тоску, а вина Андалузии полны благожелательной приятности; вина из Риохи проясняют мысли, вина каталонские развязывают язык, вина валенсианские берут за душу.

Знайте также, что jerez, если пить его там, где его производят, совсем не тот сладковатый херес, который пьем мы; это вино светлое, проникнутое кисловатой горечью, мягкое, как растительное масло, но при этом крепко ударяет в голову, потому что оно — приморское. Коричневая малага — густая и липкая, как душистый мед, таящий в себе огненное жало. А то еще винцо с названьем мансанилья из Сан-Лукара; как явствует из этого названья, — винцо молодое, игристое, мирское и веселое; выпивши мансанильи, идете, как парусник под свежим ветром.

Знайте, что в каждой провинции своя рыба и свои сыры, свои колбасы, бобы и дыни, маслины, виноград, сласти и прочие божьи дары местного производства. Вот потому-то старые, достойные доверия писатели и утверждали, что путешествия поучают нас истинам и добру; и каждый путешественник, отправившийся в дальние края, чтобы расширить кругозор, вам подтвердит, какая важная и редкостная вещь — хорошая таверна. Нет больше астурийских королей, но астурийский копченый сыр существует; «...златые дни Аранхуэса миновали...», но клубника из Аранхуэса и теперь в зените своей исторической славы. Не обжирайтесь, не чревоугодничайте, и да явится ваша трапеза данью богам места и времени. Хотел бы я всегда есть икру в России, а бекон в Англии; но, увы, меня кормили икрой в Англии и английским окороком на земле испанской. Патриоты всех стран — это прямой заговор против нас; ни международный капитал, ни Четвертый Интернационал не представляют такой

---

[1] Винный погребок (*исп.*).

опасности, как Владелец Международного Отеля. Заклинаю вас, кабальеро, боритесь против его козней, выкрикивая, как священные слова на поле брани, что-нибудь вроде: Chorizo, Позор, Kalbshaxen [1], A la lanterne [2], Macaroni [3]. Одну с верхом, Porridge [4], Camembert [5], Pereat [6], Мансанилья и прочее в подобном роде, смотря по тому, где вы и насколько вы воинственно настроены.

Каравелла

Она пришвартована недалеко от той Торре-дель-Оро на Гвадалквивире, где испанские корабли выгружали перуанское золото; и будто бы до последней доски, до последнего каната воспроизводит ту самую каравеллу «De Santa Maria» [7], на которой Христофор Колумб открыл Америку. Я пошел посмотреть на нее в надежде, что там у меня зародится какой-нибудь замысел о Христофоре Колумбе; облазил всю ее от трюма до верхушки, ложился на постель в каюте Колумба и спрятал на память один номер «Ля вангуардиа», лежавший там на столике, — видимо, тоже со времен Колумба, — пробовал двигать эти самые фальконеты или кулеврины, — не знаю уж, как эти старые пушечки именуются, — причем едва не перебил ногу железным ядром, потому что они заряжены, но не сделал для себя никакого открытия, только очень удивился, что это славное судно так мало. Пражский магистрат, кажется, не доверил бы ему перевозку пассажиров даже до Збраслава.

Но наверху, на палубе, я вспомнил, что за спиной у меня иберо-американская выставка и что, когда ее закроют, на месте ее в Севилье останется большой иберо-американский университет, в который, как мы, севильцы, надеемся, будут приезжать молодые кабальеро из Мексики и Гватемалы, Аргентины, Перу и Чили. В эту минуту мне страшно захотелось быть испанским патриотом и радостно выкрикивать: «Hombres [8], вообразите только: за

---

[1] Телячьи ножки (*нем.*).
[2] На фонарь (*франц.*).
[3] Макароны (*итал.*).
[4] Каша (овсяная) (*англ.*).
[5] Камамбер (*франц.*).
[6] Сгинь (*лат.*).
[7] «Святая Мария» (*исп.*).
[8] Люди (*исп.*).

океаном не знаю сколько миллионов человек речь строят по законам словаря Мадридской академии! Пускай там государств столько же, сколько фиников на пальме, но ведь это один народ, и если взяться за дело по-умному, была бы одна культура, sabe? Представьте себе, кабальеро, что все люди, пользующиеся словарем Мадридской академии, стали бы заодно,— тут бы тогда было такое, что и Лиге наций не по плечу, тут была бы Евроамерика, была бы межконтинентальная антанта белой расы; helo, alli, была бы заново открыта Америка! Подумайте только, как мы, иберийцы, утерли бы нос этим великим державам с их вечными сварами из-за тоннажей и калибров! Amigos [1], каждый estronjero [2], едва залезет к нам через Ирун или Портбу, как уже чувствует, что мы, испанцы,— люди некогда великой, всемирной славы; где это все теперь, черт побери, я спрашиваю? Во имя Гойи и Сервантеса, покажем-ка себя еще раз!»

Так примерно стал бы я говорить, ибо если уж под ногами корабль, имитирующий каравеллу Колумба, то является что-то похожее на потребность открыть Америку. Америки я не открыл, но обнаружил, что в этой стране недалеко ходить за тем, что, если я не ошибаюсь, называют национализмом. Народ этот, как ни один другой,— не причисляя сюда англичан,— смог сохранить присущий ему уклад жизни; и от женских мантилий до музыки Альбениса, от повседневных привычек до уличных вывесок, от кабальеро и до ослов предпочитает свое, исконно испанское, единообразящей лакировке международной цивилизации. Быть может, дело тут в климате или в почти островном положении, но главное, мне кажется, в характере людей. Здесь каждый кабальеро задирает нос от областной спеси; Gaditano кичится тем, что оп из Кадиса, Madrileño — тем, что из Мадрида, астуриец горд, «то из Астурии, а кастилец горд вообще, ибо каждое это имя овеяно славой, как герб. Потому-то, надеюсь, севилец никогда не унизится до того, чтобы стать добрым международным европейцем; ведь он не смог бы стать даже мадридцем. Одна из самых глубоко сокрытых тайн Испании — ее провинциализм, особая добродетель, понемногу изживающая себя в остальной части Европы; провинциализм — валовой иро-

---

[1] Друзья (*исп.*).
[2] иностранец (*исп.*).

дукт природы, истории и людей. Испания еще не перестала быть природой и еще не опамятовалась от своей истории, потому-то она и сумела сохранить в такой степени это качество. Ну, а мы, прочие, можем только немножечко удивляться, до чего это все-таки славно — быть нацией.

Palmas y naranjos[1]

Край Ламанча проехал я темной — хоть глаз коли — ночью и потому не могу вам сказать, вправду были там великаны или всего только ветряные мельницы; но зато могу дать перечень целого ряда предметов, встречающихся в провинции Мурсия и Валенсия, а именно: скалы, желтые или красные, белые известняковые утесы и синие горы вдали; на каждой скале, утесе или горе — руины мавританской крепости или христианского замка или хотя бы пустынь, часовня или колоколенка; огромные бурые развалины Монтесы, городище Хативы, ощетинившееся башнями и зубчатыми стенами, всякие мелкие замки, форты, донжоны; замок Пуиг и крепостной вал Нулеса, руины Сагунтума, целый акрополь на вершине скалы; и кубик замка Беникарло;

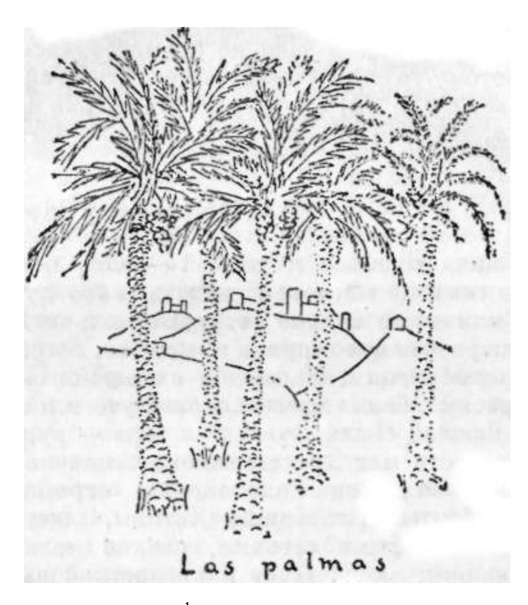
бурые и красные пустоши скалистых откосов, поросшие вихрами дрока, летними дубками, пучками тимьяна, розмарина и шалфея; пустынные склоны, обожженные, как керамика, только что вытащенная из печи и еще не успевшая остыть, а прямо под ними

сады олив, серо-серебристых, похожих на наши вербы, с узловатыми скрюченными стволами, напоминающими корневища мандрагоры, домовых и вообще что-то отдаленно человеческое; а между оливами каменное пересохшее пуэбло с собориком вроде замка, с кубиками домов и какой-то обширной руиной вверху;

далее сады смоковниц, неряшливых деревьев с большими листьями; густые пышные algarrobus[2] с цареградскими стручками; и финиковые пальмы, все больше, больше финиковых пальм, фонтаном вздымающих свои победные кроны; пальмовые рощи, городки, утопающие в пальмах, сияющие фаянсовые купола и минареты среди пальм и бананов, и над этим какой-то замок;

---

[1] Пальмы и апельсиновые деревья (*исп.*).
[2] рожковые деревья (*исп.*).



орошенные huertas [1], рисовые поля, бескрайние плантации шелковиц, виноградники, гектары апельсиновых деревьев, шарообразных, с тугими глянцевитыми листьями и золотеющими апельсинами, и лимонные деревья, более крупные, скорей напоминающие груши; край благодатнейший из благодатных, tierras de regadí o [2], по которой во рвах и канавках животворная влага течет со времен

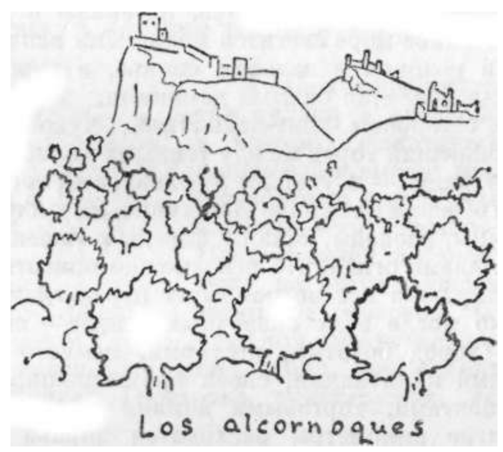


[1] сады (*исп.*).
[2] орошенная земля (*исп.*).

римских земледельцев и мавританских зодчих; и над этой золотой землей на синих холмах — бастионы, башенки и зубчатые стены мавританских замков;

Валенсия, где синие и золотые купола из azulejos, смуглые люди и золотистый воздух, мешающий дыхание моря и рыбную вонь с ароматами апельсинов и фруктовых сиропов;

море, море, море, светлое, полыхающее, опаловое и волнистое, пенящееся у подножия бурых скал, лижущее песчаные пляжи, море лазурное, море неоглядное; картинные лагуны, заливы между скал, косячок рыбацкого паруса на горизонте;



alcornoques — рощи пробковых дубов с почти черными кожистыми листьями, которые свернуты фунтиком; рощицы пиний на соленых песках мертвого берега; на горах — крепости и пустыни;

итак, справа море, слева горы, — куда смотреть, чтобы чего-нибудь не упустить? — плыть вот так по морю или пустынничать в тех вон горах,

выходить на рыбалку или давить виноград и оливки, — ух, какие пурпурные скалы, нигде в мире нет таких красных скал;

глядите, Оропеса, городок, повисший на скале, наверно, тысячу лет назад он выглядел так же, хоть и не знаю, какой в нем тогда жил народ;

каждый раз, когда едешь туннелем, появляется ощущение, что поставлена точка и за ней пойдет новая глава,

и все-таки я бы не мог сказать, на каком именно месте край этот так переменился и в чем эта перемена; он вдруг стал напоминать что-то другое,— уже не Африка, а что-то знакомое: такой могла бы быть Корниш в Марселе или Ривьера-ди-Леванте; снова латинская земля, влажная и сверкающая котловина Средиземноморья; и когда смотришь по карте, где ты, видишь, что это называется Каталония.

Тибидабо

Тибидабо — холм над Барселоной; вверху собор, кафе, качели, а главное — вид на море, на землю и на город, причем означенное море светится мглистыми испарениями, земля вся в розовом и зеленом сиянье, а город удивительно нежно искрится белыми домиками.

Или еще с террасы Фонт-дель-Льео... чудо как хорош оттуда сверкающий город между теплыми волнами холмов и моря, смотришь — и ударяет в голову, как легкое вино.

А то еще вечером на склоне Монжуика, на выставке, когда все фонтаны, каскады, каналы, фасады и башенки так засияют переливами огней, что невозможно описать, и только смотришь, пока все не поплывет перед глазами.

И только после этих сказочных вещей — собственно Барселона: город богатый, нестарый, немного бахвалящийся своими капиталами, своей промышленностью, новыми проспектами, торговыми домами и виллами; все это на долгие километры расходится вправо и влево, и только в самом центре, словно бы на дне кармана, около горстки таких стародавних и достославных вещей, как ратуша, кафедральный собор и Diputación [1], сгрудился старый город — узенькие кишащие народом улички, прорубленные славными рамблами, где барселонский люд толчется под платанами, чтоб покупать цветы, оглядывать девушек и делать революцию. В целом бойкий и смазливый город побрякивает благоденствием и атакует окрестные холмы; город щеголеватый, фанфаронистый, где этот непонятный зодчий Гауди так судорожно замахнулся в небо недостроенным куполом и шишковидными башнями огромного храмового торса Sagrada Familia [2].

---

[1] Casa de la Diputación — здание парламента (*исп.*).
[2] Святого Семейства (*исп.*).



И порт, грязный и шумный, как все порты мира, окруженный поясом баров, зал для танцулек, кафе-шантанов, с вечера, как жеребец, учуявший течку, ржущий всеми своими оркестрионами, подмигивающий цветными огоньками, вульгарный, с железной силищей, с этим своим удивительным населением из грузчиков, матросни, поденщиков, пухлых девок, буянов и портовых крыс; бордель, пожалуй, побольше Марселя, гнездо сомнительнее, чем Лайм-Хаус, сливная яма, в которую земля и море скидывают свою накипь.



И рабочие предместья, где сжатые кулаки в карманах и глаза, в которых фанатическая непреклонность и вызов; это уж вам не беззаботный люд Трианы; принюхайтесь — тут пахнет паленым. Настает вечер, и к центру тянутся тени; на ногах эспадрильи, бедра обмотаны красной повязкой, в углу рта сигаретка, кепка надвинута на глаза. Это лишь тени, но оглянитесь — их уже горсточка. Горсточка пристальных, затаившихся глаз.

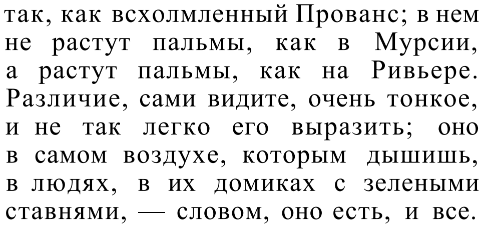
И здесь, внутри города, — люди, которые не хотят быть испанцами; и кругом, в тех вон горах, крестьяне, которые не испанцы. С высот Тибидабо — это такой искрящийся и благодатный город; но стоит подойти к нему, и будто различаешь, как тяжелое и учащенное дыханье вырывается сквозь стиснутые зубы.

А Барселона тем временем брызжет огнями и веселится почти лихорадочно; чуть не с полуночи начинают в театрах, к двум часам ночи заполняются бары и дансинги; тихие хмурые группки стоят неподвижно на своих paseos и ramblas и быстро, неслышно расходятся, когда из-за поворота выныривает столь же тихая хмурая кавалькада жандармов, держащих в седле наготове винтовки.

Сардана

А ну, каталонцы, сыграйте мне вашу сардану, музыку резкую и обстоятельную, с козлиным блеяньем и посвистом пастушеской свирели, настоящую музыку Средиземноморья. Это уже не тягучий вопль мавров, не темная страсть гитар, а что-то сельское, грубое и веселое, как весь каталонский край.

А край этот уже напоминает Прованс; он, например, не так скалист, как остальная Испания, а скалист так, как всхолмленный Прованс; в нем не растут пальмы, как в Мурсии, а растут пальмы, как на Ривьере. Различие, сами видите, очень тонкое, и не так легко его выразить; оно в самом воздухе, которым дышишь, в людях, в их домиках с зелеными ставнями, — словом, оно есть, и все.



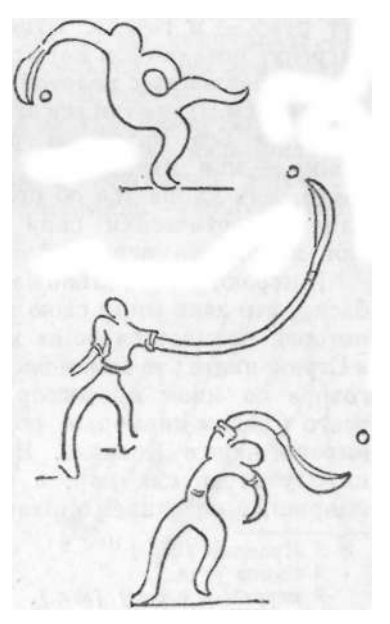
Что же касается населения, то оно в этом крае носит белые плетеные шлепанцы, которые зовутся alpargatas и напоминают римские сандалии, и временами красные фригийские шапки (называемые barretinas или что-то в этом роде). И много их тут, синеглазых и русых, приземистых и кургузых; во все здесь как-то затесался север: в музыку и вкус вина, в человека и природу. В природе берет теперь перевес лист опадающий, — первый желтый листок платана был для меня чем-то вроде привета из дома. Жизнь протекает тут не в патио, как там, внизу, а на улице; дети, собаки, матери, пьянчужки, читатели газет, мулы и кошки — все тут обитает у дома и на панели; потому-то, наверное, здесь так легко возникают толпы и вспыхивают уличные скандалы.

Но что, по-моему, здесь удивительней всего, это гвардейцы перед королевским замком: на ногах у них белые каталонские шлепанцы, а на голове цилиндр. По правде говоря, цилиндр, шлепанцы и винтовка со штыком — аккорд довольно непривычного звучания; но ведь это в конце концов олицетворение всей каталонской земли, такой деревенской, купеческой на фоне прочих королевств Испании.

Пелота

Баскская пелота — такая игра с твердым мячиком из собачьей кожи; если смотреть с некоторого расстояния, можно подумать, что завязалась какая-то свалка и среди диких криков, очевидно, поднялась пальба, но когда подходишь ближе, видишь, что орут не игроки и не болельщики, а маклеры, которые мечутся перед зрителями и выкрикивают ставки на Синих или на Красных (опознавательные знаки команд). С точки зрения драматической эти маклеры — самая занимательная часть зрелища. Они вопят, как ревуны, скачут, размахивают руками и объявляют ставки на растопыренных пальцах; а ставки и выигрыши в виде надутых мячиков летают между маклерами и публикой, как орехи у дерева, облепленного стаей обезьян.

А пока идет эта азартная игра в ставки, у ног зрителей разыгрывается партия пелоты в более узком смысле слова; ее играют по два человека с каждой стороны с таким длинным плетеным стручком, или корытцем, прикрепленным кожаной рукавичкой к правой руке. Этим стручком сеньор Элола подхватывает летящий мячик и... хлоп — бьет и об стену, которая называется фронтон. Звучно шлепнувшись, мячик отскакивает и стрелой летит обратно; бум — сеньор Габриэль уже поймал его своим стручком и метнул в стену. Хоп — теперь его поддел в воздухе сеньор Угальде, сделал разворот ракеткой и, как бомбу, швырнул на фронтон. И бум! Мяч уже словил корытцем сеньор Теодоро и послал на стену так, что она загудела; и снова очередь сеньора Элолы ловить отскакивающий мяч. Но это мы пустили пленку замедленно: в действительности видишь только четыре белые фигурки, скачущие каждая на своей черте, и — бум, хоп, бум, хоп,



бум, хоп — проносится над ними почти невидимый мячик; если он пролетит мимо игрока, или стукнется о землю два раза, или выйдет другая какая-нибудь непонятная для непосвященных ошибка, значит, этот кон разыгран, команде противника засчитывается очко, маклеры начинают махать руками и, оглушительно крича, объявлять новые ставки. Так продолжается до шестидесяти или скольких-то там очков; после чего приходят новые Rojos [1] и Azules [2], и все начинается сызнова, а зрители все это время меняются, как игроки у рулетки.

Как видите, игра эта довольно однообразна, особенно если употреблять такие будничные и мирские термины, как, например, «взять мяч», — по-настоящему, тут вовсе не «берут мячи», а творят чудо. Этот стручок, называемый la cesta, не шире ладони, а мяч летит чуть не со скоростью метеора; говорят, однажды он отскочил от стены и полетел в публику; все четыре игрока мгновенно будто испарились, подумав, что мяч насмерть уложил кого-нибудь из зрителей. Так вот, ловить такой мяч — все равно, что ловить ложкой пули, выпущенные из ружья, а эти pelotaris [3] ловят каждый мяч, где бы и как бы он ни летел, с такой звериной меткостью, с какой стриж ловит мух. Вытянут руку — и готово. Взметнутся в воздух — и готово. Загребут позади себя корытцем — и готово. Играть в теннис по сравнению с пелотой — все равно, что хлестать мух полотенцем. При этом все эти прыжки, ухватки, развороты делаются без малейшей рисовки, без всякого напряжения,— как птица ловит комаров. Только и слышно «бум», мяч хлопается об стену — и все; даже не видишь, какая атлетическая сила нужна, чтобы его бросить. Вот какая это игра,— фантастическая и однообразная.

И играют в нее только баски и наваррцы с гор; те самые баски, что дали миру свою круглую шапочку — берет, — которая называется boina и производится, правда, у нас в Страконицах; те самые баски, которые, как уверял в разговоре со мной профессор Мейе, были праобитателями всего Средиземноморья, родственники некоторых племен высокогорного Кавказа. Язык их так сложен, что еще не изучен до сих пор; а музыка — дудка, похожая на кларнет, с названием dulzaina, которой подыгрывает там-

---

[1] Красные (*исп.*).
[2] Синие (*исп.*).
[3] игроки в пелоту (*исп.*).

бурин. Они чуть ли не самый маленький народ в Европе; быть может, это выходцы с исчезнувшей Атлантиды. Грех будет допустить, чтобы когда-нибудь исчезла эта доблестная горсточка оставшихся.

Монсеррат

Издали это почтенная коренастая гора, по грудь выставившаяся из остальных каталонских холмов; но чем ближе вы к ней подступаете, тем больше начинаете удивляться, качать головой и, наконец, бормотать: «С ума сойти» и «Нет, я в жизни ничего подобного не видел», — подтверждая тем самым старинную истину: вблизи в этом мире все удивительнее, чем издали.

И вот то, что из Барселоны казалось вам монолитным массивом, с более близкого расстояния предстает чем-то вроде горы на сваях; скорее даже и не горы, а архитектурного сооружения, какого-то храма. Внизу — цоколь из красной скалы, с которого устремляются вверх высокие, как башни, колонны из скал; на них нечто вроде портика с новым рядом гигантских колонн, а над этим, на высоте тысячи двухсот метров, — третий ярус этой циклопической колоннады. С ума сойти; нет, говорю вам, в жизни ничего подобного не видел. Чем выше ввинчивает вас красивая шоссейная дорога, тем сильней у вас занимается дух; внизу отвесная пропасть Лобрегат — над головой отвесные башни Монсеррата; а между ними, как на выступе балкона, висят святой монастырь, кафедральный собор, гаражи на несколько сот автомобилей, автобусов и шарабанов и монастырская гостиница — монументальная гулкая пустынь, где можете остановиться у отцов бенедиктинцев; книг в этом монастыре — как, верно, ни в одной монастырской библиотеке: от старых фолиантов в переплетах из дерева и свиной кожи до целых полок, посвященных кубизму.

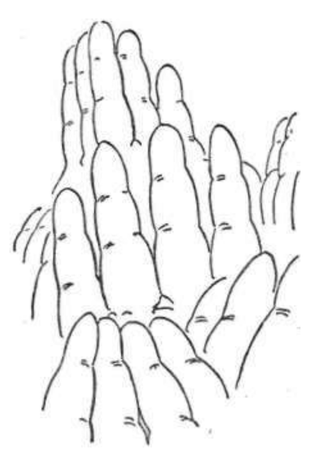


Но есть еще вершина горы — Сант Херони; вас поднимает туда вагончик совершенно отвесной канатной дороги; представьте себе коробоч-

ку из-под сардин, которую по веревочке поднимали бы на соборную башню, а вы сидите в этой коробочке с нарочито веселым и бодрым видом, словно у вас сердце не замирает от страха, что все сейчас оборвется — и кончено. Когда вы потом вышли и разминаетесь, то не знаете просто, на что смотреть раньше; я вам это подскажу:

1. На растительность, которая снизу выглядит, как пучки волос под огромными, закинутыми за голову каменными руками, но которая вблизи оказывается прекрасной порослью вечнозеленых барбарисов и остролиста, буксов и эвонимуса, цистусов, мирт, лавров и средиземноморского вереска; с ума сойти, — такого естественного парка, как там, на вершинах и в расселинах этих крепких конгломератовых скал, будто залитых бетоном из гальки, я в жизни не видел.

2. На башни и колоннады скал Монсеррата, на страшные и голые обрывы Юдоли Скорби, которая якобы отверзлась в день распятия Христа. Существуют разные ученые теории о том, что напоминают собой эти скалы: по одним — сторожевые башни, по другим — процессию монахов в клобуках, флейты, корни выдернутых зубов... а я готов поставить собственные глаза, что эти скалы — точь-в-точь поднятые пальцы, соединенные, как при молении; ведь гора Монсеррат воздевает в молитве тысячу дланей, кладет зароки, подняв указательные пальцы, благословляет путников и осеняет крестным знамением. Я верю, что за этим именно она была сотворена и поднята над всеми прочими горами; не важно в данном Случае, верю Ли я во что-нибудь еще, но так я думал, сидя на вершине Сант Херони, самом высоком куполе и центре этого гигантского и фантастического, сооруженного природой храма.



3. А кругом, насколько хватает глаз, — земля в волнах зеленых и розовых гор: Каталония, Наварра, Арагон, Пиренеи с искрящимися глетчерами; беленькие города у подножий; удивительные округлые холмы, до того слоистые, точно это кудрявая прядь, расчесанная гигантским гребнем, или даже

скорей — точно они и поднесь хранят отпечатки бороздок тех пальцев, которые замесили их почву. Вершина Монсеррата позволяет видеть отпечаток божьих пальцев, с исключительной творческой радостью вылеплявших тот теплый пурпуровый край.

Поглядев на все это и подивившись, отправляется путник домой.

Vuelta [1]

Возвращение домой. Мне еще ехать через четыре страны. Но уже все, что вижу, я в рассеянье перебираю и откидываю, как бусины на связке четок, потому что теперь это возвращение. Человек, который возвращается, сидит, забившись в уголок вагона, и прикрывает веки; довольно, довольно всех этих приближений и проплываний; довольно всего, что, едва помахав тебе, убегает назад. Скорей бы уже быть на месте, надолго окопаться дома; утром и вечером видеть вокруг неизменно знакомые вещи.

— Но ведь мир так велик!

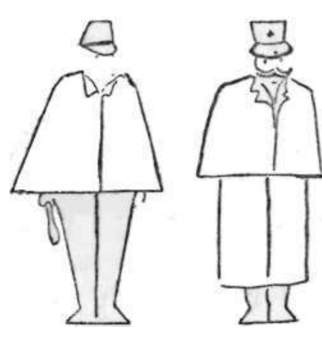
Ну вот, пожалуйста! Теперь сиди, повеся нос, и мучайся, что не все еще повидал. Не повидал ни Саламанки, ни Сантьяго; не знаешь, как выглядят ослики в Эстремадуре и старухи в Ансо, не встретил цыганского короля и не слышал свист баскской txistularis [2]. Человеку все надо видеть, ко всему прикоснуться рукой, — вот как в Толедо ты похлопывал ослика или щупал ствол пальмы в саду Алькасара. До всего хотя бы дотронуться пальцем. Весь мир погладить ладонью. Как это славно — осязать и видеть то, что тебе внове! Каждое различие в вещах и людях делает богаче жизнь.

Ты с благодарной радостью принимал все, что было не таким, какое для тебя привычно; и любой путник, как тебе известно, мог бы скорее растереть в кровь ноги, чем пропустить что-то своеобразное и живописное, такое, чего не увидишь в других местах, ведь у всех нас — любовь к многогранности и беспредельности жизни. Но по-

[1] Возвращение (*исп.*).
[2] свирели (*баскск.*).

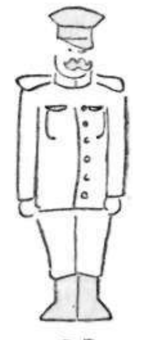
слушайте, ведь эту многогранность творят народы — ну, конечно, еще и природа, история... но ведь и то и другое слито в народе. Вот если бы нам пришло в голову определять решения мировых проблем любовью к жизни, мы бы выразили это примерно так (на всех языках мира):

Кабальеро, нельзя отрицать, что все люди есть люди, но нас, приезжих, приятно удивлял не столько факт, что, скажем, и севильцы тоже люди, сколько тот факт, что они — именно севильцы. Нас радовало, что испанцы — настоящие испанцы, и чем они были испанистей, тем были нам милей и тем больше мы их уважали за это. Представьте, что мы точно так стали бы уважать китайцев по той волнующей причине, что они китайцы, и португальцев, потому что они португальцы и, когда говорят, не понятно ни слова, и так далее. Есть люди, любящие целый мир, при том условии, что в нем будут



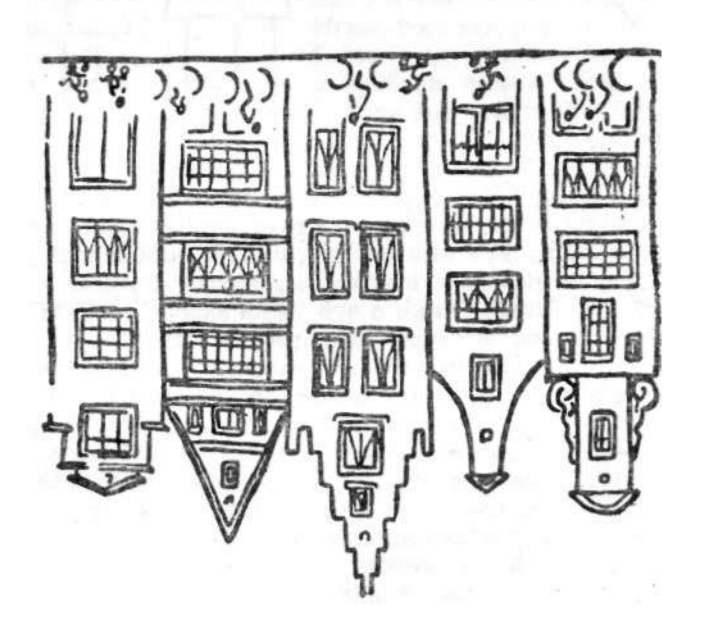
асфальтовые шоссе, или вера в единого бога, или не будет бодег и таверн. Есть люди, которые согласны полюбить весь мир, если он будет на одно лицо — лицо именно *их* цивилизации. Итак, поскольку все-таки с любовью мы далеко не ушли, попробуем иначе. Ведь куда больше радости любить весь мир за то, что он тысячеликий и всюду разный; а после возгласить: «Ребята, раз уж нам так приятно глядеть друг на друга, учредим Лигу наций; но только, черт возьми, пусть это будут нации со всем, что к ним относится, со своим цветом кожи и языком, со своими обычаями и культурой, а если надо, бог с ними, пусть будут и со своим богом; ведь всякую несхожесть стоит полюбить по одному тому, что она делает богаче жизнь. Пускай же нас объединит все, что нас разделяет!»

Тут человек, который возвращается, обнимает взглядом холмы под французскими виноградниками, провожает глазами немецкие хмельники и вот уже, сгорая нетерпеньем, ждет, когда побегут к нему пашни и яблоневые сады за той, за последней границей.



Картинки Голландии

Перевод
В. ЧЕШИХИНОЙ

О знакомстве с чужими странами

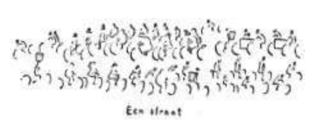
В большинстве случаев нынешний путешественник проделывает в чужих странах, так сказать, обратный путь по истории. Начало его новым познаниям обычно кладет центральный вокзал в столице; только после этого, постепенно, шаг за шагом он переходит к все более и более старинным предметам, как-то, скажем: кафедральные соборы, старинное искусство и амстердамское гетто, и только напоследок, в конце своих странствий, он открывает и голос самой страны, вроде мычания черно-белых коров или скрипа крыльев ветряных мельниц. Словом, как правило, ему сперва кажется, что все страны на свете совершенно одинаковы (кроме — будь она неладна! — денежной системы); а в конце концов он убеждается, что всякая страна по-своему бесконечно прекрасна и не похожа ни на какую другую; но это впечатление обычно складывается у него с запозданием, когда он снова садится в поезд на центральном вокзале столицы и постепенно забывает то, что видел.

О нидерландских городах

Итак, если начать по порядку — первое чисто голландское впечатление (не считая зеленых паровозов с медной каской на спине) — это кирпичи. И окна. И главное — велосипеды. Но самое главное — кирпичи и окна. Кирпичный цвет характерен для Голландии так же, как и зелень и среди нее домики из мелких красных кирпичей, с белыми швами между ними, домики с большими светлыми окнами; зелень — и мощенные кирпичом дороги, по которым бесшумно несутся велосипедисты от одного красного домика к другому. Эти домики, не считая кирпичей, сделаны преимущественно из окон, больших прозрачных окон с белыми наличниками; окна самым причудливым образом делятся на части разной величины; потому что, да будет вам известно, в нидер-

ландской архитектуре окнам отведено очень большое место: стена — это стена, а окно — отверстие, пластичный элемент, оно может быть больше или меньше, выше или ниже, что, как кажется, почти удовлетворяет индивидуалистические наклонности этой страны.

А затем — велосипеды. Я повидал их немало, но столько велосипедов, как, например, в Амстердаме, еще не встречал; это ужо не просто велосипедисты, а некая масса, рои, стада, колонии, нечто вроде бурно размножающихся бактерий, кишащих инфузорий или облаков толкущейся мошкары; самое красивое зрелище — это когда полицейский на минуту останавливает поток велосипедов, чтобы прохожие могли перейти улицу, а затем снова великодушно открывает путь: целый рой велосипедистов бросается вперед, ведомый несколькими лидерами, и все это катит дальше с фантастическим единодушием комариной пляски. Знатоки местных обычаев уверяют, что в Нидерландах в настоящее время насчитывается до двух с половиной миллионов велосипедов, а это значит, что на каждых трех жителей, включая грудных младенцев, матросов, королевскую семью и призреваемых в богадельнях, приходится один велосипед. Я не считал, но мне кажется, что их будет, пожалуй, чуточку побольше. Говорят, что здесь достаточно сесть на велосипед, а он уж поедет сам, настолько ровна и гладка эта страна.



Видел я монахинь на велосипеде и крестьян, которые, сидя на велосипеде, вели корову; на велосипеде люди завтракают, на велосипеде возят своих детей и своих собак, а влюбленные, держась за руки, нажимают на педали и мчатся навстречу восхитительному будущему; говорю вам, это нация, посаженная на велосипед. Но если велосипед становится до такой степени национальным обычаем, следует подумать, какое влияние он может оказывать на национальный характер. Ну что ж, я сказал бы следующее:





1) человек на велосипеде привыкает заботиться о самом себе и не вставлять палки в колеса другим велосипедистам;

2) он ждет удобного случая и тотчас нажмет на педали, как только перед ним окажется пядь свободного пространства;

3) он мчится вперед, но не слишком утруждая себя и не поднимая при этом никакого шума;

4) и хотя иной раз встречаются пары и даже целые толпы велосипедистов — все равно человек на велосипеде более изолирован и замкнут в себе, чем пешеход;

5) велосипед устанавливает между людьми известное равенство и однородность;

6) учит их полагаться на инерцию;

7) и воспитывает в них любовь к тишине, в которой слышно, как пролетит муха.

Этим я сказал о велосипедах больше хорошего, чем я о них думаю; а теперь, когда они уже не могут мне отомстить, заявляю публично, что не люблю их, так как считаю несколько противоестественным, чтобы человек одновременно и сидел и шагал вперед. Ходьба сидя в конце концов может повлиять на темп и развитие нации. Можно ведь медленно нажимать педали и все же быстро двигаться вперед. Это видно по тому, как далеко ушли голландцы, хотя и жмут на педали неторопливо, почти как при замедленной съемке. Но я, пешеход, размахивающий руками, не стану совать голландским велосипедистам палки в колеса; пусть каждая нация странствует за своей звездой как умеет.



Еще одно обстоятельство бросается в глаза на нидерландских улицах: собаки. Дело в том, что они без намордников; вследствие этого они сплошь да рядом смеются почти во весь голос, не дерутся между собой, никого не кусают и не ворчат друг на друга с этакой среднеевропейской раздражительностью; отсюда видно,

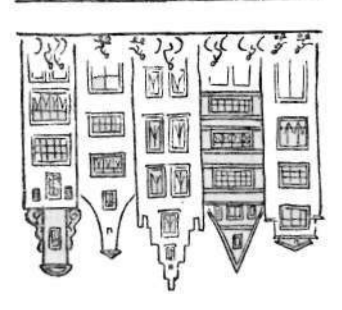
что свобода без намордника — эта свобода существует не только для красного словца, она существует не только для собак, но и для нас, людей, — и есть благословенный дар божий, аминь.

Грахты и каналы

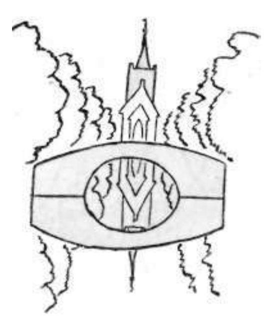
Дело вот в чем: там, где у нас между рядами домов тянутся мостовые, в Голландии просто находится вода, так называемые грахты, а там, где такая же вода течет от города к городу, — это уже канал. Берега тихой воды ничем не ограждены, вдоль них стоят только тихие большие деревья и тихие фасады домов со светлыми окнами; и все это тихо отражается в грахтах, как в зеркале.

Говорят эти грахты, в сущности, водные дороги, и в старину голландцы развозили по ним товары во все концы города. Не думаю отрицать это; иногда действительно по ним важно, бесшумно проплывает лодка с бидонами молока или грузом цветов. Посмотрев более внимательно, я скорее сказал бы, что в старину голландцы строили свои города из домов и воды главным образом для того, чтобы, как говорится, одним махом построить два города: один обычный, а второй — отраженный в воде. Из-за размеров своей страны они не могли очень уж распространяться вширь; тогда они увеличили ее размеры вдвое вертикально: с помощью отражения в воде. А так как на своих песках голландцы не могли размахнуться ввысь, то они взяли и сделали наоборот: отразили все в глубине. Наверху тихо, достойно живут люди; внизу еще тише и еще достойнее движутся их тени. Я бы не удивился, если бы в





зеркале грахтов двигались отражения людей прошлых столетий — мужчин в пышных брыжах и женщин в чепцах. Ведь грахты очень стары и потому как-то не совсем реальны. Города стоят словно не на земле, а на своих собственных отражениях; эти солидные улицы словно вынырнули из бездонных глубин снов; точно дома должны быть одновременно и собственным отражением.

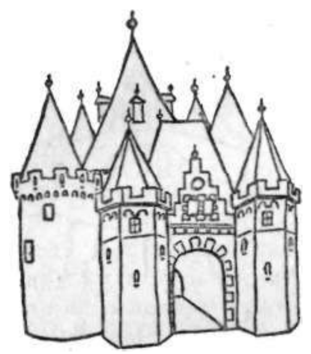


Есть живые грахты, по которым плывут суда и лодочки; грахты, затянутые зеленым покровом ряски; грахты, высохшие, пахнущие болотом и рыбой, и грахты самодовольные, назначение которых — в полном блеске отражать фасады домов крупных буржуа; священные грахты, в которые смотрятся церкви, и запущенные каналы-тупики, в которых не отражается даже око божье; грахты в Дельфте, где в них, как в зеркало, глядятся красные домики, и грахты в Амстердаме, в которые глядятся черные и белые фасады верфей, и грахты в Утрехте, глубоко зарывшиеся в землю, и заброшенные, маленькие грахтики, на которые, кажется, до сих пор не ступала нога человеческая (обутая в челнок), и грахты засыпанные, от которых осталось лишь название.

Но самое характерное для грахтов — вечерний час, когда на темные каналы с колоколен падает колокольный звон. Словно тяжкие капли со звоном разбиваются о темную, спокойную гладь, и кажется, что вековой дождь этих набожных звуков и образовал тихие грахты.

Старинные города

Они все похожи друг на друга, будь это Дельфт, Гауда или Лейден: ленты тихих вод и старинные кирпичные соборы с деревянными сводами, похожими на брюхо купеческого парусника, пышные ратуши и маленькие ратуши, которые разукрасила мишурой кичащаяся своим богатством буржуазия, и почтенные городские весы, и ворота с башнями, и рыбные базары, и прославленные в веках университеты, и исторические дома, в которых когда-то был убит кто-то из графов Оранских или еще



кто-нибудь, и тихие улички без истории, которые сами являются частью XVI или XVII столетия и дремлют вне времени над своим сонным канальчиком.

И дома эти стоят наклонно, как башня в Пизе, потому что построены на песке; иногда ширина их не больше двух локтей, потому что стоят они на сваях, а каждая пядь твердой суши в этой стране воды и песка ценится на вес золота; чтобы сэкономить место, в верхние этажи вместо лестниц ведут этакие узенькие крутые жердочки с перекладинами, вроде куриного насеста, так что мебель приходится втаскивать в дом через окна — по таким лестницам она не пройдет; для этого на фронтонах домов сделаны щитки, чтобы было к чему прикрепить балку с веревкой, и потому так широки окна; по этой же причине, наконец, голландцы — люди усидчивые; они попусту не шляются по улицам и трактирам, потому что человек, однажды взобравшись к себе домой по крутым лесенкам, рад-радехонек, что ему не нужно снова слезать вниз; он предпочитает сидеть дома за протертым до блеска окном и в косо прикрепленное зеркальце следить за происходящим на улице (но там ничего не происходит, потому что все сидят по домам, не выбегают зря, а смотрят в косо прикрепленные зеркальца) — вот как все связано с характером почвы!

Поэтому же голландская городская архитектура в течение веков никак по существу не изменилась: таков нынешний Оуд или Дудок; он мог перенять те же самые доморощенные гладкие кирпичи и те же светлые большие окна, из каких возведены старинный Дельфт или Утрехт, — разве что в современных городах чуть побольше места для постройки новых кварталов; в остальном новые улицы так же конструктивны и так же современны, как и старые,



отражающиеся в зеркале вековых грахтов. Загляните в полуоткрытые двери и посмотрите на человеческое жилье: и сегодня вы увидите то же, что и на картинах старого Вермеера ван Дельфта.

Сказав ван Дельфт, говорю еще — Ван-Гог. Совершенно иначе понимаешь колорит Ван-Гога, увидев колорит Голландии: эти нежные, как эмаль, краски, красные кирпичи, сочную зелень, желтый песок, пестрые вывески, радостные, чистые тона, искрящиеся в прозрачном воздухе, — все это Ван-Гог принес из своей Голландии, потому что краски Франции совсем другие; они серебристо-зеленоватые, голубоватые и опалово-серые; достаточно было слегка осветить этого голландца южным солнцем, и получился Ван-Гог в наилучшем виде.

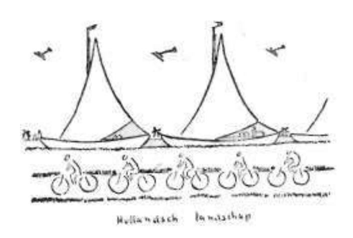


Города построены на сваях, что придает им еще одну своеобразную черту. Делалось это так: когда нужно было построить город, брали участок воды, огораживали его плотиной, осушали, а затем строили домики. Голландские города росли, не протягивая щупальцев во все стороны, а сосредоточиваясь на ограниченных участках; поэтому у них нет городских окраин, они не расползаются, как сыпь, а сидят очень плотно на зеленом лугу. Я сказал бы так: там, где кончается собор, начинаются коровы и vice versa [1] — на зеленом пастбище вдруг возникает красный городок, что очень красиво и совершенно в голландском духе.

От города к городу

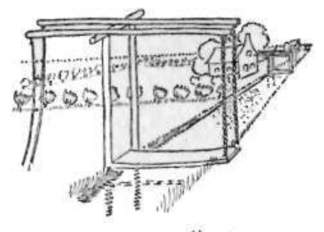
А от города к городу ведут ровные шоссе со старыми аллеями, как и в старые времена старого Гоббемы; вдоль шоссе — каналы, бесконечные каналы, разрезающие вдоль и поперек бесконечную ровную местность; каналы с барками, каналы с небольшими парусными судами, каналы с цветущими кувшинками; а на горизонте — тополевые аллеи, ряды верб, семьи ветряных мельниц, церковные колоколенки; каналы вместо межей, каналы

[1] наоборот (*лат.*).

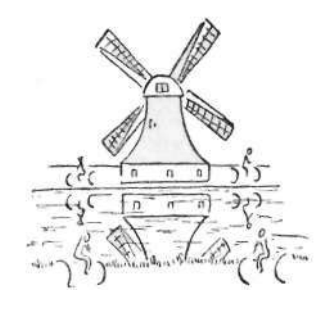


вместо дорог, каналы вместо заборов, каналы вместо тропинок. Крестьянин свозит сено на барке, ездит в лодке доить коров, осматривает свое поле, стоя в лодке и отталкиваясь шестом; он перебирается с места на место стоя; не знаю, может, он и пашет и жнет, стоя в своей лодочке. Вместо ограды вокруг домика у него канал; вместо калитки просто подъемный мост — и достаточно.

От города к городу ведут прямые каналы; но эти каналы не выкопаны в земле, как в других странах, а проложены, так сказать, над землей: уровень воды выше поверхности земли, вода течет вверху, а люди шагают внизу, суда плывут у них почти над головой, но люди вполне доверяют своим плотинам и своей воде; быть может, этим доверием плотины только и держатся. И к вашему сведению: вода здесь течет как-то совсем наоборот, то есть снизу вверх; с лежащей внизу земли и из ее каналов и канавок воду перекачивают насосами вверх, в реки и большие каналы; и поэтому вдоль каналов целыми аллеями стоят ветряные мельницы, но мелют они не зерно, а воду; они тянут ее из канавок в каналы, из каналов в большие каналы, из больших каналов в реки; а уж из рек вода вытечет сама, я бы сказал per vias naturales [1].



Но теперь большинство этих мельниц не машет крыльями и не мелет воду, а служит лишь символом Голландии; воду же перекачивает электричество.



[1] естественным путем (*лат.*).

Человек и вода

Я видел собственными глазами, как создается Голландия. Так же, как и ее города: ограждается участок моря, и вода выкачивается насосами; остается дно, на которое реки изрядной части Европы нанесли наилучший ил, а море — мелкий песок. Голландец высушит это дно и посеет на нем траву, коровы съедят ее, голландец подоит их и сделает сыр, который в Гауде или Алькмааре продаст англичанам; между прочим, это наглядный пример превращения материи.

Такое бывшее дно называется «польдер», и его можно узнать по его в высшей степени аккуратному, привлекательному виду и жирной почве; оно ничем не напоминает о таком полном пафоса деле, как борьба человека с водой. Эти знаменитые польдеры необыкновенно прямолинейны; взявшись создавать землю своими руками, голландец сделал ее как подобает человеку, то есть по линейке, так, как режут доски. Извилиста история человека; но прямолинейно дело рук его...

Я видел работы по осушению Зёйдер-Зе. Представьте себе настоящее море, которое поместилось бы примерно между Кладно, Пршибрамом, Табором и Колином; море с бурями и островами, пароходами и всякими морскими атрибутами. С одной стороны моря люди строят плотину — в ней тридцать километров длины, но это всего лишь детская запруда по сравнению с обширным водным пространством; по этой плотине снуют крошечные поезда с шведским гранитом, каждый день продвигаясь на метр-другой, а когда все будет готово, в центре этого моря сделают протоку, а посреди нее — остров; затем море выкачают насосами, и через какие-нибудь тридцать лет сюда придут черно-белые коровы...

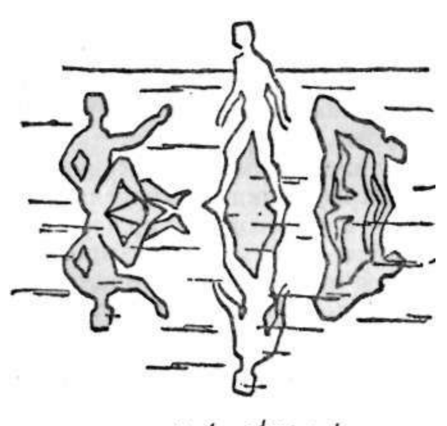
Да, но и сейчас уже возникают заботы — между кем разделить это морское дно. Крестьянин из Фрисландии не уйдет со своих пастбищ, а садовод с Гарлемского польдера не захочет покинуть свои грядки; пройдут десятки и десятки лет, прежде чем засоленное пастбище превратится в луг с жирной и сухой почвой. Но крохотные поезда и игрушечная плотина вклиниваются в море все дальше; и голландский народ день за днем создает то, что лишь через одно поколение принесет шары сыра и тюльпанные луковицы.

А там, где нет плотин, морские берега просто плетут из прутьев, чтобы песчаные дюны не обваливались в воду. Представьте себе, что только плетень да песчаный вал отделяют море от земли; если эти плетни ослабнут, половина голландцев промочит ноги. Вот зачем там растет столько вербы: чтобы было из чего плести берега.

На пляже

Но прежде чем соприкоснуться с открытым морем, эта страна чуть-чуть взбугрится продолговатыми холмиками и пригорками; это старые дюны — сыпучий песок, выброшенный морем, пустыня в миниатюре, окаймляющая страну польдеров, сначала на них еще растут кустарники и рощицы, а потом редкие пучки травы, а там уж и вовсе ничего, кроме сыпучих песков, а на них гнутся под вечным морским ветром лишь жесткие стебли осота и осоки; знайте же, что эти трепещущие стебли все время подсаживают и подсаживают; знайте, что эти сухие стебли выполняют великую миссию: они держат своими корешками сыпучие дюны, защищая берега Голландии.

А у подножия песчаных дюн тянется мелкий песок пляжей, омываемый приливами и отливами, полный ракушек, морских курортов, курортиков и купален; куда хватает взор и даже дальше — палатки, палатки, плетеные кабины, семьи, расположившиеся табором, детвора, играющая песком, — весь народ с удовольствием загорает под умеренным солнышком; а дальше уже только море, седое, грохочущее, пароход, который торопится откуда-то из Хук-ван-Холланда, влажное дыхание океана, запах рыбы, ослепительный блеск воды и отражений; можно сидеть часами, всматриваясь в горизонт и пересыпая теплый песок между



пальцами; вряд ли ты поплывешь туда, но это неважно — мир велик...

И я видел, — не помню, где это было, в Нордвике или Катвике, — Нашествие Медуз. Весь пляж был густо усеян их прозрачными, студенистыми останками, подобными радужным лепешкам помета, оставленного какими-то фантастическими коровами, а когда я влез в море, то не мог избегнуть мягких, похожих на плевки, прикосновений их щупальцев и бежал с ужасом и сожалением; море в этот день было так прекрасно, как всего трижды за всю геологическую историю мира. А однажды ночью я видел светящееся море; где-то на гребне волны вспыхивало зеленоватое сияние и разливалось во всю ширь, как молния, растворенная в воде; минутами вся водная гладь пылала холодным фосфоресцирующим пламенем, которое катилось к берегу и угасало. У меня даже есть свидетели.

Но всего красивее море в воскресенье — демократическое море, усеянное детьми и перегороженное их ямками и плотинами из прогретого песка; и странно — это детское море кажется вам таким же великим, как море океанских пароходов.

Гавани

Не отрицаю, я — жалкая сухопутная крыса; быть может, именно поэтому меня так очаровывают пристани, какие бы я ни увидел, вплоть до простого черного кола с привязанной к нему утлой скорлупкой. Я определенно предпочитаю пристани, где швартуются рыбацкие баркасы, суденышки с мачтами и реями, парусами и такелажем; потому что это суда моей мечты, парусники воображаемых приключений.

«Взять рифы! — вскричал капитан. — Шесть человек к насосам! Рубите канаты!»

Где вы, старинные бриги и шлюпы, трехмачтовые корабли, вооруженные кулевринами, где вы, пьяные капитаны, размахивающие девятихвостою кошкой и скупо оделяющие ропщущую команду заплесневелыми сухарями и протухшей водой? От этих старинных прелестей сохранились лишь баркасы с красным парусом, — издали он кажется белым, — на которых ловят сельдь, с развешан-



ными сетями и неторопливой толпой рыбаков в монументальных штанах; но и здесь хорошо постоять, небрежно опершись о парапет и профессионально поплевывая в воду, и думать думы, глубокие и извилистые, как отражения мачт...

Спустите паруса, ребята и сверните канаты... Что делать бригам и шхунам здесь, в водах Ии или Мааса, в роттердамских бассейнах, доках и вартах Амстердама; что делать им среди всех этих пузатых барж с зерном, неповоротливых угольщиков, танкеров, элеваторов, лебедок, портальных и мостовых кранов, землечерпалок и белых пакетботов с Явы, из Индии и Гвианы, среди коренастых моторок и лоцманских катеров, среди этих грузовых махин, которые имеют дело со сбродом всех проклятых портов мира, и серых men-o'war [1], и ленивых буксиров? И зачем ты лезешь, приятель, со своим сухопутным словарем к этим мычащим морским коровам, слонам и черным свиньям, в огромный морской хлев, где все это пыхтит, кормится, спит, звякает и гремит цепями, смотри, вон коричневые малайцы в цветастых тюрбанах, а вон ослизлая маслянистая вода: да это раствор золота, собранного со всего мира!

И это называется «малой страной»! Страна, чьи корабли бороздят воды по всему божьему свету. Крохотная страна, но она присосалась к щедрым сосцам Великой Воды; и здесь вы услышите, как она пьет, захлебываясь.

А по вечерам в портовых уличках зажигаются огни за опущенными красными занавесками, гремят оркестрионы, и в черные воды ночи выплывают пухлые девки — старые, истасканные баржи, ожидающие своей добычи.

---

[1] военных кораблей (*англ.*).

По разным дорогам

Безусловно, если ты хочешь познакомиться со страной, то должен выйти из поезда и передвигаться пешком или на велосипеде, автомобиле, в автобусе, на пароходе, хоть на самокате; ведь рельсы перерезают страну, так сказать, хирургически, между тем как шоссе и реки проникают в нее органически, путями, по которым столетиями двигалась жизнь. Из поезда ты видишь местность, однообразную и лишенную очарования; отправься по ней другими путями и ты обнаружишь деревья, людей, деревни, частицу истории и даже душу страны.

Но, путешествуя по Нидерландам, смотри, не очень спеши: то и дело у тебя перед носом поднимают мосты, чтобы пропустить судно с грузом салата или масла и чтобы genius loci [1] успел шепнуть тебе: «Некуда торопиться, друг; я жду здесь уже каких-нибудь шестьсот лет...»

Голландские польдеры — как жаль, что я прозевал время цветения тюльпанов, нарциссов и тацет, всей этой красы голландских полей; я увидел лишь, как выкапывают луковицы — так у нас роют картошку; зато я хоть застал ирисы в цвету и поля дельфиниума, десятины золотых лилий и роз, гектары однолетников, полосы питомников и теплиц; видел целые области под стеклом, километры парников; крупное производство флоры, индустрию цветов, бесчисленные фабрики для выгонки растений; вагоны цветов, цветы, погруженные на пароходы, самолеты с цветами, уносящиеся в Англию. И в человеческих жилищах окна утопают в цветах, на каждом столике — букеты, на каждом углу — цветочница, на грахтах — баржи с цветами. Разгар сезона роз, пионов, кувшинок, латиров и сибирских ирисов. Розарии, пенящиеся розами — алыми, желтыми, бронзовыми, прохладно-белыми. Боскеты азалий, чащи рододендронов, джунгли падубов и лавровишневых черемух.

И самые красивые садики в мире — садики при нидерландских домиках: миниатюрные, изумительно свежие от обильной небесной поливки, кипящие серебряной, золотой и багряной листвой, засыпанные благодатью цветов, крохотные терраски с коврами шанды и торички,

[1] дух места (*лат.*).



малюсенькие, в ладонь величиной, водоемы с красными водяными лилиями, заросли барбариса, рощицы золотого можжевельника и синих кипарисиков... Ну и что же (говорил в моем сердце завистливый садовник), им-то легко; будь *у меня* такая рыхлая почва, удобренная торфом, приноси *мне* дождик столько благословенной влаги, будь *у меня* такая мягкая зима, и эти культуры, и деньги, и вообще, — так разве у меня, братец, не разрослось бы все так же буйно, — как ты полагаешь?

Да, садовник, разрослось бы; но в этих голландских цветочках есть и еще кое-что. Да, дружище, пятьсот лет садоводства сказываются и на этих букетиках; вон, какое в них особое благородство и — как это еще называется... словом, этакая distinguée; [1] нет, сотню-другую лет ни в чем не перескочишь. И затем, скажу тебе, есть в Голландии еще нечто удивительное — это свет.

Свет в Голландии

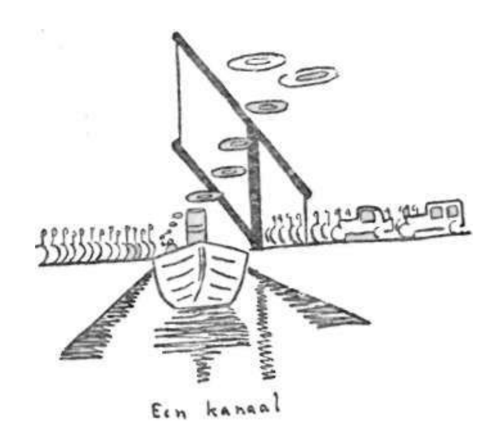
Изобразить свет в Голландии не в моих силах, в его лучах воздух так чист и прозрачен, что вы различите любую линию, любую деталь даже на самом горизонте — вот почему старые голландские художники так тонко, чуть ли не с лупой, отделывали свои картины до мельчайших подробностей: а все — здешний омытый росой воздух. И, кроме того, свет в Голландии придает краскам особенную сочность; они беспредельно чисты, но не ярки, не крикливы; они как свежий цветок под каплями росы. Они чисты и холодны. Да будет вам известно, свет имеет большое значение в искусстве и придает особую прелесть цветам, а также — девичьей коже.

---

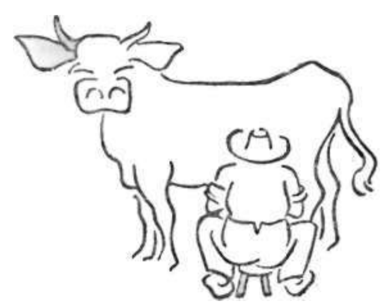
[1] утонченность (*франц.*).

Пастораль

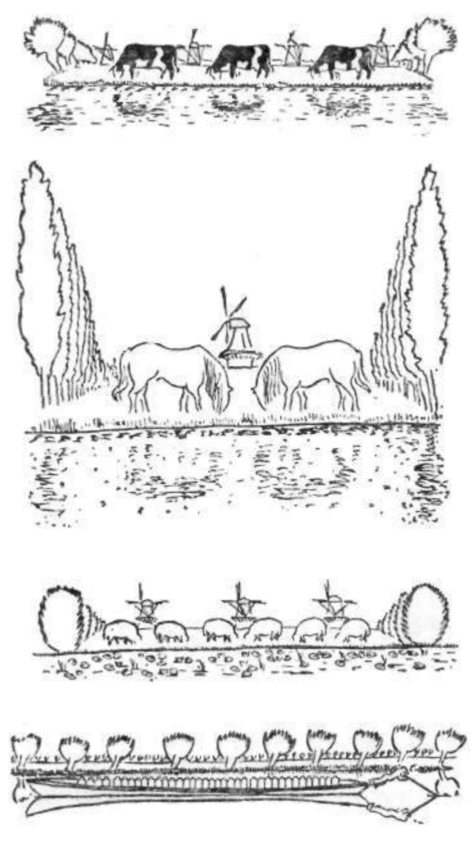
Голландия — это вода. Голландия — это цветочная клумба. Голландия — это пастбище. Зеленый польдер среди каналов, а на нем пестрые коровы: либо черные с белой головой, либо черные с белой полосой на лбу и синеватой мордой, либо в черных и белых пятнах, как фасоль; коровы, прикрытые попонами, чтобы не промокли; стада, пасущиеся, дремлющие или жующие жвачку; коровушки, важные и родовитые, как mewrouws [1] — настоящие коровьи аристократки с родословными, важные персоны среди коров. Куда хватает взгляд, всюду шелковистые луга, усеянные черно-белыми стадами. Это и есть настоящая Голландия.


Een kanaal

Это и есть настоящая Голландия: зеленый польдер среди каналов, и на нем табуны коней — могучих фризских першеронов, горбоносых, с широченной грудью, с ногами, как колонны, и развевающейся гривой. Их пастбища ничем не ограждены, кроме канавок, которых даже не видно в высокой траве; кажется, кони могут взять да и помчаться куда угодно, хоть до самого Утрехта или Зволле, точно весь этот беспредельный край принадлежит им, тяжеловесным графам свободной конской империи. Это и есть настоящая Голландия.



[1] дворянки (*голланд.*).



Зеленый польдер среди каналов — и на нем белые овечки, кудрявые души праведников в зеленых райских лугах. Зеленый польдер среди каналов — и на нем черные свинки, хрюкающие в знак единодушия. Зеленый польдер среди каналов — и на нем сотни и сотни кур. Либо мохнатые козы. И нигде ни одного человека: это и есть настоящая Голландия.

Только под вечер приплывет человек на лодочке, сядет на скамеечку и подоит величавых коров. Засолотится небо на западе, где-то вдали прогудит пароход — и все; не закричит во весь голос пастух, не зазвенят колокольцы коров, возвращающихся в свой хлев, даже и человек, который их доит, не скажет «эй» или «но-о».

По каналу бесшумно скользит лодка, нагруженная бидонами с молоком; по шоссе катятся вереницы грузовиков с бидонами молока; и поезда с молочными бидонами пыхтят, спешат к городам. Потом прекратится и это, и настанет полная тишина: ни собачонка не тявкнет, ни корова не замычит в хлеву, ни конь не стукнет копытом в перегородку своего стойла, — ничего; только где-то за горизонтом, за черными, немыми польдерами, где спят стада, маяки молча шарят во тьме щупальцами своих огней.

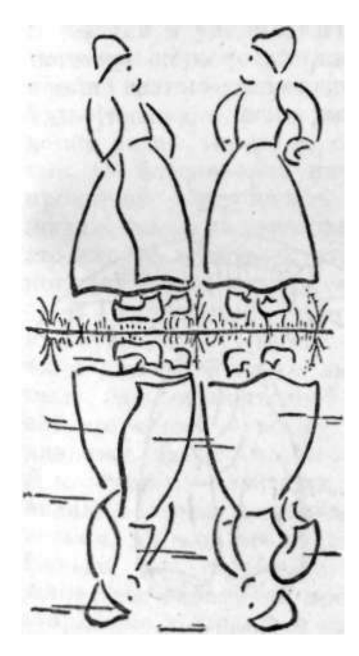
Это и есть настоящая Голландия.

Oud Holland[1]



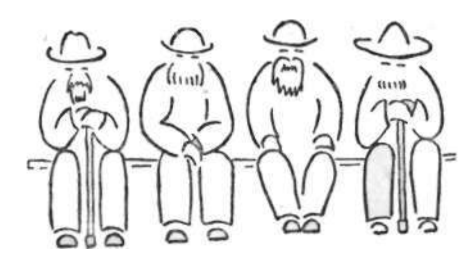
Рядом с настоящей Голландией есть еще так называемая старая Голландия; но прошу вас не путать: настоящая Голландия в значительной своей части старая; зато Старая Голландия по большей части не настоящая.

Есть, скажем, рыбацкие деревни, промышляющие не рыбой, а туристами и художниками (в особенности халтурщиками); в такой старинной деревне культивируют старинные дома, старинные суда, старинные народные костюмы и старинных рыбаков с бородой веночком и в широченных штанах. На острове Волендам мужчины культивируют самые широченные штаны и бараньи шапки, а женщины — полосатые юбки и крылатые чепцы; на острове Маркен люди добывают себе пропитание с помощью коротких широких штанов, пестрых жилетов и распущенных волос; за это они получают от государства пособия и продают деревянные башмаки, открытки, кружева и прочие сувениры туристам, которые приезжают на переполненных пароходиках, фотографируют старух и детей в старинных костюмах (полгульдена с персоны), вламываются в частные дома (вход свободный, продажа открыток), словом, все страшно романтично; жители говорят главным образом по-английски, по-французски и по-немецки.



Не хочу выдавать себя за тонко чувствующего человека, но мне было чуточку стыдно; меня как-то унижало, что эти

[1] Старая Голландия (*голланд.*).



люди продают себя чужеземным voyeurs [1]. Крадучись отошел я в сторону, чтобы сфотографировать рыбачьи баркасы (на случай, если бы мне вздумалось когда-нибудь построить корабль моих грез); из одного баркаса выскочил разгневанный костюмированный рыбак и погнал меня метлой: «Никто не имеет права меня фотографировать, никто!» У меня полегчало на душе: хоть *этот* человек был настоящим.

Слышите, земляки, и нас ждет та же проблема: и нам хотелось бы хоть где-нибудь сохранить частицу народного своеобразия в костюмах и жилищах; и у нас высказывалась идея субсидировать фольклор как некий национальный заповедник. Мне будет жаль каждой исчезнувшей деревянной избы; каждой пары вышитых рукавчиков, которые перестанут носить; но не хотел бы я видеть Маркены и Волендамы в нашей Словакии! Это унизительно — и для фольклора и для людей.

Но есть еще старая Голландия, которая не кажется ни чучелом, ни наряженным манекеном; здесь еще бегают служаночки в зеландских чепцах; еще надевают, идя в поле, деревянные башмаки — не потому, что это фольклор, а потому, что деревянные башмаки — это, собственно говоря, маленькая лодочка, в которой удобно бродить по воде. Есть еще женские монастыри, дома призрения для бедняков и убежища для престарелых, какие рисовал Израэльс; нигде вы не увидите столько старых людей, как в Голландии, они сидят на всех лавочках, греются

[1] зевакам (*франц.*).

на ласковом солнышке, не оставленные в злом одиночестве старики. Это христианское внимание к старости — тоже подлинная старая Голландия.

Что касается национальной музыки, то она главным образом представлена гармоникой. Весьма полезный для здоровья музыкальный инструмент, поскольку чрезвычайно способствует развитию плеч.

Новая Голландия

Но если вы меня спросите, что мне понравилось в Голландии больше всего, то я скажу не задумываясь: жилища. И коровы. И порты. И Вермеер ван Дельфт. И цветы. И грахты. И небосвод. Но раз я назвал жилища первыми,— займемся жилищами.

Не знаю, каково положение женщины в Голландии, но полагаю, что (говоря профессиональным языком) — господствующее; ибо во всей Голландии царит чисто женская опрятность. Не думаю, что здесь все подчинено женскому обаянию, но мылу и щетке — безусловно. В Англии я удивился, как люди укрепляют свой дом — свою крепость — против улицы: решеткой, палисадником и еще завесой плюща. В Голландии я удивлялся еще больше тому, как люди соединяют дом и улицу: перед домом садик, ничем не огороженный, а широкие, протертые до блеска окна ничем не завешаны, чтобы каждый прохожий мог видеть благосостояние и образцовую жизнь семьи у домашнего очага. Голландская улица — это скорее интерьер; это лишь общий для всех соседей коридор — вот почему она так чисто и тщательно убрана.

В Голландии строят не дома, а улицы; дома — это уже нечто вроде внутренней обстановки. Это шкафы и шкафчики для расселения людей; с домов так же вытирают пыль, как с почтенной семейной мебели. И когда вы зайдете в них — всюду вы увидите окна, широкие раздвижные двери, чтобы расширить тесное пространство. А на стенах — пейзажи, словно окошечки, через которые видны боскеты и польдеры, мельницы и каналы. Черт возьми, да ведь это старый Кейп, а там — старый ван де Вельде; вот старинный фарфор из Дельфта, а это — ашпирная оловянная посуда; да, дружище, тут не только старинные вещи, но и старинные семьи!

Или возьмите новенькие, с иголочки, улицы и кварталы. Чего только иной раз не наболтают о новой архитектуре, урбанизме, домах для рабочих и иных достижениях; здесь новые дома понастроены километрами, и некоторые рабочие улицы и кварталы выглядят, вероятно, так, как можно представить себе жилище через сто лет: очень широкие улицы с зелеными площадками для детей, солнечные, сияющие дома, унизанные балконами, сплошь стекло, один сплошной воздух — и всюду множество билетиков: «te huur»[1] или «te koop»;[2] эти прекрасные новые кварталы наполовину пусты.

Голландия по-своему дает пример современным архитекторам: строить целесообразно, да; строить для современной жизни, с использованием всех бытовых удобств, да; но при этом надо проявить известную уверенность в себе и зрелость вкуса, чтобы остаться верным духу страны, традиции, национальному характеру — называйте, как вам угодно. Голландская современная архитектура очень современна, но в то же время и специфически голландская.

И тут вы скажете с долей зависти: ни в чем, ни в какой человеческой работе не перепрыгнешь через столетия. Дайте нам несколько сот лет и вы увидите, чего мы добьемся!

Старые мастера

Хватит ходить вокруг да около самого главного, то есть Маурицхёйса, Риксмузея или как там еще называются все эти собрания картин, галереи, коллекции и музеи. Сколько насмотрелся я на старых голландских мастеров, в каких только галереях с ними ни встречался; иногда они меня радовали, иной раз лишь умеренно привлекали, но только в Голландии они стали мне близки по-настоящему.

Их называют «малые мастера», потому что они писали по большей части небольшие картины; но эти небольшие картины они писали для небольших домиков и комнаток, которые до сих пор смотрят на маленькие улички и грах-

[1] сдается в аренду (*голланд.*).
[2] продается (*голланд.*).

тики; ни соборных алтарей, ни дворцовых фресок и полотен; здесь, милый мой, приходилось экономить место и в живописи.

Их называют «малыми мастерами» еще и за то, что вместо «Святых Себастианов» и «Вознесений», «Святых семейств», «Диан» и «Венер» они рисовали мелочи жизни, вроде зарезанной утки, почтенного дядюшки с маминой стороны, крестьянина на сельском празднике, пасущихся коров или баркас в море. Что касается святых Себастианов, то загляните в голландские соборы: кальвинизм очистил их от всяких украшений — тесаных, резных и написанных, и в соборах пусто, как на разгруженном корабле, вытащенном на песок; скульптура не оправилась от этого удара и по сей день, а живописи пришлось обратиться к земным мотивам. Изгнанная из храмов, она проникла в кухни, в трактиры, в мир мужиков, купцов, теток и благотворительных обществ и обосновалась тут с явным удовлетворением. А что до всех этих Диан и Венер, то им, вероятно, здешний пуританизм пришелся не по вкусу, а быть может, и климат; в этой влажной, ревматической атмосфере обнажаться просто опасно.

Итак, отчасти из-за недостатка места, отчасти в результате реформации возникло голландское искусство — земное, малое и буржуазное. Но это еще не то, что я хотел сказать. Я сказал бы, что голландский живописец писал не стоя, как Тициан, не лазая по лесам, как Микеланджело, а сидя. И потому он мог работать тщательно, с наслаждением вникая в подробности, рассматривая предметы вблизи, интимно, на небольшом расстоянии. Сидя, он мог разместить на столе цветы или рыбу, чашу вина, кисти винограда, раковины, дыни и прочие предметы, ласкающие глаз, и любовно воспроизвести все это на полотне. Поттер рисовал своего быка, наблюдая за ним снизу, то есть сидя; Вермеер ван Дельфт рисовал свои фигуры в том ракурсе, который фотографы называют Bauchperspektive [1], то есть сидя. Броуэр и Остаде сидели в сельских корчмах. Ян Стен сиживал среди сельских кокеток и дамочек. Кейп, усевшись на лоне природы, писал пейзажи. Рейсдаль сидел дома и писал пейзажи. Только Брейгель Старший смотрел словно с крыши, — но ведь он был, собственно, бельгиец.

[1] на уровне живота (*нем.*).

Это искусство сидячих художников для горожан-домоседов; городское искусство, которое иногда изобразит и крестьянина, но свысока, с усмешкой оседлых городских купцов. Они любят натюрморты. Они любят жанровые картинки, ведь анекдот — развлечение людей усидчивых. Эти картины написаны не для галерей, по которым ходят, а для комнат, в которых сидят. Голландское искусство открыло новую сторону жизни, отправившись домой и усевшись.

Мир, где все сидят, спокоен, отличается разговорчивостью и медлительностью; этот интимный, нисколько не торжественный, фамильярный мир любит немножко посплетничать; он замечает вещи, которые лежат совсем близко, чем, собственно, и открывает их; наблюдая вблизи, он любуется ими. Заставьте экзальтированного человека сесть; он мгновенно утратит свой пафос и все свои величественные жесты. Никто не может проповедовать сидя; так можно лишь разговаривать. Голландское искусство, прочно усевшись на соломенный стул, избавило себя и свой мир от жестикуляции и пафоса; оно начало видеть предметы ближе и немного снизу.

Только Рембрандт, человек страшный и трагичный, стоит перед нами, окутанный широким черным плащом светотени.

ВЕРМЕЕР ВАН ДЕЛЬФТ

Не стану перечислять вам всех этих милых, больших и малых мастеров пейзажа и жанра, натюрморта и портрета; это прекрасные имена, как-то: Доу и Терборх, Гоббема, Кейп и Метсю и Питер де Гох, Воуверман, ван дер Нер, ван де Вельде, ван Гойен и столько еще иных. Я хотел бы вдобавок побеседовать с ними (сидя и поднимая в их честь пузатую, запотевшую чашу вина), но сейчас моя душа переполнена ослепительной чистотой, которая носит имя прекрасного города Дельфта — сияющей чистотой Вермеера. Девушка, читающая письмо, служанка, дама в синем, панорама Дельфта; это лишь несколько мимолетных взглядов на спокойную домашнюю жизнь, но никто другой не сумел так подметить этот ясный, прозрачный, словно омытый росой свет Голландии, эту женственную тишину, светлое достоинство и интимную святость домашнего очага, где пахнет утюгом, мылом и

женственностью. Путешественник стоит у этих картин, затаив дыхание, и ходит на цыпочках, чтобы ничего не запачкать; ибо удивительна, торжественна и почти удручающа тайна чистоты.

ФРАНС ГАЛЬС

А теперь тебе не нужно, затаив дыхание, говорить вполголоса, потому что речь пойдет о мужчинах. Посмотри на этого господина, — художник изобразил самого себя: развалившийся, подвыпивший толстый верзила, задира в воскресном платье, голова, не обременяющая себя мудрствованиями, рука, которая не станет выписывать кисточкой, а кладет размашистые мазки с этакой дьявольской, чисто мужской, до бесстыдства самоуверенной твердостью. Поразительный мастер своей профессии. Он мажет портреты, с трудом размыкая сонные глазки, но у него все живет — шуршат складки, почтенные горожанки тяжело дышат в своих корсетах, пыхтит госпожа советница, а мастер почти в ярости набрасывает на полотне все изображаемое, потому что вся эта знать ничуть его, по-видимому, не интересует. Гениальность прямо физически ощутимая. Один из тех цельных, полнокровных людей, которые отходят в мир иной от пьянства или апоплексического удара.

РЕМБРАНДТ

Рембрандт, или исключение. Правда, ему подражали многие и даже гораздо более многочисленная школа, чем ты думаешь, но свою тайну он унес с собой. Это было его личной тайной. Конфликт трагического романтика с миром благоразумных мингеров. Он был одним из величайших романтиков мира, а родиться его угораздило именно в этой ясной, мелкобуржуазной, плоской Голландии. До сих пор показывают его дом на окраине амстердамского гетто. Это не просто адрес Рембрандта, но и часть его духовной судьбы. Бегство от протестантской трезвости. Тоска и одиночество изгнания. Поиски тьмы, поиски Востока. Человек, сотканный из удивительного сочетания глубоких раздумий, сенсуализма, патетичности и страшного реализма. В теплом мраке его картин сияют драгоценные камни — и дряхлое тело, бородатые

головы талмудистов — и влажные глаза Сусанны, Сын Человека — и лицо человека; но прежде всего и выше всего — тревожная и ужасная, тоскующая и невыразимая душа человека. Величайшая ирония судьбы: судя по множеству эпигонов, он пользовался в своей стране, безусловно, приличным успехом и, несмотря на это, умер в нищете, несостоятельным должником; и через четверть тысячелетия его потомки по всей форме требуют, чтобы honoris causa [1] с художника Рембрандта Гарменса ван Рейна было смыто пятно несостоятельного должника.

Добрые люди всего мира благоговейно толпятся перед его картинами, сотканными из тьмы и блеска; но эти картины остаются неразгаданными. И путешественник, который стремился увидеть и постичь тайну малой нации хотя бы по ее искусству, остановится перед еще более удивительной: перед тайной великого художника.

МАЛАЯ НАЦИЯ

Ибо: не будь Рембрандта, путешественник вынес бы окончательное впечатление, что славное и хорошее дело — маленькое счастье малой нации. Такая красивая, ровная, привлекательная и разумная страна; и поведение хорошее, и жизнь благопристойная. Там нет гор, но там зияет бездна печали, сияния и ужасающей красоты. Это Рембрандт.

А в остальном — такая довольная и практичная страна!

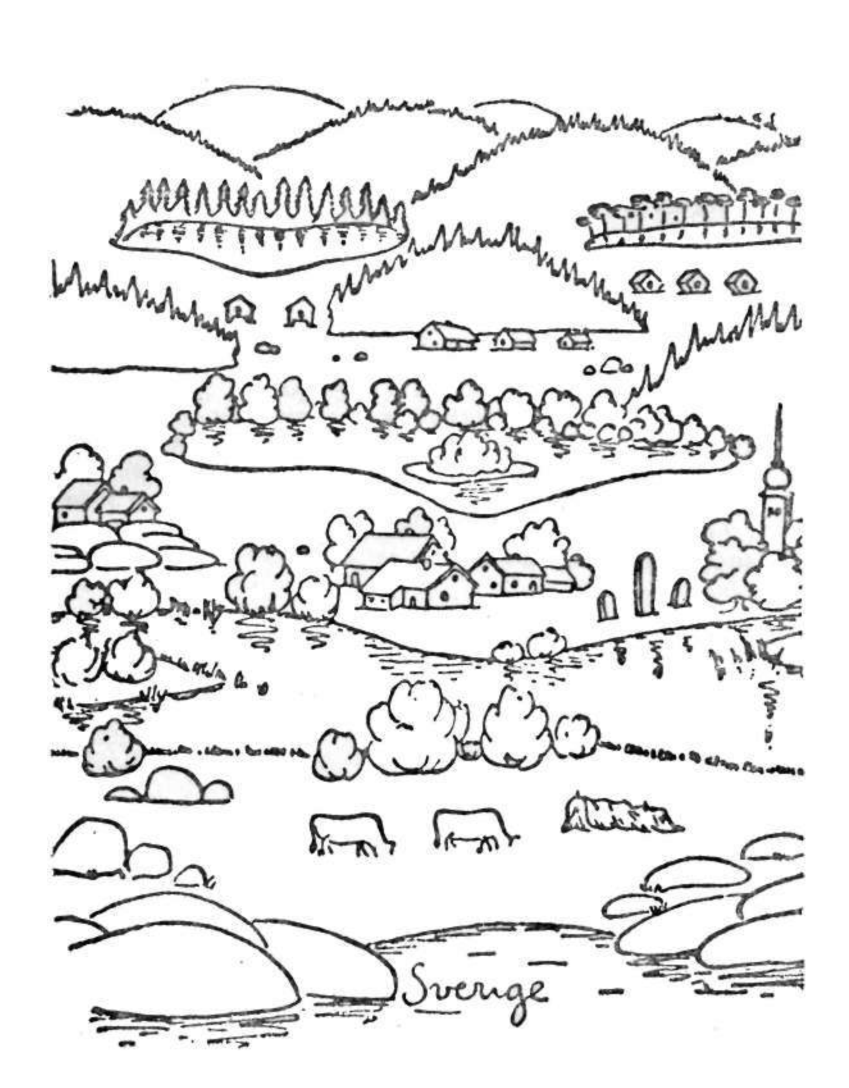
---

[1] почета ради (*лат.*).

Путешествие на север

ДЛЯ БОЛЬШЕЙ
НАГЛЯДНОСТИ ИЛЛЮСТРИРОВАНО
РИСУНКАМИ АВТОРА

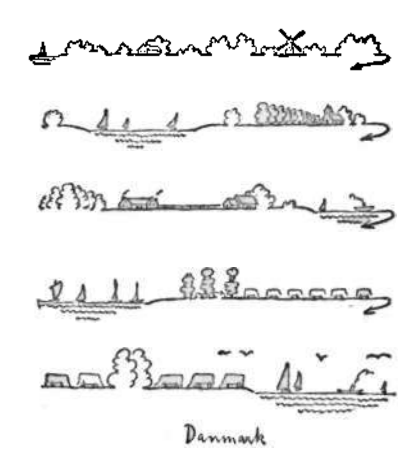
Перевод
Ю. МОЛОЧКОВСКОГО


Sverige

Введение

Давно, очень давно, начал я свое путешествие на север, еще в самые юные годы. Где те времена, когда мы мысленно выплывали на «Веге» из Гётеборга или на «Фраме» из Варде и «перед нами расстилалось спокойное открытое море»... Да, это были чудесные деньки! Жизнь непостижима и полна неожиданностей: только по чистой случайности я не стал полярным исследователем. Ведь тогда, среди вечных льдов, на 89 градусе 30 минутах северной широты, ждал своего первооткрывателя неведомый остров, такой теплый благодаря вулкану, что там вызревали апельсины, плоды манго и процветала другая, еще не известная даже ботаникам растительность, и жил на этом острове высококультурный народ, питавшийся молоком морских коров. Нынче, видно, никто уже не откроет этот мой остров...

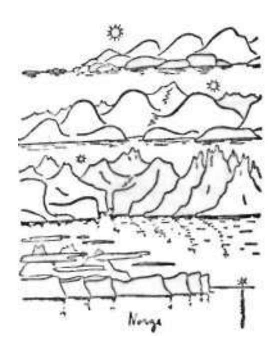
Второе мое путешествие на север было более длительным и, видимо, никогда не закончится. Его порты и остановки называются Кьеркегор и Якобсен, Стринберг, Гамсун и так далее. Пришлось бы исписать именами всю карту Скандинавии, такими именами, как Брандес и Гьелеруп, Гейерстам, Лагерлёф и Гейденстам, Гарборг, Ибсен, Бьёрнсон, Ли, Кьеланд, Дуун, Унсет и мало ли еще какими, — например, Пер Гальстрём. А Ола Гансон, Иухан Бойер и еще, и еще, например, Андерсен Нексе и другие! Разве я не жил вместе с их героями на Лофотенских островах или в Даларне, не бродил по проспекту Карл Иоганс Гате? Что поделаешь, надо же когда-нибудь взглянуть





на те места, что так хорошо знал заочно. И тогда изумляешься и колеблешься между двумя крайностями: то ли ты уже видел все это, то ли не можешь никак постичь, что все это выглядит именно так. В этом особенность большой литературы: она — самое национальное из всего, чем владеет нация, и вместе с тем понятна и близка другим народам. Никакая дипломатия, никакие объединения наций не могут быть такими всеобъемлющими, как литература. Только люди еще недостаточно ценят ее, вот в чем беда; вот почему они все еще могут чуждаться и ненавидеть друг друга.

Есть для меня и еще одно путешествие или даже паломничество на север; к природе севера, к ней одной. Ибо там растут березки и леса, зеленеет трава и журчат обильные животворные воды. Ибо там серебристая изморозь и росистый туман, и краса природы там нежнее и строже, чем в любом другом краю. Ведь и наша родина — уже север, и в глубине души мы всегда носим частицу этого прохладного и сладостного севера, которая не тает даже в знойные дни жатвы. Комок снега, лоскут березовой коры, белый цветок белозора, и мы совершаем паломничество к белому северу, к зеленому северу, к северу пышному и печальному, грозному и отрадному! Не лавры и оливы, а ольха, береза и ива, мохнатые кисточки вербы, цветок вереска, колокольчики и аконит, мох и папоротник, таволга над ручьем и черника в лесу, — никакой жаркий юг не бывает столь обильным, щедрым, как сочный от росы и живительных соков, как благословенный бедностью и красотой полночный край; если уж путешествовать, —



а ведь путешествие хлопотное дело, друзья мои, хлопотное и утомительное! — если уж путешествовать, говорю я, то сразу в самый прелестный рай. И тогда скажи — то ли это, чего ты искал? Да, слава богу, именно то! Я видел свой север, и это было хорошо.

И еще одно путешествие на север. Нынче так много говорят о народах и расах; надо хоть взглянуть на них. Я, например, поехал посмотреть на чистокровную нордическую расу и вынес впечатление, что это отличный, смелый народ, который любит свободу и мир, высоко ставит личное достоинство, не очень-то позволяет командовать собой и совсем не нуждается в том, чтобы кто-нибудь руководил им. Если хочешь познать чужие народы, выбирай самые счастливые и духовно зрелые. Я ездил поглядеть на самый северный уголок Европы и вижу, что, слава богу, дела там еще не так плохи.

Дания

Вот вы пересекаете германскую границу и продолжаете путь по ютландской земле. На первый взгляд почти никакой разницы. По обеим сторонам границы — та же равнина, лишь слегка волнистая, словно для того, чтобы нельзя было сказать, что она плоская, как стол. Одинаковые черно-белые коровы на той и на другой стороне; только там, в Германии, почтальоны ходят в темно-синих куртках, а здесь — в ярко-красных. Там начальники станций похожи на начальников станций, а здесь они напоминают старых и добродушных морских капитанов. Лишь люди со своими правительствами и всевозможными режимами создают в мире большие и резкие различия. Наблюдая этих коров, которые мирно разглядывают вас своими датскими глазами, хочется засвистать веселый мотивчик.



Дания — страна светло-зеленого цвета, каким на картах обозначают низменности; зеленые лужайки, пестрые стада, зеленые пастбища, темная листва бузины с белыми кистями цветов, голубоглазые девушки с молочно-белой, нежной кожей лица, неторопливые и рассудительные люди. Равнина всюду такая, словно ее вычертили по линейке. Говорят, правда, где-то тут есть гора, которая называется даже Химмельбьерг[1]. Один мой знакомый долго искал ее, разъезжая в автомобиле, и наконец осведомился у местных жителей, как ее найти. Ему ответили, что он уже несколько раз въезжал на Химмельбьерг... Но это не беда, зато перед вами расстилаются необъятные просторы, а если стать на цыпочки, то, пожалуй, увидишь и море. Что поделаешь, маленькая страна, даже если перечислить все ее пятьсот островов. Маленький ломоть, зато густо намазанный маслом. Так пусть же будут благословенны

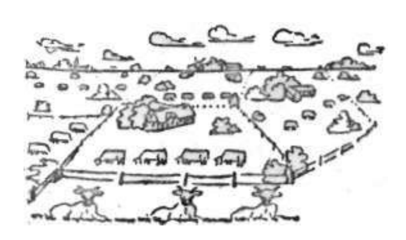
[1] Поднебесная вершина (*датск.*).

эти мирные стада, полные амбары и тучные вымена, церковные башенки в зеленых кронах и мельничные крылья, крутящиеся на свежем ветерке...



По красивому новому мосту мы переехали Малый Бельт и оказались на острове Фюн, больше похожем па сад, чем на обычный остров. Хотелось бы мне побродить вон по той тихой дороге, обсаженной ивами и ольхой, по дороге, что ведет к островерхой колоколенке на горизонте. Но мы здесь только мимоходом, милая дорога, и путь наш лежит на север, на север.

Деревень, как у нас, тут нет, только хутора, обособленно стоящие на зеленых пастбищах, — домики с красными крышами. От хутора к хутору едет на велосипеде почтальон в красной куртке. Каждый хутор стоит посреди своих зеленых полей, и с западной стороны, откуда налетают ветры, до самых труб закутан густыми деревьями. Все лужайки огорожены проволочной изгородью, и на них пасутся медлительные белогривые кони или бурые коровы. Они привязаны к колышкам, но этого не видно, и мы удивляемся, как хорошо здесь воспитаны коровы — пасутся такими ровными рядами. Иногда все они ложатся, Как одна, принимая одинаково величественные позы, и в такт жуют свою жвачку. Встречаются стада овец, и среди них — ни одной черной или паршивой овцы, все свечки избранные, те самые, что пасутся одесную господа бога. Так же недвижно и блаженно пасутся здесь и кусты бузины, круглый приземистый ивняк и сочные упитанные деревья, мирно пережевывающие соки земли, ветер и серебристый свет дня. Сплошные пастбища господни, огромный божий хутор, где даже не заметна работа человека, так споро и чисто она сделана.



Похоже, что все здесь вынуто из гигантской коробки с игрушками и красиво расставлено на гладкой равнине: вот вам, дети, играйте! Вот домики и хлевики, вот коровки

и белогривые кони. Вот белая церквушка, и я вам скажу, почему на башенке у нее тринадцать зубцов: это двенадцать апостолов, а над ними сам Иисус Христос. А теперь расставьте все это на зеленых лужайках рядами и квадратиками, чтобы все было аккуратно и радовало глаз. Сюда поставьте ветряную мельницу, а сюда почтальона в красной куртке, сюда кудрявые деревья, а вот тут пусть будут фигурки детей, которые машут вам (надо бы сюда еще игрушечный поезд!); а теперь скажите, разве не чудесная игрушка? Ах да, ведь здесь Оденсе, родина Андерсена. Вот почему игрушки живые, коровки помахивают хвостами, кони поднимают красивые головы, и фигурки людей передвигаются с места на место, пусть медленно и беззвучно. Вот какой этот остров Фюн.

Ну, а если остров, значит, должно быть и море. Вон оно, гладкое и ясное, и на нем игрушечные лодки, белые



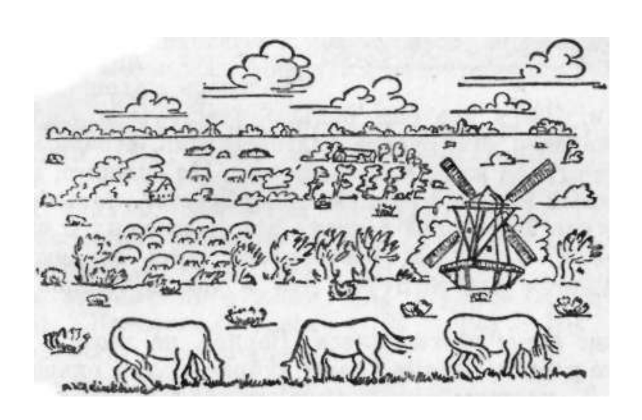
треугольнички парусов и черный дым пароходов. А поскольку все это игра, давайте поставим наш поезд на корабль и переедем через море, не выходя из вагона. Не говорил ли я вам, что это игра? Вот и на корабле одни только дети; пароход, дымя, везет через Большой Бельт груз детишек — синеглазых, веснушчатых, непоседливых и писклявых мальчуганов, девчонок, рыжих малышей. Они кишат на палубе, как цыплята в птичнике; бог весть, куда везут этот товар! Чайки со всего Большого Бельта слетелись поглядеть на человеческий выводок и провожают



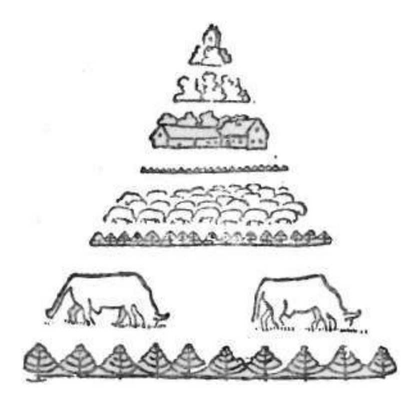
пароход стаей, похожей на огромный, кричащий, трепещущий флаг.

Вон те прямые, узенькие полоски на горизонте — это Дания. За нами Фюн, а перед нами Съеланд, Спрогё и Агерсё. Не верится, что на такой тонкой полоске умещаются люди, коровы и лошади. Видно, вся Дания состоит из сплошного горизонта; зато сколько у датчан неба над головой!

Съеланд — зеленое пастбище для коров, овец и лошадей. Погляди, какая красивая местность, и всюду коровы,



коровы. Благословенное коровье царство! На межах — бузина и ветла, на лужайках — ольшаник и ивняк. И над каждым хутором — тяжелые, раскидистые кроны деревьев, могучих, как храмы. Все вместе похоже на парк, однако это фабрика масла, яиц и свинины. Но можно подумать, что коровы здесь только для украшения и умиротворенной благости пейзажа. Людей совсем мало. Если и увидишь кого, то разве огородника в соломенной шляпе или белогривого коня, который умным, серьезным взглядом провожает поезд. Похоже, что он пожимает плечами: «Куда вы все спешите?» — «Да вот, едем на север, коняга». — «А зачем?» — «Поглядеть, узнать, как там живут люди, лошади и олени». — «Олени? А что это такое?» — «Это такие рогатые звери, на них надевают упряжь, и они возят сани, как и ты, коняга». — «Я ничего не вожу, человек! Разве ты видел здесь лошадей в упряжке? Мы только пасемся да размышляем, оттого и поседели наши гривы».



Маленькая чистенькая милая страна. Вместо заборов — ряды молодых елок, — как будто хозяйки нарезали бумажных зубчатых салфеточек, какие стелют на кухонные полки. Коровы, опять коровы, старинные городки и новые хутора, церковь и ветряная мельница — все это расставлено далеко друг от друга, чтобы казалось маленьким, как игрушки. Здесь все еще больше чувствуется Андерсен, чем Кьеркегор. Да, страна благоденствия, страна молока и масла, страна мира и спокойствия. Но скажите, почему здесь самый высокий процент самоубийств?.. Может быть, потому, что эта страна создана для довольных и спокойных людей? Пожалуй, несчастному здесь не место; он так стыдится своего горя, что в конце концов умирает...

И еще одно: датские леса. Вернее, не леса, а рощи. Буковые рощи и лесные храмы дубрав, толпы ольшаника, кудрявые рощицы, друидские капища — тысячелетние лесные великаны. Одни рощи словно созданы для влюбленных, другие — для поклонения, но нет той могучей шумной стихии, которая называется лес. Во всем милая, приветливая, ласковая, спокойная и благопристойная страна. Даже не назовешь ее страной, а скорее большим, хорошим имением, которое сам творец постарался благоустроить и наладил там исправное хозяйство.

Копенгаген

Упитанный крестьянский ребенок со слишком крупной и умной головой — вот что такое Дания. Подумать только: миллион жителей столицы на три миллиона населения страны! Столица — красивый королевский город, обновленный, просторный и оживленный. Каких-нибудь сто лет назад Копенгаген запирали на ночь и ключи от городских ворот клали королю на ночной столик. Сейчас городских

ворот уже нет, а Копенгаген называют северным Парижем (на Лофотенских островах и на Вестеролене «Парижем севера» считают Тромсё, но там совсем другие мерила). Нынешний Копенгаген слывет городом легкомысленным и даже распутным, посему ему предрекают плохой конец. В городе есть конная статуя какого-то короля. Она сделана из свинца. Под тяжестью свинцового государя свинцовый конь понемногу прогибается, и его живот медленно, но верно опускается к земле. Говорят, когда он коснется ее, — настанет гибель столицы. Я сам видел, как около этой статуи подолгу, до ночи, сидят на скамейках старые и молодые датчане: видимо, ждут этого знамения.

Говоря о Копенгагене, вспоминаешь копенгагенский фарфор. Но там есть много других достопримечательностей, и в первую очередь:

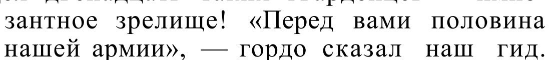


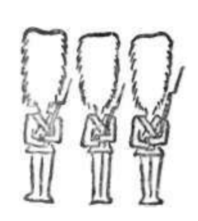
1. Велосипедисты и велосипедистки. Их здесь не меньше, чем в Голландии; целыми стаями, косяками, иногда более или менее тесно соединившись в пары, они шуршат шинами по улицам столицы. Велосипед здесь перестал быть только средством передвижения, он превратился в одну из стихий, как земля, вода, огонь и воздух.

2. Магазины готового платья. Нигде я не видел столько магазинов готового женского платья, как в Копенгагене. Это здесь массовое явление, как трактиры в Праге или кофейни в портах Заполярья.

3. Ни одного полицейского на улицах. «Мы смотрим за собой сами».

4. Королевская лейб-гвардия в огромных меховых шапках. Я видел двенадцать таких гвардейцев — импозантное зрелище! «Перед вами половина нашей армии», — гордо сказал наш гид.





5. Художественные коллекции. Кто хочет видеть работы французских скульпторов, Фальера, Карно, Родена, кого интересуют картины Поля Гогена — пусть едет в Копенгаген. Все это там есть благодаря пиву! Большая часть дохода гро-



мадной карлсборгской пивоварни поступает в знаменитый карлсборгский фонд поощрения науки и искусства. Господи, если бы и у нас пили на благо искусства, то-то было бы в Праге изваяний и полотен! Но не в каждой стране рождается Карл Якобсен и его супруга Оттилия. Куда там! Это было бы слишком хорошо.

6. Свенд Борберг. Журналист, писатель, танцор, актер и скульптор, женатый на правнучке Ибсена и Бьёрнсона, превосходный человек с худощавым лицом дипломата времен Венского конгресса. Кто побывал в датской столице и не познакомился с Борбергом, тот не знает ничего и понапрасну бегал вокруг Тиволи, от Вестербогад до Амалиенборга. И все-таки сходите в Тиволи, ибо

7. Тиволи — это столица Копенгагена, город качелей, тиров, фонтанов, трактиров и аттракционов, это город детей, влюбленных и вообще — народа, огромный парк отдыха и развлечений, быть может, единственный в мире по популярности, простонародной сердечности и наивного, веселого, праздничного буйства.

8. Что же еще? Ах да — каналы и рыбные базары, королевские дворцы и портовые таверны, где до поздней прозрачной ночи не умолкают гармоники, и респектабельные старые дома почтенных негоциантов, и каменные руны, и веселые девушки в пестрых платьицах из магазина готового платья, и толстые, здоровые дети...

9. Да, толстые и здоровые дети, вскормленные на молоке и сыре, как, например, юная жительница Копенгагена Аннеке из светлого датского домика, которую я для наглядности нарисовал...

10. И нигде нет нищих, вообще ни следа грязной нужды; недавно, под рождество, в целой Дании насчитали только шестнадцать бездомных. Никто здесь не смотрит на тебя с недоверием. Закажи в трактире виски, и тебе принесут целую бутылку: пей, потом скажешь, сколько рюмок ты себе налил. Что и говорить, хорошо бы здесь пожить, но, ничего не поделаешь, друзья, мы здесь только мимоходом, так будьте же здоровы!

11. Прозрачной северной ночью пройдемся в последний раз по Лангелинии, полюбуемся на сияющие огнями пароходы, что идут в Гётеборг или из Мальмё. Странное дело, почему-то всегда завидуешь отходящему пароходу и удаляющемуся берегу.

Еще мы увидим Хельсингёр, гамлетовский Эльсинор, и замок Кронборг. Мы минуем датские пляжи на перламутровом взморье, коттеджи, сплошь увитые ползучими розами, буковые рощи и стада бурых коров. И вот он, Кронборг, или Эльсинор. Правда, трудно себе представить, чтобы он мог повергнуть принца в меланхолию — разве что своими громадными размерами; на бастионе, где орудовал призрак, теперь стоят восемь орудий, и одинокий датский солдатик грозно поглядывает на противоположный шведский берег. Когда-то тут взимали морскую пошлину, а теперь дают только салют, если мимо проходит военный корабль. Битвам тут уже не бывать.

Вон та синеватая узкая полоска впереди — это уже шведский берег. Попрощаемся же с милой и приветливой Данией по датскому обычаю: это значит, надо поднять рюмку, стать очень серьезным, губы поджать и сосредоточить взгляд, словно в эту минуту у вас рождается глубокая мысль. Затем выразительно, горячо, почти влюбленно, взглянуть в глаза Свенда Борберга, воскликнуть: «Скол!» [1] — и с грациозным поклоном опрокинуть в себя содержимое рюмки. Это довольно трудно, особенно если проделывать такую церемонию неоднократно и осушать рюмку до дна. И долго еще добросовестный путешественник будет вспоминать горы в Дании, которые он преодолевал, стеная, в поте лица: горы еды.

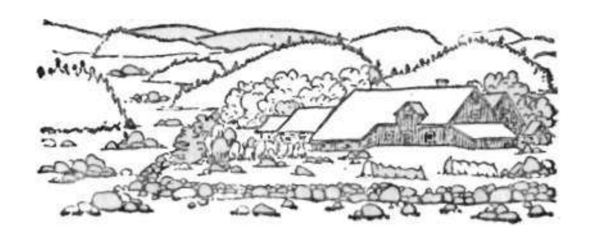
---

[1] Ваше здоровье! (*норв.*).

На той стороне Эресунна

От Дании до Швеции буквально два шага, особенно, если вы делаете эти шаги от Копенгагена до Мальмё или от Хельсингёра до Хельсингборга. Тем не менее, высадившись на шведской земле, вы должны заполнить пространную анкету: кто вы, где и почему родились и что вам вообще нужно в Швеции. Вероятно, власти хотят официально удостовериться, что вы отнюдь не датский король, приплывший завоевывать лены нижней Швеции, как это когда-то бывало в обычае.

Ибо в давние времена датчане владели обоими берегами пролива Эресунн и собирали здесь упомянутую пошлину с купеческих кораблей. И местность по обе стороны сунна почти одинакова: гладкая, приятная для глаза равнина, чуть волнистая, ровно настолько, чтобы нельзя было сказать: плоская, как коровий блин. На пастбищах стада пегих коров, сквозь кроны деревьев видны зубчатые башенки церквей, крылатые мельницы и белые домики, обширные усадьбы, закрытые вековыми дубами. Полные вымена, тучные нивы и сочные луга — и здесь обилен божий дар. Потом вдруг вместо белых домиков вы видите деревянные строения, выкрашенные в красный цвет с красиво обведенными белой краской оконницами и коньком крыши; вот мелькнула белая березка, их становится все больше, все больше и хвойных лесов, белоствольных берез и красных домиков. Земля начинает горбиться холмами и пригорками, и то здесь, то там, все чаще торчат из земли гранитные валуны. Здесь, видно, никогда не



правили датчане — в противном случае не было бы столько валунов; в Дании их нет, разве что на могилах древних героев. А Швеция — страна гранита.

Черные камни и зеленые луга, черные леса и белые березки, красные домики с белой отделкой, черно-белые коровы, черные вороны, черно-белые сороки, серебристая водная гладь, черный можжевельник и белая таволга; черное и белое, красное и зеленое. А камней все больше и больше: вот они торчат в море, вот разбросаны по лесу, там выпирают из земли на лужайке или посреди поля. Перекатные камни, величиной с дом, тяжелые валуны и потрескавшиеся гранитные плиты. Камни, камни, и ни одной высокой скалы или утеса — только камни, наваленные кучей, лежащие грудами, нанесенные бог весть откуда, — боже, да ведь это сплошная морена, о которой мы читали в книгах. Эту страну создал ледник. Только там, южнее, на датской стороне, он оставил немного места для аллювиальных наслоений — пусть, мол, покажут, на что они способны. Но они относятся всего лишь к кембрийскому и силлурийскому периодам, а Швеция — это геологический первенец, самая старая страна. Куда до нее меловым отложениям и песчанику! Помнишь, как ты, еще мальчишкой, находил на родине гранитные валуны в лесу? Говорят, туда их тоже занес ледник. Значит, в этих древних горах мы вроде как дома.

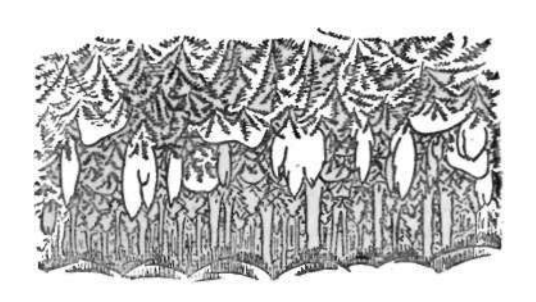
Насколько я смог выяснить, гранитные камни в Швеции используются, во-первых, для устройства могил и надгробий каменного века, во-вторых, для высекания на них рун и, наконец, для огораживания дворов и полей. На каком-нибудь клочке земли посреди леса растет всего-навсего несколько валунов, кустики можжевельника да подушечки жесткой травы или мха, но огорожен он такой мощной каменной стеной, словно ее воздвигли великаны раннего каменного века. Что же касается домов, то их строят не из холодного камня, а из теплого и ароматного дерева.

Я не мог наглядеться на вас, красные с белым шведские домики и усадьбы, такие однотипные по всей обширной Швеции и все же такие бесконечно и забавно разнообразные! Самая маленькая избушка лесоруба построена из таких же бревен и так же покрашена красной и белой краской, как самая просторная и богатая усадьба. Но как нет на свете двух совсем одинаковых человеческих лиц,

так и среди тысяч шведских усадеб, которые я приветствовал по дороге, я не видел двух одинаковых. Каждый раз новая комбинация жилого дома, конюшни, хлева, амбара, сеновала и силосной ямы, сушильни и хозяйственных пристроек, сарайчиков и курятников; у каждой усадьбы — своя конфигурация крыш, навесов, фасада, крыльца и слухового окна. Фантазия здешних жителей просто неисчерпаема, когда дело касается того, как разместить и покрасить окна, прорубить их тесно одно возле другого или разбросать по всему фасаду, сделать их широкими или высокими, квадратными, треугольными, ромбовидными или полукруглыми, соединить попарно или по трое. Я готов был срисовывать все подряд, но без красной, белой и зеленой краски получится не то. Кроме того, когда рисуешь эти вросшие друг в друга, надстроенные и пристроенные домики, приходится страшно возиться с перспективой. Так что оставлю-ка я вас, шведские домики, среди ваших лужаек, гранитных оград, ив и старых деревьев и обращу взгляд на что-нибудь иное, например, на леса или озера. Хочу только еще заметить, что здешние крестьяне сушат сено совсем не так, как во всех других странах мира: с помощью жердей, соединенных проволокой или планками, они сооружают скирды, похожие на козий хребет. Хлеб в Швеции тоже сушат на жердях, наверное потому, что здесь много дерева и избыток влаги небесной.

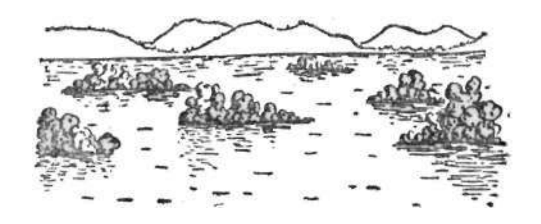


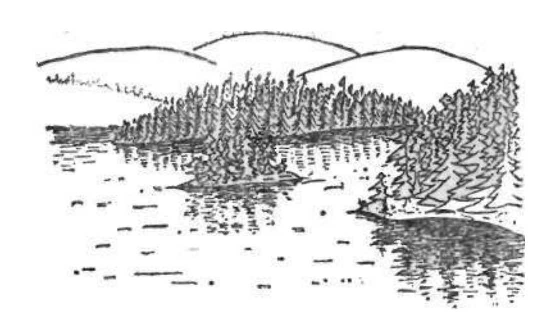
А теперь произнесем самое главное и веское слово: лес. Говорят, что шесть десятых поверхности Швеции покрыто дремучими лесами, но мне кажется, что их еще больше. И это такие леса, которые росли, вероятно, уже в первые пятьдесят или сто лет после сотворения мира, когда природа еще только экспериментировала, создавая северную флору: такое здесь, я бы сказал, изобилие буйной и самобытной фантазии. И не то чтобы раститель-



ность отличалась бог весть каким разнообразием: кругом только ель и пихта, сосна, береза да темная ольха, не говоря о можжевельнике. Подряд и без конца одно и то же, и все не наглядишься, не насладишься вволю этим зеленым изобилием. Мох по лодыжку, кустики черники по колено, папоротник чуть не по пояс; черные огоньки можжевельника, белые кораллы березок, валежник и бурелом, как в первобытном лесу, тяжелые хвойные ветви свисают к самой земле. Бесконечные, непроходимые чащи, деревья, старые и вечно обновляющиеся, растущие буйно и вольно, лес настолько густой, что представляет собой одну сплошную массу. Нет отдельных участков молодняка, подроста, строительного леса, старых деревьев, как у нас, — все растет вперемежку: березы, и сосны, и ели; тут и первобытная чаща, и лесные культуры, северные джунгли, сказочный бор карликов и великанов, настоящий нордический лес — и гигантская фабрика лесоматериалов. Здесь еще водятся мордастые лоси с лопатовидными рогами, и я бы очень удивился, если бы здесь не оказалось волка, Красной Шапочки, единорога и прочих чудищ.

Черный гранит, белые березы, красные домики и черный лес. Для полноты первого впечатления не хватает лишь зеркальных озер. Но вот и они уже мелькают среди леса — озерца самых разнообразных размеров и форм:





то черный омут лежит в торфяном болотце, то длинный серебряный клин проникает, насколько хватит глаз, в темную массу леса. Вот озерца под серебристыми ивами, отражающие ясный небосвод и усеянные белыми лилиями и кувшинками. Озера, подернутые рябью, посреди которых возвышаются островки, подобные плавучим райским кущам. Вот холодные воды стального цвета — озера среди гранитных скал и густого леса. А дальше — необозримая водная гладь, она тянется до горизонта и ее бороздят пароходики и парусники. Люди добрые, как огромен мир! И снова закрываются просторы, с обеих сторон сомкнулся лес, над головой едва различишь полоску неба... Вот опять показалась сверкающая гладь озера и опять открылось небо и дали, засияли просторы... Узкое серебряное лезвие реки врезается в лес, поблескивает гладкое зеркало озера с кувшинками. В водной глади отражается красный домик, серебристые березы, и темный ольшаник, и черно-белые коровки на зеленом, как мох, берегу... Слава богу, тут снова люди, коровы и вороны на низких лесистых берегах глубоких вод.

Стокгольм и шведы

Стокгольм вот какой город: как раз посреди него — мост. По сравнению с знаменитыми мостами мира это только мостик, но он замечателен тем, что по одну его сторону вода сразу же разливается и образует всяческие viken, fjärden и sundet, сплошные sjön и holmen — заливы с пристанями, проливы и острова, — и постепенно все это переходит в Балтийское море. А по другую сторону

моста вода тоже разливается на сотни километров, образуя множество проливов, бухточек, суннов и стримов — сплошные «viken», «fjärden» и «sundet», «sjön» и «holmen», а в целом получается пресноводное озеро Меларен. А так как Стокгольм частично расположен на этих островах, то иностранец никогда толком не знает, стоит ли он сейчас на материке, на острове или всего лишь на каком-то мысе, в море он или посреди пресноводного озера. Что же касается островов и островков (их там, в море, называют «skjären»), то их столько, что любому состоятельному шведу по средствам иметь собственный остров и моторную лодку и купаться в собственном заливе. Моторных лодок здесь больше, чем мух, и каждую минуту какая-нибудь из них, фырча, бежит к скалистому островку, на котором виднеются тридцать сосен и семейный домик. А вот почтальонам тут, наверное, приходится нелегко, если каждый день нужно доставлять почту.

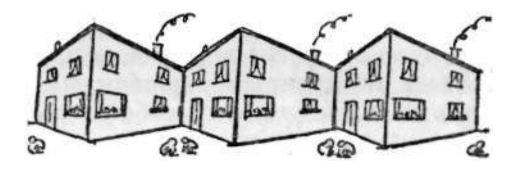
Стокгольм — оживленный, красивый и, видимо, очень богатый город. В нем масса бронзовых статуй разных королей, множество велосипедистов и ладных длинноногих девушек и юношей, почти сплошь сверхнатуральной величины. Шведы отличная раса, хотя они обходятся без всякой расовой теории. В большинстве это рослые, светловолосые люди, широкоплечие и узкобедрые; а главное — спокойные. Здесь не гудят автомашины и не ругаются шоферы. Пусть каждый следит за собой и за другими — поздоровайся и не поднимай шума.

Есть тут королевский замок, похожий на громадное квадратное пресс-папье над морем; есть погребок Беллмана, где еще и сейчас вкусно едят и славно пьют в память этого поэта-эпикурейца. В Дьюргардене старые дубы растут в память того же Беллмана. В Скансене мы видели старые хижины и ветряные мельницы, привезенные сюда со всех концов страны, вместе со старушками в национальных костюмах, белыми медведями, тюленями, лосями и северными оленями; а в «Nordiska Museet» [1] собраны богатейшие коллекции предметов народного художественного творчества — расписные и резные изделия. Да, нужны долгие северные ночи, чтобы человек взял нож и долго, терпеливо вырезывал, выпиливал, например, подножку для прялки, пока не получалось нечто ажурное, легкое,

[1] «Северном музее» (*шведск.*).

как кружево. А по стенам сельских домов тянутся длинные панно, расписанные человеческими фигурками — для того, видимо, чтобы и в долгие полярные ночи обитатели избы не чувствовали себя одинокими. Сколько все-таки творческого начала в человеческой натуре! Какую наивную радость доставляют ему все эти рисунки, эти резные, чеканные, тканые и вышитые изделия! От островов Фиджи до полярного круга — всюду один закон: человек существует не только для того, чтобы есть, а для того, чтобы улучшать окружающий его мир, создавать вещи ради их красоты, себе на радость; только сейчас он уже не вырезывает орнаменты и фигурки, а чинит свой мотоцикл или расширяет кругозор чтением газет. Что поделаешь, прогресс...

Есть еще в Стокгольме громадная ратуша Эстберга, самый обширный современный дворец, какой мне доводилось видеть, с такими величественными залами, что они годились бы для богослужений, всемирных конгрессов или даже для заседаний правления акционерных обществ. Есть чистые улицы с оранжевыми, синими и красными маркизами на всех окнах. В рабочих кварталах стандартные домики поставлены гармошкой, так, чтобы соседи



не могли заглядывать друг другу в окна; загородные кварталы Стокгольма расположены уже совсем в лесу, и на каждой вилле весело развевается флажок, а в каждом садике есть отдельный домик для детей, где они играют в собственном мирке. Есть и телефон, по которому вы всегда можете справиться у телефонистки о точном времени и прогнозе погоды. Она же вас разбудит в нужный час и сообщит вам, кто звонил и что просил передать, пока вас не было дома.

В этой стране много новых мостов и дорог и мало политики, собаки здесь без намордников, девушки не накрашены, улицы без полицейских, купальные кабины без ключей, калитки без щеколд, автомашины и велосипеды остаются на улице без присмотра и жизнь проходит без вечного страха и недоверия.

Но главное и самое удивительное — это бесконечный полярный день и белая ночь, когда не хочется идти спать и не знаешь — *уже* день или *еще* день, и по улицам *уже* ходят или *еще* ходят люди. Здесь даже не смеркается, только все вокруг делается бледным, прозрачным и призрачным. Потемок нет совсем, есть неестественный, жутковатый свет, исходящий неизвестно откуда; похоже, что его источают стены, дороги, воды. Тогда люди только понижают голос и продолжают сидеть.

* * *

...Продолжают сидеть, потому что шведы очень гостеприимны. Гости не могут уйти спать, пока хозяйка дома после всех других напитков не подаст им по чашке чая. А вот еще местные обычаи: гость, сидящий по правую руку хозяйки, обязан произнести тост или речь в честь хозяев дома, хозяин же поочередно поднимает тосты по возможности за всех гостей. Едва отложив салфетки, гости вереницей подходят к хозяйке дома — поблагодарить за еду. Говорят, этот обычай сохранился с тех времен, когда, — не помню, в каком столетии, — в Швеции был голод. Наверное, это было давно, потому что в нашу эпоху в голодные годы едой не угощают, а ее продают.

Вообще похоже, что шведы склонны к церемонности. Они, несомненно, обладают сильным чувством собственного достоинства и степенны по натуре. Я видел, как в здешнем Тиволи выступал под открытым небом кубинский джаз из Гаваны. Стокгольмцы молча и серьезно сидели в ожидании шайки креольских комедиантов, словно дожидались воскресной проповеди. Я отнюдь не низкорослый человек, но среди этих долговязых и тихих шведов мне казалось, что я — мальчик с пальчик, заблудившийся в лесу.

Или, например, я видел наплыв посетителей в загородном ресторане. Вместо того чтобы препираться из-за мест, как это бывает в других странах Европы, шведы стали в очередь и терпеливо ждали, пока представительный, как сановник, метрдотель проводит их к освободившемуся столику. Если шведы таковы во всем, то в этой стране, вероятно, нетрудно быть королем; ибо, конечно, править людьми, которые ведут себя как хозяева жизни, задача не из самых сложных.

Видит бог, я не могу сказать, что я близко познакомился со шведским народом, его нравами и обычаями. Но,

знаете ли, иностранец и путешественник приглядывается к таким мелочам, как, например, закусочная или дорога. Дело не в том, что закусочные здесь чистые и благоустроенные — это само собой разумеется, но вот вы приходите в такую закусочную и заказываете «frokost» [1] за две кроны с «ör» [2] — и после этого, пожалуйста, берите с большого стола посреди зала какие хотите холодные закуски: тут и рыбки, и салаты, и мясо, и сыры, булочки и ветчина, раки и крабы, селедка и масло, и угри, — прямо глаза разбегаются. Потом вам подадут заказанное вами горячее и, если вы съедите все, принесут вторую полную тарелку и еще очень обрадуются, что блюдо пришлось вам по вкусу. А когда вы уже думаете, что совсем разорили хозяев, вам поднесут гостевую книгу и любезно попросят расписаться на добрую память. И черт с вами, если вы съели больше, чем полезно для здоровья. Здесь речь идет не о желудке, а о другом, чего не измеришь деньгами: об уважении и доверии к гостю, пришедшему в дом, пусть он даже совершенно чужой вам человек.

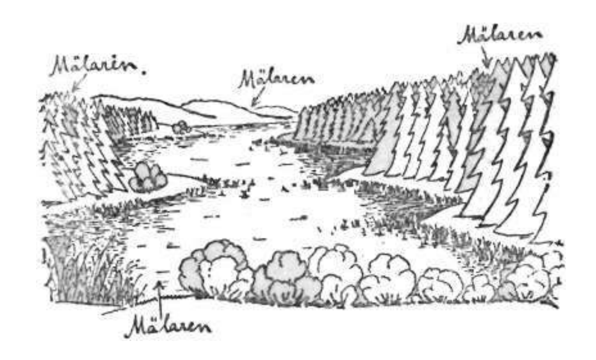
Или вот дороги. В Швеции строят так много шоссе, что часто приходится пускаться в объезд, по узким проселкам. Вы встречаете грузовик — и он, чтобы пропустить вас, сворачивает в канаву. Встречный автомобилист, издалека завидев вашу машину, дает задний ход, чтобы вы могли проехать. И чужой шофер не клянет вас при этом, а здоровается, приложив руку к козырьку. Вообще человек за рулем всегда поздоровается со встречным коллегой; поздоровается он и с каждым велосипедистом и пешеходом, а те, в свою очередь, приветствуют автомобилиста, чья машина обдает их пылью.

Я знаю, все это мелочи. Но путник хранит их в памяти, как цветок, сорванный у обочины. И, пожалуй, вовсе не мелочь, если в этой чужой стране путник больше чувствует себя хозяином и человеком, чем в любом другом месте на свете.

Окрестности Стокгольма

Окрестности Стокгольма — это главным образом море, Меларен и разные озера и озерки. Не сразу разберешься в том, что видишь: всюду островки, заливчики, бухточки,

[1] завтрак (*шведск.*).
[2] мелочью (*шведск.*).



а кругом леса и леса. Разумеется, Меларен — самое большое из озер и встречается всюду, куда ни пойдешь. В какую бы сторону вы ни выехали из Стокгольма, обязательно увидите залив озера — и вам скажут, что это рукав Меларена. Будь я шведом, я бы считал все Балтийское море, Хардангер-фьорд, Зёйдер-Зе, Ла-Манш, Атлантический океан, всю Атлантику, Женевское озеро, Магелланов пролив, Красное море, Мексиканский залив, Еванские пруды и все другие воды филиалами озера Меларен — такой это обширный и удивительный водный бассейн. Чтобы вы поняли, до чего оно прекрасно, я нарисовал разные его берега, островки и растительность, то есть ели, сосны, ивы, ольхи, дубы, камыш и осоку, кувшинки и гранитные валуны.

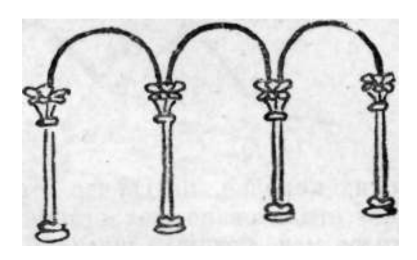
В некоторых местах, где случайно нет озера Меларен, расположены разные старинные замки, например, Ско-Клостер. Это огромное частное владение со старым парком, но туда открыт доступ для публики, ибо в замке хранятся всякие коллекции. Только перед самым замком для его владельца из рода Браге огорожено проволокой метров десять газона с надписью «Частное владение». Ниже, разумеется, — озеро Меларен.

Другой замок, Дротнингхольм, немного похож на Версаль, только поменьше. В парке бьют фонтаны и стоят скульптуры работы Адриена де Фриза, которые, как известно, когда-то стояли в Вальдштейнском дворце в Праге. Триста лет назад шведы отобрали эти статуи у нас, а у шведов потом их оттягали датчане, но через некоторое время вынуждены были возвратить свои трофеи шведам. Таковы превратности истории.



Видел я еще старинный театр в стиле рококо. Его построил, сам играл в нем, писал для него пьесы и рисовал эскизы костюмов развеселый король Густав III. Но, как известно, наш брат, писатель и художник, редко стяжает признательность публики, а потому король Густав был заколот на балу каким-то придворным. В театре сохранились тогдашние декорации и театральные механизмы. Даже «морские волны» до сих пор функционируют безупречно и скрипят так же громко, как и самые современные наши театральные машины. Сохранились и уборные господ участников спектаклей, различный реквизит и подлинные костюмы того времени. Все это пахнет пылью, отдает затхлостью и мерзостью запустения, как всякий театр во время вакаций. Но удивительно, как все сохранилось! В зрительном зале — трон и ряды кресел, на каждом ряду табличка — для кого он: для дипломатов, придворных дам, камергеров, офицеров, пажей и так далее. Тогда еще

люди делились на первых и последних, а не на правых и левых, как теперь.



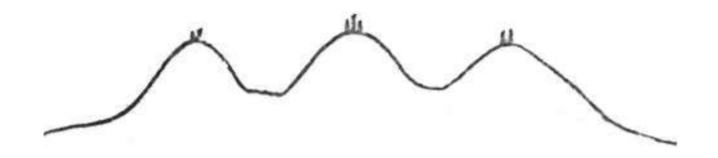
В парке пасутся овечки, а перед замком, конечно, расстилается озеро Меларен...

Есть еще место под названием Сигтуна, оно славится руинами целых четырех храмов, народной высшей школой и... озером Меларен. Прежде тут была королевская резиденция. Таких мест в Швеции множество.

Упсала. Здесь нет озера Меларен, зато есть старинный замок с прекрасными залами, обшитыми дубом, и кафедральный собор упсальских архиепископов. Здесь почиют Линней и Сведенборг, здесь проповедовал д-р Содерблом (и он уже покоится в земле, но я как сейчас его вижу: сидит у нас, в Словакии, на меже, поросшей тимьяном, и утверждает, что когда-нибудь человечество образумится и будет один бог, одна церковь и мир между всеми народами); есть знаменитый университет со студенческими общежитиями для тринадцати «народов» — это всего лишь уроженцы разных областей Швеции, но, вероятно, они ведут себя как подлинно цивилизованные нации, то есть вечно не ладят, спорят, питают друг к другу вековую вражду и воюют не на жизнь, а на смерть. Здешняя университетская библиотека владеет одной из редчайших книг в мире, среднеготической Библией Вульфила, называемой Codex argenteus. Вся она написана серебряными буквами на пурпурном пергаменте и разрисована аркадами и колонками. Во времена императора Рудольфа эта Библия также хранилась в пражском Граде, но потом шведы увезли ее как ценный трофей.

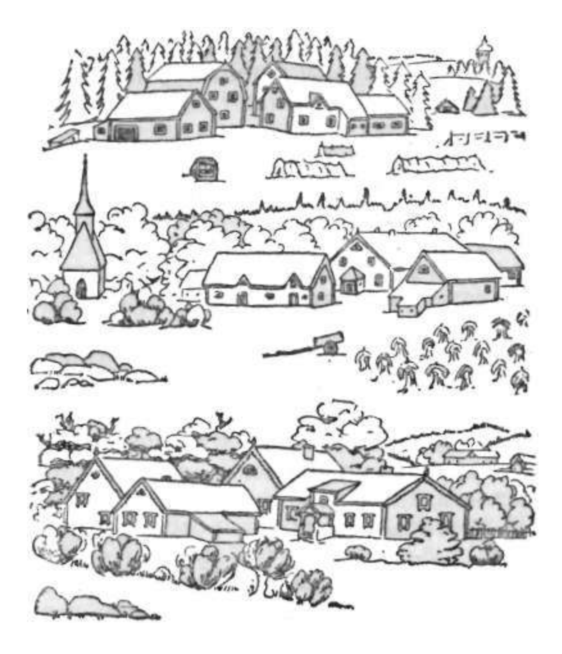
О, смотрите-ка, да ведь тут мы все равно что дома: в витринах выставлены собственноручные письма и документы Баннера и Торстенсона, Папенгейма и Вальдштейна, Густава Адольфа, Кристиана Ангальтского и Бернгарда Веймарского. Сплошь, так сказать, земляки по Тридцатилетней войне, старые, добрые знакомые, наши знаменитые враги; даже приятно встретиться с ними в чужой стране!

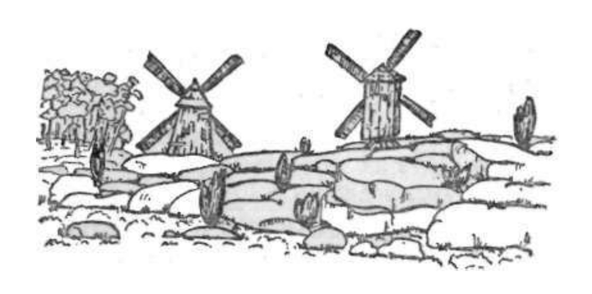
Чуть подальше расположена Гамла Упсала — Старая Упсала. В языческие времена там была резиденция свей-



ских королей, но сейчас в этом здании — ресторан, где все стилизовано под старину; здесь из воловьих рогов пьют мед, который шведы называют «mjöd». На каждом роге — серебряная пластинка, на ней выгравированы имена тех, кто пил из этого рога. Из «моего» пил принц Уэльский и другие высочайшие особы. Может, потому этот мед так бросается в голову. Перед рестораном высятся три «королевских холма»; это курганы шестого века высотой с пятиэтажный дом. Каждый турист обязательно взбирается на них, но тут же слезает обратно, потому что наверху ровно ничего нет: памятники давних веков, видимо, отправлены в стокгольмский музей.

А вот уже и Уплан, окрестность Упсалы. Здесь Линней разводил, собирал и классифицировал все земные растения. Красивая равнина — всюду пастбища и луга, огороженные





деревянными заборчиками, всюду сушится сено на длинных «козьих хребтах». И повсюду, среди сена и полей, торчат островки гранита, гранитные плиты и валуны, черные гранитные пригорки, поросшие старыми деревьями и красными домиками. Здесь каждый домик строится на скале, как крепость, — видимо, люди берегут каждую пядь живой земли. Вечерами эти домики, запрятанные в мшистой зелени садов и лугов, освещены закатными лучами солнца и похожи на стручки красного перца.

Далеко в пространстве и времени разбросаны алеющие островки человеческого жилья. Говорю вам, мир прекрасен!

Но есть гранитные пригорки, над которыми, видимо, тяготеет какое-то заклятье: на них не видно красных



домиков, а лишь страшным силуэтом торчит ветряк или толпятся карликовые кусты можжевельника довольно мрачного вида. Или стоит камень с рунами в память какого-нибудь Гаральда или Сигурда, жившего тысячелетие назад. Прекрасная страна Швеция, но местами жутковатая.

* * *

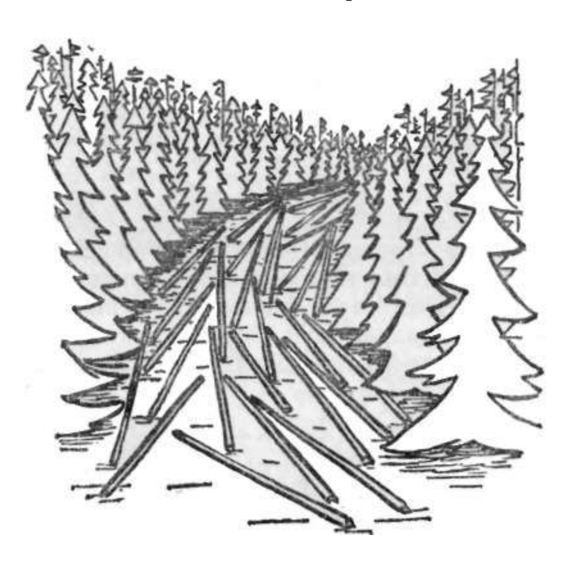
Едешь полями и лесами Швеции и часто замечаешь грубо сколоченный стол у самой дороги. Зачем он тут? Оказывается, крестьяне с окрестных хуторов приносят сюда

бидоны с молоком и оставляют на этом столе. Из города им привозят муку или гвозди и тоже просто кладут на стол — крестьянин придет за товаром, когда у него будет время. А иной раз в чаще леса, у дороги, висит на колу или на березовом стволе почтовый ящик. Люди с хуторов ходят сюда за почтой, которую для них оставляет почтальон. Нет, все-таки в Швеции не жутко. Может быть, у них есть и духи, и гномы, и прочая нечисть, но зато, я бы сказал, человек здесь доверяет человеку.

По дороге

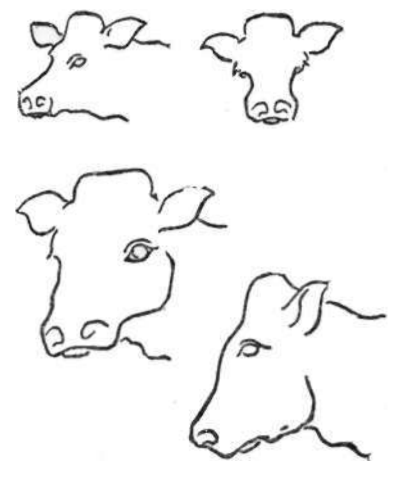
Дорога из Стокгольма в Осло состоит главным образом из озер. Вот вам их перечень, если начать только от Лаксау: Тофте и Мёккельн, огромное гладкое Венерн, Вермельн и Чирквикен (это уже Вермланд, край Йеста Берлинга), потом Бергсёй, Флаган и Би-Сё.

Любопытно: такое громадное озеро, как Венерн, совсем не романтично; я бы сказал, оно выглядит как-то слишком современно. Видимо, дело в размерах. Романтичное озеро должно быть маленьким; чем оно меньше, тем с виду — как бы это сказать — стариннее, заброшеннее, сказочнее, что ли. Водяной в Венерн должен быть минимум



в чине генерального директора или статс-секретаря — такое «крупное предприятие» это Венерн. Но есть тут и зеркально гладкие озера, отражающие синь небес, есть бездонные лесные озерца и длинные узкие приречные озера, встречаются и реки, или «эльвы»; медлительные, они текут, пробиваясь сквозь хвойные леса, и неторопливо, с каким-то извечным спокойствием несут стволы поваленных деревьев. А лес смотрит, как по реке неспешно, бесконечно и неудержимо уплывают его деревья.

За «эльвами» и туннелями начинается Норвегия: там — горы и скалы и безрогие норвежские коровы. Видывал я косматых шотландских коров, и огромных фиолетовых, сизых коров в Озерном Краю, и черных испанских быков, и бело-рыжих альпийских коровенок, и белых венгерских волов, и пятнистых, как фасоль, голландок. Но безрогих коров я впервые увидел где-то около Скоттеруда. Они низкорослые, бурые и костлявые. Без рогов они выглядят трогательно, беззащитными и даже несколько растерянными, а глаза у них еще более кроткие, чем у всех других священных коров, каких я когда-либо встречал.



Итак, мы уже в Норвегии. Леса здесь такие же, как по ту сторону границы, только больше исхлестаны ветрами и выстланы не мхом, а белесым лишайником; озера тоже, как на той стороне, только печальнее и страшнее: они словно врезаны в скалы; и горы здесь почти такие же, но выше и круче, и долины — как там, только глубже. Такие же березы, но более косматые и приземистые. И такой же гранит, но словно тяжелее. Ну, да ведь мы в горах.

Деревянные домики тоже такие, как по ту сторону границы, но беднее, и построены они уже не из вертикальных досок, а из горизонтально уложенных бревен, и они такие же бурые и серые, как скалы. Стоят они не прямо на земле, а на каменных или деревянных подпорках,



чтобы снизу не проникала влага, и крыты не черепицей, дранкой или соломой, а... чем, собственно, они крыты? Дерном или кусками торфа? Я так и не узнал точно, но это был толстый слой чего-то, густо поросшего мхом, травой, кустиками вербы и даже целыми елками и березками. Здесь и на крышах растет лес...

Всюду сыро, влага проступает из-под круглых островков травы и камыша. Где нет скал, там торфяные болота, всюду режут и сушат торф; люди научились обращать себе на пользу все, кроме гранита. Безрогие коровы бродят по мокрым низинам, на жесткой траве пасется приземистый буланый черногривый конь — хвост и ноздри у него тоже черные. А людей не видно — странный край: можно сказать, зеленая пустыня. Но вот поезд въезжает в широкую долину. Вон то озеро, широкое и тихое озеро, на котором, почти не шевелясь, плывут бревна, — это река Гломма.

А поезд несет нас дальше, вдоль Гломмы, мимо пастбищ и людей, мимо островерхих церквушек, мимо зеленых гор и низин, мимо красных домиков — и вот, наконец, вдалеке среди горных хребтов блеснул серебром Ослофьорд.

Норвегия

Осло

В нынешней Европе дела обстоят так, что путешественнику, прежде чем ехать в какую-нибудь страну, не мешает осведомиться, не происходит ли там гражданская война, государственный переворот или какой-нибудь конгресс. Когда мы приехали в Стокгольм, там как раз грянул международный конгресс Армии спасения. По улицам косяками носились довольно полные, но здоровые с виду мужчины и старые девы в соломенных шляпках, высматривая, кого бы спасти. Мы ретировались в Норвегию; но едва мы добрались до Осло, как там разразилось воскресенье, а сверх того еще всемирный конгресс учителей воскресных школ. Вы и понятия не имеете, сколько их на белом свете!

Все Осло было заполнено благостной суетой и щебетом; каждую минуту кто-нибудь улыбался мне и с христианским смирением осведомлялся по-английски, не иду ли я на богослужение. На Карл Иоганс Гате веял дух не Ибсена и не Бьёрнсона, а англо-саксонской церковной конгрегации. Я даже опасался, что хмурый Ибсен на пьедестале у театра поднимет голову и начнет проповедовать действенную любовь к ближнему или что-нибудь в этом роде. Но Ибсен не поднял головы, и вообще вид у него был сердитый. Бьёрнсон, кажется, легче сносил все происходящее. В Осло я попытался найти ответ на вопрос: как получилось, что такой малочисленный и, насколько я мог судить, бедный народ, как норвежцы, и такой небольшой и довольно заурядный город, как Осло, дали миру столь великую, замечательную литературу. Тогда, в тех обстоятельствах я не нашел ответа и сейчас удивляюсь этому даже больше, чем раньше.

И еще один вопрос сверлил мне голову, — тоже из области литературы, вернее, языка. Заметьте: всех норвежцев меньше трех миллионов. Пишут же они на двух или трех языках, причем ни один из них нельзя с полным правом назвать живым языком. В городах говорят на

«riksmål», это стародатский язык, исторический, официальный и литературный. Язык крестьян — старонорвежский, «landsmål», но и на нем говорит только сельское население юго-запада страны, к тому же он еще искусственно обработан. Фактически же в деревнях говорят на полудюжине разных «лансмолей», в каждой долине есть свой. Кроме того, существует движение за «bymål», его приверженцы стремятся слить воедино оба эти языка; создан проект реформы правописания, по которому «ригсмол» писался бы «по-лансмольски». В школах учат на «лапсмоле» или на «ригсмоле», в зависимости от решения общин. Писатели пишут на «ригсмоле», как Гамсун и Унсет, или на «лансмоле», как Олаф Дуун, а то и еще как-нибудь. Согласитесь, что для трехмиллионного народа все это довольно-таки сложно. У меня впечатление, что, несмотря на замечательную терпимость норвежцев в вопросах языка, этот отважный и сильный маленький народ чувствует себя тут как-то неуверенно. Правда, и в моей стране есть в какой-то мере сходные проблемы; только у нас различие языков и наречий любят обосновывать принципиально — национальными и политическими причинами.

Литература, мне кажется, может извлечь из языковой путаницы в Норвегии один урок: она должна создаваться так, чтобы стать родной речью живого народа, на которой он говорит и мыслит в данную эпоху, стать речью всей нации — народа и знати, города и деревни. Я знаю, это не легко, но за то литературу и называют искусством, что она должна быть волшебником, должна творить чудеса, кормить толпу в пустыне хлебами познания, слов и чувств. А чтобы говорить со многими, ей нужно говорить на многих языках и диалектах. И да снизойдет на литературу пламенная речь всех лансмолей и древних памятников письменности, всего, что когда-либо было написано и сказано для всех людей. Ибо для того она и создана, чтобы силою слова раскрывать сокровищницы мира, аминь. В этой проповеди повинны учителя воскресных школ. В жизни я не видел такого количества людей, томимых необходимостью подавлять свою страсть ораторствовать и проповедовать: их там стояло тысячи четыре, а разглагольствовал только один. Что поделаешь, это заразительно, невольно сам начинаешь поучать и проповедовать.

* * *

Тем не менее благодаря этим самым богослужениям в Осло нашлось несколько мест, где нам не встретился ни один учитель воскресной школы. Например, на Хольменколлене, где зимой устраивают прыжки с трамплина и откуда открывается один из самых красивых видов в мире: длинный, извилистый Осло-фьорд с его островами, пароходами и гребнями гор, подернутый туманной серебристой дымкой. Не встретили мы участников учительского конгресса и в тихой загородной уличке, где в доме за высокой оградой живет и никого к себе не пускает Эдвард Мунк, — как видите, так поступает не только Гамсун. И странно, откуда в душе великих художников столько горечи к людям?

В Норвежском музее я нашел, помимо прочего, прекрасное старинное полотно, на котором Иоанн Креститель крестит Иисуса Христа в студеных водах норвежского фьорда. Жаль, нет там картины, изображающей бегство евреев из Египта на лыжах... Зато лицо у Распятого на норвежских народных иконах спокойное, почти довольное, — как это не похоже на католический культ мук и смерти!

И еще одно место было безлюдно, почти священное место: большой бетонный сарай, где покоится «Фрам».

Правда, я осмотрел еще древние челны викингов, вырытые из курганов. Они превосходно сохранились и очень красивы. Норвежцы чуть ли не молятся на них. Я далеко не моряк, для меня даже поездка через Ла-Манш — незаурядное приключение. Но, глядя на эти черные, хищные, великолепно изогнутые челны без единой железной заклепки, я где-то в самой глубине своей сухопутной души почувствовал, что мореплавание все-таки, в сущности, мужское дело — даже более мужское, чем политика или попытки перестроить мир. Сесть в эту черную, дерзновенную осебергскую скорлупку и пуститься в море, во мрак и туман... Смотри, девушка, какие смельчаки мы, мужчины! Да, я зашел посмотреть и поклониться им; но что они по сравнению с «Фрамом»!

Кто бы сказал, что это прославленный корабль! Такое обычное, небольшое судно, — правда, из прочного дерева, и широкие борта его укреплены балками и бревнами. Камбуз — просто коробочка, машинное отделение — курам

на смех, трапы и двери такие низкие и узкие, что лоб расшибешь. Вот каютка, как для ребенка, и на ней надпись: «Свердруп»; и другая, с койкой, где не смог бы вытянуться даже наш Франя Шрамек, а над дверью надпись — «Нансен». И третья каюта, еще поменьше — «Амундсен». В каждой из этих дощатых каморок висит на крючке меховая доха с капюшоном и сапоги из тюленьей кожи; здесь грустно и пахнет нафталином. Вот секстант, бинокль и еще какие-то навигационные приборы — ими пользовались Нансен, Свердруп и Амундсен. Вот зубоврачебные щипцы, хирургические ножницы, скальпели, бинты, маленькая аптечка — и больше ничего. Да, вот так встреча! Опять я почувствовал себя дома, на родине, в дни своего детства. Помнишь, как мы играли в Нансена и Свердрупа? Помнишь, как ты зимовал с «Фрамом»?

Это было в отцовском саду, среди роз и жасмина. Мы тогда застрелили белого медведя и в санях, на собаках, тронулись в путь по снежной равнине. «На север, на север!» Но льды и непогода заставили нас вернуться. Ух, как труден был этот обратный путь, вспомни только! Ничего не поделаешь, надо было вернуться до наступления полярной ночи. «Наконец на горизонте показался наш «Фрам» — и мы приветствовали его ликующими возгласами!» Да, наш «Фрам»; ибо он принадлежал всем нам, читающим мальчишкам всего мира. Не спорьте, это наш корабль, и мы вправе почтительно и нежно потрогать на нем любой секстант, бухту каната или зубоврачебные щипцы. Но вот на этой каюте — табличка «Амундсен»; это уже другая глава, мы читали ее в другое время и поиному. Здесь мы ни к чему не потянемся детским пальцем — здесь мы по-мужски снимем шляпу. (Отчего тут так душно — или это нафталин?) Значит, на этой койке спал человек по имени Амундсен; наверно, ему приходилось поджимать ноги… Человек, который видел оба полюса. Человек, погибший в снежной пустыне, куда он полетел, чтобы спасти какого-то хвастуна, сунувшегося в *его* Арктику. Да, все это запечатлелось в нашей памяти куда глубже, чем воспоминания детских лет.

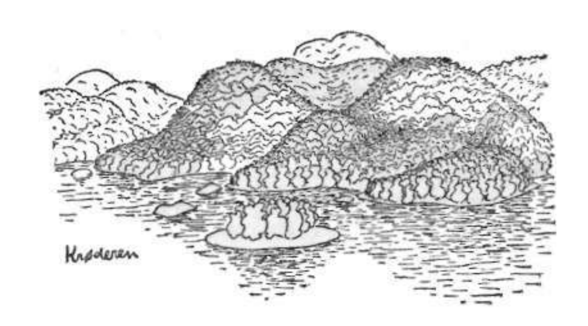
А вечером, поздно вечером, вокруг нас уже не было никаких учителей воскресных школ, только белая северная ночь. Над Карл Иоганс Гате витал холодный дух Ибсена, а местные жители наслаждались летним воскресеньем. Норвежская толпа как-то плечистее и кряжистее,

чем шведская; вид у нее более мужицкий, не такой степенный. В толпе царит развеселое настроение, как у всех наций, склонных к выпивке и политике; но, судя по лицам норвежцев, их можно не бояться.

Бергенская магистраль

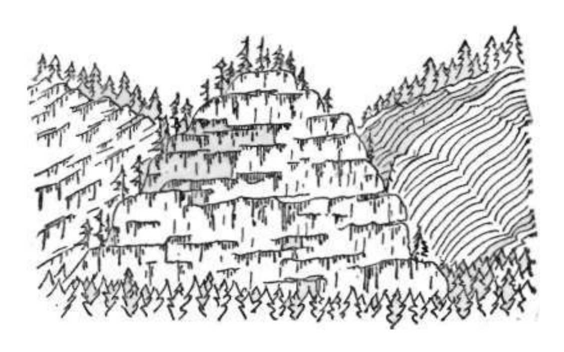
Бергенская горная железная дорога принадлежит к числу так называемых чудес техники. По большей части такие чудеса — это туннели и виадуки: особенность бергенской магистрали в том, что ее туннели, так сказать, возведены, а не прорыты — они построены на земле, из бревен и досок. Защищенные от лавин и заносов, целыми милями тянутся они вдоль самых интересных мест. Там же, где нет туннелей, путь огорожен высокими дощатыми заборами. Впрочем, терпеливый наблюдатель все же дождется местечка, где, как говорится, плотник оставил дыру, и сможет с минуту изумляться красоте и величию мира, — а поезд тем временем въезжает в новый деревянный туннель. Но буду рассказывать все по порядку. Прежде всего скажу, что чудо техники начинается только от Устедаля, около Устеквейки, сначала же поезд проезжает обычные подземные туннели или мчится по зеленому краю, мимо лесов и пастбищ, рек и озер. Все время есть на что поглядеть: деревянные усадьбы и безрогие коровы, горы и долы. Так мы добрались до Хёнефосса, который славится своим водопадом, затем оказались в прелестной долине Сокны, среди прекрасных свежих лугов и черных лесов. По зеленеющим склонам рассеяны коричневые бревенчатые домики на сваях, напоминающие избушку бабы Яги на курьих ножках...

...И вдруг перед вами внезапно открывается Крёдерен, — озеро Крёдерен, лежащее среди гранитных куполов, на которые надеты курчавые парики лиственного леса. Какие они головастые, круглые, эти горы, словно обточены на станке! Здесь на все надо смотреть глазами геолога: вот, например, гранитные купола под Нурефьеллем наглядно свидетельствуют о том, что мир не был вылеплен из какой-нибудь полужидкой горячей массы — нет, он был тщательнейше обработан, выпилен, обточен, отшлифован и отполирован, а под конец какой-нибудь ледник с удовлетворением знатока провел ладонью по



горам над озером Крёдерен, любуясь, как славно он их сгладил. И правда, хороша работа; есть ли на свете другой такой ледяной мастер!

Есть и другие горы, — они не обточены, а расколоты вдоль или поперек, расщеплены ледовыми клиньями, наслоены, уложены штабелями, как доски, сцеплены



друг с другом, как черепица, сжаты, согнуты, изломаны, изрезаны — исполинская работа была совершена над этим гранитом. Легко сказать «геологические напластования», а сколько на них положено труда! Не спорьте, ведь ледниковый период был громадной мастерской: взгляните, чего тут только нет, какие чудеса техники! Кто не понимает камня — тот мало знает о красоте и величии мира.

А вот и Халлингдаль, долина, где много старых селений, славящихся художественными изделиями. Когда-то здесь рисовали знаменитые халлингдальские розочки. И по сей день видно, с какой любовью украшал здешний народ срубы своих домов, сложенные из толстенных бре-



вен, просторные сеновалы на узких бревенчатых подпорках, старинные церкви, построенные ярусами, как деревянные пагоды, резные окна, коньки крыш и столбики крылец — всюду видна красивая добротная старинная работа. Кто не умеет оценить дерево, для того останется незамеченным многое из сочной, смолистой, народной красоты мира.

Да, Халлингдаль — это камень и дерево. И лес, лес, сплошной мачтовый лес, высоченные деревья. Сено в длинных копнах, стада низкорослых бурых коровок, тяжелые, черногривые кони, лужайки, шелковистая трава, желтая



Hallingdal

пупавка и белая таволга, синие колокольчики в невиданном изобилии, а в окнах бревенчатых домиков — алая герань. Все это Халлингдаль.

Любопытно, что повсюду в мире именно в горных краях больше всего развиты художественные ремесла — вышивание, роспись и резьба по дереву. Я понимаю, отчасти это потому, что в уединенных долинах дольше сохраняются старинные вещи, унаследованные от прадедов и прабабок. Но для того, чтобы сохраниться, вещи должны были сначала возникнуть. По-моему, все дело в том, что под рукой есть дерево. Дайте мальчишке полено (нож у него наверняка найдется), и он начнет стругать и резать так и этак, пока не получится рукоятка меча, фигурка или столбик. Дерево можно резать и расписывать красками, а камень годится только на кладку стен или для древних надгробных памятников. Народные умельцы, от строителей до мастеров, изготавливающих свирели и волынки, остаются верны дереву; вот почему народное искусство держится ближе к горам и лесам. Вот почему в Халлингдале так же радуется сердце, как и в Пиренеях, Альпах или в наших горных краях. Камень — рабочий материал природы, дерево — человека; по крайней мере, так было, пока в мире царил естественный порядок вещей.

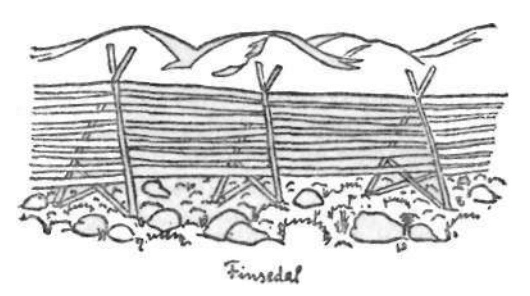
Итак, это был Халлингдаль. За ним следует Устедаль, и это уже совсем другой мир; здесь не живет никто, кроме



начальников станций и персонала горных отелей. Кругом — камень, холодные озера и трясина, да еще держится тут хилая сосна и малорослая, кривая береза или ползучая ольха. Кое-где видны бревенчатые избушки с оленьими рогами на коньке крыши. Дальше — только камень, ползучая береза, камыши и пушица. А потом уже нет ни кам-

ней, ни озер, ни растительности, лишь деревянные туннели, галереи и щиты от снежных заносов. Таков этот удивительный край.

Мы добрались до самого верха, до Финсе. Высота — всего тысяча двести метров над уровнем моря, но здесь, на севере, это все равно, что у нас три тысячи. Никакой



Finsedal

жизни. Маленькие озера не тают даже летом, видимо, считая, что дело того не стоит. Языки глетчеров дотягиваются до самых рельсов. Белоснежное фирновое поле Хардангерьёкелен, сугробы: это называется июль! Иной раз вдоль железнодорожного полотна стоят жители: им хочется хотя бы помахать живым людям, когда пройдет поезд. Снежные поля, серо-стальные озера, каменные оползни, полоска бурой травы — вот и все. Видно, потому этот край и кажется таким мощным и безграничным, что здесь нет жизни.

Жизни уже нет, но кое-где еще ухитряются прожить люди. Человек вынослив, как тот ползучий арктический ивняк, что серебристым ковром покрывает места, где не растет даже трава. Береза, ива, лишайник и человек выносливей всего на свете. Погодите, не мешайте, я занят: мне нужно обеими руками махать людям, которые тут живут. И другим людям других стран — тоже; везде на земном шаре много приходится бороться человеку — но здесь ему противостоят только стихии. Привет же вам, люди из Устеквейки, будьте здоровы, люди из Молдадаля; у вас тут чудесно, вы хорошо живете своей суровой жизнью. Какое вам дело до того, как где-то творится история! Итак, привет вашим домочадцам — и прощайте, я тороплюсь, мы уже начинаем спускаться. Вниз через скалы, к Фламсдалю с его водопадами; вниз, к лесам и соснам; вниз к Раундален, где мы снова увидели крестьянина:

до смешного короткой косой он выкашивает траву между гранитными валунами; вниз, к людям и хуторам... Ого, как быстро летит дорога, когда едешь под гору! И вот опять буйная растительность северных лесов, сосны, высокие, как башни, как кедры, кустики черники по колено, папоротник по пояс... Еще ниже, мимо нескольких водопадов — и снова ели и пихты, громадные, как собор. Минуем еще несколько каскадов, и кругом уже кудреватая рябина, ольха, ива и осина... Эти пояса растительности расположены здесь так близко друг от друга и так четко разграничены, что диву даешься, как точно норвежская природа соблюдает биологические и экологические законы. Видимо, это оттого, что в Норвегии — всеобщее начальное образование.

Вот мы и совсем внизу, на высоте нескольких десятков метров над уровнем моря; внизу, где прелестные озера, кудрявые рощи, красные домики и светлые лужайки. Над нами круглые гранитные горы под шапкой вечных снегов. Что ж, красиво. Только очень хочется знать, что там, за горами. А вон то узкое зеленое озеро — это морской



фьорд: отвесные скалы, и между ними — бездонная водная гладь. Волшебной грустью и глубокой задушевностью веет от этой картины, хотя на первый взгляд она кажется совершенно неправдоподобной. К фьордам надо долго привыкать, пока научишься воспринимать их как несомненную и даже суровую действительность. Например, там, наверху, — кажется, это Согне-фьорд — жители днем привязывают детей веревкой, чтобы они не свалились в море с отвесных стен. Где только не живут люди, даже поверить трудно!

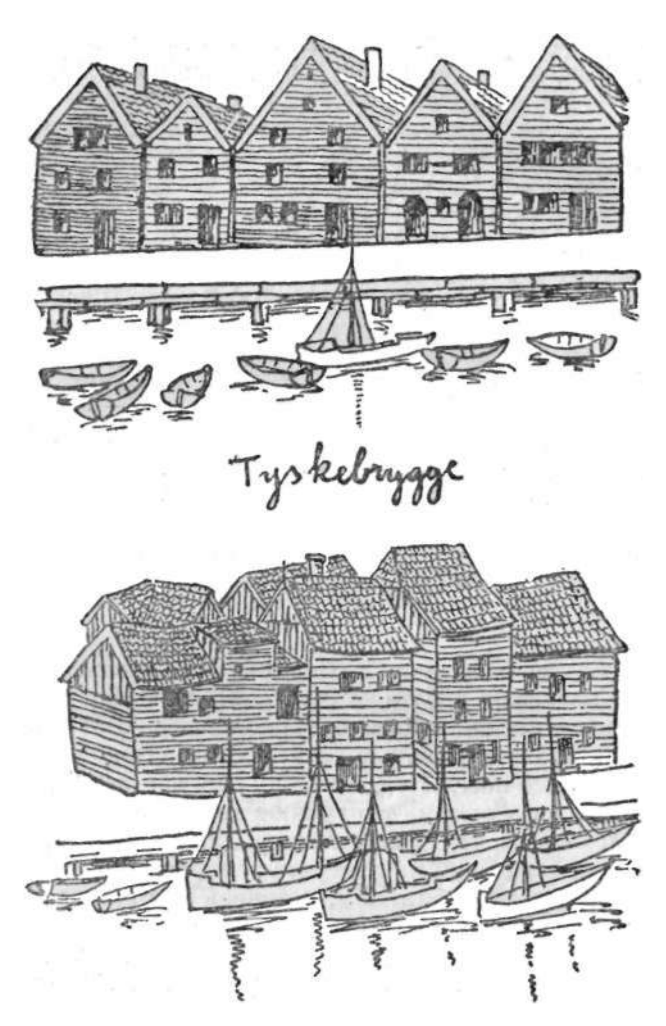


Но, слава богу, вот и Берген. Удивительное дело, до чего нелегкая работа — смотреть. Хочется, наконец, зажмуриться и не видеть больше ничего. Вот взгляну еще на ту скалу и рыбачью хату, и баста. Покойной ночи и не забывайте нас!.. Нет, погляжу еще вон туда, на крутые горы и на девушек, что гуляют по перрону маленькой станции, — ведь это единственное ровное место, куда можно выйти вечером на прогулку; девушек, наверное, не привязывают веревкой... Ну, а теперь и в самом деле не стану больше ни на что глядеть. Разве что на этот уголок фьорда, на тот суровый утес, и все. И на зеленую долину с озером и людьми, и на горы, и небо... Да будет ли когда-нибудь конец дороге и отдых глазам?!

Да, есть конец дороге; только северный день бесконечен...

Берген

Приятно убедиться, что книги не врут. О Бергене написано, что там часто идет дождь. И в самом деле, когда мы туда приехали, шел дождь. Даже проливной.



И еще написано, что над Бергеном вздымается семь гор. Я насчитал только три, остальные были в тумане, но я верю, что их семь. Норвежцы народ честный и не станут уверять иностранца в том, чего нет.

А потому подтверждаю: Берген старинный и прославленный город Ганзейского союза. С тех времен тут еще сохранилась Немецкая набережная, или же Tyskebrygge со старинными дощатыми домиками; и музей Ганзы, где

мы видели сундуки, в которых ганзейские купцы запирали на ночь учеников и писарей, чтобы те не шатались по ночам и не мерзли. Уцелели и старые лабазы, складчатые, как гармоника, с выдающимся вперед слуховым окном, в которое поднимали товар прямо с кораблей.



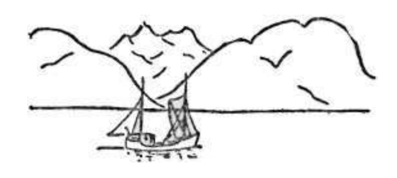
Еще есть в Бергене рыбный рынок с многовековым рыбным запахом, заваленный серебристыми и синеватыми рыбами. Есть старые улички с белыми тесовыми, очень милыми домиками. Но много таких домиков сгорело, и теперь Берген в целом выглядит современным и благоустроенным городом.

Есть там и старинная церковь Тюскекиркен, за вход в которую берут деньги. Заплатить стоит: внутри — красивый готический алтарь и старинные образа, на которых увековечены многодетные, хорошо откормленные купеческие семейства. Кроме того, когда мы вошли, как раз происходило бракосочетание: рыжий моряк венчался с веснушчатой девицей. Невеста целомудренно плакала, а молодой пастор, похожий на чемпиона по прыжкам с трамплина, совершал брачный обряд. Родственницы в шелковых платьях и родственники в смокингах с фрачными бабочками, растроганно и торжественно роняли слезы. Так совсем неожиданно окупились наши входные билеты.

В Бергене же находится коронационный дворец короля Хокона и башня Розенкранца. Как раз под ними стоит на якоре пароход, который повезет нас в Трондхейм. Привет тебе, кораблик, мы уже здесь!

До самого Нидароса

Это был отличный почтовый пакетбот, новенький, со всеми удобствами, какие только может пожелать непритязательная человеческая душа. Плох был лишь груз,



который находился на борту. Я имею в виду не муку, не капусту и прочее добро, погруженное под Бергенхузом. Плох был, так сказать, духовный груз, состоявший из большой группы американских туристов, членов какой-то церковной конгрегации или религиозной общины. Все они ехали на Нордкап. Боясь, как бы они не взялись за обращение меня на путь истины, я не стал осведомляться, какую именно веру они исповедуют, и посему не знаю, чему учит эта американская церковь; однако, насколько я смог установить, занимались они следующим:

1. Издавая лихие вопли, набрасывали проволочные кольца на колышки или гоняли по палубе деревянные обручи, которые попадали под ноги всем остальным пассажирам, благодаря чему святая компания полностью захватила всю носовую часть парохода еще до того, как были подняты якоря.

2. С ошеломляющей непосредственностью заводили оживленные разговоры между собой и с другими пассажирами; на корме они незамедлительно заняли все скамейки и шезлонги, разложив на них свои пледы, детективные романы, Библии и сумочки, чтобы показать этим свое неоспоримое право на длительное владение.

3. За табльдотом они воинственно распевали религиозные псалмы, вытеснив таким путем нас, неорганизованное и слабое меньшинство, и из обеденного салона.

4. Устраивали всякие массовые игры, танцы, хоровое пение, молитвы и прочие развлечения. Видимо, они исповедуют какую-то религию радости и неустанно распространяют вокруг себя невинное и богоугодное «веселие духа». Говорю вам: это было ужасно.

5. Со рвением проявляли активную любовь к ближнему, заботясь о страдающих морской болезнью, о собаках, молодоженах, детях, моряках, туземцах и иностранцах. Любовь эта выражается главным образом в том, что жизнерадостные богомольцы обращаются к незнакомым людям, подбадривают их, весело на них покрикивают, приветствуют, улыбаются и вообще терроризируют всех своей

крайней приветливостью. И нам, всем остальным, оставалось только забаррикадироваться в своих каютах и там тихо и строптиво богохульствовать. Буди к нам милостив, о боже!

* * *

А ведь здесь так красиво! Взгляни только на тихие и светлые воды фьорда, стиснутого скалами Норд-Хордланда и голыми гранитными островами. Взгляни на розовый закат, что разлил свои влажные краски по небу, по бескрайнему морю, по окутанным легкой дымкой индигово-синим горам; как призрак проплывает мимо рыбачий баркас, мелькнув красным фонарем... Боже, как это прекрасно! Но тишину божественного вечера нарушает блеяние богомольных туристов: они запели свои псалмы.



Похоже, что эта духовная община принимает в свои ряды преимущественно дам почтенного возраста. Говоря по правде — большинство из них — здоровенные бабищи вроде кирасиров, не считая нескольких ветхих и сонных, едва ли не столетних старух. Есть среди них шестидесятилетний бесенок в юбке выше колен и в детской шляпке, потом — дама с лошадиной физиономией, другая — со следами волчанки на лице и еще одна дама без каких-либо явных физических изъянов; далее — стайка вдов всех возрастов и оттенков волос — от крашеных до серебряных седин; один господин с беличьими зубами и маленький бойкий старичок, похожий на высохшую сардинку, видимо, страдающий болезнью почек; есть группа старых дев, в общем доблестно несущих бремя своего возраста. Короче, вся компания смахивает на заурядное благотворительное общество, только уж очень много их собралось,

просто сил нет. И лучше б они не пели псалмы во славу творца. По крайней мере, здесь. Эх, сказать бы им: «Смотрите на дело рук его, на славу его и заткнитесь...»

Благочестивые туристы допели свой псалом и принялись осматривать окрестности. Мисс с лошадиной физиономией нацепила пенсне.

— Isn't it nice? [1]

— Wonderful! [2]

— А во что мы теперь сыграем?

Вот неуемные! Поразительно, какую силу придает вера человеческой душе!

* * *

...Нет, так дальше не пойдет; давайте побросаем за борт американских святош! Или пойдемте надругаемся над деревянными обручами, которые они гоняют по палубе. Я знаю, богохульствовать — тяжкий грех, зато хоть будет и для нас какое-то развлечение. И давайте напьемся, пусть в нас вселится злой дух строптивости; тогда подойдем, широко шагая и подтягивая штаны, разбросаем ногами все эти обручи и колечки: идите спать, святоши! Здесь есть люди, у которых долгий разговор с вечером и морем, с небом, тишиной и так далее; так что проваливайте, не то худо будет!

Но ничего этого не случилось, потому что на норвежских пароходах не торгуют спиртными напитками.

* * *

Возможно, это было чудо: американские святоши как раз собрались затянуть новый псалом, и их духовный пастырь, жирный, мордастый торговец благодатью, в знак своего сана носивший крест, который болтался у него на том месте, где у обыкновенных людей бывают почки, уже взял в руки свою дудку и дал тон, а самая толстая из ханжей вскарабкалась на помост, села на ящик с громкоговорителем, закрыла очи и раскрыла рот, чтобы запеть... Как вдруг из-под ее юбки грянул разухабистый, отнюдь не божественный фокстрот. Достопочтенная дама вско-

---

[1] Прелестно, не правда ли? (*англ.*).

[2] Чудесно! (*англ.*).

чила, как с раскаленной плиты, но духовный пастырь не сплошал и показал широту своей натуры: он сунул дудку в карман и хлопнул в ладоши:

— Well, let's danse! [1] — и обвил талию дамы с волчанкой.

...Утро в открытом море. Мы, видимо, огибаем мыс Статланд. Здесь всегда немного качает. И это сразу заметно: несколько пассажиров на палубе без всяких затруднений бодро платят дань Нептуну, в то время как у других дело идет туго, и они отчаянно маются. Святая община не выходит из кают; не иначе, молится.

Взгляни, как красиво здесь! Серое море с белыми гребнями волн, справа голый, зубчатый, мускулистый берег Норвегии. Крикливые чайки плавно скользят по длинным воздушным волнам. Можно долго глядеть, как бурлит за кормой вода: она зеленая, как купорос, как малахит, как глетчер, как... неведомо что. Она взбита яростными ударами винта, изукрашена белыми орнаментами пены, — смотри, вот наш след, отмеченный пеной, тянется далеко, до самого горизонта. Как бросает рыбачий баркас! В нем стоит человек, похожий на белого медведя, и машет нашему пароходу ручищами.

— Хэлло! — голосит духовный пастырь и машет ему кепи; он делает это, видимо, от имени своей церкви, Соединенных Штатов и вообще всего христианского мира.

* * *

Мы снова в фьорде, с обеих сторон стиснутом скалами. Вода здесь спокойная, гладкая, светлая. Духовная община вылезает на палубу, расточает улыбки.

— A fine day [2].

— How beautiful! [3]

— Wonderful, isn't it? [4]

Стадо духовного пастыря, завернувшись в пледы, заняло на палубе все сиденья; нацепив очки, они читают романы и божественные книги, усердно сплетничая о своих знакомых в Америке. Сам пастырь ходит от группы

---

[1] Ну что ж, давайте танцевать! (*англ.*).
[2] Чудесный день (*англ.*).
[3] Как красиво! (*англ.*).
[4] Чудесно, не правда ли? (*англ.*).

к группе, бодро похлопывает старушек по плечам и разглагольствует. Выглядит он так, словно на него, и ни на кого другого, возложено командование судном. Ничего не поделаешь, все мы отданы на произвол его человеколюбия. Этот тип еще обратит нас на путь истины, если мы не высадим его силой на какой-нибудь необитаемый островок. Ради этого я готов объединиться с несколькими пассажирами, которые внушают мне доверие. Это — молодожен-норвежец, женившийся на бедной, красивой и хромой девушке, затем пассажир, похожий на итальянского графа, путешествующий в обществе красивой брюнетки, и, наконец, какой-то пройдоха в сомбреро и куртке цвета хаки, который вечно сидит за кружкой пива и рассказывает попутчикам о жизни ковбоев, золотоискателей и охотников на пушного зверя. Короче говоря, людей найдется достаточно, только мы никак не можем сговориться, потому что на пароходе нет ничего спиртного...

Ikke alkohol [1], вот в чем беда!

* * *

Наконец наш пароход пришвартовывается в Олесунне. Это большой, красивый порт, сильно пропахший рыбой. Американский пастырь организует вторжение своего стада в город. А мы, остальные пассажиры, идем поглядеть, что здесь можно купить. Половина магазинов продает, правда, заманчивые на вид бутылки с этикетками «Ромовый сироп», «Ананасный сироп», «Пуншевый сироп», но спиртного нигде нет. «Ikke alkohol», — говорят нам всюду, разводя руками. Как так «ikke alkohol»? Что же пьют здесь бравые моряки?

— Ikke alkohol! — повторяют продавцы, сочувственно пожимая плечами.

Странный город этот Олесунн!

Ладно, бог с ним; поедем в Мольде. Мольде называют городом цветов. Не может быть, чтобы там не нашлось чего-нибудь горячительного... А-а, вот он, Мольде, славный городок, а на том берегу Ромсдальс-фьорда — красивые остроконечные горы. Садики, полные роз и ежевики. Деревянная церковь, но в нее уже проник американский

[1] Алкоголя нет (*норв.*).

пастор и начал проповедовать. Действительно цветущий городок, но... «ikke alkohol».

— Sorry [1], — говорит продавец, — но спиртных напитков вы здесь не достанете. У нас нет «vinmonopolet» [2].

Ладно, обойдемся и так. Все равно на пароход мы не вернемся, пусть святая община хозяйничает как угодно, пусть обращает хоть самого капитана или штурмана со всей командой. Мы поедем через горы в Гьемнес и где-нибудь там снова погрузимся на пароход. Машина уже загудела, зафыркала... вдруг стоп! В машину лезет пастырь с тремя овечками и усаживается чуть ли не на коленях у нас.

— Теперь можно трогаться! — бодро провозглашает он и в ожидании, пока автобус тронется, пристает к детям этого города цветов: — Хэлло, хэлло! Do you speak English? No? No? No? [3] Вот ты, мальчик, говоришь по-английски? Нет? Отвечай же! Неужели не умеешь?

Апостол из штата Массачусетс не в состоянии понять, что люди могут не говорить по-английски. Он поворачивается ко мне.

— But you speak English? Yes? No, no? [4] Откуда же вы? Из Праги? Yes, Prague, I was in Prague [5]. Very nice. Очень красивый город.

— Wonderful!

Мы едем по ромсдальской ривьере вдоль Фанё-фьорда. Прекрасная местность, голубой фьорд, горы, как в Альпах; господи, как хочется все это разглядеть, но пастор непрерывно вертится и наклоняется к своим овечкам.

По дороге нам встречаются фермы, где разводят чернобурых лисиц. Рыбаки сушат треску прямо на стенах своих хижин — этого я еще не видел. Жизнь у них, наверное, не сладкая, — стоит лишь подумать, как страшно воняет треска.

Пастор тем временем излагает свою точку зрения на воспитание детей и еще на что-то. Овечки кивают головами и восхищенно пищат «yes», «indeed» и «how true»! [6]. Пастырь вдруг стукается головой о крышу автобуса и на

---

[1] Очень жаль (*англ.*).
[2] магазина государственной винной монополии (*норв.*).
[3] Вы говорите по-английски? Нет? Нет? Нет? (*англ.*).
[4] Но вы говорите по-английски? Да? Нет, нет? (*англ.*).
[5] Да, Прага, я был в Праге (*англ.*).
[6] «да», «действительно», «совершенно верно»! (*англ.*).

минуту теряет дар речи. Некоторое время он глядит на гранитные громады за окном, потом говорит:

— Lovely, isn't it? [1]

— Wonderful!

— Well [2], о чем мы говорили?

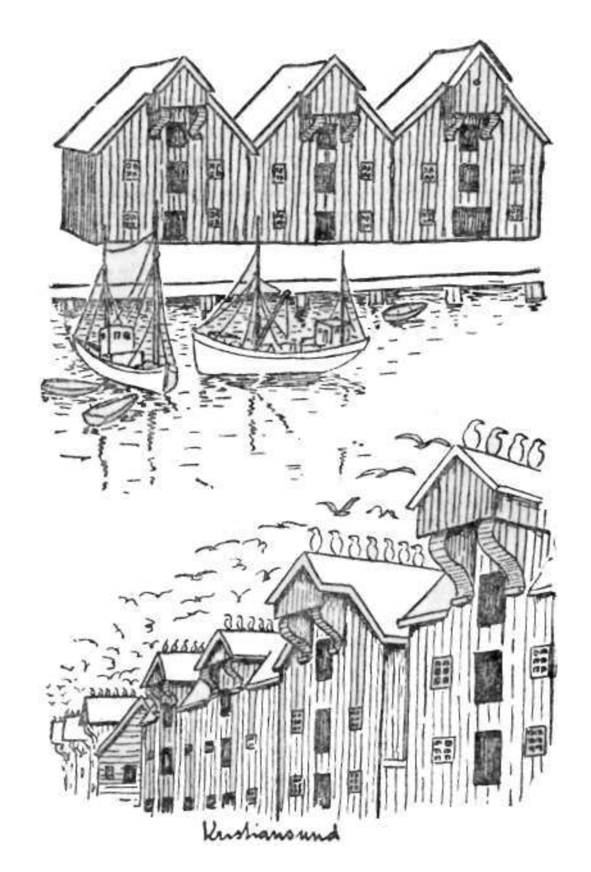
И пока мы под дождем ехали через леса и долины, по плоскогорью, печальному, как конец мира, мимо снежных гор и рыбачьих поселков, — неутомимый пастор все долбил о том, какие проступки совершила миссис Джексон.

Эти траурные воды, — очевидно, Тингволль-фьорд, а вон те веселые, — наверное, Батн-фьорд... А духовный наставник толкует об ангине, раке и других недугах, уверяя, что все это — болезни духа; только болезни духа, да. Yes. Right. Isn't so? [3]

Вот, наконец, и Гьемнес. Крохотная пристань, трое местных жителей ждут катера на Кристиансунн. Наверху зеленые куполообразные горы со снежными вершинами, внизу зеленая вода с коричневыми тенями, все вместе напоминает потускневший золототканый узор на зеленом бархате. «Do you speak English?» — орет пастырь, подзывая трех человек, ожидающих катер. Те не понимают его, смущенные и растерянные, но пастырю хоть бы что; похлопывая их по спине, он продолжает бодро трещать. Добрая душа!

Подошла моторка, которая перевозит через фьорд. Апостол погружает в нее своих овечек и тотчас же ищет, с кем бы пообщаться. Овечки заняли все, на чем можно было сидеть, и немедля принялись чесать языки. А вокруг прекрасный фьорд. Вечереет. Горы в дымке после дождя; по небу протянулась радуга, вода приняла золотистый оттенок, отражая на шелковистой глади голубоватые скалы. Откуда-то снизу доносится шум винта и жизнерадостный голос американского пастыря. Интересно: там, в глубине фьорда, местность цветущая, как благословенный сад, но чем ближе к морю, тем обнаженнее скалы и, наконец, кругом виден один только голый камень. Там и сям разбросаны рыбачьи хижины, и на серых валунах — какие-то громадные чаны; в них, наверное, солят треску. Нигде ни деревца, лишь бурые клочья травы среди скал. Природа

[1] Прелестно, не правда ли? (*англ.*).
[2] Итак (*англ.*).
[3] Да. Правильно. Не так ли? (*англ.*).



здесь ничего не дарит человеку, кроме камней, на которых можно сушить рыбу.

— Отличная погодка? Что? Ого-го! — галдит пастырь.

— Yes. Lovely.

— Wonderful.

* * *

А вот и Кристиансунн, столица трески. Деревянный город, сплошь лабазы, склады на чердаках. Серые, зеленые и красные домики столпились вокруг пристани. На коньках всех крыш — чайки, чайки; в жизни я не видывал сразу столько чаек! Может быть, у них тоже собрание духовной общины?

Здесь мы вернемся на пароход. Нашего полку прибыло, — повезем футбольную команду Кристиансунна на состязание в Тронхейм. Весь город провожает своих героев. Даже местные собаки сбежались и восторженно вертят хвостами. Американский пастор сияет — ему по душе всяческие сборища. Он переваливается животом на перила и изводит местных собак дружественными окликами. Что остается делать собачке? Она поджимает хвост и убирается восвояси. Тогда сей выдающийся муж сердечно обращается к населению:

— Do you speak English? Yes? No? Прекрасная погода, верно? Га-га-га!

Заработал винт, пароход отваливает от пристани. Весь Кристиансунн, размахивая шляпами, троекратно провозглашает своим национальным героям славу или что-то в этом роде. Американский пастор энергично вращает кепи и от имени Америки и всего просвещенного человечества благодарит Кристиансунн за приветствие.

* * *

— Скажите, пожалуйста, штурман, где тут у вас, в Норвегии, можно достать хоть каплю спиртного? Например, мне надо залить злость, перехватить малость, выпить для храбрости и тому подобное. Неужели нельзя ничего сделать?

— Ничего, господа, такое здесь праведное побережье, — меланхолически отвечает штурман. — От Бергена до Тронхейма [1] — всюду «ikke alkohol». Только в Тронхейме есть «vinmonopolet», дальше — в Бодё, Нарвике и Тромсё.

---

[1] Тронхейм — первоначально Нидарос, позже Трондхьем, после расторжения унии со Швецией снова Нидарос, а сейчас опять Трондхьем, или Тронхейм (в зависимости от того, говорите вы на лансмоле или риксмоле) — город крупный и богатый. Стоит на реке Нид, где издавна существует речной порт. Две главные улицы — Мункегате и Конгенсгате. Королевский замок Стифтсгард, — как говорят, крупнейшая деревянная постройка в Норвегии, — знаменитый кафедральный собор и «vinmonopolet» (сразу же около порта, чтоб вам легче было найти). «Vinmonopolet» открыт с одиннадцати до пяти, а собор только с двенадцати до двух. Именно сюда (то есть в собор) ходила Кристин Лавранс, героиня одноименного романа госпожи Унсет. Это и сейчас красивый храм, его реставрировали очень бережно. Кроме того, в Тронхейме есть большой клуб масонов, но такие клубы вы найдете во всех крупных городах северных стран. Оживленная торговля рыбой, лесоматериалами и английскими детективными романами. (*Прим. автора.*).

Там вы купите все, что угодно. А здесь нет. Здесь живут одни праведники. У нас, правда, государственная монополия на спиртные напитки, но каждый город сам решает, может ли монополия открыть в нем продажу вин. А как здесь когда-то пили! — И штурман махнул рукой. — Вот в Тронхейме и сейчас недурно на этот счет.

* * *

В Тронхейме ночью мы сбежали с парохода. Хороший был пароход и новый, но уж очень скверные пассажиры!..

На пароходе «Хокон Адальстейн»

Этот пароход я называю полным именем прежде всего потому, что он этого заслуживает, а во-вторых, потому, что уж больше он, верно, никого из вас не повезет: в этом году бедняга делал последние пассажирские рейсы. Теперь он лишится крошечного курительного салона и каюток и будет возить только уголь, в Свульвер или Гаммерфест. Ничто не вечно под луною!

По правде сказать, «Хокон Адальстейн», стоявший у тронхеймского мола, на первый взгляд производил совсем не блестящее впечатление. Его грузили кирпичом, лебедка страшно грохотала. «Ну, ну, — подумал я, — и маленькое же это суденышко, меньше «Приматора Дитриха» у нас на Влтаве. Неужели на этом пароходике ездят на Нордкап?»

Около кирпичей стоял, засунув руки в карманы, рослый, очень милый толстяк.



— Господин капитан, — робко сказала ему моя спутница в этом путешествии и во всей моей жизни, — господин капитан, кажется, пароход очень маленький, не так ли?

Капитан просиял.

— Да-а-а, — протянул он довольно. — Совсем маленький пароход, сударыня. Очень уютный.

Уютный? Это верно. Как раз сейчас на него грузят мешки с цементом.

— А скажите, господин капитан, не староват ли ваш пароход?

— Не-е-ет, — успокоительно говорит капитан. — Совсем новое судно. Было в капитальном ремонте.

— А когда?

Капитан задумывается.

— В тысяча девятьсот втором, — говорит он. — Отличный пароход!

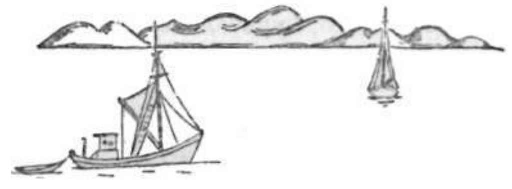
Боязливое земное создание, моя спутница, заморгала глазами.

— И выдержит он столько кирпича и цемента? Не потонет?

— Не-ет! — заверяет капитан. — Мы еще погрузим триста мешков муки.

— А вот эти ящики?

— Тоже погрузим, — утешает капитан робкое создание. — И еще возьмем двести тонн балласта. Да-а.



— Зачем?

— Чтобы судно не перевернулось, сударыня.

— Разве оно может перевернуться?

— Не-ет.

— А столкнуться с другим пароходом?

— Не-ет. Разве что в тумане.

— А бывают здесь летом туманы?

— Угу, да-а, иногда бывают. Да-а.

Капитан приветливо подмигивает голубыми глазками под мохнатыми щетками бровей; я думаю, он носит эти щетки, чтобы не прикладывать ладонь к глазам, когда ему надо высмотреть какой-нибудь риф.

— А вы делаете рейсы только летом, капитан?

— Не-ет. Зимой тоже. Каждые две недели туда и обратно.

— И долго вы потом отдыхаете дома?

— Два дня. Пятьдесят дней в году.

— Это ужасно! — сочувственно говорит моя сострадательная спутница. — И вы не скучаете в этих рейсах?

— Не-ет. Ходить в рейс — это очень хорошо. Да-а... Зимой — никаких пассажиров; зато много льда, все судно покрыто льдом, все время приходится скалывать. Да-а.

— Чтобы не было скользко?

— Не-ет. Чтобы судно не пошло ко дну. Да-а, — умиротворенно резюмирует капитан. — Очень хороший пароход. Вам тут понравится.

* * *

Докладываю, капитан, что нам здесь действительно нравится. В самом деле, очень уютный пароход! Крохотные палубы, пара плетеных кресел и все, — никакого дешевого шика. Курительный салон, обитый зеленым плюшем — нечто среднее между скромным борделем конца прошлого века и залом ожидания первого класса на провинциальном вокзале. Столовая, обтянутая красным плюшем, и дюжина каюток со всем необходимым, то есть с двумя койками, похожими на гладильные доски, двумя спасательными поясами и двумя «блевательницами» для страдающих морской болезнью. Сидеть на гладильных досках нельзя, — они снабжены металлическими перильцами, чтобы спящий не свалился во время качки... Подушки тощие, как пеленки, но под голову можно подложить спасательный пояс, и получается недурно. Вместо чванных стюардов — одна хромая бабка и одна угрюмая тетя. В общем, здесь можно чувствовать себя как дома.

Над самой головой у нас грохочет лебедка. Сперва это беспокоит, но потом привыкаешь, — по крайней мере, знаешь, что делается на судне. По грохоту можно различить, что грузят — муку или кирпич. Просто невероятно, сколько всякого груза помещается на этом пароходике!

Уже полночь, «Хокон Адальстейн» все еще грузится в тронхеймском порту. Но вот второй, третий гудок, вскипела вода под винтом, пароход дрогнул, затрещал и тронулся с места. Счастливого плавания и покойной ночи! Только теперь, наконец, начинает пахнуть путешествием на север.

* * *

— Вставай, слышишь, вставай!

— Что случилось?

— В каюту течет вода.

— Да нет, не течет!
— Течет! Хлещет в окно!
— М-м...
— Что-о?
— Ничего. Я сказал «м-м»...
— *Прошу тебя,* сделай что-нибудь!
— Зачем?
— Потому что нас заливает водой! Мы утонем!
— М-м-м...
— Да не спи же, ради бога!
— Я не сплю. — Женатый человек садится и шарит в поисках выключателя. — В чем дело?
— Нас заливает водой. Из окна!
— Из окна? Гм, надо закрыть его, и все тут.
— Вот и закрой его и не мычи.
— М-м-м... — Женатый человек встает с гладильной доски, перелезает через перильца и пробирается к иллюминатору. За окном — белый день, видно море с гребешками воля. Смотрите-ка, «ikke fjord», мы в открытом море, потому-то нас и качает.
— А-а, черт возьми... — ворчит женатый человек.
— Что такое?
— Да опять льет в окно.
— М-м-м...
— Меня всего окатило.
— Так закрой окно, и все тут.
Женатый человек вполголоса изрыгает проклятья и пытается закрыть иллюминатор. Но это не легко сделать без разводного ключа.
— А, черт!
— Что там еще?
— Я насквозь мокрый. Бр-р!
— Отчего?
— В окно хлещет вода.
— Да нет, не хлещет.
— Говорю тебе, хлещет. Прямо в окно.
— М-м-м...
Наконец иллюминатор закрыт и завинчен, правда, человек чуть не вывихнул пальцы и промок, как мышь. Скорее опять под одеяло и подложить под голову спасательный круг!
Страдальческий стон.
— Что с тобой?

— *Пароход качает.*

— М-м-м...

— У меня начинается морская болезнь!

— Да нет.

— Но ведь пароход качает?

— Ничего подобного.

— Так и швыряет!

— М-м-м...

— Неужели ты не чувствуешь качки?

— Совсем не чувствую.

По совести говоря, качка есть, но женщине незачем знать все. Качка даже приятна: сначала вас возносит кверху, мгновенная пауза, пароход потрескивает и плавно опускается. Потом поднимается ваше изголовье...

— Ты все еще не замечаешь качки?

— Ни чуточки!

Очень странно видеть собственные ноги выше головы, у них такой необычный вид.

— А мы не можем утонуть?

— Не-ет.

— *Пожалуйста,* открой окно, я задыхаюсь!

Женатый человек слезает с гладильной доски и снова открывает иллюминатор, едва не поломав при этом пальцы; но ему уже все равно.

— А, ч-черт! — вырывается у него.

— Тебя тоже мутит? — сочувственно спрашивает слабый голос.

— Нет, но в окно брызжет вода. Здесь опять мокро...

С минуту слышны только тяжелые вздохи.

— А здесь глубоко? — осведомляется встревоженный голос.

— Глубоко. Местами около полутора тысяч метров.

— Откуда ты знаешь?

— Читал где-то.

— Полторы тысячи метров. О господи! — Вздохи усиливаются. — Как ты *можешь* спать, когда под нами такая глубина?

— А почему бы мне не спать?

— Но ведь ты не умеешь плавать.

— Умею.

— Но здесь ты обязательно утонешь. Полторы тысячи метров!

— Я могу утонуть и на глубине в пять метров.

— Но не так быстро.

Слышен шепот, словно кто-то молится.

— А нельзя ли нам сойти с парохода?

— Не-ет.

— Неужели ты не чувствуешь, как пароход бросает из стороны в сторону?

— Да-а-а...

— Ужасная буря, а?

— М-м-м...

«Хокон» высоко поднялся на волне и тяжело заскрипел. В коридоре послышались звонки из кают. Ага, кому-то стало дурно. Еще только пять часов утра, и открытое море, — эта часть его называется Фольда, — будет тянуться почти до Рёрвика. Хорошенькое удовольствие!

Вздохи на соседней койке усиливаются, превращаются почти в стоны. Потом вдруг наступает тишина. Встревоженный супруг торопливо встает поглядеть, что случилось. Ничего. Спит как убитая.

Качка на маленьком судне действует усыпляюще. Как в колыбели.

* * *

Ослепительное утро, мы еще в открытом море. Качка стала слабее, но все-таки как-то... В общем, завтракать нет никакой охоты; на свежем воздухе оно лучше.

На палубе, расставив ноги, стоит капитан. Лицо его сияет.

— Сегодня к утру море немного разгулялось, а, капитан?

— Не-ет. Было совсем спокойное.

* * *

И вот опять острова, на этот раз, кажется, рыбачьи острова, воспетые Дууном: голые, округлые, чуть подернутые зеленью скалы. Какое здесь страшное одиночество: приземистый крепкий островок, и на нем единственный домик. Лодка и море, вот и все. Ни дерева, ни соседа, ничего. Только скалы, человек и рыба. Да, здесь не надо воевать, чтобы прослыть героем; для этого достаточно жить и добывать себе пропитание.



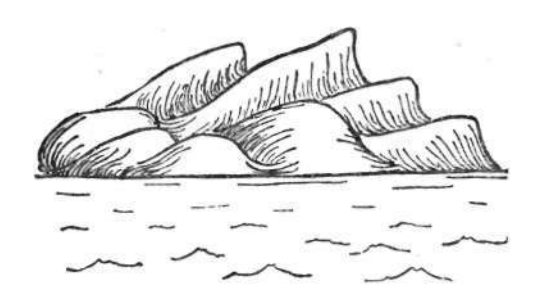
Рёрвик — первый городок на этих островах. Штук двадцать деревянных домиков, из них три гостиницы, десять кофеен и одна редакция местной газеты; десятка два деревьев да стаи сорок. Наш пароход привез туда муку, а мы там крепко сдружились с одним псом. Если вам доведется побывать в Рёрвике, то имейте в виду — это спаниель, и живет он, кажется, на тамошней радиостанции.



Вокруг городка уже совсем пустынно: только камни, ползучая ива и вереск, собственно, даже не вереск, а Empetrum nigrum, или вороника, — кустики с черными горьковатыми ягодами, вроде нашей черники. Среди них пасется безрогий бычок и истошно мычит — похоже на гудок парохода, который просится в море. Я не удивляюсь. Кругом скалы, а где нет скал, там почти бездонные торфяные болота. Всюду торф, и складывают его высокими штабелями для просушки. Это и есть те черные пирамиды, которые я видел на островах, тщетно гадая, что это такое. В торфяниках часто попадаются целые стволы и черные пни: когда-то тут был сплошной лес, но с тех пор прошло уже много тысяч лет. Боже, как летит время!

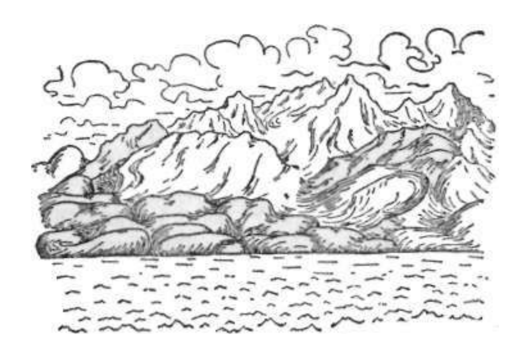
«Хокон Адальстейн» ревет, как бычок на привязи. Ну, ну, мы уже идем! Если же вы и уедете, бросив нас здесь, — тоже ничего, я бы свыкся. Писал бы статейки в здешнюю «avisen» [1], ходил бы гулять в лес тысячелетнего возраста. О чем бы я писал? Да на разные актуальные темы; главным образом о бесконечности, о последних тысячелетиях, о том, что новенького у троллей. Где-то,

[1] газету (*норв.*).



говорят, народы вооружаются и стреляют друг в друга, но это, наверно, неправда. Ведь мы, жители Рёрвика и всего округа Викна, знаем, что человек уважает человека и всегда рад доброму соседу. Вот был тут «Хокон Адальстейн», совсем новенький и уютный пароход, привез тридцать иностранцев из разных стран, и все они были невооружены и не сражались между собой, а мирно покупали открытки и вообще вели себя, как цивилизованные люди. В полдень «Хокон» поднял якоря и продолжал полярный рейс, намереваясь добраться до Бодё и даже до Лофотенских островов. Отважному кораблю счастливого плавания!

Итак, в путь и берегись ледников! Они тут были везде каких-нибудь двести тысяч лет назад и всюду оставили оттиски своих могучих пальцев. Можешь увидеть здесь их метод работы: горы покрупнее ледник оттачивает, придавая им очертания острых граней и пиков; горы поменьше он сглаживает, закругляет или срезает. А когда ему попадался мощный массив, ледник, засучив рукава,



усердно брался за дело: дробил, перемалывал, выдалбливал и пилил, пока среди вершин не возникала глубокая расселина. Отходы он выбрасывал в виде морены, расселину заполнял озерцом и к нему подвешивал водопад. Вот и все. Собственно, это довольно просто и всюду одинаково, и все-таки не наглядишься досыта — до того это красиво и крепко сделано. В этом весь фокус: человеку тоже следовало бы так обтесывать большие и огромные вещи, чтобы они получались острыми и высокими, а вещи маленькие мягко закруглять.

На острове Лека мы видели окаменевшую девушку, которую преследовал своей любовью великан Хестманнёй. В этой легенде, наверно, есть доля правды, потому что тот великан сохранился на острове Хестманнёй. Он тоже каменный и вместе с конем достигает 568 метров. Но там есть и другие скалы, по которым ясно видно, что это — гранитные торосы, наползавшие друг на друга. М-да. Неспокойное тогда было времечко! А на острове Торгет есть гора Торгхаттен, как бы просверленная насквозь, — ее пронизывает громадный коридор, длинный и высокий, как готический храм. Я там побывал и решил, что когда-то это была расселина, которую прикрыло оползнем, так что образовался «потолок». Но если о Торгхаттене есть другая легенда, например, что его продырявили великаны, это тоже может быть правдой, и я готов согласиться.

Остров Торгет населяет около дюжины человек. Все они живут продажей клюквы, лимонада, открыток и морских ежей. Какая-то девушка, прямая и неподвижная, как деревянная статуя, продавала даже красную розочку одну-единственную: видимо, здесь это великая редкость. Помимо всего прочего, из туннеля в горе открывается прекрасный вид по обе стороны Торгхаттена: опаловое море, и в нем голубоватые островки...

— А не обрушится на нас эта скала? — спрашивает боязливое создание.

— Не-ет. Она выдержит еще пару тысяч лет.

— Тогда, *прошу тебя,* пойдем отсюда! Скорее!

* * *

Мы приезжаем в Брённёйсунн и в городок Брённёй, где обитает главным образом вяленая треска. Она сушится на длинных, высоких заборах и воняет беззвучно, с нор-



дическим упорством. И вообще здесь, на севере, мир состоит только из камней, трески и моря.

Мы приближаемся к Полярному кругу.

За Полярным кругом

Право, не знаю, но в ту ночь мне, видимо, просто снилось, что я несколько раз вставал, выглядывал в иллюминатор нашей каюты и видел лунный ландшафт. Это были не настоящие горы и скалы, торчавшие над перламутровым морем, а какая-то странная и страшная местность, вернее всего — приснившаяся.

Да, видно, я спал, а мы тем временем, победно трубя, пересекли Полярный круг. Я слышал сирену «Хокона», но не встал, решив, что не стоит: вероятно, мы просто тонем или зовем на помощь. А утром мы были уже за Полярным кругом. Делать нечего: вот мы и в Заполярье и даже не отметили этого должным образом. Всю жизнь толчешься в умеренном поясе, мечешься в нем, как птица в клетке, а потом проспишь момент, когда пересекаешь его границу!

По правде говоря, первый взгляд на Заполярье принес нам глубокое разочарование. И *это* — полярный пейзаж? Нет, здесь нечестная игра: такого зеленого и благодатного края мы уже не видели после Мольде. Прямоугольники полей, всюду домики, над ними холмы и круглые пригорки, покрытые кудрявой зеленью, а еще выше...

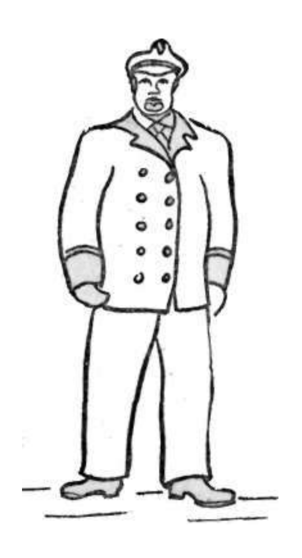
— Штурман, что это такое, синее-синее, вон там свисает, с гор?

Добродушный полярный медведь из Тромсё, который служит рулевым, отвечает:

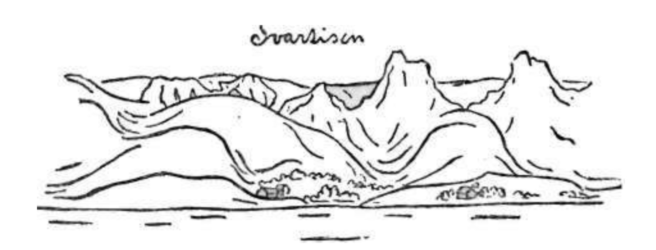
— А-а, это Свартисен [1].

[1] Черный лед (*норв.*).

Ах, Свартисен! А, собственно, что такое Свартисен? Похож на глетчер, но немыслимо синий. И потом глетчер, наверно, не мог бы спуститься так низко, к самым зеленым рощицам.



Вблизи различаешь настоящую березовую рощу, с подосиновиками и подберезовиками, земля вся поросла кустиками вороники с черными ягодками, ползучим можжевельником, пестрым ятрышником, дриадами и золотым крестовником. Дальше начинается голая морена, а за ней самый настоящий глетчер, доползший почти до моря, — огромный язык стекловидного льда, высунутый из фирновых полей, раскинувшихся там, наверху, среди горных хребтов. Толщина глетчера — метров двадцать, состоит он из ледяных глыб, пропастей и узких перемычек — и все это синее, как синька, как купорос, как ультрамарин. Знайте же, потому он и называется Черный лед, что он такой синий, даже глазам больно. Внизу, под ним — синее озерцо среди бирюзовых ледяных торосов.

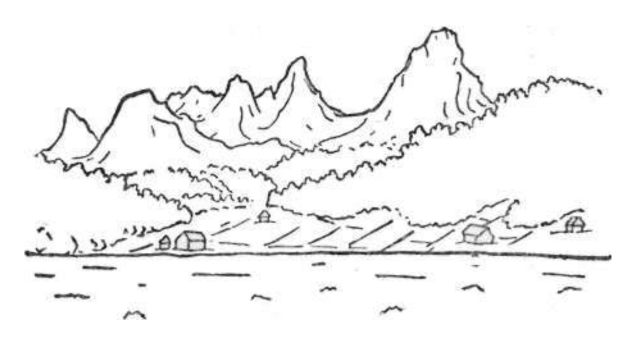


— Не подходи так близко! — слышу я испуганный голос супруги. — А то еще сорвется на тебя...

Солнышко греет, в глетчере что-то потрескивает. У самого его синего подножья цветет прелестная розовая смолевка. Уверяю вас, это выглядит страшно неправдоподобно. Когда-нибудь, вспомнив все, что видел, я сам себе не поверю. Счастье, что мы вообще успели увидеть этот глетчер. Говорят, он все тает, и через двадцать тысяч

лет от него ничего не останется, — так сказал наш штурман. Но будем надеяться, что до того времени наступит новый ледниковый период. Там, в горах, этот глетчер занимает пятьсот квадратных километров. Надо будет потрогать его пальцем, пятьсот километров — это не шутка.

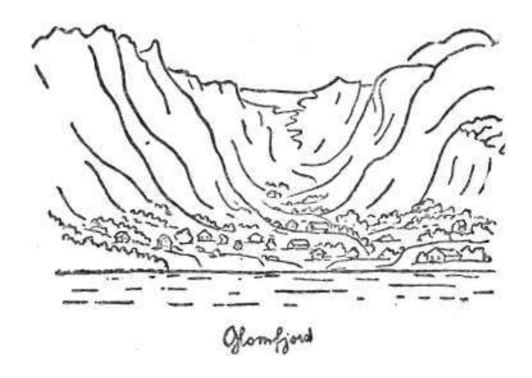
Только издалека видно, как громаден глетчер. Вершины гор, а за ними что-то белое и синее — это Свартисен.



Вон тот гребень — тоже Свартисен, а то, что так ярко блестит, — это тоже все еще Свартисен. Наш пароход приближается к зеленеющим островам Грённа. Трава по пояс, буйная поросль ив, ольхи и осины, на камнях резвятся ласки, короче говоря, типичный полярный пейзаж. А над этими милыми островками, кудрявыми, как зеленые барашки, высится синеватый горный хребет, и за ним металлически поблескивающая полоса: все тот же Свартисен!

* * *

Давно ли маленький школьник учил: «Побережье Северной Европы омывается теплым течением Гольфстрим, берущим свое начало в Мексиканском заливе». Тогда он представлял себе Гольфстрим мощным потоком, который несет к полярным берегам перья попугаев, кокосовые орехи и бог весть что еще. Кокосовых орехов тут, правда, нет, но остальное, в общем-то, верно; и теперь я убедился воочию, что северную Европу согревает теплый Гольфстрим или еще какое-нибудь центральное отопление. Здесь, у Гельголанда, Гольфстриму, видимо, особенно нравится; он медленно течет мимо зеленых берегов и дышит теплом,



почти негой. В других местах, например, в Глом-фьорде, куда мы везли муку и капусту для персонала электростанции, течение как бы затаило дыхание; оттого там такая тихая вода. Мало на свете таких удивительных, безмолвных уголков, как дальний конец глубокого кармана, который называется фьордом. Обычно этот конец очень узок и стиснут отвесными скалами. Это такой же последний рубеж, как оконечность длинного мыса, вытянутого в море; это — последний кусочек моря, вклинившегося в необъятную, суровую и пустынную сушу. Где-то на скале под водопадом еще уместилась электростанция и несколько домиков, — вот и все. А кругом величественная драпировка голых отвесных скал, нависших огромными фестонами, и все это отражается в зеленой воде. Ближе к морю фьорд образует полоску низкого берега. Там видны посевы, там раскинулась деревушка; этот мирный уголок пахнет сеном и треской: тресковой костью здесь удобряют землю.



Слава богу, «Хокон Адальстейн» не везет никакой духовной общины или другого туристского сборища; действительно очень уютный пароходик. Что бы ни происходило в далеком мире, мы здесь все остались горсткой гордых индивидуальностей, без вождя и пастыря. Это заметно по нашему виду. С нами, людьми, еще можно иметь дело, пока каждый сам по себе. Среди пассажиров — норвежский врач с женой, милые тихие люди; еще один норвежец с бровями, густыми, как беличий хвост, и молодой немец — издатель, похожий на Фердинанда Пероутку, с юной супругой — швейцаркой. Затем — другой немец, учитель музыки, — толстый, кудрявый и забавный, и еще один норвежский врач. Все это люди порядочные, с широким кругозором, и в тронхеймском «vinmonopolet'e» они предусмотрительно запаслись на дорогу. Есть еще одна немецкая чета, суетливые, поджарые люди в очках. Муж все время носится по палубе, с пулеметной скоростью фотографируя все подряд. Жена бегает за ним, то и дело сверяясь по карте и справочнику, как называется та или иная гора. Сейчас она, бедняжка, отстала на полтора меридиана. Когда мы приедем на Нордкап, она по своей карте доберется только до Гибостада, и тогда, наверно, вспыхнет семейная ссора.

Кроме того, едут две тщедушные старушки. Не знаю, что им надо на Нордкапе, но в наше время старые дамы встречаются буквально всюду. Когда со временем полковник Этертон или еще кто-нибудь взберется на вершину Эвереста, он наверняка найдет там двух или трех старых дам.

Есть еще один норвежский врач, он едет домой, в Гаммерфест. Это молодой вдовец с прелестным младенцем; он везет к себе на север невесту, девицу, как персик. Врачебная практика там, на севере, нелегка, молодой доктор ездит к больным по Финмаркен на оленьей упряжке или по суннам на своей моторке. Довольно неприятно, рассказывает он, когда полярной ночью, в шторм, в моторке вдруг кончается бензин...

Следующий пассажир — так называемый «машинист», пожилой мужчина, который много лет прослужил судовым машинистом на пароходах, ходивших на Нордкап; теперь он работает где-то на берегу, на электростанции, и едет в отпуск, чтобы взглянуть на этот свой Нордкап. От самого Тронхейма он еще не просыпался, и его сосед

по каюте, учитель музыки, утверждает, что машинист беспробудно пьет: хлещет чистый спирт и прочее в этом роде.

Едут с нами еще пять норвежек, не то учительниц, не то почтовых служащих. Они, правда, держатся вместе, но вполне безвредны, поскольку не составляют на пароходе большинства.

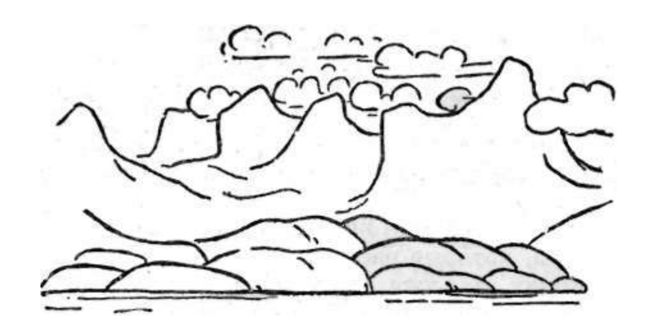
И, наконец, стайка норвежских скаутов, длинноногих балбесов, которые раскинули свой стан на носу парохода. Сегодня их уже меньше, чем вчера, — наверно, ночью часть из них поп*а*дала за борт. На Лофотене они вообще исчезли.

* * *

В Мелёйсунне машинист, почивавший па палубе в плетеном кресле, проснулся и безнадежно влюбился в юную швейцарку; он смотрит на нее тяжелым затуманенным взором и проявляет явные признаки протрезвления.

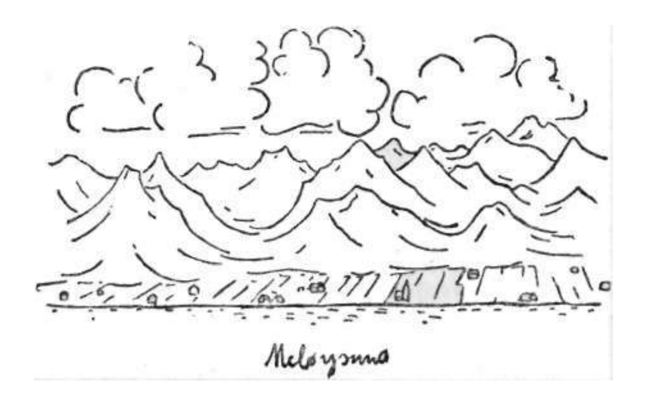
Тем временем мимо нас дефилируют горы во всей своей красе; здесь — сверкающие как диадемы, там — мрачные, насупившиеся. Одни стоят одиноко, — видно, что они крайние индивидуалисты, другие взялись за руки и довольны тем, что составляют горный хребет. У каждой свое лицо и свой образ мыслей. Говорю вам,

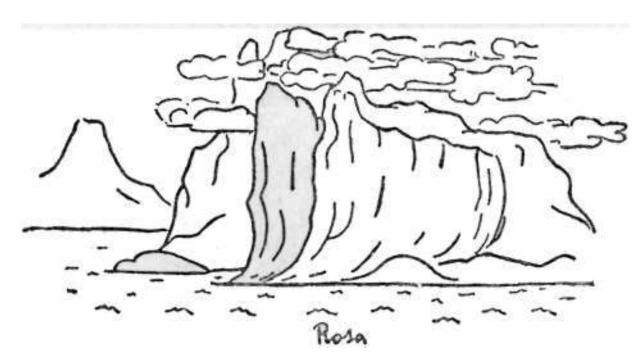




природа — ярый индивидуалист; всем своим творениям она придает индивидуальные черты; но мы, люди, не понимаем этого. Хорошо еще, что каждой горе мы даем имя, как и человеку. Вещи просто существуют, и все, — в то время как индивидуум обладает собственным именем. Вон ту гору зовут Рота, ту — Сандгорн и так далее. У гор, кораблей, людей, собак и заливов есть имена; уже одно это означает, что они индивидуальны.

Чуть подальше города Бодё есть скала по имени Ландегоде, такая симметричная, что похожа на декорацию. Но все же она, по-видимому, настоящая. Люди показывали ее друг другу и утверждали, что за ней видны очертания Лофотена. Бедняжка Ландегоде была так красива — синяя на фоне золотого неба и перламутрово-золотистого моря, — что выглядела даже несолидно. Солидная гора





не должна быть такой красивой, это как-то ... ну, не мужественно, что ли.

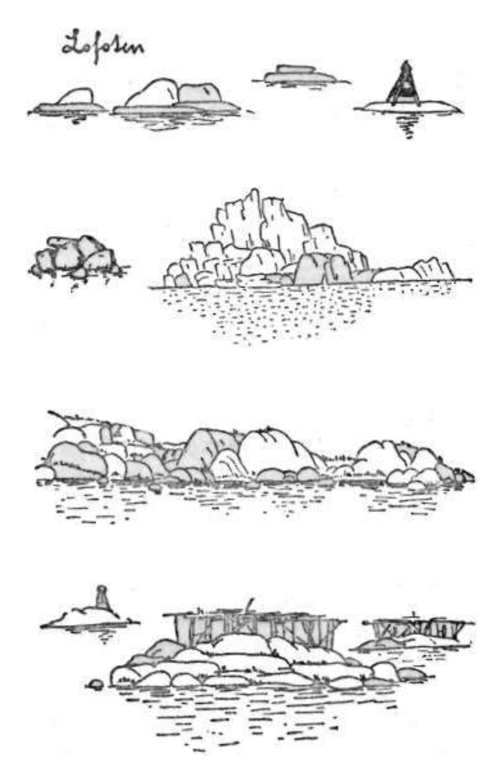
— Да, — изрек штурман. — Как раз тут в прошлом году пошел ко дну один пароход...

Лофотен

Не надо отнимать у неодушевленных предметов того, что принадлежит им по праву: правильно будет говорить Лофотен, а не Лофотены, хотя ото целый архипелаг, не считая мелких островков, утесов, рифов и отдельных камней, щедро рассеянных в море. Сами понимаете, если в Норвегии насчитывается больше ста пятидесяти тысяч островов, их нельзя не заметить.

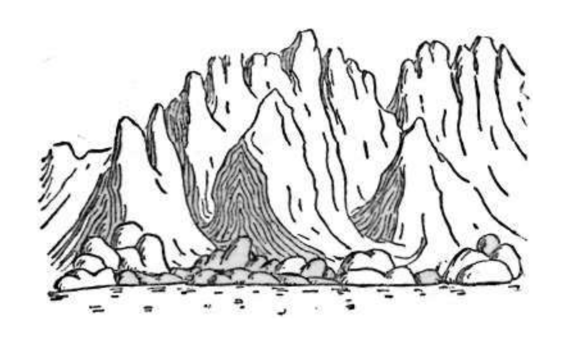
Взгляните утром из иллюминатора на Лофотен — и вашему изумленному взору прежде всего предстанет бесчисленное множество камней самой различной формы. Они совершенно голые и отливают золотисто-коричневым цветом на опалово-молочной водной глади; местами у них из-под мышек торчат пучки жесткой травы; округлые валуны, отполированные прибоем, острые шпили утесов, истонченные ветром, целые агрегаты камней, табуны скал, утесы-одиночки. Кое-где видны маяки или сигнальные вышки, кое-где каркасы из длинных жердей, — видимо, для сушки трески, — вот что такое Лофотен. А когда выйдешь на палубу, чтобы осмотреться получше, увидишь — из этого каменного кружева взметнулся в небо букет гор.

Букет гор — иначе но скажешь. Тут-то и видно, что мир цвел гранитом еще прежде, чем расцвести черемухой



и сиренью. «И сказал бог: да соберется вода, которая под небом, в одно место и да явится суша. И стало так. И назвал бог сушу землею, а собрание вод назвал морями. И увидел бог, что это хорошо».

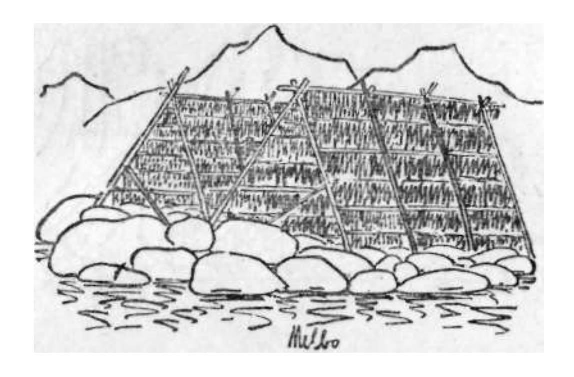
И даже очень хорошо, прямо-таки великолепно! На Лофотене, однако, возникла не одна суша, а довольно много, и бог назвал их Мускенесёйя, Флакстадёй, Вествогёй и многими другими именами и наделил их особой силой. И начали на тех клочках суши произрастать камни и скалы, да в таком изобилии, как нигде на свете. А потом стали расти горы, как деревья в лесу. Гранита тут хватало, так что они могли расти как на дрожжах. И они вырастают прямо из воды — одни раскидистые, как ясени, дубы или вязы, другие высокие и прямые, как ели, березы или тополя. Так и вырос сад гор, который называется Лофотен; и было это хорошо. Говорят — «голая скала»,



но эти места скорее назовешь пышными, обильными, буйно цветущими скалами. Что и говорить, если хочешь достичь совершенства, нечего жалеть материала, а без богатой фантазии не сотворишь даже гор. Побывайте на Лофотене и вы убедитесь, что можно сделать из любого материала, даже такого тяжелого, как гранит, гнейс, слюда и горный сланец.

Что касается людей, то они, очевидно, не могут прокормиться камнями и потому находят свое пропитание в том скоплении воды, которое бог назвал морем; и ловят лосося, морскую форель, а главное, треску. В какой бы городок мы ни заходили — в Бальстад, Лекнес, Стамсунн, Хеннингсвер или Кабельвог, всюду была деревянная пристань на сваях, где наш пароход, деловито грохоча лебедкой, выгружал плоды юга: капусту, муку, цемент и красный кирпич; взамен он получал бочки с треской, ящики с треской, бочонки с треской и сотни связок сушеной трески. Треска просто нанизана на веревку и напоминает хворост или пучки какой-то высохшей, покоробленной, сухо шелестящей коры. Только по резкому запаху можно догадаться, что это нечто съедобное.

Около каждой такой пристани теснится дюжина деревянных домиков, из них — девять кофеен, по здешнему «kaffestue», одна почта, две лавки, торгующие жестяной посудой, конфетами и табаком, и одна редакция местной «avisen». Все остальное (кроме телеграфных столбов и скал) — это треска, висящая на длинных жердях, планках и стояках, пахнущая протухшим рыбьим клеем и тихо шуршащая на северном ветерке. Хотел бы я побольше узнать о жизни рыбаков Лофотена, однако в это время года они, видимо, заняты только тем, что



сушат треску, наловленную весной. Но говорю вам: это трудная и героическая жизнь.

Есть поселки, вроде Мельбо (хотя это уже на архипелаге Вестеролен), где стояки для сушки трески — самые высокие постройки. Это прямо-таки тресковые соборы, — вместо органа гудят мириады мух, а вонь от трески поднимается к небесам, как фимиам Севера. А вокруг них вызывающе скалятся с земли сотни тысяч отрезанных и высохших рыбьих голов. Там же, в Мельбо, есть мост через зеленую морскую бухточку, которая служит местом свалки; путешественник может долго стоять на мосту, сплевывая в воду, и разглядывать на дне старые консервные банки, дохлых кошек, морские звезды, водоросли, битые горшки, ободья, черепки и всякую дрянь; все это как-то нематериально серебрится и голубеет, волшебно поблескивая в зеленой глубине. Кроме того, там, в иле, лениво ворочался морской черт и торчала, прямо и одиноко, нераскупоренная бутылка пива. То ли ее поставил водолаз, то ли морской бог...

А пока пароход сгружает муку для Лофотена, путешественник может сойти на берег и пройтись, например, из Кабельвога в Свульвер; тогда за скалистой и голой прибрежной полосой он обнаружит зеленый альпийский пейзаж с пастбищами и зарослями ольхи и осины. Возле каждого деревянного домика — садик, где горделиво, почти патетически цветут борец и дельфиниум, а в каждом окошке — карминно-алая герань и крупные пурпурные бегонии — какой праздник цветов, здесь, за Полярным кругом! Путник найдет и тихий заливчик, где он выкупается и позагорает, — на шестьдесят восьмой парал-

лели! — потом, изрядно посинев, будет уверять, что купанье было восхитительное. Местные жители пригласят его в свою хижину, где он, стуча зубами, оденется среди рыбачьих сетей. Обнаружив по дороге парничок, в котором цветут шпалерные розы и дозревают помидоры, он пускается в дальнейшее плавание — скажем, в Бреттеснес. Зачем? Да так, просто везем туда муку. Тамошние жители явятся поглазеть на нас, местные красавицы будут прогуливаться на пристани, а двое или трое наиболее предприимчивых молодых людей поднимутся на борт «Хокона» и с видом знатоков осмотрят весь пароход. Так делают всюду, видимо, это составляет часть обычных церемоний и развлечений севера. И почти на каждой пристани нас встречает косматый серый пес; он пробирается на палубу и ложится у наших ног; и когда пароход дает уже третий гудок, штурману приходится брать животное за шиворот и выкидывать с парохода. Может показаться, что это один и тот же пес, и всякий раз, подходя к причалу, мы уже с нетерпением ждем, встретит ли нас, помахивая пушистым хвостом, «наша собачка».

Ну, прощай, песик, мы отправляемся дальше. А вот и Рафтсунн — спокойный, светлый пролив между отвесными горами; наш путь лежит вдоль шпалер глетчеров, мимо пиков и обрывов, мимо бастионов морен и нагромождения оползней, — словно мы направляемся на богомолье по аллее, образуемой горами. Этим бы путем доплыть до королевского замка на Ультима Туле, но рейсы здесь только до Мельбо. Теперь безразлично, куда мы плывем, — каждая пристань всего лишь станция реальности на пути, который весь — сновидение. И когда скользишь по Рафтсунну, кажется, будто не доплывешь никуда, а просто растаешь в воздухе, вместе с пароходом, превратишься в свое бесплотное отражение. Тогда люди в Мельбо и Стокмаркнесе спросят — что же это не пришел сегодня «Хокон Адальстейн»? Да вот не пришел, скорее всего, от восхищения растворился в воздухе, стал призраком. В Ультима Туле это порой приключается.

Всюду на земле бывают полуденные часы, когда все кажется плоским, трезвым, каким-то неинтересным, — видимо, потому, что солнце стоит высоко и дает лишь короткие тени; это лишает предметы их настоящей объемности. Здесь, на севере, другое дело. Солнце здесь все время стоит низко над горизонтом, тени длинны и богаты,

они обрисовывают вещи так, как у нас на склоне дня; как у нас в те волшебные предзакатные часы, когда на все ложится золотистый отсвет, тени растут, и все предметы как бы отступают вдаль, и очертания их становятся тоньше и рельефнее, чем в белых, отвесных дневных лучах. И видит тогда человек каждую драгоценную черточку на лице земли, только облагороженную расстоянием, и оттого еще более прекрасную. Полярный день обладает мягкостью наших предвечерних часов. Если бы я мог выбирать, я сказал бы: мне, пожалуйста, дайте северный свет!

«Хокон Адальстейн» вдруг поворачивает и берет курс прямо на гряду скал; только в последний момент там обнаруживается узкий проход между отвесными стенами, и судно входит в тихие воды, недвижные, как зеркало. Это Залив гномов, или Троль-фьорд, и название очень ему подходит. Если обратиться к описанию, которое дает нам специалист, то Троль-фьорд — «...en viden kjent fjord trang med veldige tinder pa begge sider» [1], «Begge sider», видимо, означает «с обеих сторон», а «veldige tinder» скорее всего — «крутые скалы». И действительно, по обе стороны высятся скалистые стены, но удивительно не это, а то, что человек там совершенно не в силах разобрать, где верх, где низ, так четко отражаются все предметы в немых и бездонных водах. Судно скользит бесшумно, как привидение, словно ему самому боязно; оно как бы парит по узкой полоске неба среди отвесных стен, которые исчезают в безднах неба и вод. И где-то в невероятной вышине открывается голубой фьорд небес. Не знаю, но, верно, так же вот выглядит загробный мир: там тоже все парит в бесконечности и нереальности, и человеку там должно быть очень жутко.

* * *

Чтобы вы не придирались, прибавлю, в виде довеска к Лофотену, еще весь Вестеролен. Это тоже архипелаг, но он как-то не успел обособиться: например, часть острова Хиннёйя причисляют к Лофотену, другую половину — к Вестеролену. То же самое с островом Эствогёй.

---

[1] ...известный фьорд, узкий коридор пролива с двух сторон огражден отвесными скалами (*норв.*).

Я бы на их месте предпочел Лофотен, но, разумеется, не намерен вмешиваться в их личные дела.

Вестеролен изобилует тучами и сушеной треской. Пока мы там плыли, как раз выводились молодые тучки. Это происходит так: сначала из скалистого ущелья поднимается клуб тумана. Он бодро карабкается все выше и закрепляется на вершине горы. Там он некоторое время развевается, как флаг, полощется, развертывается, потом отрывается от горы и трогается в путь, чтобы окропить дождем стальную равнину моря. В это время наши метеорологические станции отмечают «приближение облачности с севера».

Иной раз, наоборот, плывет по небу белое облачко, зацепится за край горы, и ни с места. Оно силится как может, хочет вырваться, но, видно, застряло прочно. И вот облачко начинает опадать, съеживаться и понемногу опускается, ложится на гору тяжелой периной, стекает по ней, как сметана или густая каша, все хиреет, слабеет и, наконец, обессилев, расплывается клочками тумана. Вот что случается, если не убережешься и заденешь за вершину горы! Но в лоне гор эти клочки тумана опять собираются с силами, начинают энергично карабкаться вверх... и так далее, начинай сказку сначала. Так на Вестеролене, в Исландии, Гренландии и в других местах вырабатываются облака.

* * *

В Мельбо пассажир, именуемый «машинистом», снова запил, на сей раз с тоски. По-моему, причиной была хорошенькая швейцарка. До самого Стокмаркнеса он пил чистый спирт и уже где-то возле Сортланна упился до бесчувствия. Немец, учитель музыки, его сосед по каюте, заботливо укрыл машиниста и всю ночь трогательно наблюдал, жив ли попутчик. Я сказал «всю ночь», но никакой ночи не было. Только около полуночи стало как-то смутно и странно, даже на сердце похолодело. Пассажиры притихли, весельчак немец со слезами на глазах заговорил о смерти своей матушки, но тут же снова наступил светлый день. Что делать? Мы пошли спать, сами не зная почему.

И вдруг — бац!

— Ты слышал удар?

— М-м-м... — мычит женатый человек.
— Мы столкнулись с чем-то?
— Не-ет...
— Что же это грохнуло?
— ...Может быть, у нас лопнула шина?

Но это оказалась не шина. Это китобойное судно, недалеко от нас, выстрелило в кита из гарпунной пушки. Не повезло нам, — могли бы увидеть!

Троис

— Litt bagbord! [1] — отдает приказ малорослый офицерик на мостике.

— Litt bagbord! — повторяет рулевой, поворачивая штурвал.

— Hårt bagbord! [2]
— Hårt bagbord!
— Stödig! [3]
— Stödig!

Вон там, налево, — Тронденес Кирке, старейшая каменная церковка края, до сих пор обнесенная валом.



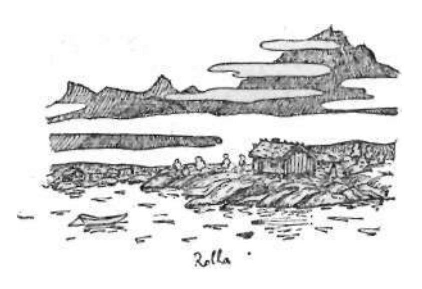
Серый ненастный день, серое море с белыми гребнями волн; временами брызжет холодный дождь. Внизу, в каюте, храпит «машинист», он не просыпается уже вторые сутки; толстый учитель немец весь извелся от заботы. Он, правда, не знает ни слова по-норвежски, а «машинист» от самого Тронхейма был не в состоянии произнести ни звука. Ио когда люди живут вместе, не останешься же безучастным к человеку, черт возьми!

— Litt styrbord! [4]
— Litt styrbord!
— Stödig!

---

[1] Немного влево! (*норв.*).
[2] Круто влево! (*норв.*).
[3] Так держать! (*норв.*).
[4] Немного вправо! (*норв.*).

— Stödig! — повторяет человек у штурвала и голубыми глазами глядит на молочный горизонт.



Тучи поднимаются, будет хороший день. Вон та мокрая серая пристань — это Ролла. Сплошной туман, камень и треска, а сверху горы, сплошные горы и тучи. Сгрузим муку в Ролле и поедем дальше, смотреть на другие тучи. Черт побери, здесь, на наветренной стороне, пронизывает до костей.

— Капитан, что показывает барометр?

— Падает.

— Это плохо, а?

— Не-е-ет, хорошо. Будет западный ветер.

Посмотри, — в зеленой полутьме под мостиком пристани колышутся радужные медузы, подобные громадным комьям слизи. Золотые и багровые морские звезды расправляют свои жесткие лучи. А сколько тут роится рыбок! И эти непрестанные мерцающие переливы отражений в воде... Правда, здесь холодно; но разве не видишь ты, какая прекрасная печаль разлита кругом?

Вдруг хлынул ливень, завесив море и скалы серебристой тканью. От мокрых досок под солнечными лучами поднимается пар, радуга раскидывает свою дугу от моря до гор, снова проморосил светлый дождик — наступает нежный сияющий день.

Штурман везет нас, чтобы показать Тромс, его родной край.

— Да-а, Тромс... — бормочет молодой гигант. — Вы мне потом скажете, так ли красиво у вас на юге...

И он везет нас в горы, по длинной долине, среди березок и леса, мимо журчащих ручейков и деревянных хижин, крытых дерном. Озерца в березовых рощах, полные голубоватых форелей, ручейки, прячущиеся под скалами, завалы, следы каменных лавин, давно заросшие лесом, бурый торфяник





с кустиками клюквы и брусники, папоротник, багульник, заросли голубой ивы... Да, прав штурман. Темное озеро на дне долины, по бурым камням каскадами сбегает серебристо-зеленая река, с гор свисают белые вуали водопадов. Прав штурман!

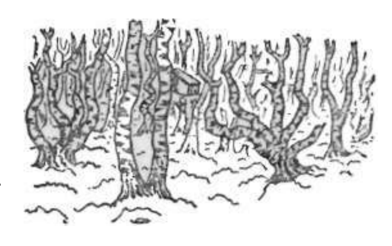
За коричневой деревней — круглые хижины из дерна. Здесь живут лопари, которых мы видим впервые. Хоть они и оседлые, но какая же у них нищета! Пропасть ребятишек, все рахитичные и пугливые, как летучие мыши. Каркас хижины сделан из жердей, он покрывается дерном, и все это подпирается камнями и палками. Сверху вставляется жестяная труба, и жилище готово. И помещается в нем не меньше дюжины человек. Как лопари добывают себе пропитание, не знаю, но они не попрошайничают и не воруют. Среди них немало русых и светлоглазых, но по глазам и скулам видно: это уже совсем другая раса.

Штурман прав: бесконечен северный лес, даже если это всего лишь искривленные корявые березы, белые стволы которых смахивают на привидения; даже если это только редкие, узловатые сосны, только низкий ольшаник и ивняк, только пни и обломки того, что когда-то было лесом, пока здесь не появился человек, лавина или еще какое-нибудь бедствие. Собственно, это скорее тундра, чем лес. Тут такой тонкий слой земли, что даже телеграфные столбы не держатся в ней и приходится укреплять их каменной кладкой.

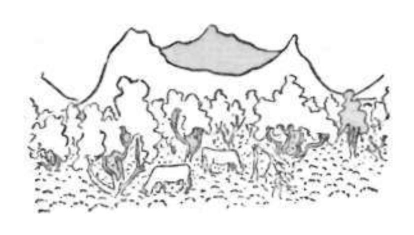


На мили кругом (я считаю, конечно, в морских милях) не найдешь человеческого жилья, если не считать жалких лопарских хижин. И все-таки на краю тундры висит на березовом пне почтовый ящик! Знал бы я, кто вынимает из него почту, я послал бы этому человеку поздравление

к рождеству и открытки с видами разных городов и стран; пусть бы все это попало в одинокий почтовый ящик в северном лесу...



В горах нет трески, которую можно было бы сушить, поэтому здесь сушат торф, разложив его на длинных стеллажах. Все это я нарисовал, — пусть все видят, что наш штурман прав и Тромс в самом деле красивейшая местность в мире. Нарисовал я и безрогих коровок, что пасутся в березняке, на колючей траве, а вот изобразить Бардуфосс не сумел. Он слишком велик, и я не знаю, как надо рисовать водопад, чтобы у зрителя при виде его закружилась голова и неодолимо захотелось прыгнуть в эту неистовую, кипящую, вспененную воду... Вместо этого я нарисовал долину Мольсельв с тихой, похожей на озеро рекой, через которую мы переправились на пароме; снег в горах был розовый, сами горы богато позлащены, а долина Мольсельв играла синими, зелеными и золотыми красками... Нет, штурман прав, en herlig tur [1].



А еще я нарисовал норвежские домики в Бардудале и Мольсельвдале. Как видите, часть их стоит на сваях, другая на циклопическом фундаменте — верно, для защиты от снега и воды. Домики сложены из бревен и досок, причем горизонтальная кладка чередуется с вертикальной — это придает норвежским избам очень своеобразный вид. Красивые резные наличники, окна заставлены цветами, а вместо крыши — мохнатая шапка из мха, травы, ивовых кустиков, а иногда даже березок и елочек. Решительно, штурман прав!



[1] великолепное путешествие (*норв.*).



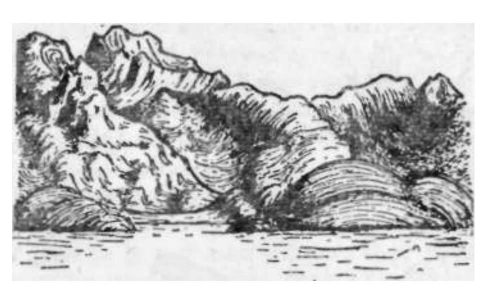
— Да, — гудит молодой гигант, — вот погодите, увидите Тромсё... [1]

В Тромсё у него жена.

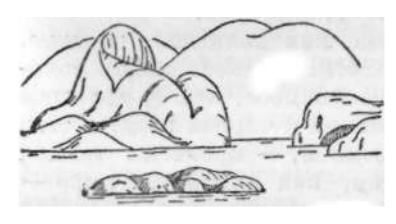
Сунны и фьорды

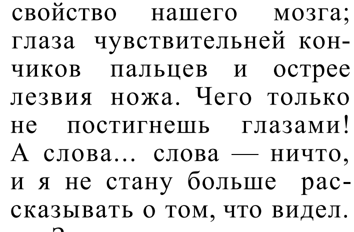
Я знаю, словами этого не опишешь. Словами можно говорить о любви или о полевых цветах, но не о скалах. Разве можно описать пером контуры или форму горы?

[1] Тромсё, называемый Северным Парижем, — главный город округа Тромс. Десять тысяч населения, резиденция «vinmonopolet'a», епископа и охотников за тюленями. Кроме того, Тромсё достопримечателен музеем, красивыми окрестностями и тем, что он лежит на семидесятой параллели. Здесь процветает торговля открытками, шоколадом, лопарскими чувяками, табаком и мехами. Мне предложили купить в качестве сувенира свежую голову моржа, но она была слишком велика и страшно воняла. Улицы Тромсё оживлены группками лопарей в национальных костюмах, а также чучелами белых медведей. Больше ничего я о Тромсё не знаю, кроме разве того, что оттуда вылетел с французскими летчиками Амундсен в свой последний полет на север. В честь этого у самой пристани стоит небольшой памятник. (*Прим. автора.*)



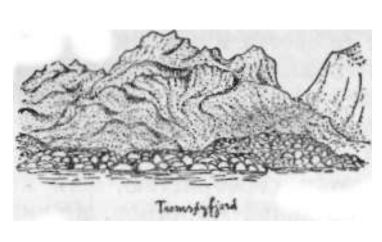
Я знаю, обычно говорят: «фантастические очертания», «дикие гребни гор», «мощные массивы» и так далее, но все это не то. Говорить или писать — это не то, что провести пальцем по горному хребту, потрогать самые высокие пики, с удовольствием ощупать их грани, изломы, впадины. Словами не ощупаешь, как рукой, ответвления гор, их костлявый хребет, крепкие члены и сухожилия, могучие шеи и плечи, бедра и зады, колени и ступни, суставы и мышцы... Боже, какая анатомия, какая красота! Что за великолепные животные — эти лысые горы! Да, все это можно увидеть, ощупать глазами, ибо зрение — божественный инструмент, лучшее

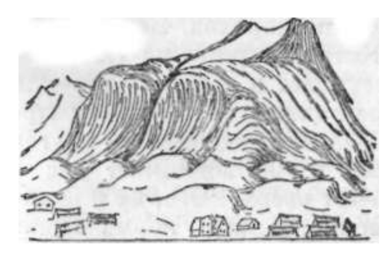


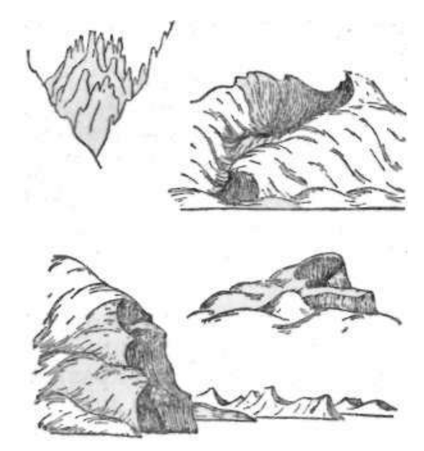


свойство нашего мозга; глаза чувствительней кончиков пальцев и острее лезвия ножа. Чего только не постигнешь глазами! А слова... слова — ничто, и я не стану больше рассказывать о том, что видел.

Застывшими пальцами пытался я нарисовать увиденное; пусть дует ветер, — мне нужно рисовать одну гору за другой. И вот эту, такую коренастую, всю словно слепленную из мышц, похожую на отдыхающего зверя. И вон ту, светлую, словно насыпанную из песка, — нет, правда, как будто взяли и сгребли лопатой в кучу все оползни, или вон ту, что напоминает фараонов трон — подлокотники из морен, спинка из глетчера.







И ту, выточенную и высверленную в форме жерла вулкана, и обкусанную,, как краюха, и ощетинившуюся сланцевыми иглами... и бог весть какие еще! Будь я геолог — знал бы, по крайней мере, как все они возникли.

Шмыгая озябшим носом над своей тетрадью, торчал я на наветренной стороне парохода, а потом растирал замерзшие руки на подветренной стороне, стараясь не упустить ни одной горы. Но что поделаешь, все-таки получается не то. Ведь воздух и краски не нарисуешь, придется изобразить их словами или еще как-нибудь.

Были там тени, прозрачные, как халцедон, гладкие, как металл, длинные, как полотнища; косо падал золотистый солнечный свет на переменчивое, ясное, атласное море, пронизывая голубой, звонкий и чистый воздух; там, где море соприкасается с землей, — пролегла тонкая серебряная черта, сверкающая, как ртуть. А море — его не изобразишь ни словом, ни карандашом.

Открытый океан неописуем. То он совершенно синь, как индиго, то промозгло сер, то светел и ясен, как опал. Его бороздят белые гребни прилива, он топорщится короткими зубчатыми волнами, или по нему перекатываются длинные, тяжелые валы. Но все это, говорю вам, ничто по сравнению с водами норвежских суннов. Здесь море подернуто рябью, мелкою и серебристою, как на горном озере. Но стоит обогнуть какой-то остров, и сунн становится серый, как свинец, а длинные волны с белыми космами передают друг другу наш пароход. Вон та волна на горизонте — ух, какая! Катится прямо на «Хокона», собирает все силы, шумит, вскипает и с ревом устремляется на нас. Но она плохо рассчитала — «Хокон» разрезал ее, лишь слегка дрогнув. За ней поднимается другая, проваливается под нос корабля и уже поднимает нас на плечи; чувствуешь, как нас несет вверх?! Ого, ну и волна! Так, а теперь мы проваливаемся, а наша корма подни-

мается; интересно, докуда она долезет? Корма на мгновение замерла в нерешительности; затем — треск, гул, и «Хокон» плавно качнулся — одновременно с боку на бок и от кормы к носу. Брызги взлетели до самой палубы; а путешественник держится за поручни и готов кричать от радости: вот это здорово, ах, как здорово!

Внимание, внимание, вот еще волна, уже совсем другая: у нее белые когти, она пригнулась, изготовилась к прыжку... и вдруг пропала у нас под килем. Э-э, нет, не пропала, вон она как за нас взялась! Нос «Хокона», задравшись, летит кверху и... и что будет дальше? Ничего. Пароход плавно и легко соскальзывает с волны, с удовольствием похрустывая суставами. А сейчас мы снова в тихом месте, за островом. Только короткие волны неприятно сотрясают пароход. Поперек сунна трепещет серебряная полоса. Мы внезапно словно очутились на спокойном, чуть волнующемся озере, где тысячами мелких мерцающих бликов отражаются золотые и синие скалы и белые снега на вершинах. Сунн суживается, становится просто дорожкой среди скал; вода здесь какая-то совсем ненастоящая: густо-зеленая, гладкая, как масло, тихая, как сон. Боишься дохнуть, чтобы не всколыхнуть ее, не стереть это изумительно четкое отражение гор. Только за кормой тянется великолепный павлиний хвост вспененной воды. Потом горы расступаются, и вокруг образуется широкая, светлая водная гладь, как будто вместившая в себя все необъятное небо; вода здесь — вся в шелковых складках, и от этого сильнее блестит, отсвечивает перламутром и кажется маслянисто-мягкой. В ней, чуть вздрагивая, колеблются отражения золотых и аметистовых ожерелий гор... Боже, как передать все это? Но это еще не самое изумительное, ведь сунн — всего лишь сунн, а вот фьорд... Это, как бы сказать... Фьорд — это нечто неземное, его не нарисуешь, не опишешь, не изобразишь игрой на скрипке. Нет, увольте, друзья! Разве могу я описывать неземное? Одним словом — скалы, скалы, внизу водная гладь, которая все отражает; вот и все... На скалах лежит вечный снег и висят, как вуали, водопады. А вода прозрачна и зелена, как изумруд, или бог весть что еще, спокойна, как смерть или бесконечность, и страшна, как Млечный Путь; а горы вообще нереальны, потому что они стоят не на берегу, а на собственном бездонном отражении. Говорил же я вам, все это — просто мираж!

В часы, когда в реальном мире наступает вечер, здесь от воды поднимается тонкая и ровная пелена тумана, и над ней выступают пики и хребты, словно сгустки космических туманностей. Ну вот, не говорил ли я, что это потусторонний мир! И мы вовсе не на «Хоконе Адальстейне», а на призрачном корабле, который бесшумно скользит в царстве теней. Сейчас — нулевой час, который на планете Земля называется полночь, но в нашем призрачном мире нет ни ночи, ни времени. Я видел полуночную радугу, протянувшуюся между берегами. Золотой теплый закат отражался в море морозным рассветом; я видел, как в трепетном сиянии вод сливались утренняя и вечерняя заря и серебряный гребень солнца прочесывал искристую гладь моря. Вот на воде нестерпимо заблистали сверкающие тропинки морских богов, и настал день. Покойной ночи, покойной ночи, ибо уже день, — первый час. Горы задернулись солнечной пеленой, на севере светлеет широкий сунн, плещет студеное море, и последний пассажир на палубе, поеживаясь, берется за новую книжку.

Пристани и остановки

Чуть не забыл о пристанях; впрочем, здесь их почти и нет, разве только Люнгсейдет и Скьервей и еще одна какая-то, не помню названия, там еще цвела масса дикого шпорника, плакун-травы, осота и глухой крапивы; в общем, это неважно. В Люнгсейдете, среди развешанных для просушки рыбацких сетей, стоит белая деревянная церковка и множество двуколок для туристов, а немного подальше, в зеленой долине — стойбище настоящих лапландских кочевников. С наступлением туристского сезона они перебираются сюда и живут своей обычной полудикой жизнью: доят оленей, колдуют и продают туристам ножи с рукояткой из оленьего рога, лопарские чувяки, вышивки и северных собак. Живут лопари, насколько мне известно главным об-



разом тем, что бродят по Нарвику, Тромсё или Гаммерфесту в своих красочных национальных костюмах (узкие штаны, остроносые лапти, перехваченная поясом куртка и красный хохол на шапке) и продают иностранцам деревянные ложки, меха и оленьи рога, а также тем, что, обитая в своих чумах, позволяют себя фотографировать. В основном лопари — племя очень скромное, малорослое и вырождающееся. И у них изумительно точный, поистине дикарский слух.





— Чапек, поди сюда, погляди на этого соплячка! — окликнули меня по-чешски.

— Чапек, поди сюда, погляди на этого соплячка! — отчетливо и безупречно повторила по-чешски ухмыляющаяся лопарка.

— Чапек, — пробормотал сморщенный старик, — поди сюда, погляди на этого соплячка, Чапек! Чапек!

— Чапек! — загалдело все стойбище.

— Ты слышишь, Карел? — изумилась жена.

— Ты слышишь, Карел? — обрадованно повторило стойбище.

— Чапек, поди сюда, погляди на этого соплячка!

— Чапек! Чапек!

— Вот черти! — вслух удивился я.

Старая лопарка серьезно закивала головой.

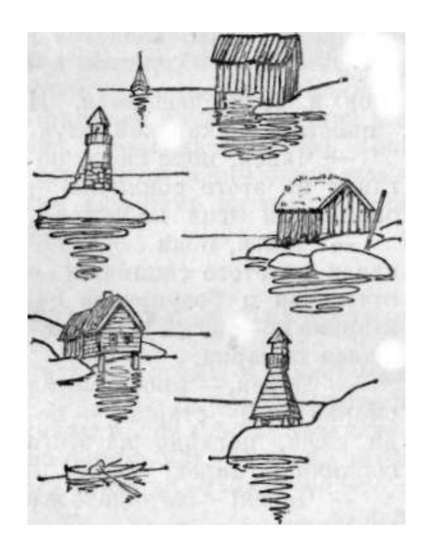
— Вот черти, — сказала она. — Ты

слышишь, Карел? Чапек, поди сюда, погляди на этого соплячка!

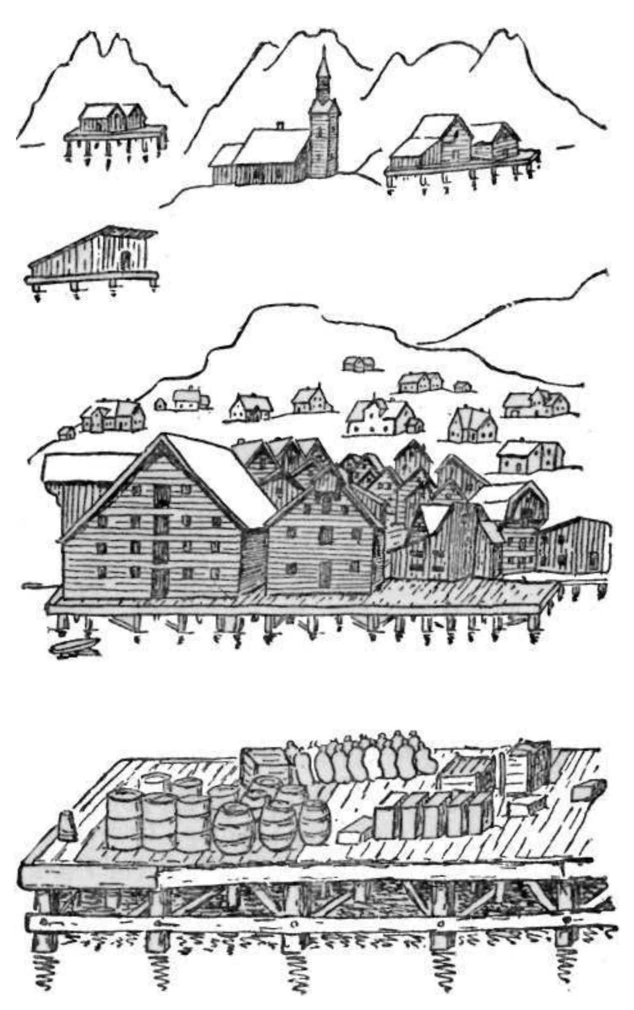
(Этого соплячка я нарисовал. К сожалению, он не продавался.)

* * *

Так вот, чтобы не забыть о пристанях: все они похожи друг на друга и отличаются только размерами. Иногда это всего лишь деревянный сарайчик да одна-две рыбачьи хижины, серые и коричневые, как те камни, на которых они стоят. В других местах около пристани и приземистых складов раскинулся целый деревянный поселок: один «hotelet» [1], девять «kaffistue», два или. три «forretningen» [2] со всяческим товаром, одна редакция и иногда одна церковь. Днем это ничем не примечательный поселок, скучный, чистый и какой-то заброшенный. Но когда пароход встает на якорь (вернее, когда пришвартуется к причалу) в «нулевой час», в первом или во втором часу ночи, — тебя захватывает странное и своеобразное очарование. Все заперто, но дети играют возле пристани, парни и девушки прогуливаются по главной улице, и местный цвет общества топчется на «brygge», чтобы побеседовать с нашим капитаном или штурманом о мировых проблемах и прочих новостях. Видно, в призрачном свете этой летней ночи никому не хочется спать. И тут вдруг вспоминаешь, что ведь зимой-то над этой горсткой чистых деревянных домиков неделями и месяцами царит полярная ночь. А сейчас у них нескончаемый день, и они упиваются им; подобно ненасытным кутилам, они ловят каждую возможность продлить отрадное бодрствование.



[1] отель (*норв.*).
[2] магазина (*норв.*).



Что касается влюбленных парочек, то они, наверное, ходят на свидания за ближайшую тучу, поскольку ни сумерек, ни лесочков здесь нет...

И тогда уже с большим пониманием глядишь на ладный деревянный поселок, который ни за что не хочет идти бай-бай, и теплее становится на сердце, когда подумаешь, что и ты помог привезти для этих людей капусту, солонину и приятное волнение.

Уж если речь зашла о пристанях, не забудем и о маячках, бакенах и всяких других сигнальных устройствах, среди которых, как по сплошной аллее, пролегал наш фарватер. Пока длится белая ночь, они не мигают своими белыми или красными огоньками. Но честь вам и слава за то, что вы светите кораблям и людям темной зимней ночью. Привет тебе, одинокий маяк, здравствуй, рыбачья хатка, мое почтение, шикарный пароход, перегнавший нас по пути к Нордкапу. Мы не погонимся за тобой, — ведь мы везем груз для людей; но поздороваться с тобой мы можем, ибо таков морской обычай. Знай же, что этой ночью мы остановились в открытом сунне только потому, что нам махали с лодки; и мы приняли на борт женщину, у которой совсем не было багажа, кроме горшка с геранью. Вот какое мы судно, сударь. Не сверкающий шикарный пароход, а суденышко с людьми, капустой и мукой. Так что мое почтение, смотрите, как бы вас не продуло в вашем смокинге...

* * *

Кстати, «машинист» все еще не проснулся, уже пошли третьи сутки. Храп его наконец прекратился, зато он стал медленно синеть и стучать зубами.

Толстый немец-учитель побежал к капитану: мол, «машинист» в агонии.

— Не-е-ет, — успокоительно сказал капитан. — Я его знаю.

Добряк учитель созвал трех врачей-норвежцев, которые случайно оказались на «Хоконе». Почтенный консилиум освидетельствовал «машиниста» и выпустил бюллетень: сердце плохое, почки никуда не годятся, печень скверная; протянет еще пару лет. Радость была большая, и по этому поводу выпито много виски, джина и водки. Ни с кем, однако, ничего страшного не случилось, а утром «машинист» уже стоял на палубе, трезвый и очень смущенный; всем он был страшно симпатичен.

* * *

Был там еще один залив по названию не то Альтафьорд, не то Альтен-фьорд, очень красивый и очень перламутровый. Помимо прочего, там я подглядел, как размножаются горы. К вашему сведению: просто почкова-

нием! Этакая стельная гора выпускает из себя длинный отросток, перехваченный в нескольких местах, и получаются юные пригорки. Водоросли и одноклеточные организмы размножаются так же.

Отсюда нас повезли вдоль Алта-Эльва вверх, на горное плато в Финмаркене. Ехали мы зеленым ущельем, мимо обширных и красивых усадеб, ехали лесами, глубокими, как омут, мимо водопадов, преграждавших нам путь, мимо озер и торфяных болот. Потом пошли карликовая береза, каменья и ползучая ива. А еще выше была уже крыша Норвегии — бесконечное голое плоскогорье, исполинский гранитный пласт, местами сморщенный и надтреснутый. Повсюду валуны и скалистые террасы, болотца и трясины. На каждом шагу нам попадались каменные конусы с крестом — дорожные знаки, чтобы люди не сбились с пути, когда повалит снег. Вся местность здесь какая-то синеватая, мертвенно-белесая, призрачно-бледная; в этом повинен белый лишайник, хрупкий, как кружево и бесцветный, как плесень. Растет тут еще пушица, со своими белыми ватными хлопьями, камыш, белоус, вороника и болотная морошка, — лопарская ежевика, у нее крупные терпкие ягоды красного цвета; стелется карликовая береза, высотой с палец. Всюду здесь топкая, неверная почва, надо держаться тех мест, где побольше камня. Куда же ведет дорога? Да никуда, это как будто конец света. Дальше нет дорог, нет ничего, кроме нескольких лопарских названий на карте. Не знаю, может ли там кто-нибудь жить. Слишком уж это безрадостный край. И слишком много комаров.

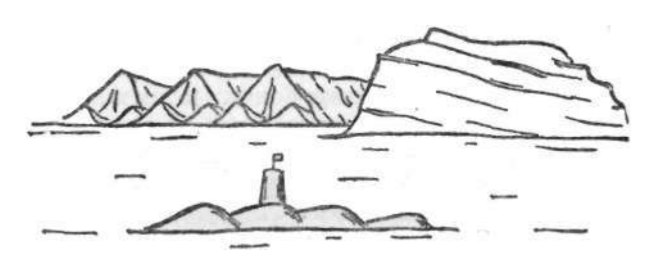


Мы едем вниз, едем белой ночью, через заросли карликовой березы, через северный лес, через долину, где шумит вода на порогах. Смотрю — валяются на земле сухие рогатые ветки... э-э, нет, это — сброшенные оленьи рога!

70° 40' 11" северной широты

Здесь начинается уже настоящий север: пустынно, люди добрые, совсем пустынно, только студеное море да голый камень. Здесь даже горы и те не смогли выра-

сти, — выглядят они так, будто бы их обкорнали сверху. Только гранитные откосы круто спускаются к морю, а вместо вершин — голые плато, чуть зеленоватые, словно покрытые плесенью. И больше ничего. Впрочем штурман обещает, что мы, быть может, увидим кита. Но пока что



прибавилось только чаек. Они качаются на воде около нас, хватают когтями гребни волн и кричат. Это единственные попрошайки на всем севере.

Ну, вот, видишь, — здесь конец всякой красоте и живописности. Разве трудно теперь постичь обнаженное и суровое величие мира? Я знаю, наша планета — крохотная. И много ли значит на ней тот причудливо изрезанный кусочек суши, что называется Европой? И все-таки я был в Европе, когда глядел на звезды, сидя на греческих колоннах в Джирдженти, был в Европе, вдыхая теплый и томный воздух Монсеррата, а сейчас шмыгаю озябшим носом здесь, тоже в Европе, в Серейсуне, и жду, не покажется ли кит. Я знаю, об этом и говорить не стоит, другие видели во сто крат больше. Но я патриот Европы, и даже если до смерти ничего больше не увижу, все равно буду повторять: я видел величие мира.

Быть может, наша планета когда-нибудь остынет. А может быть, мы, люди, сами превратим ее в такую пустыню, что даже чайки переведутся и некому будет кричать над морем. Но если бы мы даже лопнули от усердия — мы не в силах разрушить величие мира. Я знаю, это слабое утешение. Знаю, мы живем в недоброе время, и сердца наши сжаты тревогой. Но мир велик.

«Самый северный город в Европе — Гаммерфест», так нас учили в школе, и представьте себе, это верно. Верно и то, что за Гаммерфестом расположен самый северный лес в Европе (скудные заросли карликовой березы) и что крупнейшее здание в городе, да и вообще

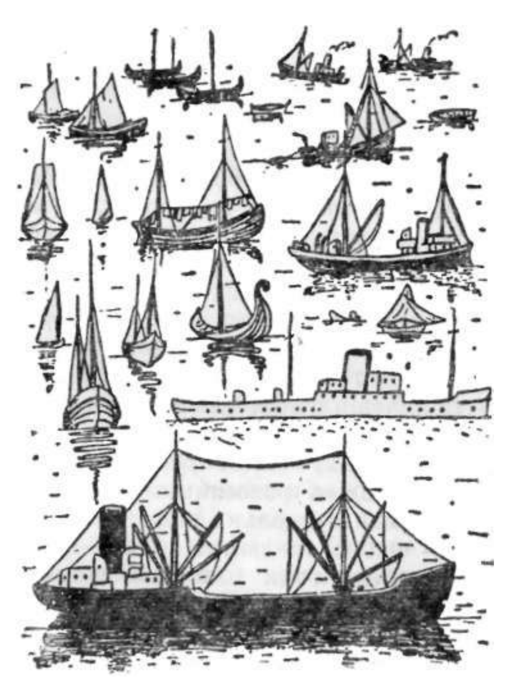


во всей части Норвегии от Тронхейма до Нордкапа, — сумасшедший дом. Это наводит на мысль, что жизнь здесь имеет свои теневые стороны, например, полярную ночь. В остальном Гаммерфест мало отличается от Тромсё, Гарстада или других городов севернее Бергена. Он такой же деревянный и чистенький, в нем две или три улицы, «озелененные» телеграфными столбами; в каждом домике лавка, где продается табак, шоколад, фарфор и открытки; продукты почти сплошь в консервированном виде. В каждом окошке стоят кактусы (чаще всего — Cereus и Echinopsis), и мамаши водят своих детей на поводке. Вот и все, что заметит здесь рассеянный взор путешественника. А стоит пройти несколько шагов, и вы уже за городом, кругом — скалы, скалы... Кое-где — островки горной смолёвки, колокольчик или камнеломка, а внизу шумит и рыдает серое море. Дальше уже только голые и безлюдные острова. Так вот он, самый северный город Европы! Где уже нет земледельца, там еще может быть

рыбак. А где уже не живут и рыбаки, еще ютятся лавочник, заготовитель и счетовод. Честное слово, самый верный признак жизни — торговля; поступь цивилизации не остановить, пока на Северном полюсе не откроется деревянная палатка с открытками, табаком и вязаными рукавицами. И уж наверняка там пристроится какой-нибудь счетовод.

* * *

Кроме того, в Гаммерфесте есть большой, прекрасный порт. В нем как раз стояла на якоре белая«Стеллаполарис», пароходы компании «Уайт стар» и «Канар лайн», серая и голая французская канонерка, большой черный «угольщик» из Свальбарда, с которого как раз сгружали уголь, финские лесовозы, китоловные суденышки с гарпунной пушечкой на носу, рыбачьи моторки и баркасы, парусники и ялики. Интересно, что, путешествуя по морю, проникаешься дружеским расположением ко всем встреч-



ным судам, будь это трансатлантический гигант в пятьдесят тысяч тонн водоизмещения или обшарпанная баржа с сельдью. Просто нельзя не помахать им и не пожелать счастливого плавания. Видимо, это у здешних людей в крови: шофер отвечает на приветствие велосипедиста,



а пешеход откликается на приветственный жест шофера. И на суше люди здесь встречаются дружески и с достоинством, как суда в открытом море.

«Красивое судно», — тоном знатока говорили мы, встречая этакую «Стеллу поларис» или «Бремен», но приветствовали их только с вежливой сдержанностью. Нечего навязываться в друзья к таким вельможам, я всегда говорю — лучше держаться от них подальше. Но когда мы встречали утлый баркас или торопливую моторку, которая, пофыркивая, снует от острова к острову, то чуть за борт не вываливались — с таким рвением размахивали мы руками и шляпами. Счастливый путь, бравое суденышко с Лофотена, эге-гей, пароходик из Эксфьюра! Мы, мелкота, должны держаться дружно на всех морях!

Нордкап

Теперь погода по-настоящему испортилась. Дует чертовский ветер, резкие волны то и дело валяют «Хокон». Даже смешно: хочешь пройти по палубе, делаешь энергичный шаг, и палуба сама охотно лезет тебе под ногу; хочешь ступить на нее, а палуба уходит из-под ног; у тебя глупое ощущение, будто ты падаешь, словно в темноте не заметил ступеньки и шагнул в пустоту. Впрочем, тот, кому по какой-либо причине доводилось нетвердой походкой ходить по неверной земле, скоро освоится и с морской качкой. Лучшее средство против морской болезни, по-моему, бутылка коньяка. Разумеется, ее надо выпить на суше и затем попрактиковаться в ходьбе; вы получите

тренировку, которая когда-нибудь очень пригодится вам в море. Тогда вы сумеете мастерски пошатываться, балансировать и ловить палубу ногами, голова у вас будет кружиться, и вы начнете хвататься за капитана, за шкоты и поручни, но душа ваша возликует, и вы будете петь и болтать, а тем временем души трезвенников будут стенать по каютам и шептать молитвы, предписанные для смертного часа. Probatum est[1].

Берега здесь темные и голые, сделанные из горного сланца. Ледниковый период обстругал их, и они стали плоскими, как стол, а к морю спускаются крутыми черными обрывами. Страшно суровый край, но в нем есть своеобразие и почти трагическое величие. Повсюду откос за откосом, без конца гладкие нагорные плато с неожиданными отвесными утесами, синеватыми от лишайника и словно тронутыми плесенью там, где они покрыты жалкой растительностью. Сплошная меланхолия! Я даже не удивился, когда «Хокон Адальстейн» вдруг повернул и направился прямехонько на черную скалистую стену. Наверное, он решил покончить с собой. Капитан в распахнутом черном бушлате стоит, засунув руки в карманы, и только помаргивает, а маленький смуглый офицер на мостике цедит сквозь зубы «stödig, stödig».

«Stödig», — повторяет рулевой и голубыми глазами смотрит на черную скалу. Осталось уже метров десять... Скала сама по себе не так уж страшна, но перед ней торчат из воды довольно зловещие черные рифы. Что-то будет?

— Hårt bagbord! — говорит смуглый офицер.

— Hårt bagbord! — повторяет человек у руля и поворачивает штурвал. «Хокон Адальстейн» хрипло гудит, и на скале вдруг вздымается белая метель: тысячи, десятки тысяч чаек закружились в воздухе, и только теперь стало видно, сколько еще их там сидит на каждом выступе скалы. Похоже на фарфоровые изоляторы на крыше телефонной станции. Пароход снова дает гудок, и снова пургой взметаются белые чайки и, как снежные хлопья, кружат у черной стены. Так вот он, Fugleberg, или Птичья гора.

— А чем кормятся эти бедные птички? — спрашивает рядом со мной сочувственный голос...

[1] Испытано, проверено (*лат.*).

— Ну, как чем... наверное, рыбами.

— Ужасно! Бедные рыбки!

Скала за скалой, все как одна — безнадежно голые, суровые, вплоть до вон той, самой последней. «Хокон» дает продолжительный гудок и плывет прямо к этой отвесной черной стене.

— Опять Fugleberg?

— Не-ет, Нордкап.

Так вот он, Нордкап! Я бы сказал, что Европа кончается как-то неожиданно, словно обрубленная. И немного мрачно, похоже на черный обрез у книги. Если подъехать к Европе с севера, то, наверное, подумаешь: «О боже, что это за большой и мрачный остров?» Да, такая уж это странная земля, страна забот, называемая Европа. Могла бы стать земным раем, но, черт ее знает, как-то не получается. Потому и стоит здесь эта скала — как черная доска с предостережением. Точнее говоря, это еще не самый северный пункт Европы, — северная ее оконечность вон там, видите тот низкий и длинный утес, который называется Книфскьеродден, что значит «нож». А вообще-то самая северная точка на материке находится в той стороне, на Нордкине, а Нордкап — всего лишь окончание острова Магерёйя. Но все равно, Европа выбрала Нордкап своей самой северной точкой, решив, что уж если конец, то пусть будет поэффектнее. К эффектам Европа всегда была неравнодушна, вот и притворилась, будто ее северный конец там, где его на самом деле нет.

Край Европы... Там, дальше, за этим белым морем, есть еще, правда, Медвежьи острова и Свальбард, но они уже не в счет. Стало быть, край Европы; так просто и строго, большим, но весьма прозаичным восклицательным знаком кончается наш континент со всей его историей; кончается этим утесом, первозданным и вечным. Я знаю, когда-нибудь на нем появится громадная надпись «ШЕЛЛ» или «ФАЙФС», или что-нибудь в этом духе. Но сейчас он высится тут, чистый, величественный и серьезный, как в первые дни мироздания. Нет, нет, это не конец Европы, это ее начало. Конец Европы там, на юге, среди людей, где больше всего суеты...

Медленно, медленно обходит «Хокон Адальстейн» черную скалу и бросает якорь в заливе Хорнвик. Тут мы будем ловить рыбу, чтобы внести разнообразие в наше меню, состоящее из тронхеймских консервов. Желающие

могут взять удочки и сидеть с ними до тех пор, пока не задергается леска; тогда пассажир завопит: «Клюет!»

Подбежит матрос и вытащит на палубу серебряную рыбину, тяжелую, как поросенок, и зубастую, как крокодил. Иногда попадается пятнистая морская форель, иногда какая-то красивая, но несъедобная красноватая рыбка. Пассажир, который ничего не поймал, чувствует себя лично оскорбленным и уверяет, будто ему отвели плохое место, где не водится никаких рыб. Самыми страстными в этой рыбной ловле, как, впрочем, и в иных жизненных обстоятельствах, оказались женщины. Я знаю одну сердобольную даму, которая на «Хоконе» орудовала удочкой с таким усердием, что я сказал ей: «Бедные рыбки!»

Дама на мгновение смутилась, но потом закинула удочку еще дальше.

— Я ловлю только хищных, — сказала она. — Гляди, какую рыбу подцепила шведка Грета!

* * *

К вечеру ветер и волны утихли, зато над Хорнвиком нависли тучи.

Мы поднимаемся по крутой зигзагообразной дорожке вверх, на Нордкап. На первом же повороте «машинист» садится на камень: выдохся. Он утирает свои блеклые глаза и смущенно улыбается, в то время как даже две ветхие старушки с «Хокона» продолжают взбираться в гору. Вот видишь, старина, двадцать лет ты плавал мимо этих мест, не вылезая из машинного отделения, а сейчас нарочно поехал сюда, чтобы наконец-то как следует рассмотреть, что да как; но на Нордкап тебе, видно, не взобраться. Кто бы сказал: всего триста метров высоты, а влезть туда, ох, как трудно! Наверху нас охватывает пронзительный ветер, и мы попадаем в тучу... Нет, это не туча, а снежный град. Изволь-ка пробираться сквозь туман по голой каменистой равнине без конца и края! Зато штурман обещал, что мы увидим полночное солнце! Однако же здесь, наверху, среди каменных осыпей, еще распластался ползучий кустарник, доцветает горный репейник, жмется мшистая камейка. Кроме них, — только пучки пушицы, топкие болотца, поросшие бледным от холода лишайником, и больше ничего, — только россыпь камней. Край света. Но вот из тумана выступает дере-

вянная будочка, а перед ней... Глазам не верю, но это действительно площадка для танцев! В будочке играет гармоника. Я знаю, одно это — ужасно, но тут еще большая компания американцев — хватит, чтобы нагрузить ими целый корабль. Что им тут надо? Край Европы — это наша собственность. Пусть себе совершают экскурсии на край Америки, если таковой существует; а нет — пусть соорудят его сами.

Туча ползет за тучей, вблизи они похожи на безобразные, измызганные клочья тумана... Ничего не видно в пяти шагах, мы прижимаемся к стене будочки и дрожим от холода. Вдруг туман слегка раздвигается, и в трехстах метрах под ногами зажигается опаловая, сверкающая поверхность моря. Там, внизу, светит солнце. Потом все опять скрывается в клубах туч; безнадежное дело! Только на севере мгла, словно накаляясь, загорается желтоватым огнем, клочья облаков тают и золотятся... И опять ничего, — только новый порыв ветра бросает нам в лицо ледяную крупу. «Ну что ж, и в этом есть своя прелесть», — говорит путешественник, лишь бы не молчать. Хмурая и сырая прелесть, но ведь это север...

Потом на западе открывается зеленоватый, холодный кусочек небесной лазури. Тучи рвутся, сквозь них вдруг хлынул ослепительный свет. Он ширится, как огромный радужный пузырь, вырывая из тумана темные контуры скал над перламутровым морем. Утес за утесом загорается тяжелым пламенем, отливая блеском раскаленной меди. И вот свершилось: вдруг до самого горизонта открылось бескрайнее золотое небо, и на севере, совсем низко, над самым морем, как раскаленный бурав, на небосклон прорывается странное маленькое красное солнце. Такое маленькое, что даже страшно: бедняжка, ведь ты тоже, собственно, всего лишь звезда! Тонкий огненный клинок рассекает золотое зеркало моря. Только на самом горизонте, бесконечно далеко на севере, ярко светится зеленовато-белая ледяная кромка.

Здесь можно, не мигая, глядеть солнцу прямо в лицо. Так вот ты какое, полночное солнце, темно-красный рубин на эфесе пламенного меча! Ты все еще остаешься солнцем, маленькая красная звезда! Я знаю — таким ты, верно, будешь через миллионы лет, когда начнешь стариться, остывать и сжиматься; тогда еще не раз расцветет смолёвка, поднимет свои белые головки горец, но

что станется с нами, людьми, — не знаю… Думаешь, не жалко людей? Впрочем, сейчас перед нами всего лишь оконечность Европы; зачем же думать о конце мира?

Подходит верзила штурман и показывает тяжелой лапой на полночное солнце:

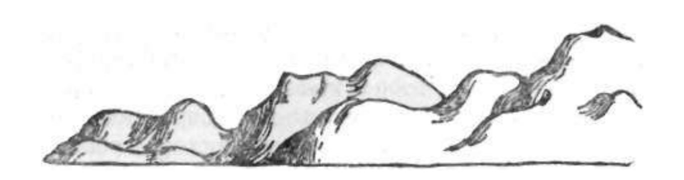
— Я вам обещал, а вы думали, я вру. Вот оно.

Да, вот оно. Мы видели полночное солнце, теперь можно вернуться домой: мы видели концы и начала, и огненный клинок протянулся к нам, прямой и строгий, как меч архангела: никогда, никогда не отворятся райские врата для тебя, человек! Ну, что поделаешь. Небо затягивается золотыми и серыми лохмотьями, взметнулся ветер, мир погружен в туман, ледяная крупа сечет лица хилых потомков Адама. Дети, дети, пора домой!

Обратный путь

Я уже не смог бы показать на карте наш обратный маршрут. Не помню точно, каким путем мы плыли и где останавливались. Постойте-ка, сперва был Хоннигсвог, одно из самых отдаленных человеческих обиталищ в мире. Потом снова Гаммерфест и Квальсунн, куда мы пришли в ноль часов, но там не спали ни взрослые, ни дети, такой там стоял неестественно светлый день. Потом помню Варгсунн, гладкий, как масло, и снова Тромсё. Но не это сбило меня с толку; тут повинны небо и море, изменчивые и бесконечные дни без сумерек, ночей и рассветов; здесь отменили время, вот в чем дело. Время здесь не течет, оно разлилось безбрежно, как море; оно отражает ход солнца и бег облаков, но не движется вместе с ними, не уплывает. Только часики на руке торопливо и смешно тикают, без нужды измеряя время, которого нет. Это так же странно и так же сбивает с толку, как если бы вдруг возник какой-то непорядок в пространстве и исчезла разница между верхом и низом; наверное, люди привыкли бы и к этому, но поначалу чувствуешь себя так же неуютно, как на том свете.

На округлые плечи и крутые лбы гор косо ложится мягкий золотистый солнечный свет. Может быть, сейчас два часа утра, может быть, пять дня, — никакой разницы, да и не так уж это важно… Спишь ты или бодрствуешь — тоже все равно, если живешь вне времени. Даже питание



на «Хоконе» не нарушает неизменности времени: все то же smø rgås [1], все те же рыбки, солонина и коричневый козий сыр — на завтрак, обед и ужин. И я перестал заводить часы и бросил думать о том, какой сейчас день, год и век. Зачем считать часы или минуты, когда живешь в вечности?!

Нет здесь ночи, нет, собственно, и дня, только утренние часы, когда солнце стоит еще низко, золотое от рассвета и серебряное от росы, мягкое, искристое солнце зарождающегося дня. А потом сразу наступают предвечерние часы, когда солнце стоит уже низко, позлащенное закатом, подернутое нежной дымкой предвечерней истомы. Утро без начала переходит в вечер без конца, и над ними никогда не раскинется высокая светлая арка полудня. А потом, в огненном горниле полуночи, золотой бесконечный закат переплавляется в серебряное безначальное утро, и снова наступает день — полярный день, долгий день, сотканный из одних только первых и последних часов.

Конечно, везде на земле есть прекрасные часы. Возьмите вы пышный, багряный закат или рассвет над спящим краем — что говорить. Да, везде есть свои минуты... Но это именно всего лишь минуты, неудержимо ускользающие краткие мгновения, и через какие-нибудь четверть часа — конец чудесному зрелищу. А вот у нас, в Стьернфьорде, на Лоппехавете, в Грётсунне или еще где, — у нас часами золотится закат. Он заливает все большую часть небосвода, охватывает море... вот вспыхнули запад и север, уже и на восток перекинулось, и там занимается утренняя зорька; теперь море и небо озарены чем-то безмерно странным и торжественным: это одновременно сияющие сумерки и бледный рассвет. Нежный закат сливается с холодным восходом, за синим хребтом гор уже восходит или еще заходит огненный солнечный диск,

[1] масло (*норв.*).

по алой глади вечернего моря пробегает серебристая утренняя зыбь, и весь чистый небосвод блекнет и холодеет в строгом торжестве рассвета. И солнце задерживает свой бег над Гаваоном, и сбывается страстный призыв Фауста: прекрасное мгновение остановилось, распростерлось, беспредельное во всем величии пространства и времени. Куда же ты попал, человек? Не видишь разве, что здесь иной мир, иной, совсем необычный порядок, великий и грозный? Да, знаю: здесь неисчерпаем миг и бесконечно течение времени.

Боже, где это было, где мы это видели? Кажется, в Малантене, а маленькая пристань называется Мольснес, но неважно, — это было где-то во Вселенной. Перед полуночью прошелестел легкий дождь, потом облака загорелись, как медные факелы в походе, и вознеслись над индиговыми шлемами гор. Над золотым морем появилось заходящее солнце, и его страшный, тонкий, огненный клинок пронзил водную гладь от севера к югу. Тогда горные пики, погруженные в оливковые и голубые тени, затлели, как розовые уголья, над маленькой пристанью, погруженной на дно вечера, раскинулась яркая полночная радуга, горы замерли, охваченные великим и торжественным пожаром. Скалы были кроваво-багровы, а наверху светился снег. Это было как причащение, как воздвижение святых даров... А солнце, пылающая точка над самым горизонтом, словно отбивало северный полночный час...

Тут из машинного отделения вылез старый судовой механик, неразговорчивый бородач, сплюнул в изумрудную воду и, ворча, спустился обратно к своим машинам.

* * *

По особой благосклонности фортуны нам удалось увидеть в Норвегии и прекрасное солнце, и густые тучи, и туманы, и радуги, и ливни. Да, все это мы видели. Мы плыли под арками радуг, а ночью попадали в молочный туман и еле ползли, все время давая тревожные гудки и звонки. Мы видели вершины гор над белыми облаками и подножия скал, окутанные облачной завесой, которая опустилась на воду, как мокрый мешок. И горные хребты мы видели, то машущие султанами туч, то затянутые туманом, который клубился, делая горы похожими на

вулканы, то подернутые дымкой, легкой, словно кто-то дохнул на прозрачный халцедон. Мы видели небо во всем его великолепии, море, то серое под дождем, то синее, то алое, то сверкающее, как расплавленное золото, переменчивое и радужное, как мыльный пузырь; видели воды, отливающие то металлом, то перламутром, то шелком, воды тихие и воды косматые. Да, слава богу, повидали мы немало. И вот за тихим и светлым Уфут-фьордом показался Нарвик, конец нашего плавания.

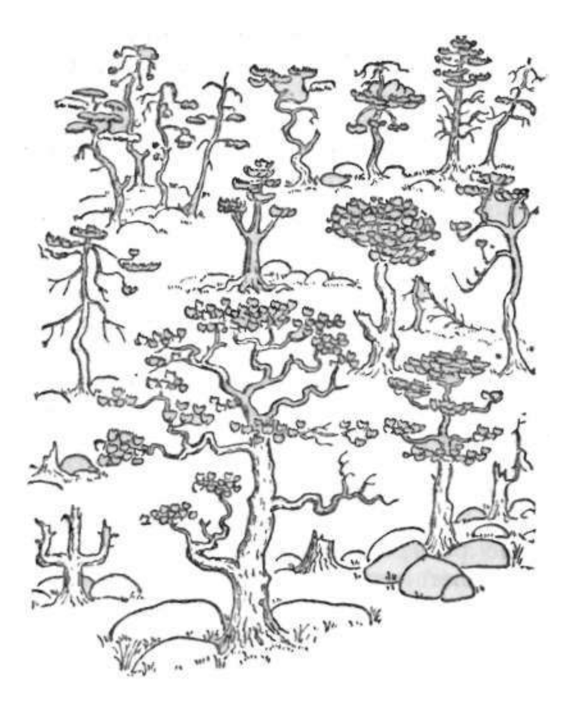
Да, много мы видели и вкусили от всего; но мне хотелось бы еще раз проехать этим путем. Хотелось бы видеть ночь. Ночь, которой нет конца. Беспредельное черное небо и море, мерцание маячков, мигание бакенов — красные, белые огоньки, светящиеся в тумане окошки жилищ и огни пристаней; луну над ледяными горами, фонарь рыбака и сверканье звезд в морозной ночи... Черная оконечность Европы, выдвинутая в бесконечную черную тьму. Как это должно быть печально, боже, как печально! Но разве мало печали повсюду в мире, и не затем ли живет человек, чтобы выносить эту печаль?

От всего мы вкусили — но только со светлой стороны; как же мало, — о великая и маленькая норвежская земля! — как мало знает тот, кто не познал всего!

Нарвик

Нарвик — это порт и одновременно конечный пункт самой северной железной дороги в мире (кроме Мурманской, которую я не считаю, потому что там не был). Этот город питается рудой из Кируны, шведским лесом и норвежской сельдью. Кроме того, здесь перекресток четырех фьордов и целое сборище знаменитых гор — Спящая королева, Харьянгсфьелене и другие вершины, увенчанные льдом и величественные, как нигде. Ну, а стоит человеку оказаться около гор, он обязательно полезет на них, чтобы разглядеть вблизи.

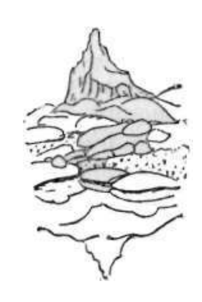
Какая-то кошка, задрав хвост трубой, прибежала нам навстречу, а потом с полчаса провожала нас в горы. Где-то шумел водопад, высились великолепные горные сосны, как исполинские церковные подсвечники; поэтому я их нарисовал. Росли там Empetrum nigrum, Rubus



chamaemorus [1], Eriophorum vaginatum [2], Juncus [3] и другие болотные растения. Я привожу эти названия для того, чтобы вы убедились, что я был вполне в здравом уме и ясной памяти. Потом внизу открылся гладкий Уфутфьорд, окруженный скалистыми стенами, сосновыми рощами, а наверху, на куполах гор, заблестели безбрежные фирновые поля. Но человеку и этого мало, он говорит себе: взгляну еще, что там, за той скалой, поднимусь еще чуточку выше; и так случилось, что я добрался до места, на котором... потерялся.

Было это просто пустынное плато, покрытое большими гладкими камнями, где все видно как на ладони. Кое-где торфяные болотца, кое-где островки растительности — стелющийся можжевельник, карликовая береза или северная ива (Salix lapponum), и больше ничего. А выше — сверкающие глетчеры да одна скала, крутая и фантасти-

[1] морошка (*лат.*).
[2] пушица (*лат.*).
[3] ситник (*лат.*).



ческая, как Маттерхорн. Я присел на камень у торфяного озерца, чтобы нарисовать скалу. Есть свидетели, которые видели, как я рисовал. И вдруг они потеряли меня из виду: на камне, где я только что сидел, никого не было...

У каждого человека бывают свои странности. И разумные люди извиняют ту или иную минутную причуду. Однако, когда через пять минут я все еще не появлялся, мои спутники удивились и стали звать и искать меня. Тут-то и оказалось, что я действительно исчез. Меня искали среди камней: сперва живого, а часом позже — уже мертвого. Когда не нашли и трупа, все почти уверились, что я свалился в бездонное торфяное озерцо и меня засосало. Мои спутники бросились в Нарвик за людьми, чтобы вытащить мое тело. Любопытно, что нам, людям, всегда в подобных случаях нужно так называемое логичное или естественное объяснение. А здесь, в горах Норвегии, человек иной раз просто исчезает бесследно, и от него не остается даже пуговицы. Лопари говорят, что его «взяла гора».

Меня нашли около Нарвика, в часе ходьбы от того места, где я исчез. Я сидел у дороги и гладил ту самую кошку, которая нам встретилась, тянул ее за пушистый хвост и держал в руке живую мышь, которую принесла эта киска. Говорят, я удивленно поднял глаза и пробормотал что-то вроде:

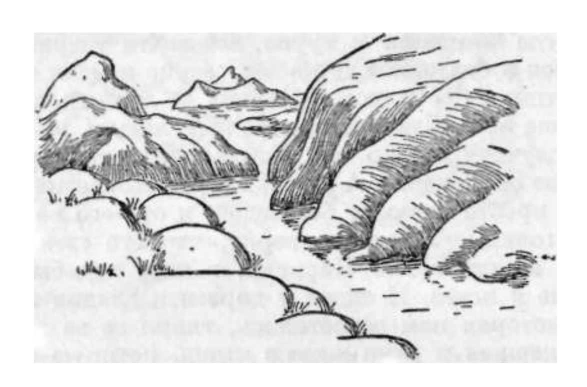
— Где же вы так долго пропадали?

Никто не знал, как я туда попал, и я тоже не могу объяснить этого. Может быть, виной всему была кошка, ведь говорят, что колдуньи оборачиваются кошками. Но как все это произошло — я не могу объяснить.

Когда мы вернулись в Нарвик, было много позже пяти часов, и на город уже пало грозное заклятье, именуемое «ikke alkohol», так что не было никакой возможности должным образом отметить мое спасение или решить загадку этого случая. Пришлось оставить его без объяснения, ограничившись трезвыми фактами. Я еще долго потом удивлялся, поглядывая на ледяные вершины над Нарвиком. Пробило полночь, а нарвикские парни все еще бродили по светлым улицам в ожидании какого-нибудь сигнала, что пора идти спать; но такого сигнала так и не последовало.

Уфутская магистраль

Небольшой электровоз везет нас в горы, мы над последним изгибом светлого Уфут-фьорда. Где-то сейчас «Хокон Адальстейн»? Наверное, мыкается по пристаням Лофотена, и на всех brygge его уже поджидает «наш пес», недоуменно вертя пушистым хвостом. Только теперь мне приходит в голову, что ведь, собственно, все мы, пассажиры «Хокона», были добрыми друзьями. Никто об этом и не думал, так уж получилось само собой. С иным попутчиком мы, быть может, за все время и словом не обмолвились, только порой поглядывали друг на друга. И все



же мы собрались, чтобы растроганно пожать друг другу руку на прощанье. Не спорьте, это был славный пароход. Возить бы ему да возить людей из разных стран. Пусть они даже не разговаривают, не устраивают совещаний и конференций, — вероятно, в конце пути они все равно крепко пожмут друг другу руки.

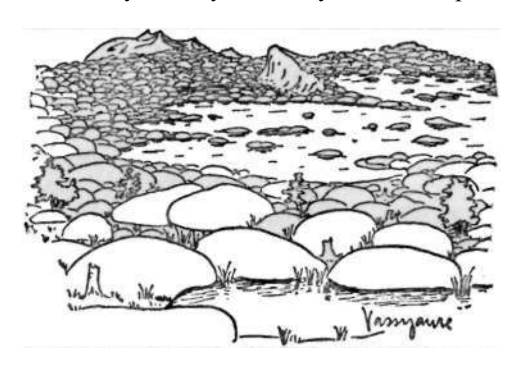
И вот нам остается проехать лишь маленький кусочек норвежской земли: здесь она, бедняжка, от моря до шведской границы, имеет всего около пятнадцати километров в ширину; зато кругом скалы и скалы, глетчеры, пропасти и водопады — и все это вместе называется Хундален. Куда хватает взор — лишь ледяные купола и пики, едва найдешь место, чтобы прилепить пограничную сторожку, и каждую минуту нас проглатывает туннель и снова извергает в еще более пустынную и каменистую местность. И все равно — хорошая страна Норвегия и народ ее славный. Если бы меня спросили, что я видел

там плохого, я мог бы вспомнить лишь американских святош, комаров и «полусухой закон»; еще мне не понравилось одно блюдо, но я для верности его даже не пробовал, так что не могу сказать ничего определенного. Хорошая, суровая страна, населенная добродушным народом, страна деревень и маленьких городков, где мужественные люди тихо и добропорядочно живут в чистых коробках-домиках, среди самой фантаста-

Снова в Швеции

Северная тундра

...ческой, монументальной и подчас почти нереальной природы. Однако мы уже пересекли в туннеле государственную границу и очутились в Швеции. Прежде здесь была пограничная станция, но ее пришлось перевести отсюда: уж слишком тут суровый климат; заставу отодвинули чуть дальше в глубь Швеции, к Вассияуре, где климат не такой высокогорный, так как это место на целых семь метров ниже. Разница сразу заметна: здесь уже с успехом существуют валуны, и черные болотца,



и стальные озера. Собственно, это громадная терраса из валунов, насыпанная среди гор и круто спускающаяся к морю. Среди древних камней кое-где торчат островки камыша или пушицы, несколько карликовых березок — и больше ничего нет. Потом дорога спускается к Абиско, тундра захватывает все большую территорию, перевалы гор уже кудрявятся березовым кустарником, и в эту зелень врезается длинное, усеянное зелеными островками озеро Турне-Треск. Мы — в самом сердце Лапландии. Я, правда, не рассчитывал увидеть из окна вагона становища лопарей с оленями и разными туземными аксессуарами; но когда вместо этого встречаешь лопаря (в национальном костюме) в роли продавца сувениров для туристов, а лопарок (в национальных костюмах), прислу-



живающих обитателям чистеньких красных шведских домиков, то, пожалуй, опешишь и подумаешь — да, плохо обстоит дело с живописной самобытностью одежды, если почти всюду, где бы ты ее ни встретил, она оказывается либо рекламой для туристов, либо признаком наемного положения человека по отношению к людям, гораздо менее живописным, но более богатым. Похоже, что в наше время национальные костюмы и другие этнографические особенности сохранились только у тех, кто с их помощью добывает себе пропитание. Так, конечно, ничего не сохранишь, и я заранее оплакиваю исчезновение той частицы земной красоты и самобытности, которая называется «народные художественные изделия».

Зато природа, надеюсь, дольше сохранит здесь, в горах, своеобразный лапландский характер. Во-первых, потому, что окрестности Абиско объявлены заповедником (видимо, из опасения, что кому-нибудь вздумается разбить там плантации кофе или сахарного тростника), а во-вторых, отчасти и потому, что здесь никогда ничего не вырастет, кроме тундровой ивы и карликовой березы, не считая мелких сорняков, которых я не разглядел из поезда. Что же касается гор, то их положение далеко не столь прочно. Если только в них найдут хоть что-нибудь пригодное для производства пушек или подобных вещей, то всю гору погрузят в вагоны и отвезут через Нарвик к герру Круппу или мистеру Армстронгу, как это уже случилось с горой по имени Кирунавара: теперь это уже не гора, а попросту семьсот миллионов тонн первосортной железной руды. Я рисовал ее вместе с озером Люос-

саярви, в котором она отражается; но город Кируна с его стандартными красными домиками рабочих и всеми социальными, благотворительными и прочими достижениями современного индустриального центра, расположенного посреди трагической зеленой пустыни-тундры, у меня не поместился.

За окном вагона — бесконечная арктическая тундра, медленно, но верно переходящая в северный лес: сначала только камни и стелющийся кустарник, кое-где березовый пенек и сушняк, местами золотится лапчатка или что-то похожее на нее (может быть, Sibbaldia procumbens), потом кусты становятся выше и гуще; куда ни глянь, всюду мелькают призрачно-белые огоньки березовых стволов вперемежку с тонкой трепетной осиной, темными кустиками ольхи и серебристой ивой. И всюду под ивами, под вороникой, под березами поблескивает черный торфяник. Потом над волнистым кустарником начинают появляться кривые высохшие стволы, мелькнет изъеденная ветрами редкая крона, затемнеет густая хвоя узловатых сосен. Как ни странно, здесь нет, как в наших горах, ползучей поросли. Рослая сосна упорно борется здесь за жизнь. И вот она уже победила: еще кривая, изуродованная ветрами и снегом, она своим длинным стволом и тяжелой хвоей сообщает краю строгий и торжественный вид. Березовая поросль редеет, сосна становится властительницей леса, над темно-зелеными зарослями черники и стелющегося можжевельника стройными мачтами торчат первые стволы елей, которым ветры придали самые диковинные формы — метелок, щеток, косматых голов, развевающихся флагов, раскинутых рук... Но это еще не настоящий лес, — не коллектив растений. Каждое дерево на свой страх и риск единоборствует с почвой и стихиями, каждое выросло и сформировалось на свой манер, каждое отмечено собственной судьбой. Это не лес, а великое поле битвы, стан воинов, сражающихся в одиночку. Что поделаешь, там, где борьба за существование тяжелее всего, каждый из нас может рассчитывать только на себя: покажи, на что ты способен, что можешь выдержать! Трудная жизнь, верно, но зато сколько в ней приключений! Какие только не встречаются тут деревья! Вот обстрелянный казак, старый, испытанный боец; вон долговязый Дон-Кихот, а рядом приземистый японский борец; вот жилистый верзила, одни шрамы да

суставы, вот иссеченный в боях инвалид, поднявший к небу страшные обрубки, а там — заносчивый губастый бахвал, а вот и голодный, много раз битый бедняк — вечно ему не везет, но он хоть с грехом пополам, а перебивается; суковатые, костлявые дядьки, все на них висит, а видишь, они не сдаются! И кто бы подумал, что они такие двужильные, эти бирюки! Привет вам, бравым войском встали вы против Севера!

А под ногами у них кишат драчливые подростки — елочки-здоровячки, крепкие ребята. Этакий колючий парнишка, лоб его уже рассечен жестоким ударом, долговязый молокосос, а глядит дичком, исподлобья, навесил патлы, корчит из себя взрослого. Говорю вам, не наглядишься досыта на дикорастущий северный лес; и нигде не найдете вы столько своеобразных и замечательных индивидуальностей — разве что среди гор и скал норвежских фьордов.

Да, светел и редок лес на своей северной границе, но что за молодцы деревья, какие крепыши, какие усачи, увешанные куделью мха! Всюду поблескивают черные лесные омуты, всюду навален черный камень, всюду торчит щетина жесткой травы и густое руно черники; ясными огоньками вспыхивает светло-зеленый папоротник. Понемногу, исподволь, тундра сменяется редким лесом из елей, подобных корабельным мачтам, и сосен, величественных, как купол храма. Есть деревья, которые запоминаются на всю жизнь, как иное человеческое лицо. Есть деревья — почти подвижники. Но вот мелькнули широкие вырубки, на свежей просеке белеют срубленные стволы, все чаще рдеет среди них ивняк и колышется рыжая трава. Где северный лес, там добыча древесины: широкие, здесь уже медлительные «эльвы» неторопливо и неустанно уносят из леса немые стволы.

Шведские чащобы

Собственно говоря, от Полярного круга до самого Стокгольма мы ехали через леса. Двадцать, тридцать часов мчится на юг экспресс и все лесом, лесом. Да еще какой экспресс, друзья мои, — нигде не путешествуют так быстро и комфортабельно, как в Швеции. Иногда, правда, лес ненадолго уступает место пастбищам и лугам,



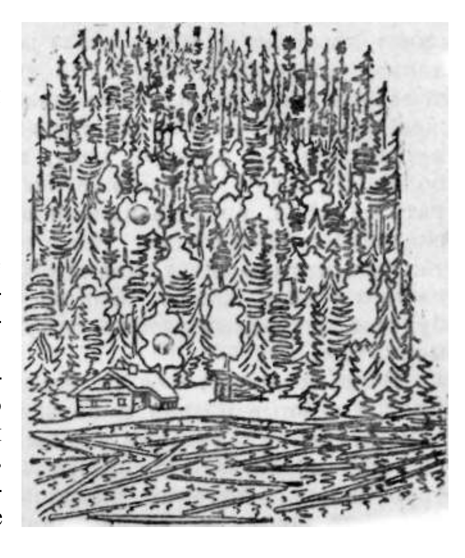
как, например, в Норботтенслене, где люди строят сеновалы в виде красивых и забавных деревянных домиков, словно бы пришлепнутых сверху, — они, как сжатая гармоника, шире в середине, чем внизу и вверху.

Чем дальше на юг, тем обширнее крестьянские усадьбы, они похожи на нахохленных наседок. Но даже южнее, в Онгерманланде и Емтланде, дома построены из прочных золотисто-коричневых балок и стоят на деревянных столбах, как и полагается в горном краю. Только уже в Хельсингланде начинается красная с белой каемкой Швеция.

И потом реки: бесконечные чащобы то и дело прорезают «эльвы» — широкие и тихие, как озера реки или молодые речушки, бегущие по порогам, темные, с белой накипью пены. Но по большей части это могучие, спокойные, очень серьезные реки, отдавшие свою буйность там, в горах, турбинам электростанций; теперь они беспрерывно, терпеливо, хотя немного и с ленцой, несут плоты к лесопилкам и портам. Таковы реки, с севера на юг: Луле-Эльв и Пите-Эльв, Аби-Эльв, Уме-Эльв, и Онгерманс-Эльв, и Индальс-Эльв, а потом еще Люсне-Эльв и Даль-Эльв и множество других, названия которых я уже не помню. Даже и наша Лаба или Эльба — не что иное, как древний кельтский «эльв».

Все остальное — это северный лес. Куда хватает взор, от длинных горных хребтов до равнин на юге, пересеченных множеством «эльвов», всюду леса, леса, леса, без конца и края. Пологие волны леса на холмах, черная гладь леса в низинах. Кое-где торчит бревенчатая вышка, похожая на виселицу; не знаю — для чего она, может быть, для наблюдения на случай лесных пожаров. Но как описать вам шведский лес? Надо бы начать с опушки,

по опушки, собственно, нет, разве что полоска красноватых зарослей ивы, разве что папоротник по пояс. А сделаешь шаг в глубь леса — и гляди сам, как тебе потом выйти из него, как, измазавшись в чернике и продираясь сквозь колючий малинник, пробраться через все буреломы, валежник, березовую рощу и молодую еловую поросль. Один только шаг сделаешь в лес — и будто ты в таком месте, куда еще не ступала нога человека.



Пожалуй, стоит начать снизу... Э-э, что там, не гриб ли? Гриб, да какой! Глядите, шведы, вот я несу вам из леса полную шапку белых грибов и бурых подосиновиков; я нашел в лесу такое место, где еще не ступала нога человека, — вот почему там столько грибов! Что скажете? Что-о, ядовитые? И вы вообще не собираете грибов?! Никак не уговоришь этих шведов, твердят, что грибы несъедобны. Но я не верю, чтобы такой умный и образованный народ мог поддаваться столь чудовищному предрассудку; наверное, они говорят это только затем, чтобы никто не ходил по грибы, потому что в таких лесах человек обязательно заблудится и не выберется из них до смерти. (Я это испытал: через три минуты я уже не знал, куда класть грибы, но не знал и того, откуда я пришел, куда идти, даже имя свое чуть не забыл. Вот какой здесь дремучий лес. Стою и думаю, найдут ли когда-нибудь мои бренные останки среди грибов, которые я тут посеял? Потом оказалось, что я всего в пятидесяти метрах от шоссе.) Я знаю одну даму, довольно стойкую среди житейских превратностей и невзгод. Но на краю шведского леса она попросту расплакалась: видеть столько белых грибов и подосиновиков и не тронуть их было выше ее душевных сил. Да и мне трудновато покончить разговоры о грибах (например, о темно-смуглых дубо-

виках в Смоланде, или о светлых «травяных» в Зёдерманланде, или о больших белых грибах, росших у самого асфальта эстергётландского шоссе... А сколько было рыжеватых подосиновиков!). Однажды я полез за грибами в огороженный участок леса, и там за мной погнался большой рыжий конь. Может быть, он просто хотел поиграть со мной, но ведь конь в лесу — это явление почти сказочное; кроме того, там стоял рунический камень, так что, кто его знает, может быть, за всем этим таилось какое-то колдовство... Однако же, чтобы не сказали, будто я за грибами леса не вижу, начну-ка иначе. К примеру, так.

Если соединить все родники и ручьи, все заросшие ряской темные озерца и сельские пруды с гусями, все скучные лужи и светлые веселые потоки, все капли росы на траве и листве, все серебристые струи из водосточных труб на человеческих жилищах, — наверное, собралось бы много воды, но это не было бы морем. И если насажать сосен, елей, берез, пихт и лиственниц от Парижа до самой Варшавы, то получилось бы, правда, ужасно много деревьев, но это еще не был бы северный лес. Тут дело не только в его протяженности и количестве деревьев. Правда, и в самом их множестве есть что-то, я бы сказал, стихийное и бессмертное; но в понятие северного леса входит еще некое доисторическое первозданное качество — он подобен геологической формации. Впечатление такое, что все это, все, что стоит и лежит в этом лесу, природа извергла на земную поверхность в один геологический момент так же, как она извергла гранит или настелила меловые пласты. А теперь — иди, человек, ломай камень, руби деревья! Ты можешь даже уничтожить северный лес, — почему бы и нет? — а вот воссоздать его, сотворить его ты не в состоянии. Что такое «лес»? Он стоит на миллионах стволов, но это сплошная стена, единая гладь, единая необозримая зеленая волна, которая катится от полярного круга, за тысячу километров, сюда, на юг. Словно там — на Севере, на Севере! — находится неиссякаемый источник бессмертной жизни, который устремляется гудящими порогами и водопадами лесов, каскадами и потоками лесов, разливами и тихими заводями лесов все дальше, на Юг, на Юг! И только тут, в Гестрикланде, Емтланде, над Даль-Эльвом, на его пути становится человек с топором дровосека: не пущу тебя дальше,

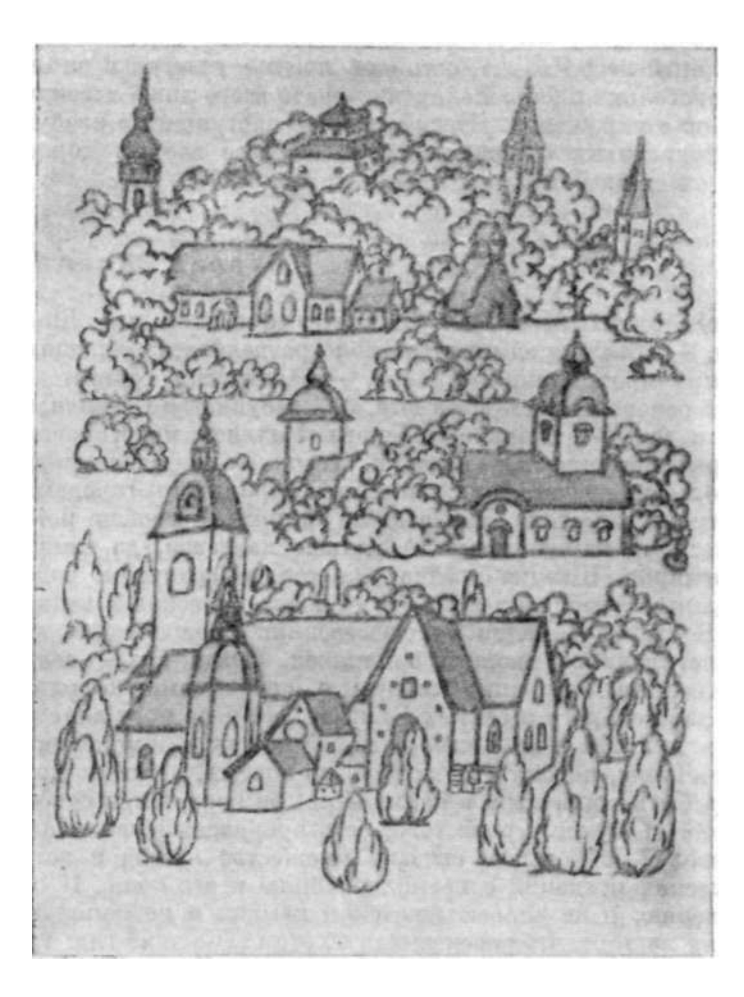
северный лес! Правда, есть еще лесные участки и около Дьюрсгольма и близ Меларена, но это всего лишь лесочки, так, для украшения. Отсюда, с Юга, наступает на необузданную стихию северного леса человек со своими коровками и усадьбами.

Старая Швеция

Suecia omnis divisa est in partes duo, или вся Швеция, — хотя она административно разделена на двадцать четыре провинции, или лена, — фактически состоит из двух основных частей: на юге, от Эресунна до Свеаланда, стало быть, несколько севернее Уплана, простирается старая историческая Швеция, усеянная кафедральными соборами, крепостями, замками, старинными городами, статуями королей, руническими камнями и вообще историческими памятниками. А дальше на север, до самого Заполярья, Швеция усеяна уже только гранитом, водопадами и северным лесом. Это — доисторическая Швеция.

В старой Швеции путешественник прежде всего замечает великое множество церквей. Среди них — величественные старинные соборы с гробницами королей, графов де Браге и святых Бригитт. Но я не могу зарисовать для вас такой собор, какой видел в Линкёпинге или Лунде, потому что, хочешь не хочешь, а готика должна быть воплощена в камне — иначе получается совсем не то. В Лунде, кроме того, есть прекрасный романский мавзолей, с которым связано множество легенд и исторических преданий о великане Финне и его жене. К сожалению, я не владею шведским языком и не понял ни слова из того, что рассказывал об этом тамошний гид; так что могу только поведать о том, что видел.

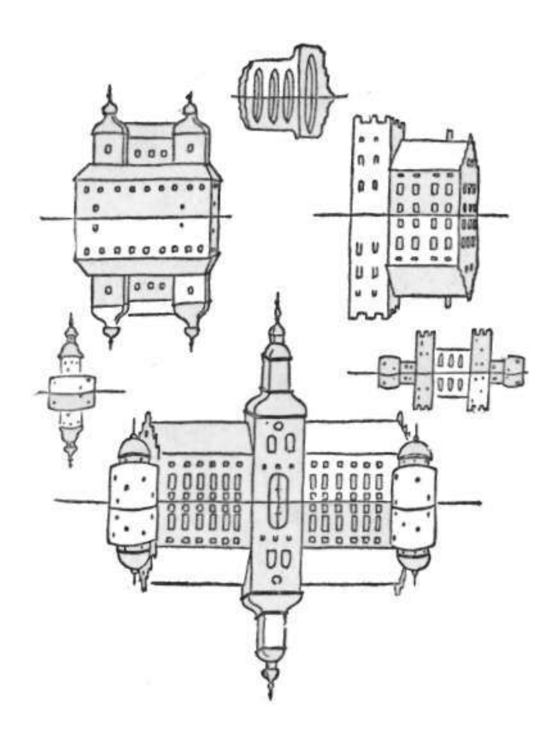
А видел я и знаменитый монастырь Врета, окруженный красивым кладбищем. Его я нарисовал, чтобы вы увидели, что и церкви здесь строят, как сельские усадьбы, — сплошь пристройки, божьи сарайчики, хлевики и амбарчики, напиханные как попало, теснятся вокруг главной конторы по распространению слова божия. Но больше всего нам встречалось небольших деревенских церквушек, окруженных старыми дубами, липами и ясенями и высунувших из зелени свои башенки, фронтоны, кровли, купола и луковки. Я нарисовал их целую кол-



лекцию — от тоненьких и островерхих, похожих на веретено, до типичных шведских куполов, широких и низких, смахивающих на пожарные каски или па шляпы-котелки. Иногда шведская церковь считает себя вправе обойтись без башенки и ограничивается деревянной колокольней. И вообще эти церковки расположились удобно и по-граждански прочно на раскрытой ладони мира, в них совсем не заметно демонстративного и патетического устремления в небо. Таков, видимо, дух трезвого и гуманного протестантизма.



Крепости и замки здесь, как правило, стоят па берегу тихих озер. Мне кажется, это сделано скорее ради прекрасных отражений в воде, чем ради неприступности этих оплотов феодализма. С той же целью шведы увенчали свои башни и круглые бастионы разными куполами, светильниками и сводами — пусть вся эта красота отражается в водной глади. Вот вам изображение замков в Кальмаре, Вадстене, Лецкё и еще где-то; и развалины монастыря, и мертвые крепости, отраженные в зеркале вод. Замок над озером — один из характерных мотивов старой Швеции; другой мотив — это помещичья усадьба,



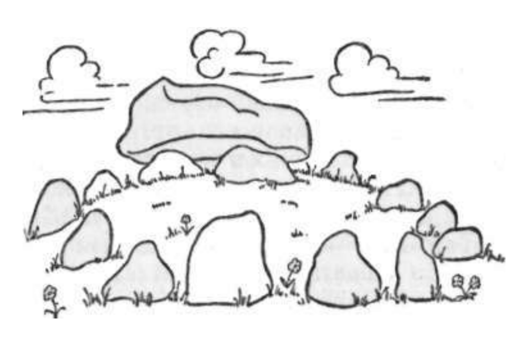
длинная, старая аллея, и в конце ее красный или белый маленький замок, почти весь спрятанный в густом саду. Шведская демократия не тронула аристократов, — она просто дала им возможность постепенно вымирать, как лосям или горностаям, и относится к ним деликатно, с почтительным, но пассивным сожалением.

И, наконец, старая Швеция, густо усеянная руническими камнями и надгробными памятниками в виде гранитных валунов. Иной раз думаешь — это всего-навсего межевой камень между покосами какого-нибудь Линдстрема и Линдберга, а оказывается, на нем вытесаны руны, при виде которых возликует сердце археолога. Иногда такие надгробные камни расставлены в круг или сложены так, что образуют подобие корабля викингов. В одном месте огромный гранитный камень положен на два других, и получается нечто вроде навеса над прахом какого-то стародавнего Ларсена. Современный человек в изумлении ходит вокруг, поражаясь, как смогли



тогдашние люди водрузить такой чудовищно тяжелый камень.

Я нарисовал для вас эту могилу, она находится у самого шоссе близ Треллеборга; удивительно, до чего таинственный и солидный вид придает окрестностям такой, как говорится, «памятник прошлого». Что поделаешь, величие и масштабы во времени внушают человеку такое же благоговение, что и безграничность пространства. Вы себе не представляете, сколько возле такого священного места валяется коробочек, станиолевой бумаги и оберток от фотопленки. Я думаю — всякий, кто проходит здесь, обязательно запечатлеет свою супругу в тот момент, когда она одной рукой опирается о древний камень, а другой поправляет волосы, которые треплет ветер с Балтийского моря. («Подожди, ведь я растрепана», — говорит «фру» своему мужу. «Неважно», — заверяет супруг и поспешно щелкает аппаратом; в мире становится одной семейной реликвией больше.)



Помимо исторических памятников, старая Швеция изобилует чистыми городками, красными сельскими усадьбами и вековыми деревьями. Но деревья я приберегу для другой главы.

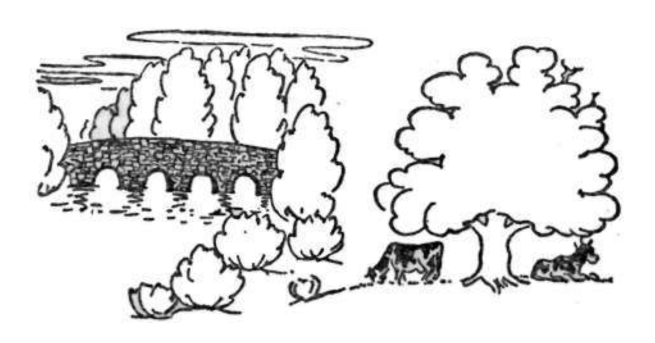
Готландская земля

Да, я приберег старые деревья и лужайки, леса, гранит и озера до того момента, когда придет пора прощаться с северными странами; ибо самое прекрасное в них — это все-таки сам Север, то есть природа, зеленая, как нигде, богатая водами и растительностью, искрящаяся



росой и небесами, отраженными в воде, — пасторальная и изобильная, мирная и благословенная природа Севера. Я приберег под конец еще и красные с белым дворики, и стада черно-белых коров, канавы, заросшие цветущей таволгой, серебряные ивы и черный можжевельник, гранитные пригорки Зёдерманланда и длинные кудряво-волнистые холмы Смоланда, и сытое, ясное спокойствие ландшафтов Сконе. Ничего особенного, говорю я, да, ничего особенного, — но они прекрасны. Хочется ласково гладить их рукой, а не заниматься их описанием. Ничего особенного: скажем, островок, отраженный в спокойной воде; но почему же он кажется островом блаженства? Ничего особенного, всего лишь пятнистые коровы в тени старых лип жуют свою жвачку, но это похоже на картины старых голландских мастеров, которые любили писать коров и деревья. Или — всего лишь каменный мост через тихую речку. Но кажется, что ведет он в тот край, где нет ни забот, ни спешки, где, быть может, нет и смерти.

Или — просто красный с белым домик среди зеленых деревьев; но ты глядишь на него и думаешь: какое было бы счастье жить и хозяйничать здесь... Я знаю, это не так, я знаю, нелегко стать счастливым, человек, наверное, и в раю не научится этому искусству. Но такой уж здесь край, что путник готов тотчас поверить в мир, благополучие, покой и другие великие блага.



Нас вез по этим местам ученый, замечательный человек, прекрасный знаток Севера; одной рукой он вел свой фордик, другой показывал нам то одно, то другое и, жестикулируя, рассказывал о доисторической эпохе, истории, людях и достопримечательностях каждого края. Таким образом, управляемые левой рукой и духовно ведомые правой, пересекли мы Зёдерманланд, Эстергётланд, Смоланд, Скон и Мальмёхуслан и потерпели аварию только в Треллеборге, у самого порта, из чего видно, что судьба исключительно благоволила к нам на всем пути. Так что я мог бы многое порассказать о старом готландском крае, но, к сожалению, путаю Никёпинг, Норркёпинг, Линкёпинг и Ионкёпинг и имею весьма сумбурное представление о шведских королях. Уж очень их было много, особенно Густавов и Карлов; нет, лучше я помолчу об истории, чтобы не попасть впросак. Помню только, что жителям Эстергётланда свойственны одни типические черты характера, а жителям Смоланда — какие-то другие. А может быть, и наоборот... Эстергётланд — широкая, благодатная, богатая равнина, а Смоланд порядком бугрист, это более бедный сельский край; но оба изобилуют раскидистыми, кудрявыми деревьями, которые стоят и вдоль дорог, и у каждого домика, и над зачарованными

водами рек и озер, и всюду, где земля образует пологий холмик или уединенный овраг. Все это один, неизменный божий сад; но и в этих благословенных местах то и дело попадается гранит, заросший можжевельником и вереском, или валун, или прорывается на поверхность голая скала, — все тот же монументальный первозданный каменный мир, который всюду выглядывает из-за уютной и буколической Швеции.

А затем, уже в самом конце пути, перед путником открывается Ханаан севера, ровный и урожайный край, провинция Сконе со своими ветряными мельницами и аллеями, край пестрых коров и просторных сельских усадеб, где хлевы длинны, как фабричные корпуса, а



амбары высоки, как Лундский собор. Здесь строят уже не из дерева, как в остальной Швеции, а из камня и кирпича, скрепленных деревянными балками. Поля здесь родят тяжелую пшеницу, крупную свеклу и всякие другие злаки господни, что годятся в пищу человеку. Однако жители Сконе не питают пристрастия к изысканному столу и руководствуются правилом: «Ешь вовремя, ешь добрую пищу, ешь досыта».

Я заметил, что всюду, где разводят хороший скот и растут старые благородные деревья, живет и крепкая порода людей; эти шведы из Гётланда — настоящие вельможи среди крестьян.

Но вот и конец путешествия, круг замыкается: от милой датской земли, налитой молоком, как розовое вымя, мы добрались до самого края света, где не растет ничего, кроме пучков заполярной травы среди камней; и через полярную тундру вернулись обратно, к зеленым пастбищам и черным лесам. Мы словно зачерпнули пол-

ную горсть этого края, как путник, идущий мимо нивы, пропускает сквозь пальцы спелые колосья (правда, в Норрланде ему пришлось бы довольно низко нагнуться, чтобы потрогать тамошний овес). Здесь, в Сконе, круг замкнулся; и путника вновь благословляют боги стад и злаков — как и на той стороне Эресунна.

Ночь

И снова ночь, над Балтийским морем вспыхивают зарницы, предвещая погожий день. Сверкающий огнями плавучий отель несет нас мимо зеленых и красных огоньков, мимо мигающих бакенов и ослепительных лучей маяков к берегам той, другой, большой Европы... А знаешь, что я хотел бы знать? Всего только одно — в каком «сунне» пыхтит сейчас наш «Хокон Адальстейн» с грузом муки и цемента и горсткой людей. Ведь там, на севере, еще не настала темная ночь, там солнце только садится в пылающую рассветную зарю. Нет, нет, это был славный пароход; правда, не такой шикарный плавучий дворец, как этот. Зато мы, люди, были там как-то ближе друг другу и ко всему окружающему.

Не знаю, право, почему народы так пекутся о своем величии и мощи; ну, ну, смотрите не лопните от спеси! Вот я съездил поглядеть, как живут три народа, — их называют «малыми». А жизнь-то у них вовсе неплохо устроена, и если подсчитать все хорошее, то у них его найдется побольше, чем в крупнейших мировых державах. И здесь история приносила вражду, междоусобицы и войны — но от них ничего не осталось, и ни к чему путному они не привели. Когда-нибудь люди поймут, что никакая победа не стоит того, чтобы ради нее воевать. И уж если человечеству нужны герои, пусть ими будут люди вроде того незаметного врача из Гаммерфесте, что полярной ночью ездит на своей моторке по островкам, туда, где рожает женщина или плачет больной ребенок. Для цельных и мужественных людей всегда найдется дело, даже если умолкнут барабаны войны...

Итак, снова ночь, и над черным морем поблескивают широкие палаши зарниц. К погоде это, а может быть, к ненастью? Насколько грознее и трагичнее кажется мир ночью! Да, друг, это уже не шведские сумерки, прозрачные,

зеленоватые и холодные, как вода заливов, и не головокружительная метафизика полночного солнца; это уже самая заурядная тяжелая европейская ночь. Ну что ж, съездили мы, поглядели на божий свет и вот возвращаемся домой.

Брезжит серый и холодный рассвет, чем-то напоминая о той минуте, когда человек раскрывает еще влажную утреннюю газету, торопясь узнать, что нового в мире. Как давно мы их не читали! И ничего не случилось, только несколько недель ушли в вечность, норвежские горы отражались в воде фьордов, шведский лес смыкался над нашими головами, и благодушные коровы смотрели на нас безмятежными святыми глазами... Первая жестокая и тягостная для человечества новость — вот что ознаменует конец нашего путешествия... Да, вот и она: и надо же, чтобы этой новостью оказалось грозное несчастье испанского народа! Боже, почему человек так любит все народы, которые он узнал?!

В серых рассветных сумерках сверкают огни Европы. Что поделаешь, это — конец пути. Из Руйаны выплывают рыбачьи баркасы, — такие же, как на Лофотене, только паруса у них поставлены чуть иначе. А «Хокон Адальстейн» сейчас, наверное, держит курс на север, мимо скал Лофотена.

Да, да, славный это был пароход [1] и доброе путешествие.

---

[1] О нем действительно можно говорить в прошедшем времени — «был», — ибо я успел получить от его капитана такое письмо:

«Nun ist meine alte dampfer Håkon Adalstein degradiert. Alle die Cabinen sind weghgenommen, auch den salong wo wir essen, nun sind sie nur führ ladungen. Es war traurig führ mich zu sehen, when ich meine alte dampfer liebte. Ich bin nun auf dem dampfer X. Y. laufen zwischen Bergen und Kirkenes mit post und passaschiere, aber diese ist nicht so gut wie meine alte» [1].

И да почтим мы его память последней точкой.

[1] «Мой старый пароход «Хокон Адальстейн» совсем сломали. Все каюты разобраны, также и салон, где обедали, — теперь там помещение для груза. Грустно мне было смотреть на него, ведь я так любил свой старый пароход. Теперь я служу на пароходе «Кс. И.», совершаю рейсы между Бергеном и Киркенесом, вожу почту и пассажиров, по этот куда хуже моего старого» (*искаж. нем.*).

Картинки родины

РИСУНКИ К. ЧАПЕКА

Перевод

Д. ГОРБОВА,
Н. ЗАМОШКИНОЙ



Картинки Чехии

Родной край — это край нашего детства, край первых и потому наиболее сильных впечатлений, открытий и узнаваний. Туда не надо возвращаться, потому что, куда бы тебя ни занесло, ты никогда не перестанешь там жить. Родной край — все равно, что родной язык, и если кому и приходилось говорить или писать на чужом языке, он не перестает думать и мечтать на языке своего детства. Это не что-либо привнесенное, а нечто более сильное, исконное, это немного твоей собственной души, твоего я.

О нашем крае

Это — угол между Упой и Метуей, между Бабушкиным долом и отлогой котловиной Ирасекова Гронова. Подымись на любой холмик, — увидишь на севере Снежку, на востоке Бор и Гейшовину, огромные пограничные камни страны. Тут же рядом проходит языковая граница: только в Трутнове — немцы, а в деревнях — в Жацлерже, в Олешнице, всюду — говорят на языке, которого вообще никто не понимает. На холмах живут спириты-ткачи; вдоль рек тянутся поля былых сражений: Трутнов, Скалице, Наход и ниже Садовая, — с стройными памятниками, на которых указано, сколько там пало молодежи. Это край отлогих и довольно скудных полей, березовых рощиц и воспоминаний о двух великих людях: о Божене Немцовой и Алоисе Ирасеке.

Что касается Божены Немцовой, то о ней мог бы, наверно, что-нибудь рассказать мой покойный дедушка из Жернова, да я не удосужился его расспросить, пока бедный старик был жив. Но отец мой до сих пор помнит ратиборжского мельника, который до старости был великий плут, и еще — безумную Викторку. Потому что, к вашему сведению, та не умерла так, как описано в «Бабушке», а еще долго жила, низенькая, с круглым морщи-

нистым личиком, похожим на яблочко, и приходила просить милостыню к Чапекам в Жернов: придет и не говорит ни слова, пока ей не подадут хлеба, и оттаскала моего отца за волосы, когда мальчишки стали кричать ей вслед разные гадости.

А мой дедушка с материнской стороны был из Гронова; он торговал зерном, а впоследствии держал льномялку. Этот дедушка мой очень хорошо знал папашу Ирасека; тот был булочником и пользовался услугами моего дедушки, который ездил с зерном до самого Градца и возил туда гимназисту Алоису из дома поклоны, ковриги хлеба, а иной раз и шестикрейцеровую кредитку. Моя бабушка со стороны матери была из среды маховских лесорубов; однажды, в старости, перечтя все Ирасеково «У нас» (вслух, как молитву), воскликнула признательно:

— Как славно!

И могу засвидетельствовать: по собственной памяти и понаслышке подтвердила все, что описал там Ирасек: сказала, что все это чистейшая правда.

Место моего рождения — Мале Сватонёвице — славится своей божьей матерью, которая обладает чудотворной силой, хоть и уступает в этом отношении Вамбержицкой. Мама носила ей в дар восковую грудь, чтоб у меня были здоровые легкие; но грудь эта всегда имела женские формы, и у меня возникло тогда странное представление, будто у нас, мальчиков, вовсе нет легких, и напрасное ожидание, что они у меня вырастут в результате маминых молитв.

По всему краю разбросаны старые дворянские усадьбы, где рождались деревенские бунтари, как во Ртыни. Но теперь там хозяйничает промышленность — и километры салфеточного полотна и бязи тянутся из Упице по всему свету. Помню австралийские и китайские марки, марки Индии и Капской колонии, которые я собирал в корзинках фабричных контор. Я собирал их с удивлением, словно белозор над Жабокрками или ятрышник на Брендах, — а теперь думаю о них, как о маленьких документах, показывающих, до чего изменился тот край, где были созданы «Бабушка» и «У нас».

[1926]

Край Ирасека

Этот угол предгорья между Упой и Метуей был миром нашего детства; один из моих дедов крестьянствовал в Бабушкиной долине и знавал убогую Викторку; другой — гроновский мельник, возивший в Градец студенту Алоису караваи и шестикрейцеровую кредитку. В долине Метуи и Уны вздымаются невысокие холмы красного песчаника, поросшие серебристыми березнячками, темным ельником и сосняком; по холмам разбросаны одинокие домики, в которых, еще в годы моего детства, с утра до ночи стучали ткацкие станы горных книгочеев — толкователей Священного писания, спиритов и сектантов балцараков.

Немного выше проходит извилистая линия языковой границы, за Находом она вдается в Пруссию, в Клодско. Соседство двух народов всегда было тихим и спокойным; немцы, в своих вязаных шапках и жилетах с блестящими пуговицами, говорили на наречии, непонятном даже для австрийских учреждений; ни они с нами, ни мы с ними почти не общались, так что языковый барьер был вроде края света, за которым уж больше ничего и нет. Близкая граница империи служила воротами, через которые уходила и тайно возвращалась религиозная эмиграция; еще и сегодня вы обнаружите следы этой печальной традиции у крконошских деревенских философов и спиритов.

Естественное понижение всей местности идет в сторону Иозефова и Градца — городов военных и терезианских; и сейчас там можно встретить амбары с двойными стенами, которые служили потайными закромами на случай войны.

Редкий край у нас в прошлом был ареной стольких войн, как этот мирный уголок, так что историзм Ирасека имеет прямую связь с местными традициями. Находский и Ратиборжский замки — носители совсем иных, придворных, традиций, традиций рококо, герцогских дворов, феодальных замков, строптивых старост из Ртыни и просвещенных патеров.

Этот уголок земли лежит на перекрестке дорог истории, правда, несколько в стороне; очень давнее прошлое доживает свой век в его горной глуши на хуторках, в деревянных хатках с резными фронтонами и столбами. Прошлое, к которому обратился Ирасек, еще не ушло из жизни в краю его детства. Внизу, в долине, край Ирасека замыкает Градец, город иезуитов и будителей. Учителя

Ирасека учили и моего отца. Среди них был один, который в течение целого года читал восьмиклассникам вместо истории Австрии историю французской революции. Говоря об Ирасеке, не следует забывать о старом Градце.

Называя местность вокруг Гронова краем Ирасека, мы делаем это с полным правом — и сам Ирасек, и его родина достойны этой чести. В творчестве Алоиса Ирасека запечатлена безыскусственная красота и приветливость его родных мест, что лежат между Брендами и Гейшовиной, края не броского, наивно-открытого и мирного, целомудренного и нежного; края, народ которого на протяжении истории чаще страдал, чем задавал тон, но, живя возле самой национальной границы, тихо и непреклонно сохранял в себе все подлинно чешское. Поэтому Ирасек принадлежит всему народу и окружен всенародной любовью. И пусть никогда не увядает на могиле самого национального чешского писателя букет из лютиков и белозора с наших сочных гроновских лугов.

[1930]

Уголок страны

Красивый овальный холм, и на нем — круглый маленький замок или, скорей, башня с полумесяцем наверху, окруженная рощей старых деревьев. Замок этот виден с дороги за много миль. А внизу — старый деревянный городишко с сонной площадью и грузным костелом... Наконец вы дома! Это ведь Соботка, а маленький замок — Гумпрехт, где жила та «госпожа, что любила пастушка», — как поется, впрочем, о каждом чешском укрепленном местечке и замке; видимо, в старину овцеводство имело большое распространение. На кладбище лежит поэт Шольц, а на берегу Жегровки — Франя Шрамек, который ходит туда купаться и утверждает, что это самое лучшее место на свете; а вокруг — чудесный тихий край, где начал писать зеленое и голубое Вацлав Шпала. Зеленое, голубое и желтое, потому что нельзя забывать об отличном урожае на полях; а дальше — чернолесье, черные Троски и черная гора Мужский, а там, в самой глубине, — Бездез, и Ештед, и голубой Козаков, и еще много других возвышенностей, которые я не сумею вам назвать. Но между скал опять видны зеленые долины; скалы эти —

не дикие и угрюмые, а мирные, романтические, и когда едешь среди них, у тебя всегда так легко на сердце; дорога приводит к укрепленному местечку Кости, где тоже жила «госпожа, что любила пастушка»; она доходила с ним до самой долины Плаканек, где теплый воздух и теперь еще полон неги.



Этот край слегка на отшибе; оттого он так приветлив, так мил: в деревне на вас собака не залает; я нигде не видал таких добрых собак. К вечеру мириады маленьких лягушек, выпрыгнув из канав, движутся через дорогу — на восток; Семтинская липа смотрит вдаль, за созревшие нивы на Троски, а Троски — на Семтинскую липу, потому что неизвестно, кто из них старше. И только смеркнется, деревянный городишко сапожников под Гумпрехтом сейчас же засыпает; квадратная площадь натягивает себе одеяло мрака на самую голову, потому что, понимаете, когда светят звезды, незачем светить фонарям, а когда звезды не светят, людям пора спать. Только много-много лет тому назад «госпожа, любившая пастушка», не могла засыпать так быстро, как Соботка; она потихоньку выбиралась ночью из высокого замка и шла, с бьющимся сердцем к своему пастушку; но ни одна деревенская собака не лаяла на нее, а только виляла хвостом, не мешая ей тихо идти своей дорогой, которая спокойно тянулась вверх и вниз, вверх и вниз, как и нынче. Всего этого я, конечно, не могу нарисовать; но я нарисовал вам зато Франю Шрамека, который здесь, на этой вот площади, родился. Хоть он и утверждает, что вышел у меня непохожим, это неправда; когда в нем просыпается жажда, он именно такой, только что густо краснеет, и в глазах



у него небесная лазурь, да острый нос его принюхивается ко всем благоуханиям и испарениям плодородной земли.

Здесь, в холодном ручье и на знойных путях жатвенных полудней, он, беспокойный, любопытный, сильный и жадный к жизни, начисто забывает о той жестокой и горькой муке, что зовется литературой.

Есть там на одном холме такое место, откуда видно все — небо и землю; на этом месте стоит его воздушный замок. Голубоглазому лирическому пастушку, собственно, не нужно даже замка: довольно было бы и хижины...

[1925]

Две остановки в Моравии

ТЕЛЧ

Могу поспорить, что во всей Чехии нет площади красивее, чем в Телче. Довольно длинная, окруженная рядами, она с двух сторон замыкается гротами; каждый домик — розовый, голубой или белый, украшен прихотливо очерченным высоким лепным фронтоном — и все это стародавнее, чистое и безмятежное; просто чудо, что там нет ни новой ратуши, ни школы, только одни эти тесно стоящие домики, а посредине — фонтан и колонна с затейливыми завитушками; в углу площади — чей-то замок, во внутреннем дворе которого прекрасные аркады и статуя Адама и Евы, очень истощенных и целомудренных, да еще великолепная ель, или что-то в этом роде; но красивее всего сама площадь, мощенная булыжником. Мужчины Телчи, берегите ее!

МОРАВСКЕ БУДЕЙОВИЦЕ

Пожалуй в каждом моравском городке есть замок, здесь — тоже. Кроме того — костел с довольно странной башней, что, впрочем, тоже встречается часто; еще здесь в прекрасном приходском доме с высоким фронтоном жил покойный патер Космак. Костел, правда, заперт — а куда же податься пришельцу, если не в костел?

Когда костел заперт, деваться некуда, все равно, как если бы заперли трактир. Раз мне не было дозволено

обозревать предметы священные, я глазел на гусей; потому что, знайте, этот моравский городок — вовсе и не городок, а село с площадью и гусями. Гуси там плещутся в маленьком бассейне под фонтанчиком, где больше трех их не умещается, а остальные завидуют им и делают всякие замечания. Вдруг какая-нибудь гусыня, которой приспичило искупаться, поднимает страшный крик и опрометью кидается в бегство. Гуси пугаются, те, что в воде — тоже, и мчатся в дикой панике, гогоча и хлопая крыльями, а в это время коварная гусыня, которая все это устроила, плюхается в опустевший фонтан. Но чаще всего она сама пугается крика остальных и мчится вместе со всеми, совершенно забыв о своем коварстве. Как видите, и в Моравских Будейовицах есть чем скоротать время.

[1925]

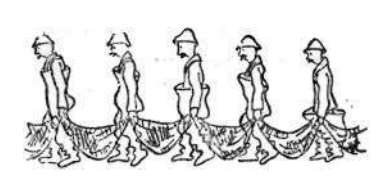
Чудесный лов рыбы

Видел я пруды, подернутые утренним туманом и облитые солнечным закатом; пруды, осеребренные осенними заморозками, и черные полночные омуты; видел море и видел лужи; но никогда еще не видел, как пруд спускают и облавливают. Пруд, о котором я говорю, называется Станьковский и находится в долине, за Тршебонью, в краю рожмберкских рыболовов; он очень велик и одним концом своим уходит, говорят, куда-то к границам Австрии; но в то холодное, седое утро от него осталась только отороченная илом лужа на дне огромного изогнутого песчаного каньона. В этой-то грязной луже все и происходило.

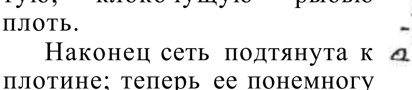
Сам я — житель гор и никогда не видал настоящей рыбной ловли; я знал только библейское описание чудесного лова и всякий лов рыбы представлял себе по этому образцу: двенадцать апостолов тянут из воды сеть, которая рвется от несметного количества жирных, блестящих карпов, серебристых судаков и метровых щук. Святые рыбари, не ожидавшие этого чудесного улова, выбирают его из сети руками, черпаками, лопатами, — потом, топча его, бросаются в воду и тащат переполненную сеть на берег, а Иисус Христос говорит им: «Осторожней, молодцы, вон там у вас ячеи ослабли». Каково же было мое изумление,

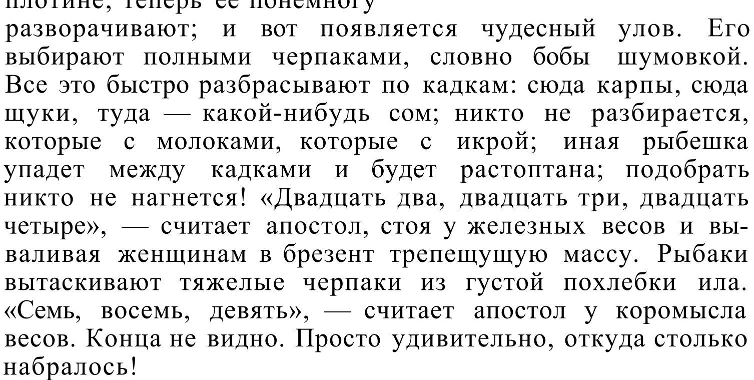
когда я вышел на плотину Станьковского пруда: действительно, все оказалось как в Библии.

Прежде всего рыбаков было на самом деле двенадцать; тринадцатый был явно владелец, хозяин, потому что он их ругал. Но облекали их не падающие свободными складками апостольские туники, а какие-то непонятные кожаные костюмы: не то высокие сапоги по горло, не то гигантские кожаные жилеты с сапогами внизу, не то огромные панталоны, кончающиеся снизу ботфортами, а сверху — бретелями, словно женская сорочка; короче говоря, все это одеяние целиком — от подошвы до шеи — состояло из одного куска воловьей кожи, откуда торчали только усатая физиономия да пара рук. Тут я внес поправку в свое представление о чудесном лове рыбы: значит, на апостолах не было туник и риз; они тоже по горло увязали в таких вот грандиозных рыбацких штанинах, а сверху были накрыты коническими войлочными колпаками. Что же касается учеников, на тех были обыкновенные тиковые брюки и плоские фуражки с козырьком, и они помогали только на берегу, не претендуя на привилегию шагать в воде и увязать по пояс в иле. А женщины относили чудесный улов в мокром брезенте на телеги, в то время как местные жители и школьники глазели на происходящее с плотины.



Сам чудесный лов происходил следующим образом. Прежде всего имелась водная гладь, густо покрытая какой-то странной ботвой и время от времени подергиваемая рябью. Только нет, милый мой, это была совсем не ботва: из воды торчали рыбьи хвосты и плавники. Двенадцать человек, уйдя по уши в свои воловьи кожи, шествуют печальной процессией по берегу, волоча сеть. Потом они входят в воду и начинают колотить по ней палками: не то рыбу загоняют, не то исполняют какой-то обряд. Потом растягивают сеть во всю ширину пруда, после чего тринадцатый долго на что-то сердится, и они начинают медленно, с трудом тащить ее. Ученики и женщины на берегу, взявшись за конец бечевы, тянут на себя. В сети начинает что-то шуметь — настойчиво, бурно. Это рыба.





Чем дальше, тем дело идет все медленней. Сети больше нет: остается только сплошная кипящая и шумящая масса рыб. Двенадцать кожаных рыбаков еле пробираются сквозь эту густую, клокочущую рыбью плоть.

Наконец сеть подтянута к плотине; теперь ее понемногу разворачивают; и вот появляется чудесный улов. Его выбирают полными черпаками, словно бобы шумовкой. Все это быстро разбрасывают по кадкам: сюда карпы, сюда щуки, туда — какой-нибудь сом; никто не разбирается, которые с молоками, которые с икрой; иная рыбешка упадет между кадками и будет растоптана; подобрать никто не нагнется! «Двадцать два, двадцать три, двадцать четыре», — считает апостол, стоя у железных весов и вываливая женщинам в брезент трепещущую массу. Рыбаки вытаскивают тяжелые черпаки из густой похлебки ила. «Семь, восемь, девять», — считает апостол у коромысла весов. Конца не видно. Просто удивительно, откуда столько набралось!

Смотришь на поверхность обловленной части пруда. Что это за страшная густая плавает там ботва? Милый мой, да это опять рыбьи хвосты; и двенадцать кожаных фигур опять бредут похоронной процессией по берегу, волоча сеть для новой тони. И до вечера будут вот так выгребать эту вязкую лужу, шесть или сколько там лет сверкавшую среди лесов в виде красивого гладкого пруда. И снова, набравшись к весне водой, станет она прелестным гладким прудом, чтобы через несколько лет вновь однажды явить древнее зрелище чудесного рыбного лова.

[1925]



На Влтаве

ЧЕШСКИЙ КРУМЛОВ

Не знаю, сколько Влтава делает здесь изгибов: пока проедешь весь город насквозь, держась как можно более прямого направления, пересечешь ее раз пять и всякий раз дивишься, что она такая золотисто-коричневая и так спешит. Сколько в Крумлове жителей — тоже не знаю, но там тридцать четыре трактира, три костела; замок — один, но зато большой; ворот — двое; и великое множество достопримечательностей: собственно говоря, весь город является исторической достопримечательностью, немного напоминая этим Сиену, Стирлинг и другие знаменитые города. Мы видим здесь старые фронтоны, выступающие из оконных рядов фонари, слуховые окна, аркады, своды, галереи, зубцы, сграффито, фрески, бегущие вверх и вниз лестницы, балюстрады, водоемы, колонны, тумбы, ниши, стропила, залы, крыльца, древние мостовые, извилистые улицы, вертепы с изображением святого семейства, высокие гребни крыш, готический костел миноритов — и всюду красные рожмберкские розы; куда ни обернешься, все живописно, пахнет стариной, полно славных исторических воспоминаний; но в старых предместьях, там — одни только низкие домики, рукой до крыши достать, на окнах герань, а над дверями вывески, — тут живут еще старые ремесла, как в пятнадцатом столетии.



И над всем владычествует (именно владычествует, как в прошлом — герцоги Эгенбергские) там, в вышине, замок со сторожевой башней, одной из самых башнеобразных башен, какие мне приходилось видеть; башни — это, можно сказать, чисто чешская особенность, потому что нигде нет таких чудесных куполов, пузатых луковиц, маковок, бойниц, надстроенных башенок, галерей и шпи-

лей, как у нас; в каждом старинном чешском городе — своя оригинальная башня, по которой можно узнать, — Градец это или Брно, Будейовице или Чешский Крумлов.

Что касается замка, то он изнутри и снаружи весь расписан и покрыт фресками. Но красивей всего маленький княжеский театр в стиле барокко, где висят еще старые декорации. И сейчас здесь могла бы тревожить умы какая-нибудь итальянская опера восемнадцатого столетия, но она этого не делает, так как ей, из соображений безопасности, не разрешают ставить здесь свои спектакли. Есть еще там загородная вилла Беллария с такими затейливыми лестницами по фасаду и множеством других деталей в стиле барокко; на три кроны — хоть отбавляй.

ВЫШНИЙ БРОД И РОЖМБЕРК

Собственно говоря, туда надо ехать в наемной крытой повозке; при этом можно собирать грибы у дороги, а когда в горах, возле Нессельбаха, начнет слишком дуть, спрятаться под брезент и смотреть оттуда на важные, неторопливые крупы лошадей, сохранившие, как и весь этот край, свои древние формы. Езда продолжалась бы чуть не целый день, но в конце концов все же показался бы белый монастырь вышнебродских цистерианцев, красивый и спокойный, замкнутый в самом себе, словно какой-нибудь городок, где есть все: и аптека, и пивоварня, и библиотека, и музей, и коровник, а главное — тишина, тишина, сама по себе являющаяся богослужением, ты, безбожник! А в библиотеке — тысяч пятьдесят книг в переплетах белой свиной и коричневой воловьей кожи, — книг немного устарелых, в большинстве латинских, сплошь восемнадцатого столетия, как и весь монастырь со своими строениями и фресками в стиле рококо. А в картинной галерее хранится самое драгоценное сокровище — таинственные полотна вышнебродского мастера, дивные образцы чешской готики, принадлежащие к так называемой южночешской школе, которые благодаря своему грустному и чистому, благородному характеру кажутся каким-то чудом в нашей грузной, мужицкой стране. Одному богу известно, откуда это взялось; но чудо и то, что оно сохранилось совершенно невредимым у нас, в стране, пережившей столько разгромов. Остатком былой вышнебродской славы являются также готический коридор со стрельча-

тыми сводами и зал собраний капитула, а также южночешская Мадонна в притворе костела. Но эти картины говорят о духе, много видавшем, а потом замкнувшемся в печальной и строгой чистоте; о человеке в высшей степени утонченном и одиноком.

Народ живет здесь торговлей лесом, только лесом и сеном; деревни и старинные городки, вроде Рожмберка с его крепостью и буквойским замком, редки. В крепости много старинных, украшенных резьбою ларей, столов, стульев, оружия, мечей для отрубания голов преступникам, дубовые потолки и множество старых портретов. Есть и «Белая дама» с полными слез глазами и длинным носом, которая, по словам сторожа, ночью бродит здесь, так же, как в Индржиховом Градце, в Тршебони и Крумлове: дама для своего возраста, как видно, довольно подвижная... Кроме того, здесь имеются орудия пытки, кувшины, старые замки и такие памятники ревностного пореформационного католицизма, как игральные карты в виде молитвенника, распятия, а также много других старинных предметов. И уходящая в дальнюю даль Влтава — узкая, извилистая долина с могучей золотой и черной рекой.

ОСТАНОВКА

Найдет на тебя вдруг, ни с того ни с сего, такое настроение, и ты выскочишь из пыхтящего поезда на какой-нибудь маленькой станции, названия которой в жизни не слыхал. Там ничего нет: только лесная прогалина, станционное здание и — немного дальше — белый дом; а так как на Шумаве в каждом доме есть трактир, то кажется, что и этот дом — трактир. Здесь тоже течет Влтава — не знаю, Теплая или Холодная: я попробовал рукой, — вода показалась мне скорее холодной. Стоишь и сам не знаешь, что предпринять; зашагаешь по лугу, он так и зачмокает и заходит у тебя под ногами, внушая невольное подозренье; решишь спасаться сильными прыжками в лес, — с первого же шага увязнешь по колено в мох, а палка входит по самый набалдашник в трухлявый пень, на который ты думал опереться. Лес, хоть и нельзя назвать девственным, все же довольно частый, и грибов тьма: лиловых, вишнево-красных, белых, шафранных, льдисто-прозрачных, огромных, мокрых, черных, разваливающихся, клубне-

образных, похожих на коровий желудок, на утиную лапу, на булаву, на что угодно. А что касается мха, то он представлен во всех оттенках зелени — от голубого до оранжевого и торфяно-черного, не говоря уже о его удивительной нежности, пышности и густоте. В конце концов то, что ты считал тропинкой, совсем незаметно исчезает у тебя под ногами, и ты стоишь по колена во мху, который оказывается не чем иным, как поваленным деревом, не знаешь, куда идти, и вдруг замечаешь, как безмерно широко, гулко гудят горы и леса (куда, куда скрылась ты, моя молодость!); ты один, неизвестно где, и кругом не слышно даже птичьих голосов. Только шум гор и журчанье подземных вод, но — ни птички, ни мушки. Берегись, человек, ты вступил в царство растений. И тут тебя охватывает неодолимый, дивный ужас, который вдруг сразу проходит, только ты выбрался на опушку: на полях работают люди в огромных деревянных башмаках, с медной бляшкой в правом ухе, громко перекидываясь тяжеловесной горской неметчиной. Но только выйдя на твердый большак, тянущийся между березами и рябинами, вполне осознаешь, что нет для человека большего наслаждения, как чувствовать твердую, надежную почву под ногами.

* * *

С тех пор видел я и настоящий девственный лес: тот, что под Боубином. Это всего-навсего часть заповедника, так сказать, естественный парк. На каждом шагу невольно ожидаешь увидеть табличку с надписью: «Не ломайте деревьев!» или: «Не наступай на упавших великанов: они чувствуют, как ты». Такой девственный лес состоит главным образом из деревьев, вывороченных или совсем упавших. Почва там сырая, склизкая, как гриб, и завалена стволами, находящимися в разной степени разложения, так что невозможно двигаться ни вперед, ни назад. Это оставлено нарочно, чтобы было видно, какой чудовищный беспорядок наделает природа, если ее предоставить самой себе. Человек поражен и уже с удовольствием едет на Ленору приведенными в порядок лесами, чувствуя к ним гораздо больше симпатии. Кербровский путеводитель говорит, что за этими ветвями «Спящая Красавица спит сном своим столетним», но я ее не застал: может быть, было слишком холодно — или она по понедельникам выходная.

ЗЛАТАЯ СТЕЖКА

Прахатице — бесспорно, хиреющий город; он все никак не может прийти в себя, после того как перестали возить по Златой Стежке соль из Пасова. Если вы достаточно решительны и терпеливы, поезжайте туда поездом; в противном случае лучше двиньтесь откуда-нибудь пешком. Теперь тут всё очень старо, но когда-то было сплошь покрыто сграффито и фресками. Тут было царство Рожмберков, видимо, страстных любителей ярких красок. Прежние прахатицкие горожане покрыли всю ратушу картинами и надписями; по самой середине фасада высится фигура юноши, во рту у которого ветвь и меч, на груди — львиная голова и медвежья лапа, а из руки его сыплются монеты: что это значит — никому не известно. Потом идут разные сцены судебного характера: видимо, прахатинцы питали слабость к обрядам, утверждающим справедливость, и поэтому там изображены сцены суда Соломонова, а также, специально для удовлетворения порядочных людей, сцена свежевания заживо двух осужденных. Латинские надписи прославляют гражданские добродетели и заправил общины, а одна чешская надпись кончается классическим двустишием:

Закон — паутина: каждого затянет.
Но жук прорвется, а мошка застрянет.

Так разрисованы и старинная пивоварня, и целый ряд других почтенных домиков. Многое уже стерлось; стерлась и таинственная надпись на костеле: «Quam cito transit tumana loje». Да, слава человеческая — дым. На воротах костела видны следы от ударов гуситских топоров и копий, и есть там в левом крыле страшный каземат, где будто бы гуситы сожгли восемьдесят пять прахатицких католиков; те пытались бежать через окно, но сумели только погнуть решетку, которая до сих пор на месте. Я вошел в костел; там были капеллан, церковный сторож и всякий костельный хлам. Возле костела — старая-престарая школа, куда, говорят, ходил еще Ян Гус и даже Жижка. Городок до сих пор окружен городьбой, как тогда. И, как тогда, коровы в сумерках везут в город сено прахатицких крестьянствующих обывателей, позванивая своими колокольчиками, оплакивающими былую славу Златой Стежки.

Теперь вместо обозов по долине Волыньки ходит воларский состав из одного вагона с паровозом, набираю-

щим воду и уголь на каждой станции, чтобы доехать до следующей. Он доходит и до Волар; это удивительный городок; когда-то на этом месте поселились тирольцы; они построили тирольский деревянный городок — с низкими тирольскими крышами и камнями на них, с альпийскими лугами вокруг и воларским языком, отчасти похожим на немецкий. К сожалению, часть Волар однажды выгорела; но воларцы остались прежними воларцами, как будто жили на острове; воларки никогда не выходят ни за кого, кроме воларцев, чтобы не растащить состоящих из навоза и дров воларских богатств по всему свету. Волары никогда не были представлены ни на одной международной конференции; а надо бы им быть воларским государством!

ДЕРЕВНИ

Деревни на Шумаве всюду отличаются необычайной длиной: примерно от двух до двадцати километров. Думается, есть там деревни, которых никто никогда от конца до конца не проходил. Перед домами, вместо палисадничка, навоз; возле каждой избы — ствол, выдолбленный в виде желоба, по которому течет родниковая вода. На каждом крыльце — ряд деревянных башмаков, от огромных тяжелых до крошечных детских; в воскресенье такой башмак хорошенько обскабливают и, надев его, топают в костел. Язык тут выразительный и своеобразный; я не понимал ни слова; коровам кричат: «уот, уот, йова». А когда деревня по неизвестной причине вдруг кончилась, можно целыми часами идти по дороге, между берез и рябин, и часами — лесом, не встретив ни души; только вдали, завидев тебя, юркнет в лес контрабандист, несущий из Баварии шесть зеленых шляп на голове да мешок с солью за спиной. А вздумаешь побродить по опушке этих печальных и прекрасных лесов, — каждому грибнику известно, что лучшие грибы растут на опушке, такие крупные и смуглые, почти черные; при этом все время шагаешь через разные канавы, мочажины да дрожащую торфяную топь, — так оказывается: эти горы — сплошная вода; просто диву даешься, откуда только все это натекает. За волной холмов новая волна, и всюду лес, сплошной частый лес. Здесь все тянется в бесконечную даль — горы и деревни, леса и даже время, — такое протяжно-шумящее.

[1925]

Крушные горы

Я бы сказал, что это самые ровные среди наших пограничных гор, по виду самые мудрые и самые уравновешенные. Это тебе не отвесные скалы дремучей Шумавы, не Крконоше — нагроможденье голых камней; здесь тянется волнистый гребень, этакий массивный хребет, который не раскидывает широко по равнине мощные конечности предгорий и заросшие под мышками отроги. Степенно, плавным и нешибким разбегом подымается он над долиной Огрже, стараясь, если можно так выразиться, сохранять свой уровень, — никаких лишних ущелий или перевалов, никаких буераков и обрывов, только так — то чуть выше, то чуть ниже, чтоб приятнее шлось и ехалось по белой, бегущей гребнем горы дороге. Ни торчащих скал, ни глыб, ни осыпей, ничего патетически обнаженного и первозданного, редко сыщешь горы, столь пристойно одетые ухоженными лесами, полосками овса и обширными лугами; только время от времени черные открытые торфяники с грудами брикетов и, как особая примета края, — то тут, то там заброшенный металлургический заводик или склон, некогда разрытый кирками, а ныне зарастающий луговиком и вереском. Видно, нет больше смысла добывать здесь медь и олово; внизу, в долине, полыхает и чадит каменноугольный бассейн, а здесь мертво и тихо, и древняя тайна руд и металлов отжила свой век и осталась романтической дымкой над историей здешних мест. Fueramus Pergama[1]. Были мы некогда Рудные горы, богатые металлом. В детстве они представлялись мне магнитной горой из путешествий Синдбада-морехода, я думал, что скалы тут переливаются красными блестками меди и серым мерцанием олова; ударь обушком — и засверкает жила металла. На самом деле все иначе — тихо, зелено, и всюду пасутся коровы и туристы.

Это — край мирных, прозаических ремесел. Деревни здесь ужасно длинные, на каждом шагу в них трактиры, а местечки, в прошлом довольно богатые, давно обеднели и утратили свою красоту и целомудренность. В Абртамах, скажем, не делают ничего, кроме перчаток; здесь могли бы нашить перчаток из козлиной кожи хоть на целый мир, но он, судя по всему, перестает прятать

[1] Были мы некогда Пергамом (*лат.*).

свои хищные руки в перчатки. А вот в Божьем Даре плетут кружева. В Шёнбахе и в Краслицах жители не делают ничего, кроме музыкальных инструментов. Я там видел такие огромные и сверкающие тромбоны, что даже представить себе не могу, кто носит подобную роскошь, — разве что какой-нибудь негритянский король навешивает это на себя в дни тронных торжеств, и сверкающий зев тромбона увенчивает его ореолом архангельским. Тут есть места, где люди, по-видимому, живут тем, что ходят друг к другу в трактиры, во всяком случае, не видно никаких других источников существования, кроме зеленых лугов и красивых пейзажей, как с чешской, так с саксонской стороны.

Помимо перечисленного, достопримечательность здешних мест — рябины, обочины дорог засажены одними рябинами, развесистые, они теснятся друг подле друга, чтоб защититься от горного ветра, деревья увешаны красными гроздьями ягод, похожими на большие букеты кораллов; и еще что-то вроде тоски или тревоги, что-то вроде ощущения, будто ты на самом краю света.

Ну конечно, тут ведь рядом граница, а в каждой пограничной земле есть что-то неодолимо волнующее.

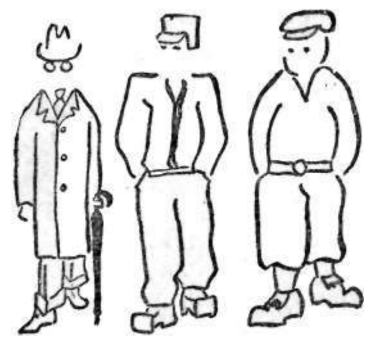
[1923]

Пасха в горах

Горы на пасху привлекают главным образом лыжников, туристов и просто любителей красивых видов. Что до меня, — по-моему, больше всех получает тот, кто просто смотрит. Но предоставляю каждому наслаждаться на свой лад.

Лыжный спорт на пасху состоит по большей части в поисках снега. Где только среди ползучего кустарника или в лесу обнаружится квадратный метр снега, там тотчас появляется лыжник, старающийся хоть средней частью лыж (целиком они там не поместятся) проехать по этой заснеженной территории. Через какое-то время к ним (к этим самым лыжникам) до того привыкаешь, что в конце концов перестаешь над ними подтрунивать и бранить их.

Горный туризм заключается главным образом в выяснении, какого туристского домика мы еще не посещали.



А так как этих домиков очень много, туристам хватает работы. В каждом домике — приветливая собака, цитрист и свиная корейка. У входа стоит множество лыж и толпятся юноши и девушки в тяжелых ботинках. Лыжи тоже довольно тяжелые; не понимаю, почему люди не пристегивают к ногам саней, рельсов или металлических балок? Затем — в каждом домике продаются открытки, дающие наглядное представление о том, как выглядит он, когда на нем и вокруг него лежит слой снега толщиной в три метра. Пасхальные посетители особенно охотно покупают эти открытки и шлют домой — «привет с гор».

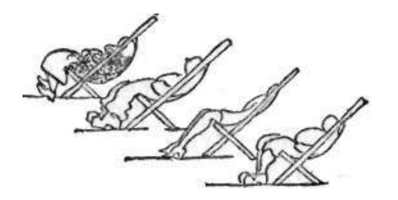
Наконец даже просто чистое любование тут неисчерпаемо содержательно и прекрасно, как и всюду.

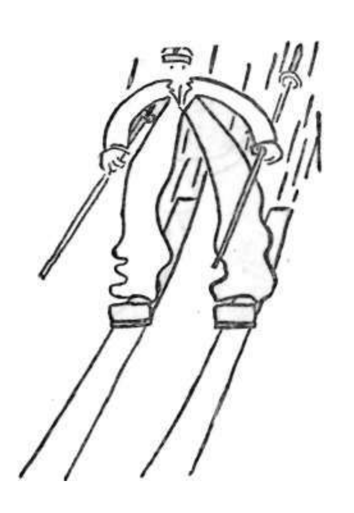
Если вы хотите знать, как в горах одеваются, то я скажу вам, что стиль там очень разнообразный: от непромокаемых плащей и зонтов до гольфов и лыжных костюмов. Молодые люди, желающие обратить на себя особенное внимание, обвязывают головы тесьмой, а на ноги надевают квадратные чемоданы. Чем эта обувь нескладней, тем лучше; и в ней так здорово топать по доскам.

* * *

Солнце в горах делает, что ему вздумается: то светит изо всех сил — так, что глазам больно, то становится объектом особого преклонения. Тогда люди мажут себе лицо мазью и лежат возле горного домика в шезлонгах, подставив физиономию под солнечные лучи, закрыв глаза и время от времени вздыхая: «Господи, как хорошо!»

Солнце жарит, а воздух ледяной, колючий и пахнет туристскими бутсами; случаев, чтобы при такого рода обжаривании кому-нибудь пришла в голову великая или вообще какая бы то ни было





идея, неизвестно, но обряд этот совершается сосредоточенно, даже чуть не благоговейно и длится до тех пор, пока тебя снизу не начнет пробирать холод...

А бывает, вдруг набредешь на такое место, откуда на десятки километров виден сплошь один снег, искрящийся, ослепительный, почти жгучий. И снег этот густо усеян отдельными черными точками и черточками, кишащими, подобно бактериям на агар-агаре, в цепочках или попарно, а то и вовсе вразброд. Это лыжники, которые залыжничались. Одни распевают нечто среднее между «аналитик» и «холдидийо» — это немцы; другие кричат: «Тонда-а-а» — это чехи. Во всем остальном полное сходство — вплоть до нашивок на рукаве. Иногда кажется, будто они состоят из одной пары ног, метра в два длиной, идущих прямо от шеи вниз и скрепленных сверху норвежским шлемом либо тесьмой, о которой была речь; только после того, как лыжник кувыркнется в снег, вы убеждаетесь, что он состоит из удивительного, совершенно неожиданного количества конечностей и составных частей, которые приходится собирать, с большим трудом устанавливая, что к чему и как опять соединить все это вместе, чтоб оно могло встать.

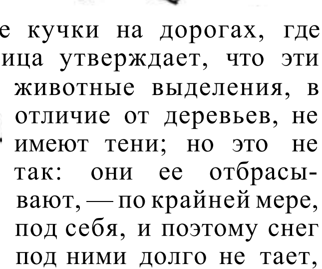
И лыжницы тоже испытывают ощущение, будто у них нет ничего, кроме длинных стройных ног. Словно вырвавшийся на волю неистовый дух Дианы овладевает женщинами, как только они наденут штаны. И они устремляются вперед на своих лыжах со смешанным чувством страха и легкости; вид у них при этом иной раз не совсем такой, как им самим представляется; зато они очень



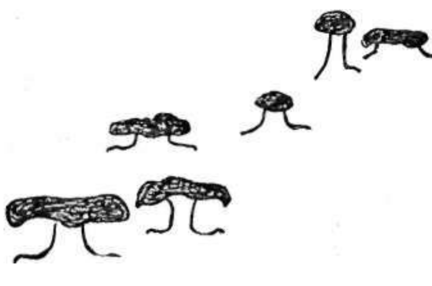


хороши, когда, по окончании вылазки, идут с лыжами на плече к домику, топая тяжелыми копытцами, чтобы стряхнуть снег; тут они вдруг становятся похожи на детей.

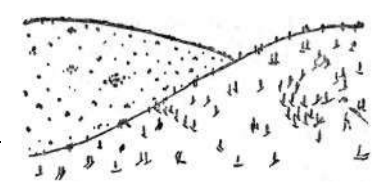
Я не хочу сказать ничего плохого о лыжном спорте. Но он внушает ужас, когда вы видите массовый натиск лыжников на горный домик, чтобы поскорей дорваться до обеда, или когда они берут приступом туристический поезд во время посадки. Тогда вам кажется, что вы попали в заросли гигантского древовидного камыша, торчащего высоко у вас над головой; вы жалеете, что у вас нет топора, чтобы прорубить себе тропинку в этой грохочущей чаще лыж и палок; но так как топора у вас нет, вы предпочитаете отказаться от обеда или поезда и будьте довольны уже тем, что ни один лыжник там, в горах, на снегу, не подшиб вас своими лыжами, а проскочил на волосок от вас, с криком: «С дороги, разиня!»



Грибы, которые я здесь нарисовал, вовсе не грибы, а коровьи лепешки и лошадиные кучки на дорогах, где уже растаял снег и лед. Пословица утверждает, что эти животные выделения, в отличие от деревьев, не имеют тени; но это не так: они ее отбрасывают, — по крайней мере, под себя, и поэтому снег под ними долго не тает, а остается стоять в виде ледяной ножки, поддерживающей черную

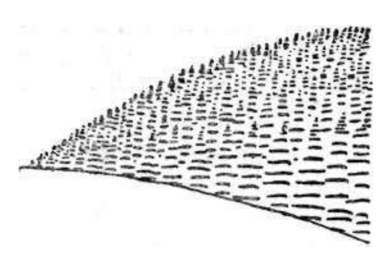


шляпку. Любопытная игра природы, интересная для каждого любителя-грибника. Так получается, наверно, оттого, что у настоящих грибов тоже широкие шляпки, отбрасывающие тень под себя и как зонтиком накрывающие хрупкий спорангий.



* * *

Солнце, солнце, солнце... И вдруг то тут, то там потемнеет, под самым носом у тебя из мочажины поползет вверх полоска тумана (вот где и как возникают тучи!) и ни с того ни с сего вокруг запорхают хлопья снега. И наутро так все бело, что глазам больно: такая отличная, напористая белизна. Прощай, белейшая белизна! Ведь у нас уже зацвела черешня!



Только леса темнеют в этом ослепительном белом просторе. Но они уже не кажутся стоящими вертикально, как вчера, а горизонтально, совершенно горизонтально исчерчены покрывшим ветви снегом. Они выглядят так, будто по случаю праздника причесаны большим гребнем. Будто кто-то пригладил их и сказал: «Хорошо!»

[1936]

Родной край

Родной край, или, точнее, край, где мы провели свои детские годы, — вовсе не географическое понятие, а множество мест и укромных уголков, с которыми у нас было столько связано, когда мы были маленькими. Например, место, где росли лопухи, отдававшие нам свои колючие шарики. Место, где мы купались, несмотря на строгий запрет. Межа, на которой мы ловили кузнечиков и ящериц.

Трактир, где мы съедали рогалик и пару сосисок, когда ездили в Гронов к дедушке с бабушкой. Ясень, в ветвях которого мы сидели, и грушевое дерево, с которого потихоньку таскали груши. Дом, где жила наша первая любовь, когда нам было восемь лет. И так далее: тысячи мест, из которых каждое представляло собой особый мир; и для каждого было свое время года, когда оно раскрывало свою неповторимую тайну.

Недавно автомобиль провез меня по краю моего детства. Но получилось уже не то. Теперь это был действительно край, и я впервые увидел лицо его — ласковое, покорное. Но те места, бесчисленные места, связанные с детством, исчезли. Может, они еще и были там, но я их не узнал.

Не было тысяч мест, а были долины и холмы, быстрая, темная река, земля и небо; все — страшно маленькое, оттого что больше не состояло из бесчисленных мест и уголков. Теперь это был родной край, и я смотрел на него, растроганный и разочарованный. Но это уже не был целый мир.

[1938]

Прогулки по Праге

Во имя старой Праги

В свое время мы всем сердцем были заодно с ними, с охранителями, защищая старую Прагу от младочешского магистрата и домовладельцев, готовых снести хоть Вальдштейнский дворец, чтобы построить квартал четырехэтажных доходных домов в пресловутом стиле Микулашской улицы или набережной Ригера. Правда, наши симпатии и общественные интересы тогда совпадали, но правда и то, что сегодня мы подчас не находим общего языка, когда они протестуют против расширения некоторых центральных улиц, если для этого нужно снести какой-нибудь старый дом с фасадом в стиле барокко или крытый черепицей домик, жмущийся между так называемыми дворцами торговли. Да, мы сильно разошлись с охранителями, но не выплескиваем ли мы с водой и ребенка?

Тут есть несколько аспектов, которые трудно совместить. Старая Прага действительно прекрасна: мы-то к ней пригляделись, но я могу сослаться на мнение иностранцев, объездивших многие города, начиная Стамбулом и кончая Лиссабоном. Дело не только в неповторимой красоте старой Праги, но и в подлинности ее старины, которая придает государствам и городам особое благородство. Лорета или маленькая Кршижовницкая площадь гораздо возвышенней всего блеска новых банков и дворцов торговли. Речь идет не об одном или двух старых зданиях, а о благородстве старого культурного центра, разрушение которого — утрата уже невозместимая.

Но современному городу надо дышать, ему нужен простор для транспорта, ему необходимо покупать и продавать; а размеры старой Праги недостаточны для насущных жизненных потребностей. Когда идешь по Старому Месту или по центральным улицам других районов, просто физически ощущаешь, как эта зажатая между старых стен жизнь хочет локтями и плечами раздвинуть теснящие ее преграды. Да и наша брюзгливость, несо-

мненно, происходит от того, что прогулки по пражским улицам превращаются в беспорядочную толкотню. Итак — места для движения! Места для света и воздуха! Места для больших магазинов и учреждений! Город должен служить повседневной жизни, и нам не уберечь того, что стоит на ее пути.

Старая Прага неизбежно будет разрушена там, где она мешает транспорту и другим жизненным функциям города; а она будет им мешать тем сильнее, чем больше мы будем стремиться превратить городской центр в Сити миллионного населенного пункта. Дело в том, что вся пражская торговля и увеселительные заведения со времени пере--орота просто лихорадочно устремляются в самый что ни на есть центр Праги. Магазины, банки, канцелярии, кинематографы, отели, рестораны, театры упорно втискиваются в несколько улиц, прилегающих к старейшей части Праги, создавая там чрезмерное оживление, в то время как за несколько улиц отсюда, в жилых кварталах, жизнь еле пульсирует. Пусть ваша квартира в Оржеховке или на Высочанах, но покупать вы ездите в центр города; ваш банк, ваше кафе, ваши поставщики — все сосредоточено на нескольких многолюдных улицах. С точки зрения современного урбанизма это чудовищная бессмыслица; во всех современных больших городах можно заметить обратную тенденцию: магазины, театры, кинематографы, филиалы банков перемещаются вслед за своими посетителями и клиентами на окраины, в жилые кварталы, и создают там децентрализованные центры. Современный магазин устремляется за своими покупателями; он не крадет их время, заставляя мчаться километра за три, чтобы купить запонки для манжет. Новая Прага могла бы позаимствовать опыт у Берлина, Парижа и Лондона, а мы вместо этого фатально усиливаем бессмысленную и отжившую свой век централизацию города. Надо проводить целенаправленную политику застройки, чтобы рассредоточить уличное движение. Чтобы сохранить Старую Прагу, нужно лучше регулировать жизнь Новой Праги. Современная торговая площадь в Двенадцатом или Четырнадцатом районах спасет часть пражского барокко. Надо подумать, как этого достичь, какую урбанистическую политику надо проводить, чтобы уличное движение рассредоточить по всем магистралям периферийных центров. Если не сочетать борьбу за старую Прагу

со строительством Праги современной, борьба эта будет проиграна заранее.

Но, проиграв этот бой, новая Прага лишится того, что ей надлежит сохранить, как фамильную драгоценность.

[1928]

Здание Национального театра

В дни, когда мы празднуем пятидесятую годовщину основания Национального театра, нельзя не вспомнить о его строителях — архитекторах Зитеке и Шульце, а также о всем «поколении художников Национального театра» — скульпторах Шнирхе, Мысльбеке и Вагнере, живописцах Алеше, Женишеке, Тулке, Маржаке, Адольфе Либшере, Гинейзе и Брожике, — всех, чьим общим трудом создано это великолепное, благородное, художественно цельное здание.

История строительства Национального театра, — от первоначальных планов до вторичного возведения здания после пожара, собственно, даже до технической его модернизации в наши дни, — могла бы составить отдельную, весьма содержательную главу. Темой ее была бы упорная борьба за пространство — борьба, о которой почти ничего не говорит спокойный, торжественный облик театрального здания. Только войдя внутрь и попав в лабиринт каморок и коридоров между котельной и колосниками, видишь, как за этими стройными стенами все прямо задыхается от тесноты, которую приходилось преодолевать строителю. Заранее было известно, что полная победа невозможна: театр растет внутренне, — он рос еще при Зитеке, — и как ни старайся использовать отведенное пространство в высоту, таким путем столь быстрого внутреннего развития не удовлетворишь; поэтому история строительства Национального театра окончится лишь возведением нового, более просторного здания.

Другая — исключительно радостная — глава могла бы рассказать о значении строительства Национального театра в истории чешского изобразительного искусства. Лучший период развития нашего искусства связан с именем Национального театра. Взгляните еще раз на Алешевы люнеты в театральном фойе: это мелодическое волшебство, этот

напев линий, в одно и то же время героический и лиричный, богатырство и нежность, возвышенность и сердечность — вот рождаемые ими чистые, глубоко родные впечатления, которые снова возвращаются к вам перед пейзажами Маржака в королевской ложе, оживают в торжественной, но все же интимной архитектуре зрительного зала и, наконец, отчетливо улавливаются в музыке Сметаны. И если даже иные украшения говорят с нами, быть может, не столь задушевным языком, мы дивимся и им, преклоняясь перед тем могучим напором творческих сил, который сразу позволил чешскому искусству разрешать такие огромные задачи. И эта неожиданно вырвавшаяся наружу мощь является тайной, которую «поколение Национального театра» унесло с собой.

Сейчас я думаю, однако, о другом историческом явлении: о том незаметном процессе, в результате которого здание Национального театра за последние пятьдесят лет *вросло* в пражскую почву, как ни одно другое. Есть в Праге три места, воплощающие в себе весь город, три символа, являющиеся сгустком всей красоты и славы Праги: Градчаны, Староместская площадь и Национальный театр. Сейчас я думаю не о том, что они для нас и какие с ними связаны исторические воспоминания, а о их живописной внешности в обрамлении Праги. Градчаны так крепко вплавились в общий облик города, что кажутся просто архитектурным выступом нашей почвы; в то же время они высятся в своем строгом одиночестве, как его горизонтальная и вертикальная доминанты, сочетая таким образом высшую независимость с высшей слиянностью — в образе бесконечной красоты. Подобно этому и Староместская площадь чрезвычайно прочно вчленена в город как его замкнутый центр; но в то же время эта замкнутость архитектурно обособляет ее, превращает в совершенно независимое целое, достигающее своего высшего выражения в двух резко выделяющихся пунктах: ратуше и Тынском соборе.

Наконец Национальный театр сросся с окружающим пейзажем так счастливо, как ни одно другое здание в Праге. Его окружение — светлая, мягкая Влтава с ее чудными островами, ясный, полный воздуха коридор Влтавской долины, зеленое руно Петршина напротив и Градчаны вдали. Нет в Праге места лиричней этого. И тут вырастает

щедро и нежно слитое с почвой благодаря своей лоджии и подъезду, лишенное тяжелого цоколя, золотисто-серое, мягкого тока театральное здание; оно преодолевает притяжение улицы мощными колоннами, — так как здесь, в узком уличном проезде, господство его вынуждено заявить о себе поднимающимся прямо из почвы портиком и величественной колоннадой. Зато со стороны реки уже пет надобности в сосредоточенной пластической монументальности: вольный речной простор вступает в ясное и чистое сочетание с широкой боковой плоскостью театрального здания, силуэт которого свободно развертывается, уходя легко и торжественно ввысь овалом купола, Так Национальный театр, покоряя улицу пластической монументальностью, а вольный простор — взлетающим вверх силуэтом, связан с окружающим пейзажем двоякой связью. Прибавьте к этому прелесть и солидность ломбардского Ренессанса, очаровательную соразмерность частей, огромность размеров без ощущения тяжести, тщательную обработку деталей и, наконец, трудно передаваемый подлинно поэтический, неподдельно искренний и торжественный *мелодический взлет* этого здания, и вы поймете почему Национальный театр, на мой взгляд, сросся со своим окружением глубиной и чистотой своего архитектонического *лиризма.*

Сросся, но не смешался. Он господствует над этим окружением своим повелительным видом и гармонией. Он является монументальным завершением живописной Франтишековой набережной, торжественным въездом на Фердинандов проспект, драгоценным украшением всех прогулок по реке, но в то же время высится и сам по себе с исключительной энергией и независимостью. Случай, творящий иной раз чудеса, окружил его домами с совершенно плоскими фасадами и совершенно прямолинейными очертаниями. Вокруг нет ничего, что конкурировало бы с громадой театра ни в отношении линий, ни в отношении материала. Так архитектурные и территориальные предпосылки соединились для того, чтобы сделать Национальный театр памятником исключительной местной типичности. Поэтому Национальный театр — воплощение всей прелести Праги, подобно тому как Градчаны — воплощение ее вертикального и горизонтального размаха, а Староместская площадь — ее замкнутого центра.

Конечно, Ржип — самая красивая из чешских гор; но только народная легенда превратила его в символ и представителя всей нашей земли. Несравненна красота Градчан, но красота эта в то же время — картина прошлого и обещание будущего. У нас нет ничего красивей Староместской площади, но только как памятник крови становится она центром королевства. А Национальный театр, без такой легенды и такого исторического прошлого, врос в нашу почву и в наши души так же крепко, как эти легендарные или исторические места. И в этом заключается таинственный, неприметный процесс, пережитый его зданием за пятьдесят лет.

Порожденный славным народным праздником, Национальный театр до сих пор несет на себе печать своего происхождения. Мы ясно чувствуем: не только драма и опера, а торжество, ликование, народный праздник — вот в чем подлинный его смысл и значение. Он освящен великими и радостными днями, овеян легендой радости. Без него мы не можем представить себе ни одного великого народного праздника; встречи и торжества, съезды и радостные зрелища были и будут его наполнением. Оттого он так прирос за эти пятьдесят лет к нашему сердцу, что весь целиком поет нам золотым голосом великого праздника. Оттого он для нас представитель Праги радостной, ликующей, лучезарной. И таким останется навсегда.

[1918]

В Пражском Граде

Все, конечно, знают, что Пражскому Граду перевалило за тысячу лет, но вам, может быть, не известно о том, что с самого начала он был заложен почти точь-в-точь в своих нынешних границах, то есть в размерах, для тех времен почти беспрецедентных. Только там, где сейчас Матиашовы ворота, был замковый ров, а где сейчас въезд, был тоже ров, а чуть подальше — еще один, — но это пусть нам объяснит зодчий, пан Фиала, которому тут знаком каждый камень и доподлинно известно, во времена какого властителя он был водружен на свое место. Он может объяснить, как отличить романскую постройку от более поздней готической, — романский стиль заслуживает

большего почтения, потому что от тех времен мир непрерывно движется к упадку, а стены романской кладки обнимают весь Град, начиная от Матиашовых ворот, Опыша и кончая Оленьим рвом; судя по этому, Пражский Град был самым большим в старой Римской империи.

Но дело не только в размерах; нынешний интерес к Граду обращен скорее вглубь, точнее, на глубину семи метров ниже уровня земли. Там, под третьим замковым двором, и под владиславским крылом дворца открывается удивительный подземный лабиринт; сегодня там копошатся двести пятьдесят человек с заступами, тачками и бетоном; порой нужно нагибаться, чтобы пройти, вы на семиметровой глубине под мостовой; под семью метрами щебня и земли покоятся остатки всяческих чуланчиков, коридоров, домиков и даже часовен; на этом небольшом участке кремля были раскопаны три до сих пор не известные часовни, еще глубже — обнаружены бревна и брусья времен предроманских и дохристианских, — дерево черное и совершенно трухлявое, но оно — самая древняя частица Праги. В семи метрах щебня, наслоившегося на этой исторической земле, нашлось и еще кое-что: несколько захоронений, множество человеческих костей, кучи черепков; молодой ловкий археолог слепил их и получились сотни горшков, кувшинов, жбанов и тарелок, на которых едали чешские короли и челядь; кроме этого, обнаружены еще груды старых башмаков и кожаных туфель, накиданных в колодец, кошки и крысы, высохшие и превратившиеся в мумии, всяческие обломки, остатки и отбросы тысячелетнего человеческого жилья; конечно, это не сокровища Али-Бабы, но все же интимные и просто трогательные напоминания о руках, которые когда-то эти осколки, этот исторический сор сработали, использовали и со временем выбросили на свалку, — свалка, видимо, была всюду, где стояло хоть какое-то строение; для будущих поколений — это напоминание о руках, которые с осторожностью, просто благоговейной, извлекли эти обломки из земли, очистили их, склеили и сохранили.

Теперь можно увидеть воочию, как всякий новый владелец Пражского Града что-то срывал, рушил, перестраивал, пристраивал, закладывал и недостраивал, переделывал, переносил, расширял и упразднял. Тут строил,

к примеру, князь Бржетислав, но до него на этом месте что-то было; там разобрали бревенчатый потолок и возвели цилиндрические своды, — это романский дворец пражских князей, — два прекрасных зала на глубине семи метров под землей, винные погреба его милости короля, впоследствии склады всякой рухляди, а ныне — самая крупная находка в градчанских подземельях. Потом Пршемысл Отакар воздвиг над ними готические аркады и новый дворец, но Карл IV замуровал аркады и разместил там канцелярии, а жилье себе устроил этажом выше; король Владислав замуровал то, что было построено при Карле, и приказал выстроить Владиславский зал для дипломатических чаев и приемов. Так шаг за шагом выявляется во владиславском крыле этот ряд строительных периодов; всюду замурованные окна, арки, эркеры, сглаженные (как говорят каменщики) профили, безжалостно пробитое и переделанное творение предшественника; конгломерат этот — взаимопроникающие кристаллы нескольких веков, разрезанные и переклеенные страницы летописи. В те времена сносить не любили; новый строитель возводил на старом строении, возле него, сквозь него; время от времени что-то горело, но обгоревшие руины отстраивали снова, добавлялось новое крыло, пробивались новые лестницы, и — готово дело; а для коронаций или турниров пристраивали лесенки, балконы и помосты, снаружи прилепляли часовни, портики, лавки, общественные кухни, конюшни и временные пристройки под жилье для всяких бездельников, затем Габсбурги провели решительную реконструкцию, все сровняли с землей, оставив только владиславское крыло; теперь там орудуют двести пятьдесят землекопов, каменщиков, строителей и ученых, откапывая и определяя все, что там осталось; они отводят подземные воды, укрепляют насыпные фундаменты, чтобы сохранить на века эту несвязную, но красноречивую историю зодчества, а в то время в новом крыле замка современный архитектор, наделенный тонким и благородным вкусом, возводит среди лабиринта этих стен резиденцию президента из гранита, глазированного кирпича и полированных деревянных панелей.

Ближайшие годы внесут в летопись Града новые страницы.

[1928]

Огни над Прагой

Когда приближаешься ночью к Праге, скажем, со стороны Нимбурка, — уже от Челаковиц видно какое-то бледное, матовое зарево на западном небосклоне. «Неужели Прага?» — с удивлением спрашиваешь себя и не веришь этому: ведь ни в прошлом, ни в позапрошлом году огней Праги из такой дали не было видно, — куда там! А вскоре видишь, что это, собственно, не зарево, а сверкание. На черном небосклоне заиграет бледное сияние и тут же исчезнет; еще раз; опять; через каждые три секунды вспыхивает пучок лучей и мгновенно погасает.

«Похоже на маяк», — думает пассажир, вспоминая, как светят и мигают черной ночью маяки над черными волнами моря. «Нам было бы лучше, если б у нас был хоть кусочек моря, — рассуждает он. — Море, милый мой, это весь божий мир, дорога в мир, распахнутые ворота во все стороны мира. А мы — мы замкнуты в своих собственных границах, как мелкий ремесленник у себя в мастерской...»

«Ну, конечно же, это маяк!» — думает он опять. Вот теперь уж целый снопик лучей, бегающий туда-сюда, туда-сюда, как огни маяка: вспыхнет и пропадет; щупает бездонную тьму здесь и там, словно маяк на отмели ночью. «Ах, — вдруг вспоминает пассажир. — Да ведь это и есть маяк! Просто авиамаячок на аэродроме в Кбелах. А похоже на огни пристани».

Теперь впереди уже не пучок лучей, а огромный столб света, властно пронизывающий тьму здесь и там. Действительно красиво. На небосклоне вдали бушует гроза; ветвистые зигзаги молний полыхают между небом и землей, а здесь через каждые три секунды бьет яркая белая молния маяка, — полезная молния, озаряющая тьму. И вот уже через весь черный небосклон протянулась световая полоска, брызжущая из одной точки горизонта и рассекающая безграничный мрак. Где-то ближе — где же это? — пламенеют два алых огня: один светит спокойно, другой равномерно мерцает: похоже на буи — сигналы, указывающие путь к порту. А еще выше — где же это? — опять белый огонек; нет, тоже два огонька: белый и зеленый; а вон там — опять два: белый и красный. Белый с зеленым вдруг приблизились, стали выше — господи, да ведь это самолет! А белый и красный — другой самолет.

И обе пары огней закружились вокруг друг друга, разлетелись в разные стороны и опять стали сближаться. Словно любовная игра двух самолетов во время токованья. Который же из вас самочка, аэропланы?

И вдруг совсем близко загудел третий самолет, захваченный гигантским световым столбом маяка; на мгновенье сверкнул по черному небу страшным металлическим, фосфорным блеском, вспыхнул глянцем гигантской стрекозы — и опять утонул во тьме: слышно только его жесткое грохотанье. Это было внезапно и поразительно, как чудо; да и в самом деле было чудом: в этом коротком, ослепительном проблеске раскрылась волнующая красота нового века и вместе с тем приоткрылось будущее.

Маячок Кбелского аэродрома, спасибо тебе за это! Есть у нас теперь настоящий порт — и с маяком, указывающим во тьме наш берег. Пространство вокруг нас расширилось от движения твоих световых столбов. У нас нет моря, но ты, Кбелский маячок, — вестник обступающих нас гремучих далей.

[1931]

Холм Святого Креста

Вы скорее отыщете Еврейские печи — так этот холм зовется в просторечии, хотя ни печей, ни креста, даже евреев там нет, только чахлая трава, бугристые, изрытые оврагами склоны, но главным образом жижковский люд. Это голая, ободранная и неприглядная горушка, то ли карьер, то ли место детских игр, а в поздние часы — что-то совсем другое; с одной стороны холма горизонт закрывает Ольшанское кладбище — его тополя и кипарисы, купола и башенки гробниц кажутся чем-то южным, поэтическим; под ним — заброшенный Ольшанский пруд, заводь слизняков с водой, зеленой, как в горном озере, и густой, как сметана. Внизу — черный, закопченный и облупленный Жижков, дальше, на горизонте — Градчаны, отсюда и впрямь какие-то ненастоящие, а только так, символический силуэт; здесь, с другой стороны темной долины, — зелень Виткова, массивной стены жижковского водоема. Сзади холм завершает таинственная ограда оружейного завода, откуда звучат выстрелы, как из пояса вечной войны.

Днем здесь ребятишки со змеями, с луками из спиц старых зонтов; там, лежа на животах, подростки режутся в карты; тут растянулись парни, надвинув на лица кепки и положив головы на колени милым, а милые — замерли, не шелохнутся, благоговея перед мужским превосходством. Жижковские мамаши чинят белье и сушат грибы, молодые папаши тащат снизу первенцев, а старички выползли со своими трубками и сидят неподвижно над широко раскинувшейся, дымящей Прагой. Долговязый парнишка играет на гармошке не хуже эстрадного артиста; вокруг него, подперев подбородки руками, лежат парни, неподвижно слушая дикие, рыдающие вариации, которыми музыкант украшает простенькую мелодию. Над склоном на фоне неба стоит большая, чудовищно брюхатая женщина, и ее силуэт похож на языческого идола.

На разрытых и выщербленных склонах, на террасах мусора и щебенки, на грудах жестянок и осыпях ютятся хижины, сколоченные из досок и планок, старой жести и картона; новый тип человеческого жилья образца 1924, наверное, еще более жалкий, чем другие, потому что здесь нет даже клочка земли, на котором можно было бы устроить грядки. Возле домишек копошатся хозяйки, возят тачками битый камень, пытаясь укрепить осыпающийся склон. В окнах — перины в красную и синюю полоску, множество детей и визгливый женский крик. На самой макушке холма уцелел народный парк: склон без единого деревца, ржавый песок, поросший реденькой, жесткой травой, но и этого достаточно влюбленным подросткам: едва стемнеет, они подымаются сюда и усаживаются, как говорится, на зеленый ковер. А ночью — ночью человеку здесь делать нечего, место пользуется дурной славой.

Дальше, за оружейным заводом, окруженные проволочными сетками — садики железнодорожных служащих, садики крошечные, но в них хватает места для капусты и подсолнечника, огненной настурции, бегонии, георгинов и чего-то вроде ящика с окошечком, из ящика торчит жестяная труба; ну да, в этих ящиках живут. А там, где склон слегка выровнен, ставят дощатые будки, красят розовой или голубой краской — и готово, еще у одной семьи есть крыша над головой. А еще дальше на последнем уступе холма тянется длинный и печальный поселок, а за ним песчаная поверхность, наподобие лунной, покрытая

малюсенькими хребтами и кратерами, на дне которых гниют маленькие зеленые прудики. Это уже и есть самый край города: оголенная до недр и израненная земля городских районов переходит вдруг в прекрасный и мирный край возделанных полей.

Мимо этих мест, направляясь к разбросанным у дорог одиноким хуторкам, идут поодиночке тихие и усталые люди с узелками, в которых утром несли с собой на работу обед; они уходят все дальше и дальше, куда взгляд не достигнет, куда, может быть, никогда и не дойти.

Обратно идешь долго-долго, пока наконец не заслышишь звонки красного трамвая окраины.

[1925]

Полицейский обход

В полночь полицейский обход приблизился к самому краю Коширж. Холодная мартовская ночь; небо покрыто тучами. Человек восемь полицейских и несколько штатских подходят к кирпичному заводу. Вот уж месяц, как печи его погасли, в нем пусто и страшно зияют сводчатые переходы. Однако и тут человеческое ложе: это колода, покрытая куском воняющего дегтем толя, — вот каково это ложе! В углу — маленькая поленница дров: стоит протянуть руку — и в кромешной тьме приветливо заиграет красный огонек. Но теперь тут все мертво: человеческие беды знают свои сезоны.

Проверка проходит мимо. Подходит к Шавлинову дому.

— Закуривайте, — советует комиссар. — Иначе задохнетесь.

Полицейский стучит в окно:

— Откройте.

Отпирает кашляющий сторож. Появление ночных визитеров нисколько его не удивляет.

— У вас есть кто?

— Виноват, не знаю.

Перед нами длинный коридор; тесный ряд дверей, будто в тюремные камеры.

Комиссар стучит в первую.

— Откройте. Полиция!

Слышится топот босых ног; дверь отворилась, выпустив теплую волну запахов. Пахнуло тряпьем, клопами, едой и какой-то гнилью — запахом нищеты.

— Войдем внутрь, — говорит комиссар. — Имеет смысл...

Женщина в рубашке, которая отворяла дверь, не спеша надевает нижнюю юбку.

— Кто у вас тут?

— Мои дети, сударь.

— Где ваш муж?

— Я вдова.

— А в постели кто?

— Моя сестра, сударь.

— А с ней кто лежит?

— Муж ее.

— Дайте воинский документ.

Можно пока осмотреться. Идти некуда: не успеешь шагнуть, как споткнешься о кучу тряпья. Вообще кажется, что тряпье здесь — главный предмет обстановки: тряпки висят на печи и на веревках, лежат в углу и прямо перед вами... Впрочем, нет: это груда детей; из ужасной кучи грязных тряпок на вас спокойно глядят шесть пар детских глаз. Наконец женщина нашла желтый листок. Комиссар светит на него.

— Все в порядке.

Да, да... все в порядке! Значит, ступайте к другим...

Мужчина приподнялся на постели.

— Что вам нужно? Почему не даете людям спать? Чего приперлись?

Комиссар не обращает внимания.

— У вас никого нет?

— Это все наши дети, сударь, — спешит вмешаться жена.

Их тут штук восемь — лежат прямо на полу, под одним одеялом. Видны только головы, и нелегко представить себе клубок тел под ним. И потом — у этой женщины чахотка, на нее страшно смотреть!

— Оставьте нас в покое! Кто вас звал? — злится муж.

— Да перестань, замолчи, — накидывается на него в безумной тревоге жена. — Не слушайте его, господа: это он просто так.

Комиссар слегка ворчит; впрочем, тут почти нет подозрений.

— Это хорошие жильцы, — кашляет сторож.

И еще одни хорошие жильцы — тут же рядом. Двое стариков, куча детей на полу, лохмотья и тьма тараканов. На постели из-под перинки видны молодые, красивые женские руки, прикрытые рассыпавшимися косами.

— Кто там лежит?

— Это наша дочь.

— А с ней кто?

— Да парень ее, сударь.

— Прописан здесь?

— Да, да, сударь, уже два года.

Молодая пара в постели и не думает просыпаться: спят себе, обнявшись.

— Ребенок чей?

— Ихний.

— Что с ним?

— Не знаю. Прихворнул что-то...

В общем, все в порядке.

Следующий номер.

— Это тоже хорошие жильцы, — объявляет сторож.

Открывает молодой человек, очень красивый.

Комиссар просунул голову в дверь. Женщина в постели, — больше ничего особенного. Молодой человек провожает удаляющийся полицейский наряд ироническим взглядом. Под таким взглядом поневоле ссутулишься.

Дальше, дальше!

Плохие жильцы. Открывает женщина. Только увидала полицейских — в слезы. Показывает длинный нож: этим, мол, ножом муж только что хотел ее зарезать; потом забрал все деньги — и в трактир.

— Кто у вас тут?

— Это мои дети, сударь.

— Сколько их?

— Семеро, сударь.

И опять — вонь, тараканы, жалкие, грязные лохмотья и среди них — детские головки. Господи, сколько этих детей повсюду!

— Теперь вы кое-что увидите, — говорит комиссар и стучит в новую дверь.

Отворяет женщина, но внутрь войти нельзя.

— Сколько вас тут?

— Тринадцать, сударь. Мы двое да одиннадцать человек детей.

Представьте себе комнату в три метра шириной и пять длиной. Мерцающий свет маленькой лампы падает на кучи жалких отрепьев, которые оказываются людьми.

— Берегитесь вшей, — шепчет комиссар.

Обстановка: стул, постель и электрическая плита; стола нет. Комок подкатывает к горлу, как на похоронах. Скорей дальше!

В Шавлиновом доме еще десять семей.

Глядишь на него снаружи — черный, страшный; букет зловония; рассадник туберкулеза; склад ветоши. И в одном этом доме — больше пятидесяти человек детей!

— Найдется ли во всей Праге трущоба хуже этой?

— В Жижкове, пожалуй, — неуверенно отвечает комиссар. — На окраине Жижкова еще хуже. Пойдем в номер двести пятьдесят один.

НОМЕР 251

Полицейский наряд останавливается перед большим многоквартирным домом. Осмотр начинается с подвала; как ни удивительно, и здесь, в подвале — «хорошие жильцы»: даже занавески на окнах и кое-какие картины на стенах; но тоже очень много детей. В № 251 — около тридцати семейств, и в каждой каморке почти одна и та же картина: пропасть тараканов, куча детей на полу, старшая дочь — в постели с любовником. Кое-где две-три семьи в одной каморке; из-под одеял, словно какие-то страшные кактусы, торчат рядами ступни. А рядом даже дверь не заперта: входишь внутрь — ни малейшего признака мебели; у одной стены на голом полу, прислонив голову к стене, спят муж и жена под одним рваным отрепьем; и все; даже веревки нет — ни для белья, ни чтоб повеситься.

— Давно они здесь? — спрашивает жандарм у сторожа.

— Да уж три года, почитай.

Еще одна семья. Две пары в одной постели, на полу — около дюжины детей.

— Чьи дети?

— Вот эти наши, эти вот сестрины, а эти, — кивок в угол, — приютские.

Четверо ребят — мальчики и девочки — спят совершенно голые под жалкой периной. Страшно скверный запах. О боже, есть ли предел человеческой нищете?

Во-первых, ни у одного дикого зверя нет, наверно, такой отвратительной, такой убогой норы, какая бывает у человека. Все, что только можно представить себе в смысле бедности, грязи и заброшенности, — все сойдет для несчастного человеческого зверя и его детенышей. Всюду, где жилец — рабочий или мастеровой, помещение имеет приличный, человеческий вид; но вот — люди без определенных занятий, полуподенщики-полубродяги, мелкие воры, пьяницы, безработные, вдовы; весь этот уголовный, хоть и не повинный в этом элемент, — продемонстрировал бы вам такой облик человека, такие формы человеческого бытия, что вы пришли бы в ужас и устыдились бы страшной трещины, расколовшей человечество надвое.

И, во-вторых, там — дети, слишком много детей. Трудно сказать, оттого ли эти люди так чудовищно бедны, что у них на шее столько ребят, либо оттого у них столько ребят, что они так бедны... Возможно, что страшная плодовитость бедноты — результат туберкулеза и пьянства; но если бы вы видели эту безысходную нужду, этих мужчин и женщин, ютящихся попарно под одной тощей периной, тесно прижавшись друг к другу и согревающих друг друга своим телом — слово осуждения замерло бы у вас на устах.

Я хотел бы, чтобы все наши законодатели увидели своими глазами эту бездну нищеты. Уверен, что они думать больше ни о чем не могли бы, как только о способе спасти детей. Они сказали бы себе, что все остальное, пожалуй, может подождать, что этот вопль нужды — самое первое в мире, на что нужно ответить. И подумали бы о детских колониях — где-нибудь в горах, что полезней для здоровья; о красивых, веселых колониях, в которых эти бедные малыши учились бы жить по-человечески; о детских коммунах, о школах, подготовляющих к ремесленным курсам, об интернатах для детей испорченных и санаториях для тех, кто заболел от нищеты, о молоке и чистых постелях для этих обовшивевших мальчуганов, о чем угодно, что только способно вырвать этих козявок из грязной, зловонной, губительной скверны нищеты. Я уверен, они сказали бы: лучше на чем угодно сэкономить в бюджете, от чего угодно отказаться, только бы поскорей, без промедления, уничтожить этот величайший позор человечества, эту отвратительную гноящуюся рану: развращение невинных посредством нищеты. Вы, политики, вечно ора-

торствующие, вечно выдумавающие всякие законы, интерпелляции, основания и бог знает что еще, заткните себе нос и скажите, чтоб вас отвели в Шавлинов дом или в в № 251; честное слово, это стоит сделать: мы же ведь все-таки люди!

В ПОПЕЛКАХ

Это последний этап полицейского обхода. Что же мне еще описать вам? Сарай, в котором уже много лет живет семья с шестью ребятами? Бараки, не запирающиеся даже на ночь? Входите свободно, только не наступите на тех, кто спит прямо в коридоре. Да, да, тут налево — старуха, ее дочь и куча детей. Господи, эти десять скелетов еще шевелятся? Неужели вы еще дышите, человеческие призраки с огромными глазами? Разве смерть от отчаяния и нищеты так трудна?

Боже, если только твое владычество простирается на Попелки, если это место осуждено и покинуто тобою самим, дай отчет и оправдайся в том, что ты позволил сделать с этими людьми! Или кто виноват в этом ужасе? Общественность? Но она ничего не знает о Попелках, она даже случайно не заглядывает туда, — через Попелки не проходит никаких дорог: это край света. Попечительство о бедных? «Этим людям невозможно помочь, — говорит комиссар. — Детям выдадут в школе одежду и обувь, а родители сейчас же продадут. Ничего нельзя сделать. Отец либо мать — по большей части в тюрьме за воровство. Просто несчастье».

Думаю, что никакая благотворительность не в состоянии устранить эту предельную нищету. Прежде частная и общественная благотворительность интересовалась главным образом неимущими стариками: устраивала богадельни, убежища для потерявших трудоспособность престарелых обоего пола. Современное попечительство о бедных распространило свою деятельность на сирот и калек; стала заботиться о малолетних слепых, о детях, страдающих рахитом, скрофулезом и слабоумием. Но всего этого мало. Там, на дне, в одной семье растет по шесть, восемь, десять человек детей. Допустим, они обладают относительным телесным и душевным здоровьем; и вот этих ребят, вполне жизнеспособных, а в будущем способных также к труду и произведению потомства, современное попечи-

тельство о бедных без малейших колебаний и угрызений совести оставляет расти в условиях беспредельно грязной, гнусной нищеты. Не думайте, будто самая что ни на есть современная школа может указать этим детям путь к жизни лучшей, чем та, которой живут их близкие: человека формирует не столько школа, сколько жизнь. А главное — не думайте, что *эта* нищета имеет хоть что-нибудь общее с евангельской добродетелью; она похожа на что угодно, только не на добродетель — на страшную болезнь, на проклятье, и еще вот на что: как будто перед вами — какая-то другая раса, другой животный вид, не имеющий почти ничего общего с человеком.

В нашем распоряжении много очень любопытных и ярких статистических данных, рисующих процесс вырождения. Разные таблицы рассказывают нам о том, какое количество преступников происходит от родителей-алкоголиков, бродяг, воров. Но прежде чем уверовать в наследственное происхождение зла, пойдите, посмотрите, в какой обстановке вырастают эти будущие «дегенераты»; тогда вы поймете, что главным наследственным фактором дегенерации является нужда. Да, люди добрые, я даже представить себе не могу, что вышло бы из вас, что вышло бы из меня, если бы мы с вами родились и с самого малолетства жили в такой горькой нужде, в какой живут в тех же Попелках. Откуда взялись бы у нас благородные принципы, уважение к обществу, чувство собственного достоинства и вообще все то прекрасное и человеческое, что нас облагораживает? А эти дети, если они не вынесут из своего детства никакой нравственной порчи, во всяком случае, вынесут из него две вещи: чувство ненависти и нищету.

Проблема нищеты — это проблема нищих детей. Никакой самой щедрой милостыней нельзя изменить жизнь тех, кто погряз в безысходной бедности. Недостаточно помогать со дня на день. Мы не призываем к тому, чтобы проявлять к нищете милосердие; нищету надо немилосердно уничтожать; истреблять ее, как истребляют инфекцию. Нельзя помешать человеку впасть в нищету, но можно помешать ему расти в ней и для нее. Это можно сделать при помощи воспитания. Не школой, а переменой всей жизненной обстановки. У нас есть учреждения для золотушных, отлично. Но нищета страшней и опасней золотухи. Я думаю, я уверен: придет время, человеческое общество будет

устраивать школы-санатории для детей, рожденных в нищете. Уверен, что это возможно уже сейчас... Да что там: возможно! По-моему, это необходимо. Ведь эта самая нищета не приятней и не легче сиротства или английской болезни! Я, конечно, понимаю: тут проблема расходов и всякое такое. Простите, но я не могу говорить об *этой* проблеме; я видел больше, чем в состоянии описать, и меня слишком страшит проблема нищеты, чтобы я мог думать о проблеме расходов. Я не знаю, на самом деле не знаю, как ее разрешить, и прошу вас всех помочь мне обдумать эту сторону дела. Знаю только одно — и это, конечно, не ново, по мне хочется об этом кричать во всеуслышание: что совесть не позволяет мириться с преступлением, за которое мы все в ответе, — с нищетой человеческих детенышей. Господи, говорят, что человечество — властелин суши, моря, воздуха и всего на свете; оно обнаружило бы печальное бессилие, если бы не нашло способов устранить нищету. Вы утверждаете, что не в наших возможностях исправить это ужасное положение? Увы, как же человечество ничтожно, если оно не в состоянии разрешать столь насущные, неотложные задачи!

[1921]

Вид

На первом плане сады и дети. И те и другие бешено растут, потому они — воплощение прогресса. Был слабенький, голый прутик, и вот уже деревцо. Был беспомощный младенец — и вот уже школьница, переживающая свои серьезные проблемы, или длинноногий парнишка, у которого ломается голос. Каждый год где-нибудь по соседству слышится плач новорожденного, но проходит какое-то время, и он уже зовет: «Мама, поди сюда», — и бежит с ранцем в школу. Тут сплошные перемены. Не нужно быть стариком, который все помнит, чтобы заметить, — дети теперь не те, что были: они начинают раньше, а главное — больше говорить, не так запуганы воспитанием, стали независимее, развязнее и хитрее; здесь прогресс налицо.

План второй — шоссе. Раньше на окраину вела проселочная дорога, по которой на рассвете проезжала телега молочника, запряженная белой кобылой. А сегодня тут мчатся автомобиль за автомобилем, грузовики с кирпи-

чами, автофургоны; молодая, сильная, шумная дорога не дрогнет — она звенит и завивает столбиками пыль. Это, собственно, самая главная перемена, она проникла всюду, всюду вторглась, наполнив и округу жизнерадостным, грубым грохотом.

План третий: воинский плац. Здесь тоже все другое, потому что на него мы смотрим совсем иначе, нежели двадцать лет назад. Но и выглядит он не так, как прежде. Вольные движения голых по пояс солдат — раньше такого не бывало. Раньше здесь с утра до ночи маршировали большие подразделения, напра-во, нале-во, крик команды, ровные шеренги, а теперь — небольшие группки, каждая рота учится чему-то другому, это не так впечатляет, но зато кажется более осмысленным.

План четвертый: сортировочная станция. Еще лет пять назад здесь целыми днями пыхтели маневровые паровозы, толкая небольшие составы; по ночам станция искрилась красными огнями, приятно звякали буфера, и по их звуку можно было предсказывать погоду. Потом все затихло, замерло, а вид мертвой станции так же ужасен, как вид мертвого города.

Только бы не сглазить, но, видимо, положение начинает улучшаться: но ночам буфера еще не звякают, но днем все оживает, паровозы размахивают султанами дыма и тянут сцепленные вагоны, в этом кусочке жизни мир кажется лучше, и человек, поглядев в окошко, скажет: наверное, и другое можно было бы сдвинуть с места, если бы люди взялись за дело так, как тут; железнодорожники, — покажите всем пример, путь открыт.

План пятый: кладбище — оно не изменилось. И поселок временных домишек — сбитые из досок и листов жести закутки для семьи, бедность, почти как в цыганском таборе: здесь тоже без перемен, разве что за десять прошедших лет поселок стал больше. Деревья выросли, и дети возмужали; шоссе наполнило округу своим все возрастающим движением, до самого горизонта тянутся новые кварталы, только этот остров нищеты не меняется, такое впечатление, будто никто об этом и не заботится.

Наш вид не изменится к лучшему, покуда фоном его будет человеческая нищета.

[1934]

Картинки Словакии

Лицо земли

Люди, выросшие возле Лабы и Влтавы, путешествуя по гористой словацкой земле, не сразу находят слова, которые определили бы ее особенность. Она другая, нежели у нас; более зеленая и лесистая, меньше тронута цивилизацией, но при этом в ней больше жизни, жизнь просто переполняет ее. Она древнее, эпичнее и как-то певучее наших краев. У нас тоже есть горы, и долы, и леса, и реки, но очарованье нашего края иное. Душа земли говорит на том же языке, но шепчет другие слова.

И вот, особенно к вечеру, когда в деревни возвращаются стада, слово, которого искал и не мог найти, — отыскивается. Словакия до сих пор не стала землей пахарей, она осталась землей пастухов. Это край пасторальный, он еще не преобразован рукой человека, не перекроен плугом, не выбрит, не вырублен и не размежеван; в нем сохранилась геологическая и ботаническая структура подлинного божьего края. Жизнь, которая так энергично наполняет его, — жизнь людей и стад. Тут можно говорить о живых тварях в смысле библейском.

Если вы приглядитесь внимательнее, то увидите, что здесь больше птиц и цветов, больше мотыльков, больше плодов земли, большее разнообразие всего, что живет и цветет, ползает в траве и летает в воздухе; здесь подлинная природа в первозданном изобилии.

А если вы как следует прислушаетесь к голосу земли, то он вам откроет многое — и как хозяйствовать, и что делать, чтобы на лоне такой изобильной природы человек не прозябал в такой бедности.

[1931]

Орава

Сначала это немножко напоминает сказку: как в сказке — глубокая пещера, и кто решится в нее войти, тот обнаружит под землей волшебное царство, так и сюда

тоже нужно ехать туннелем от Кралован, — других дорог почти нет; даже если бы вы были рыбой, — скажем, форелью, — и пустились туда прямо по реке Ораве. А само оно находится по ту сторону Фатры и лысых Литовских Татр; и если смотреть на эти горы со стороны Вага, никогда не скажешь, что за ними так красиво раскинулся и прячется широкий-широкий край с городами: Кубином, Тврдошином, Наместовом, со своими собственными горами, с крепостями, замками и деревнями, такими миленькими, чистенькими, что в любой из них мог бы родиться Иисус Христос. Если б мне предложили, я согласился бы стать королем Оравским: это было бы государство в стратегическом отношении исключительно выгодно расположенное (прямо над тем местом, где начинается удобная дорога на Жилину; но, я надеюсь, что жилинцы не станут меня беспокоить).



Оравский край сидит на реке Ораве так же обособленно, сам по себе, как лист на своем черенке и главном нерве. Никакая другая река или ручеек не вступают в его пределы. И соответственно излучинам реки изгибается и ее долина. Обычно реки рождаются в горах и сбегают на равнину. Орава наоборот: она рождается на равнине и убегает все более узкими, обрывистыми ущельями в горы. Если не верите, съездите посмотрите; это холодный, прозрачный поток, изобилующий уклейками, форелью и раками.

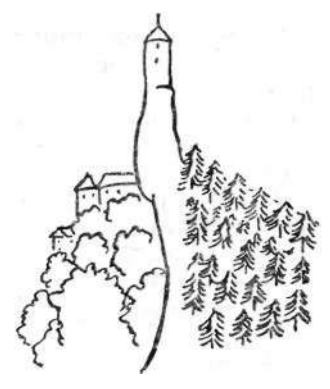
Но начнем по порядку: поклонимся сперва Дольному Кубину, городу Гвездослава. Это беленький городок, состоящий из двух улиц да площади. Здесь Чаплович собирал свою библиотеку, Гвездослав журчал своими чистыми и говорливыми, как сама быстрая Орава, стихами; вы можете увидеть там исключительно красивых девушек, а также помещиков из окрестных усадеб и хорошеньких домиков с башенками либо маленькими ампирными колоннами.

После воспоминаний о поэте наибольшей достопримечательностью края является Оравский замок. Это — кре-

пость со всеми ее характерными особенностями: она похожа на воздушные замки или лунные. Подлинный, заправский романтический замок как раз и должен быть похож не на произведение крепостного зодчества, а на продукт чистой и отчасти лунатической фантазии. Я сказал бы, что военные соображения являлись лишь предлогом: настоящим поводом возведения крепостей была мысль о том, как романтично будет возноситься там, наверху, на скале, круглая башня с галереей.



— Сеньор, — говорит средневековый зодчий заказчику. — Вон там, на самой высокой точке, я поставил бы башенку: снизу будет очень красиво; а там, на том вон выступе, другую башню; а над той пропастью можно устроить «фонарь», чтоб он висел прямо в воздухе. А часовню поставим вон на том хребте, чтобы там было побольше башенок. А внизу хорошо бы устроить подъемный мост и ворота с башенками. И на другой стороне тоже должна быть башенка, — обязательно с бойницами. Обойдется немного дороже, но зато снизу будет производить сказочное впечатление.



— Раз надо, делайте, — говорил владелец замка. — Но, по-моему, на том, на первом дворе что-то маловато получается.

— А мы туда тоже башенку поставим, — предлагал строитель.

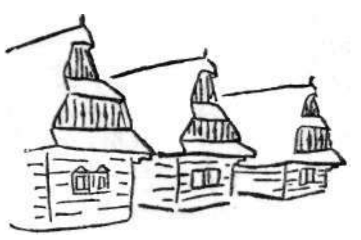
И все это делалось. Вот почему старые крепости выглядят до такой степени романтически.

Оравский замок принадлежит к числу самых красивых: он воздвигнут на нескольких площадках, окружающих отвесную известковую скалу, с одной стороны даже нависшую и торчащую, как палец или как каменная плита, поставленная «на попа», по выражению каменщиков.

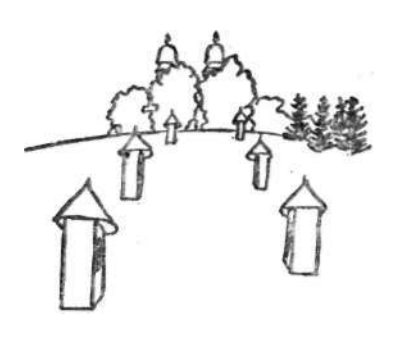
А дальше опять широкое волнистое пространство: равнина, уходящая от Бабьей горы в сторону Польши; край по обе стороны Кубинских Голей, звенящий колокольцами коров; широкий дол, протянувшийся от Магурки вдоль искристой Особиты и темных Рогачей; долина, упирающаяся в высокий Хоч. Господи боже, сколько тут густых лесов и светлых лугов, контрабандистских тропинок и пастушьих хижин, белых шоссе, откосов, полосатых полей, зарослей кизила, бирючины и жимолости, просек, алеющих ивняком и малиной; и всюду за пазухой у холмов — красивые селенья, под названием Длгая, Кривая, Зазривая либо Витанова, — деревеньки, где домики стоят в ряд, один к одному, неразличимые в своей безграничной благоговейной покорности традиции. Только коньки на крышах в каждой деревне особые: самые нарядные — в Груштине, а Витанова до сих пор выделяется гуситскими резными чашами; в некоторых местах эти домики — целиком коричневые, деревянные; в других местах они стоят на белом фундаменте; окна всюду облицованы резьбой, а в некоторых селеньях при домиках имеются огороды, благодаря чему они утопают по выступающий фронтон в побегах фасоли и ноготков, в подсолнечниках.



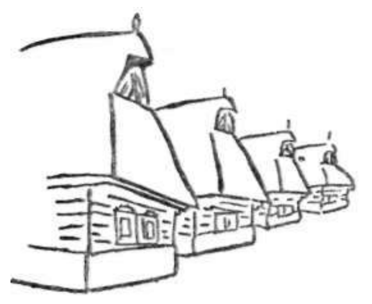
Быту тамошних жителей соответствует однообразное, подчиненное строгой дисциплине расположение их гнезд; только кое-где помещичья усадьба, окруженная каменной оградой, или костел с кладбищем торжественно нарушит спокойный стиль жилищ добрых людей. Никому из них не придет в голову отличиться от остальных, выкрасив свой домик в голубой цвет или поставив его боком к улице. В этом совершенном однообразии словацких селений — особенная, я сказал бы, конструктивная красота; если Словакия сохранит ее во всей цельности, мы будем ездить туда учиться поэзии и дисциплине в планировании населенных пунктов. До сих пор Оравский край сохранился



в поразительной чистоте. Но берегитесь, милые, берегитесь порчи, которая — отнюдь не прогресс!



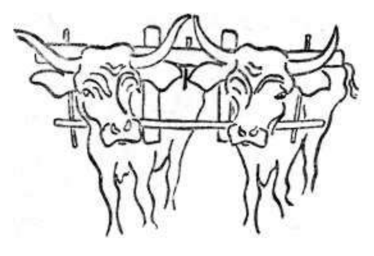
К тому же этот край весь прямо полон духом благочестия. Тут нет перекрестка, перевала или холмика, где ни стояло бы примитивное распятие; каждое урочище отмечено крестом божьим. Кажется, тут прежде всего ставили на возвышенном, видном месте костел, а потом уже к нему пристраивалась деревня — домик к домику — все на одно лицо, как мужики и бабы, стоящие па коленях в церкви. Есть тут старые деревянные костелики с ренессансными фресками и детски-наивными арабесками, — например, в Тврдошине или тот крохотный в Лештинах. А в Локце есть такой костел, к которому ведет зеленый газон, оформленный в виде крестного пути, — интимный и нежный via triumphalis [1]. А в Красной Горке — хорошенькая смешная часовенка с восьмиугольной колокольней. Край беден, и все же там строятся новые каменные костелы. Но в них будет уже другой господь бог, — не прежний, сердечный, что живет в тех старых божьих домиках.



Народ здесь красивый и общительный; но женщины быстро стареют от непосильного труда, а мужчины уезжают в Канаду — работать лесорубами. Всем местным старичкам и старушкам — за девяносто лет. Старинный наряд, слава богу, сохранился



[1] победный путь (*лат.*).

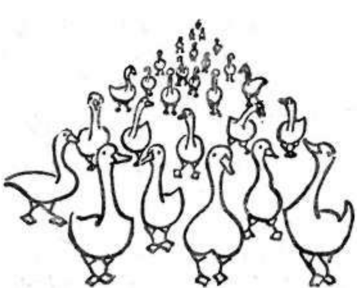


тут во всей своей красоте. Не буду вам описывать ни вышитых рукавчиков, ни узоров на чепцах, так как плохо в этом разбираюсь. Но очень красив покрой этого наряда, красива манера женщин высоко подпоясываться, сообщающая фигуре какую-то готическую удлиненность; а парни в белых кожухах, открытых белых куртках и узких белых брюках, в черных шляпах и старозаветных опанках похожи не то на разбойников, не то на пастухов благодаря своей овечьей белизне.

А в Зуберце уже другой наряд — пестрый, украшенный лентами; а в Зазривой женщины носят твердый белый чепец, покрытый черным платком, и поэтому похожи на монашек.

И еще — стада по склонам гор, с бубенцами на шее, вызванивающими мирный коровий благовест, когда животные вечером бредут к деревне; и лошади, почтенные кобылы с жеребятами, — старинное славное изобилие стад; и бесчисленные гуси, гуси — стаями, вереницами, процессиями, табунами, таборами, всевозможными массовыми построениями;

и благоухающие стволы, влекомые волами в старозаветном ярме; скудные овсяные и картофельные поля, скромный урожай, спускающийся на тяжелых возах в деревни, люди с косами, приветствующие вас именем Иисуса Христа, — да, бедная, глухая сторона...



Но вы не представляете себе, что из нее может получиться, какой станет эта земля, не уступающая в славе своей альпийским долинам, земля воздуха и благовоний, лесов и гор, — как только придут люди и научатся умело и бережно обращаться со всей этой кра-

сотой. У нас еще столько неразведанного, но этому углу нашей родины суждено особенно прославиться. И навеки, старик!

[1930]

Одной ногой под землей

Да простит мне пан Тесноглидек, но когда он расписывает чарующие красоты Деменовских пещер, он напоминает мне доктора, который с воодушевлением говорит о прекрасной опухоли или другом прекрасном клиническом случае. Дыра под землей — это дыра под землей, даже если она выложена золотом и карбункулами; испокон века земные люди чувствовали какое-то здоровое недоверие к подземным глубинам, где царят тьма, драконы, Аид, души умерших и другие созданья, гнушающиеся белого света. В большинстве случаев чудеса природы имеют привычку существовать где-нибудь в потаенных уголках земли, но, надо сказать правду, путь к Деменовским пещерам, вернее, большая его часть, проходит по светлой и безопасной земной поверхности. Говорят, с будущего года почти до самых пещер можно будет добираться на автомобиле: а сейчас человек — уподобляясь герою сказок — должен идти, идти и идти, покуда не придет к пещере. Затем, набравшись храбрости, он купит билет и, помолясь, опустится в преисподнюю.

А теперь пусть пан Тесноглидек извинит меня вторично: все, что он написал, — правда; действительно, есть там барвинок и горошек, зеленые озерца, окаменевшие водопады, колонны, занавеси, амвоны, красные каскады, окаменевшие лилии, галереи чудес, водопады цветной капусты, райские яблочки, овечки, балеринки, гномы и еще бесчисленное множество всяческих диковинок и фокусов; это поистине удивительно, и человек ежеминутно вскрикивает то от ужаса, то от восторга; но всегда, уверяю вас, всегда ему чуточку страшно и не по себе, потому что это подземное; мы на дне пропасти. Тут чернеет колодец, который уходит на километры в глубь земли; в потолке зияет дыра куда-то ввысь, и всюду каплями, струйками, ручьями сочится подземная вода. Попробуйте здесь на несколько минут погасить свет — это ужас; человек

создан для чего угодно, только не для тьмы. Природа неисчерпаемо жизнедеятельна; она рушит скалы и играет с филигранной вещичкой; порой посылает таинственные и прекрасные знамения, а иной раз не прочь подшутить. Одни сталактиты виснут, как кишки, а другие подобны готическим статуям; зрелище изумительное, но страшно подумать о тысячелетней тьме, в которой все это рождалось. В этом безысходное терпение узника, коротающего час в своем подземелье. Сколько же лет ты рос, прозрачный сталагмит? Да и вообще, разве есть время в подземелье, где нет ни дня, ни ночи, ни лета, ни зимы? Время рождено светом, говорю вам, сама жизнь ужасается тьме, пропасти без времени и без дна.

Но тут я вспоминал вас, тех, кто первыми с вонючей карбидной лампой вползали на животе в эти мокрые, черные, глухие щели, корыта и пропасти; лучиком света ощупывали стены и границы вечной тьмы; тех, кого манила каждая зияющая дыра, обещая новые пропасти, коридоры и залы. Все дальше во тьму, все дальше в неведомое. Ни одного сухого уголка, чтобы присесть. Каждый новый шаг — отчаянная авантюра. А что, если у вас погаснет лампа? Что, если в русле поднимется вода? Что, если соскользнет нога, когда вы забираетесь в верхние проходы? Какой-то отвратительный ужас неизвестности вселяет эта тьма: по мне так лучше повстречаться с медведем или домовым, чем оставаться тут одному. Мороз пробегает по коже, когда представляешь себе, что ты тут один, хотя есть в этом что-то чудесное и влекущее; если бы я был тут один, я заглянул бы вон в ту пещеру, куда еще не водят экскурсантов. Если бы я был один, я не вернулся бы назад, а пошел бы дальше. Может быть, нашел бы новый проход или зал; я дал бы им какое-нибудь имя, сосчитал бы все барвинки и сталактиты, зеленые озерки и пурпурные стремнины.

Знаю, человек не сотворен для тьмы и подземелья; но сильнее ужаса, сильнее любого здорового инстинкта великая радость открытия. Влезть в пекло только для того, чтобы его открыть! Бог вам в помощь, землепроходцы, открыватели сокровенных недр; в Деменове еще много черных дыр, которые манят ужасом неизвестности.

[1927]

Одной ногой в Татрах

Как только человек, даже самый рассудительный и ленивый, натянет брюки-гольф и обует башмаки с шипами, в него сразу вселяется невероятная смелость и сила, и зашагают эти самые гольфы и ботинки вверх, скажем, на Солиско или на Буячий, полезут по глыбам, продерутся через стланики, буреломы и только наверху, отдуваясь, сядут, поедят шпику и шоколада и ощутят этакое особое, приятное чувство, составленное из усталости, гордости, головокружения и изумления перед удивительной, превеликой красотой мира. Чтобы выразить эту красоту словами, я должен вспомнить хотя бы цветущую Dianthus glacialis[1], вид на бесконечные синие дали, пасущееся стадо серн, всевозможные камнеломни, облака, зеленые озера, горечавку, сурков, ручейки и водопады, подушки смолевок, страшный аппетит, дикие утесы, Salix retusa[2], дымящиеся тучами долины, дождь в горах, черно-синий борец и массу других восхитительных вещей; что же касается серн, то их было семь, и они мирно, как коровы, паслись возле Гинзовых озер; черное брюхо, светящееся зеркальце под хвостиком и пружинистые ноги, будто вместо костей у них каучуковые палочки. Если вы немножко разбираетесь в цветах, вас ожидает не меньшая радость, когда вы ступите на плотный ковер из цветов Silena acaulis[3], Minuartia sedoides[4], Saxifraga Baumgarteni[5], и все это еще расцвечено звездочками Primula minima[6] и ползучей ясколкой; ступив на этот ковер, вы упадете на колени и возблагодарите небо за то, что вы удостоились ходить по земле. А ведь я еще не назвал золотого куклика, горькуши, крестовника, свертии, колокольчиков, подбела, куропаточьей травки, дороникума и даже гордых сосен и так далее; советую вам увидеть это своими глазами.

А уж когда ты очутился более или менее наверху, откуда равнина видится разверстой пропастью, то даже

---

[1] гвоздику (*лат.*).
[2] ивы (*лат.*).
[3] смолевки бесстебельной (*лат.*).
[4] торичника (*лат.*).
[5] камнеломки садовой (*лат.*).
[6] первоцвета (*лат.*).

если ты скромный, набожный, гуманный человек или безропотное созданье — все равно тебе не уберечься от невольного презрения к людям, ползающим в долине; ты сидишь на камне, как полководец, завоеватель, орел, пренебрежительно взирающий со своих высот на людишек в длинных брюках, которые там, внизу, сидят в креслах. Впрочем, это не помешает тебе смотреть с неудовольствием и неприязнью на туристов, которые заберутся на твою вершину. Естественно, тебе будет не по душе, если и другой поднимется так высоко.

Возле самой польской границы есть один тихий уголок. Именуется он Пенины; там течет зеленая река Дунаец, на левом берегу — Польша, на правом — мы. На нашем берегу одинокий и полупустой Красный монастырь да корчма, где подают крепкое и сладкое местное вино; по Дунайцу плавают особые плоскодонки из выдолбленных бревен, они повезут вас по зеленым стремнинам между двумя государствами и между красивыми известковыми скалами. Такое плаванье — местная достопримечательность; когда вы оттолкнетесь от чехословацкого берега, с польского кидается в воду толпа мальчишек держать над вашим суденышком триумфальную арку из прутьев и вербы, за это им полагается по кроне. Так с обеих соседних сторон проявляются дружеские чувства и добрая воля. На нашей и на польской стороне растет розовая ромашка, которая именуется хризантемой Завадского; это европейская редкость, хотя она, как уже было сказано, растет и на нашей стороне, это сберегло меня от злонамеренного вторжения на польскую территорию. Местный язык на правом берегу называется словацким, а на левом — польским, сплавщики из обеих стран, плывущие вниз по порогам и тянущие свои выдолбленные суденышки вверх но течению, добродушно приветствуют друг друга. Здесь граница двух стран, двух языков, двух культур; поскольку река между ними нейтральна, мы переживаем мгновенья неограниченной межгосударственной свободы, но давайте отнесемся к этому спокойно, потому что течение — быстрое, а лодка неустойчива.

Так что на берег вступаешь с чувством облегчения, потому что ты снова на родине.

[1927]

Млыняны

Это довольно далеко — там, где кончаются словацкие холмы и начинается великая дунайская равнина; на одной из приятных округлых горок раскинулся Млынянский ботанический заповедник, достояние республики, место, куда человек пришел и сказал: отныне здесь — от этой террасы, до того леса — не будет расти ни одного дерева, или куста, или поросли, или прутика, кроме тех, которые не сбрасывают листьев и стоят круглый год зелеными, за что они и прозваны вечнозелеными. Особый божьей милостью, особым искусством человека это осуществилось наяву, и здесь, как бы назло нашим небесам, растет круглый год зеленеющий парк с вечнозелеными дубами, и кедрами, и всякими видами ели, и всякими японскими и гималайскими деревьями, с эуфорбиями и араукариями с другого полушария, с деревьями оттуда, с юга, от теплых морей, с высокогорными карликовыми деревьями, и все это растет и процветает бок о бок, вечнозеленое, в доказательство, что человек превозмог климат, и двадцатипятиградусные морозы не смогли воспрепятствовать ему устроить в наших условиях вечнозеленый рай.

Теперь я знаю, что древесный рай, который, безусловно, был вечнозеленым, не состоял из яблонь и ананасовых пальм или других деревьев, которые сбрасывают листья, но из самшита и жимолости, разных бересклетов, ландоурасов, диких маслин, барбариса, бирючины, магоний, падуба, кизильника, рододендронов, ладанника, кальмии, барвинков и крушины; пан Мишак из Млыни мог бы перечислить вам во сто раз больше, потому что он с удовольствием назовет хоть шестьдесят видов падуба, и уже не знаю, сколько черемух и рододендронов. В большинстве случаев у них превосходные листья, твердые, словно из жести или кожи, блестящие и темно-зеленые, красиво вырезанные, совершенные, как лавр, колючие, как еж, и стойкие, как иудейская вера, плотные, гибкие и основательные, их не берут ни гусеницы, ни мороз, лист магонии — шедевр, листья некоторых падубов — как цветы, однако специалист тянет вас к невзрачному, ничем не примечательному кустику и объявляет, что за ним-то ботаники и ездили невесть куда. Пусть ботаники занимаются чем угодно, — что касается меня, то я прильнул душой к колючим падубам и магониям, как осел, питающийся репейни-

ком, я люблю всяческие чертополохи, колючки и терновники, кактусы и опунции, как и все, что не поддается и обороняется. Нужно быть твердым и боеспособным, иначе сожрут. Нужно быть непокорным, чтобы оставаться вечнозеленым. В природе неисчерпаемый запас сокровенного. Подумай только, сколько у нас дел, — наша земля ждет людей, которые заставят ее совершить небывалое. Этому уникальному вечнозеленому парку — тридцать лет; если дружно взяться за работу, сколько всего мы вырастим за тридцать лет — были бы только мудрые садовники. И не надо думать, что условия не позволяют того или этого; если приняться терпеливо и с умом, сделать можно почти все. Млыняны прекрасный пример, подтверждающий, что у нашей довольно суровой земли б*о*льшие возможности, чем мы привыкли думать. Вот этот редкостный кустик выдерживает наш климат, если следить, чтобы его не охватило холодом или не сожгло солнцем, — нужен только уход. И ум. Тогда можно сделать что угодно. Если это будет, то мы, может быть, вырастим и вечнозеленые пальмы победы.

[1926]

Комментарии



Жанр путевых очерков занимает значительное место в творческом наследии Чапека. Во время своих путешествий он обычно посылал в газету «Лидове новины» корреспонденции, которые составили потом отдельные книги. В путевых очерках проявилось высокое художественное мастерство писателя, его наблюдательность, мягкий юмор, умение создать зримый, конкретный, окрашенный индивидуальным восприятием образ и непринужденно, в тоне шутливой беседы, сообщить читателю серьезные и глубокие мысли. Юмор и наблюдательность отличают и рисунки Чапека, включенные в текст. Путешествуя, писатель чаще делал сначала не заметки, а зарисовки.

Чапек намеренно избегает всего официально рекламируемого в путеводителях, с удовольствием бродит по местам, не отмеченным в справочниках, всматривается в обыденную жизнь страны; общественным событиям он уделяет меньше внимания. Так, в письмах из Италии он игнорирует недавно совершившийся фашистский переворот, заметив только, что фашистская форма напомнила ему одежду трубочиста. Впрочем, само это игнорирование было красноречиво. А в английских письмах Чапек, восхищаясь демократическими традициями Англии, как бы мимоходом набрасывает страшную картину нищеты лондонского Ист-Энда и делится горькими размышлениями о положении колониальных народов Британской империи. О зоркости Чапека говорит и краткая зарисовка рабочих предместий Испании, где, как замечает писатель, пахнет порохом.

В «Путешествии на Север» политическая актуальность неожиданно пробивается сквозь обычный для путевых заметок Чапека спокойный тон рассказчика, далекого от общественных бурь. В Норвегии Чапек получил страшно поразившее его известие об интервенции в Испании. Он сказал, что это конец мира и здравого смысла. Жена писателя рассказывает, что, придя в каюту после получения этого известия, она застала Чапека за подсчетами, сколько войск сможет выставить Чехословакия в случае нападения на нее агрессора.

Сквозная тема всех путевых очерков — это тема искусства. Здесь Чапек проявляет исключительную тонкость в глубину эстетических суждений. В итальянском искусстве Чапека привлекают не столько монументальные и совершенные произведения зрелого Ренессанса, сколько Раннее Возрождение, которое он считает более простым и задушевным, более близким человеку. Среди своих люби-

мых итальянских художников Чапек и в письмах называет Джотто и Донателло. В путевых очерках отразились и изменения в эстетических взглядах Чапека. Если в «Письмах из Италии» искусство предстает скорее как великая, но не зависимая от жизни сила, то в «Прогулке в Испанию» и в «Картинках Голландии» Чапек подчеркивает историческую обусловленность творчества художника. Чрезвычайно интересны его мысли о национальных и исторических особенностях испанской архитектуры и живописи нидерландских мастеров. Для понимания эволюции взглядов Чапека на искусство большой интерес представляет глава о Гойе, где творчество великого испанского художника рассматривается в свете революционной и национально-освободительной борьбы его времени и где Чапек, пожалуй, впервые высказывает мысль о назначении художника как судьи общества и борца против общественного зла, об активной, революционной роли искусства.

В 30-е годы перед лицом все усиливающейся угрозы фашизма Чапек осознает культуру как незаменимое средство связи между людьми и тем самым — залог мира. Но такую объединяющую роль искусство может играть, по мнению Чапека, только сохранив свою национальную самобытность. Проблема национальной самобытности искусства выступает у Чапека в связи с его размышлениями о судьбе малых наций. Этот вопрос чрезвычайно волновал писателя в 30-е годы.

Письма из Италии

В Италии писатель побывал в апреле — мае 1923 года. Его итальянские корреспонденции печатались в газете «Лидове новины» от 24 апреля по 14 мая. В книжное издание, вышедшее осенью 1923 года Чапек добавил несколько глав, не публиковавшихся в газетах.

В частных письмах из Италии Чапек с восторгом писал, что он прямо купается в искусстве, и сожалел, что ему приходится оттуда писать в газету: «О своих самых прекрасных впечатлениях я как-то стыжусь рассказывать, просто описывать неинтересно, мне приходится буквально заставлять себя шутить, потому что все это для меня слишком важно» [1].

Для перевода взят текст: Karel Čapek. Italské listy, Praha, 1970.

---

[1] K. Čapek. Listy Olze. Praha, 1971, s. 128.

Стр. 7. *Африканское море* — то есть Средиземное море.

Тинторетто (Робусти) Якопо (1518—1594) — выдающийся итальянский художник венецианской шкоды.

Двери работы Бонанно и Барисано — бронзовые двери в Монреальском соборе (построен в 1174—1189 гг.), оформление которых принадлежит итальянским мастерам Бонанно и Барисано.

Стр. 8. *Бедекер* Карл (1801—1859) — известный немецкий составитель путеводителей, сохранивших вплоть до нашего времени свою популярность; название «бедекер» стало нарицательным.

Стр. 10. *Карпаччо* Витторе (ок. 1455 — ок. 1525 гг.) — итальянский живописец венецианской школы; ярко отразил быт и нравы Венеции XV в.

Стр. 11. *Шютц* Теодор (1878—1961) — популярный чешский тенор, с большим успехом выступал в Национальном театре в Праге.

Стр. 12. *Джотто* ди Бондоне (1266/1267—1337) — выдающийся итальянский художник, один из родоначальников реализма в европейской живописи эпохи Возрождения. Фрески в капелле дель-Арена в Падуе одно из лучших его произведений. *Мантенья* Андреа (1431—1506) — выдающийся итальянский живописец. Одно из наиболее значительных произведений — фрески о жизни святого Якуба в Падуе. *Донателло* (Донато ди Пикколо ди Бетто Барди; 1386—1466) — выдающийся итальянский скульптор, глава реалистического направления в пластике Раннего Возрождения.

Стр. 14. *...старички-гарибальдийцы...* — Чапек был в Италии вскоре после того, как в октябре 1922 г. итальянские фашисты с помощью крупных капиталистов и королевского правительства захватили власть. Они демагогически объявили себя наследниками Гарибальди, якобы продолжающими его дело объединения Италии.

Стр. 15. *Леон Баттиста Альберти* (1404—1472) — итальянский гуманист, писатель, музыкант, живописец, архитектор. Построил ряд здании в Мантуе, Римини, Флоренции. *Сансовино* (Контуччи) Андреа (1460—1529) и *Сансовино* (Татти) Якопо (1486—1570) — два крупных итальянских скульптора и архитектора эпохи Возрождения.

Стр. 17. *Мазаччо* (Томмазо ди Джованни ди Симоне Гвиди; 1401—1428) — один из крупнейших представителей реалистического направления во флорентинском искусстве эпохи Возрождения. *Фра Анжелико* — итальянский живописец, монах Фра Джованни ди Фьезоле (1387—1456); его кисти принадлежат фрески на тему о жизни Христа в монастыре Сан-Марко.

Стр. 18. *Канова* Антонио (1757—1822) — выдающийся итальянский скульптор, представитель классицизма.

...из *Кроу и Кавальказеллы.* — Джозеф Артур Кроу (1825—1896), английский художник и историк искусства, и Джованни Кавальказелла (1820—1897), итальянский историк искусства. — авторы «Истории итальянской живописи».

Фра Бартоломео (Баччо делла Порта; 1472—1517) — флорентинский художник, мастер монументальной живописи. *Боттичелли* Сандро (Александр Филиппепи; 1444—1510) — один из крупнейших итальянских художников эпохи Возрождения.

Стр. 19. *Дуччо ди Буонинсенья* (ок. 1256—1319 гг.) — крупный итальянский художник, основатель сиенской школы живописи. Его искусство сочетает черты средневековья и тенденции Возрождения.

...Энеа Сильвио Пикколомини, у которого в свое время были кое-какие счеты с Иржи Подебрадским... — Энеа Сильвио Пикколомини (1405—1464) — итальянский ученый и дипломат, с 1458 г. — папа римский под именем Пий II; враждовал с чешским королем Иржи Подебрадским (1420—1471), представителем умеренного крыла гуситов, способствовавшим подрыву привилегий католической церкви в Чехии.

Стр. 20. *Пинтуриккьо.* — Речь идет о десяти фресках работы известного итальянского живописца Пинтуриккьо (Бернардино ди Бетто; 1454—1513), которыми расписана библиотека в Сиене.

Фонте Гайя — знаменитый фонтан работы скульптора Якопо делла Кверция (1374/1375—1438).

«Мир» Лоренцетти. — Имеется в виду женская фигура «Мир» на фреске итальянского художника Амброджо Лоренцетти (ок. 1280—1348 гг.) в сиенском Палаццо Публико.

Лука Синьорелли (ум. в 1523 г.) — известный итальянский художник; величественный фресковый цикл «Конец мира» в орвиетской капелле Бризио — одна из его лучших работ.

Стр. 21. *Махар нашел в Риме античность.* — Иозеф Махар (1864—1942) — известный чешский поэт. Тема античности, которую Махар противопоставлял современности как некий идеал гармонии, занимает большое место в творчестве поэта, особенно в ранний период.

Стр. 22. *Микулашский проспект* — улица в Праге, застроенная доходными домами.

Форум Романум — площадь в Риме, где во время раскопок были обнаружены остатки древних храмов. *Палатин* — холм в Риме, где также были раскопаны древние сооружения.

...заставила Павла V испортить собор св. Петра. — При Павле V (Камилло Боргезе), папе римском (1605—1621), завершалась постройка и оформление одного из величайших архитектурных памятников — собора св. Петра в Риме. Большую часть работы над

этим собором провел гениальный итальянский скульптор, живописец и поэт Микеланджело Буонарроти (1475—1564). В частях храма, созданных после смерти Микеланджело, преобладает парадный, помпезный стиль.

...национальный патрон Кирилл. — Имеется в виду выдающийся просветитель Константин (827—869), в монашестве Кирилл, умерший в Риме. Вместе со своим братом Мефодием заложил на территории нынешней Чехии основы церкви, независимой от немецкого духовенства; впоследствии был причислен к лику святых.

Стр. 24. *Астор* Джон Джекоб (1763—1848) — американский миллионер, чье богатство вошло в поговорку

Стр. 27. *Руссо* Анри (1844—1910) — французский живописец-самоучка, служил в парижской таможне.

Мунк Эдвард (1863—1944) — норвежский художник, один из родоначальников норвежского экспрессионизма.

Стр. 29. *Сикстинская капелла* — домашняя папская часовня, построенная папой Сикстом IV в XV в., расписана величайшими итальянскими мастерами, в том числе Микеланджело Буонарроти.

Стр. 31. *Дом трагического поэта в Помпее* — одно из зданий, которое было погребено при извержении Везувия в 79 г.; украшен мозаиками и картинами на сюжеты античной мифологии.

Стр. 32. *Новый Быджов* — город в Чехии.

Стр. 35. *Митра* в религиях древней Персии, древней Индии — бог солнца, света и верности; культ Митры в I в. до н. э. получил распространение в Римской империи.

Стр. 36. *...подземные морлоки, о которых писал Уэллс...* — Чапек имеет в виду фантастический подземный народ морлоков, изображенный известным английским писателем Гербертом Уэллсом (1866—1946) в романе «Машина времени».

Стр. 37. *Пракситель* — великий древнегреческий скульптор середины IV в. до н. э. К лучшим его произведениям принадлежат статуи богини Афродиты (у римлян — Венеры).

Чимабуэ (Ченни ди Пепо) (ок. 1240 — ок. 1302) — итальянский живописец, один из основателей итальянской школы живописи.

Лангханс Карл Готтхард (1732—1808) — немецкий архитектор классицистического направления.

Селинунтские метопы — терракотовые или каменные плиты с рельефными изображениями из сицилийского города Селину.

Каракалла — прозвище римского императора Марка Аврелия Антония (186—217); в его правление в Риме были построены общественные бани, так называемые «термы Каракаллы».

Стр. 40. *Мала Страна* — район в Праге, который был населен главным образом мелкой буржуазией.

Стр. 43. *Дуччо* Агостино ди (1418—1481) — итальянский скульптор, сделал большой барельеф для церкви св. Бернардино в Перудже.

Перуджино Пьетро (ок. 1446—1523 гг.) — крупный итальянский живописец, в свои картины часто вводил пейзаж с холмистыми далями Умбрии.

Пьеро делла Франческа (ок. 1416—1492 гг.) — выдающийся итальянский живописец эпохи Возрождения. Фрески в церкви Сан-Франческо в Ареццо на тему легенды о «животворящем кресте» принадлежат к лучшим произведениям художника

Стр. 44. *Буркхардт* Якоб (1818—1897) — швейцарский историк, автор известных трудов по истории культуры и искусства Греции и Италии.

Роббиа делла — семья известных итальянских скульпторов и керамистов XV и XVI вв.

Фра Липпи и Гирландайо. — Фра Филиппо Липпи (ок. 1416—1469 гг.) и Доменико Гирландайо Бигорди (1449—1494) — выдающиеся итальянские художники Раннего Возрождения, представители реалистического направления в флорентийской школе живописи.

Пьеро ди Козимо (1462—1521) — итальянский живописец эпохи Возрождения, мастер флорентийской школы.

Стр. 45. *Джованни Пизано* (ок. 1245 — ок. 1314 гг.) — итальянский архитектор и скульптор, автор ряда статуй, украсивших соборы в Пизе и других городах. Его искусство, в котором сочетаются традиции готики и реалистические тенденции Ренессанса, насыщенно страстным чувством и глубоким психологизмом.

Никколо Пизано (ок. 1220—1278/1287 гг.) — крупный итальянский скульптор, отец Джованни Пизано. Опираясь на античную традицию, он создал монументальные реалистические произведения.

Стр. 47. *Луини Бернардино* (1475/1480—1532) — итальянский художник, выполнил ряд фресок для зданий в Милане.

Браманте Донато (1444—1514) — знаменитый итальянский архитектор, выдающийся представитель Высокого Возрождения, выполнил ряд крупных архитектурных работ в Милане. Для его искусства характерна строгость и величавость.

Стр. 48. *Море Галатеи.* — Галатея в античной мифологии — морская нимфа, олицетворение спокойного моря.

Стр. 50. *Паоло Веронезе* Кальяри (1528—1588) — выдающийся итальянский художник, родился в Вероне. Им созданы жизнерадостные, сочные по колориту декоративные панно и фрески, принадлежащие к лучшим образцам монументальной живописи итальянского Возрождения.

Мороне Доменико (1442—1517) — итальянский художник, уроженец Вероны.

Скалигеры — род веронских властителей, при которых было построено много храмов и дворцов.

...лангобардский братец... — Так К. Чапек называет базилику Сан-Дзено (Святого Зенона) в Вероне, строгое здание XI—XII вв., очевидно, потому, что в VI—VIII вв. на территории Вероны находилось древнегерманское племя лангобардов, а в Сицилии, на месте Монреале, — норманны.

Николаус и Вилигельмус — мастера так называемой ломбардской школы пластики (XII в.).

Стр. 53. *Альфред Фукс* (1892—1941) — чешский журналист, философ и переводчик. Занимался историей католицизма, имеет также труды по эстетике.

Рибера Хосе (ок. 1591—1652 гг.) — выдающийся испанский художник-реалист, долго жил в Италии и возглавил неаполитанскую школу живописи.

Стр. 54. *Раньше эта местность называлась «верный Тироль»...* — то есть до 1866 г.; в 1866 г. Больцано в результате поражения Австрии в австро-прусской войне перешел к Италии.

Стр. 55. *Госсензас* — альпийский курортный городок, где великий норвежский драматург Генрих Ибсен (1828—1906) часто проводил лето.

Стр. 56. *«Тайная Вечеря» Леонардо* да Винчи (1452—1519) — роспись трапезной в монастыре Санта-Мариа-делле-Грацие в Милане.

Салаино Андреа (ок. 1480—1524 гг.) — итальянский художник, последователь Леонардо да Винчи; авторство ряда картин, приписываемых Салаино, точно не установлено.

Андреа дель Сарто (1486—1531) — выдающийся итальянский живописец, представитель искусства Высокого Возрождения.

«Фарнезина» — здание в Риме, построенное архитектором Браманте, расписано картинами великого итальянского художника, одного из крупнейших мастеров итальянского искусства Возрождения, Рафаэлем Санти (1483—1520).

«Станцы» — залы в Ватиканском дворце, украшенные картинами Рафаэля и его учеников.

Стр. 57. *Гуго ван дер Гус* (ок. 1440—1482 гг.) — крупный нидерландский художник-реалист, его картина «Поклонение волхвов» находится в картинной галерее Уффици (Флоренция). *Теотокопули* — настоящее имя художника Эль Греко; подробнее см. очерк «Прогулка в Испанию». *Микелоццо* Бартоломео ди (1396—1472) — итальянский архитектор и скульптор Раннего Возрождения. *Майано*

Бенедетто да (1442—1497) — итальянский архитектор и скульптор флорентийской школы; *Росселино* Бернардо (1409—1490) и *Росселино* Антонио (1427—1479) — братья, итальянские скульпторы; *Верроккьо* Андреа (1435—1488) — выдающийся итальянский скульптор, живописец и ювелир; *Мино да Фьезоле* (1430/1431—1484) — итальянский скульптор флорентийской школы; *Брунеллески* Филиппо (1377—1446) — знаменитый архитектор и скульптор, — мастера эпохи Возрождения.

Каррачи — семья итальянских живописцев конца XVI — начала XVII века, основоположников академизма в европейской живописи: поверхностного парадного искусства, эклектически использовавшего художественное наследие Возрождения.

Гвидо Рени (1575—1642) — итальянский живописец, один из крупнейших представителей так называемой академической живописи XVII века. *Бернини* Лоренцо (1598—1680) — итальянский скульптор, представитель итальянского барокко. Творчество Каррачи, Рени, Бернини связано с общим кризисом культуры Возрождения.

Письма из Англии

В Англию Чапек совершил поездку в 1924 году в качестве гостя Пен-клуба. Чапек познакомился со многими выдающимися писателями, встретил очень радушный прием, о нем писали в газетах, и сам он сообщал друзьям, что в Лондоне с трудом «продирается сквозь ленчи и званые обеды», не имея времени для внимательного ознакомления с английской жизнью. Более близкое знакомство со страной произошло во время поездки по Англии. Английские письма публиковались в газете «Лидове новины» от 16 июня по 21 августа 1924 года и в этом же году вышли отдельной книгой. В издание 1934 года автор дополнительно включил ответ на анкету газеты «Дейли геральд» и речь для британского радио.

Перевод сделан по изданию: K. Čapek. Cesty Evropou. Praha, 1955.

Стр. 61. *Шолиак* Леон — французский художник, с которым К. Чапек познакомился во время своего пребывания в Париже в 1911 г.

Шоу Бернард. — С выдающимся английским драматургом Джорджем Бернардом Шоу (1856—1950) К. Чапек был близко знаком; Чапек восхищался критической остротой творчества Шоу. Он писал: «Наша эпоха нуждается в Шоу, который ее обличает и подымает на смех, и долго еще будет нуждаться» («Лидове новины»,

1936, июль). Шоу высоко ценил творчество К. Чапека, чьи произведения уже в те годы были очень популярны в Англии.

Стр. 63. *...в объятия доброго чешского ангела-хранителя...* — Имеется в виду чешский филолог О. Вочадло, читавший лекции по чешской литературе и славистике в Лондонском университете; сопровождал К. Чапека во время его поездок по Англии.

Стр. 65. *Кингстаун* — город на юго-западе от Лондона; прежде в нем короновались английские короли.

Стр. 73. *Кокни* — народный лондонский диалект; кокни называют себя также исконные жители бедняцких кварталов Лондона.

Стр. 74. *Коллекция Уоллеса, Галерея Тэта* — музеи живописи; названы по имени дарителей.

Стр. 75. *Королева Мэб* — сказочный персонаж, часто встречающийся в английский поэзии.

Стр. 77. *Юкатан* — полуостров в Центральной Америке, известен богатыми памятниками древней индейской культуры.

Ниневия — один из политических и религиозных центров древней Ассирии, уничтоженный в 612 г. до н. э. Ее развалины, обнаруженные в 1845 г. в результате раскопок, представляют большой историко-культурный интерес,

Вест-Энд — наиболее фешенебельный район Лондона.

Стр. 78. *Констебль* Джон (1776—1837) — известный английский художник-пейзажист; *Домье* Оноре (1808—1879) — французский художник и график, блестящий мастер политической карикатуры; *Тернер* Вильям (1775—1851) — известный английский художник-пейзажист; *Ватто* Антуан (1684—1721) — выдающийся французский художник-жанрист.

Эльджиновские мраморы — мраморные скульптуры из Афинского акрополя, переданные Британскому музею лордом Эльджином.

Кью-гарден — обширный ботанический сад в Лондоне.

Стр. 79. *Тоуэр* — старинная крепость на берегу Темзы (построена в XI в.), в прошлом королевская резиденция, потом тюрьма, в настоящее время — музей.

Стр. 80. *Макдональд* Джемс Рамзей (1866—1937) — один из лидеров лейбористской партии в Англии в 1024 г., затем с 1929 по 1935 г. — премьер-министр.

Киплинг Редиард (1865—1936) — известный английский писатель, автор произведений о жизни английских колоний.

Ленглен Сузанна — французская теннисистка, чемпионка мира.

Вильгельм II — занимал германский престол с 1888 по 1918 г. В начале ноябрьской революции 1918 г. в Германии бежал в Голландию; *Франц-Иосиф* — император Австро-Венгрии (1848—1916), союзник Вильгельма II в первую мировую войну.

Луи Блерио (1872—1936) — французский летчик и авиаконструктор. В 1909 г. первым перелетел из Франции в Англию через Ла-Манш.

Гульельмо Маркони (1874—1937) — известный итальянский радиотехник, добился значительных результатов в практическом применении радиотелеграфии.

Стр. 81. *Герберт Спенсер* (1820—1903) — английский буржуазный философ и социолог позитивистского направления.

Фр. Гётц — Франтишек Гетц (1894—1974), чешский литературный и театральный критик, написал ряд статей и о творчестве Чапека.

Закрейс Франтишек (1839—1907) — чешский литературный критик; *Шрамек* Франя (1877—1952) — чешский писатель, поэт-лирик, сблизился с Чапеком и его окружением в 20-е годы; *Шмиловский* Алоиз (1837—1883) — чешский писатель, автор популярных в свое время дидактических сентиментальных романов и новелл о чешской провинции; *Радл* Эммануэль (1873—1942) — чешский ученый, биолог и философ; *Гаттала* Мартин (1821—1903) — известный словацкий лингвист, занимался вопросами словацкого и чешского языкознания.

«Панч» — английский популярный юмористический журнал; *«Кто есть кто»* — английский биографический справочник.

Стр. 84. *...обширнее Вацлавской...* — Вацлавская площадь — центральная площадь в Праге.

Стр. 87. *Упице* — северочешский городок, где прошло детство Чапека.

Коширже — предместье Праги.

Стр. 93. *Питт* (Уильям) *Старший* (1708—1778) — английский государственный деятель, лидер партии вигов.

Стр. 94. *Вальдштейнский зал* — зал в старинном дворце в Праге, принадлежащем чешскому дворянскому роду Вальдштейн (Валленштейн).

Стр. 96. *Бэда Достопочтенный* (674—735) — английский богослов, философ и историк.

Стр. 98. *Бон* Джеймс (род. в 1901 г.) — во время пребывания Чапека в Англии — редактор газеты «Манчестер гардиан», автор работ об Эдинбурге.

Стр. 100. *Роберт Брюс* (1274—1329) — вождь восстания шотландцев против английского господства, впоследствии провозглашен королем Шотландии (1306—1329). В 1328 г. добился у Англии признания независимости Шотландии.

Карел Томан (1877—1946), *Отакар Фишер* (1883—1938) — известные чешские поэты.

Стр. 102. *«Биннори, о Биннори...»* — припев старинной шотландской песни.

Стр. 105. *Земля Гиперборейская* — по преданию древних греков, сказочная северная страна за океаном.

Стр. 106. *Пикты* — древний народ, населявший Шотландию; считается коренным населением Британских островов.

Хокон IV Старый (1204—1263) — норвежский король, во время военных действий против Шотландии, в 1263 г., останавливался со своим войском на острове Скай.

Стр. 111. *«Озерная школа»* — литературная группа английских романтиков: В. Вордсворт (1770—1850), С. Кольридж (1772—1834), Р. Саути (1774—1843).

Стр. 113. *Гуингнмы* — сказочный народ лошадей, к которым попадает Гулливер — герой сатирического романа Д. Свифта (1667—1745) «Путешествие Гулливера».

Стр. 115. *Ллойд-Джордж* Давид (1863—1945) — английский буржуазный политик либерального толка, в 1916—1922 гг. — премьер-министр. Неоднократно избирался депутатом парламента от Уэлса и считался уэлским патриотом.

Стр. 116. *Кимры* — древние обитатели Уэлса, народ кельтского происхождения.

Стр. 118. *«Собака Баскервиллей»* — название детективной повести английского писателя Конан Дойля (1859—1930) о сыщике Шерлоке Холмсе; *«Эспаньола»* — название корабля в романе английского писателя Роберта Льюиса Стивенсона (1850—1894) «Остров сокровищ».

Стр. 120 *Дрейк* Френсис (1540—1596) — английский мореплаватель, типичный для раннего периода первоначального накопления, сочетающий в себе черты военного моряка и пирата; *Мэрриэт* Фредерик (1792—1848) — англичанин, капитан дальнего плавания, автор популярных приключенческих романов и рассказов.

Стр. 123. *Мессинджер* Филипп (1583—1640) — английский драматург.

Джон Локк (1632—1704) — английский философ-сенсуалист.

Стр. 124. *Уайэтт* Джемс (1748—1813) — английский архитектор.

Стр. 125. *Боучек* Вацлав (1869—1940) — пражский адвокат и публицист, специалист по английскому и американскому праву.

Стр. 127. *Сетон Уотсон* Роберт Вильям (1879—1952) — английский историк, написал ряд работ, в которых отстаивал идею независимости чехов и словаков.

Стр. 128. *Найгель Плейфер* (1874—1934) — английский актер и режиссер. Поставил на английской сцене драмы Чапека «RUR» и «Из жизни насекомых».

Джон Голсуорси. — С выдающимся английским писателем и драматургом Джоном Голсуорси (1867—1933) и английским писателем Гилбертом *Честертоном* (1874—1936) К. Чапек познакомился в Англии на конгрессе Пен-клуба, куда его пригласил Д. Голсуорси, председатель Пен-клуба.

Стр. 129. *Виктор* Дык (1877—1931) — известный чешский писатель.

Г.-Д. Уэллс. — К. Чапек увлекался творчеством Уэллса; он писал: «Имя Уэллса принадлежит не только истории литературы, но и истории человеческого прогресса» («Лидове новины», 1936, 20 сентября). Научно-фантастические романы английского писателя близки по теме многим произведениям К. Чапека.

Стр. 130. *Стринберг,* Иухан Август (1849—1912) — выдающийся шведский писатель-реалист, автор драм, романов и новелл.

Роден Огюст (1840—1917) — выдающийся французский скульптор; оказал мощное воздействие на развитие европейской реалистической скульптуры В поздних произведениях Роден приближается к импрессионизму.

Стр. 132. *Джон Нокс* (1505—1572) — шотландский церковный реформатор, заложил в 1560 г. протестантскую церковь в Шотландии.

Прогулка в Испанию

К. Чапек посетил Испанию в октябре 1929 года. Его очерки о поездке печатались в газете «Лидове новины» с ноября 1929 года до марта 1930 года, отдельной книгой вышли из печати в 1930 году.

Переведено по изданию: Karel Čapek. Cesty Evropou. Praha, 1955.

Стр. 139. *Оскар Недбал* (1874—1930) — известный чешский композитор и дирижер.

Стр. 141. *Коро* Камилл (1796—1875) — известный французский художник-пейзажист.

«Светлые часы» (1896) и *«Города-спруты»* (1895) — стихотворные сборники выдающегося бельгийского поэта Эмиля Верхарна (1855—1916).

Граф де ла Фер — один из героев (Атос) известного романа А. Дюма-отца «Три мушкетера».

Стр. 147. *Терезин, Иозефов* — крепости в Чехии, построенные австрийским императором Иосифом II в 1780 и 1787 гг.

Греко — Эль Греко (Доменико Теотокопули; 1541—1614) — знаменитый испанский живописец. Грек по происхождению, долгое время жил в Толедо. Живопись Греко, особенно его религиозные

картины, проникнуты мистицизмом, близким к искусству средневековья.

Мудехарский (Мудехар — мастер, арабск.) — направление в испанской архитектуре и искусстве позднего средневековья и Ренессанса, сочетает готику и элементы мавританского искусства.

Стр. 148. *Платереско* — архитектурный стиль испанского раннего средневековья, в котором сочетались элементы античного, готического и мавританского искусства.

Стр. 149. *Чурригеррескный* — название художественного стиля испанского рококо (по имени архитектора Чурригерра; 1650—1723), в переносном смысле — чрезмерно пышный.

Стр. 150. *Толедская еврейка.* — Намек на легенду о любви испанского короля Альфонса VIII к прекрасной толедской еврейке Ракели.

Стр. 152. *Веласкес* Диего де Сильва (1599—1660) — один из величайших испанских художников-реалистов. Особую ценность представляют его портреты, дающие глубокую психологическую и социальную характеристику современников Веласкеса. Состоял придворным живописцем испанского короля Филиппа IV (1621—1665).

Стр. 155. *Маньерист.* — Маньеризм — упадочное течение в европейском искусстве XVI в., связанное с феодальной реакцией и контрреформацией, отличалось субъективизмом, манерностью и вычурностью формы.

Гойя Франсиско (1746—1828) — выдающийся испанский живописец и график, в творчестве которого преобладает острейшее сатирическое обличение уродств испанского феодально-католического общества; ниже Чапек имеет в виду картину Гойи, изображавшую королевское семейство Карлоса IV.

Прадо — музей в Мадриде, одна из лучших европейских картинных галерей.

Стр. 156. *Мане* Эдуард (1832—1883) — выдающийся французский художник, один из основоположников импрессионизма.

Стр. 158. *Сурбаран* Франсиско (1598—1654) — выдающийся испанский художник-реалист.

Мурильо Бартоломео Эстебан (1618—1682) — выдающийся испанский живописец; в свои картины на религиозные темы вводил жанровые мотивы и сообщал своим произведениям лирический характер.

Стр. 160. *Новые Замки* — город в Словакии.

«Кисуца, Кисуца» — словацкая народная песня.

Бржецлав, Колин — города в Чехии.

Стр. 167. *Флоридо* — направление в испанском готическом искусстве средневековья.

Стр. 170. *Фердинанд* II Арагонский, он же Фердинанд V Католик (1452—1516), король Арагона с 1472 г. В результате его брака с Изабеллой Кастильской была заключена уния Арагона и Кастилии (1479).

Куфические суры — главы Корана, написанные арабским орнаментальным — куфическим — письмом.

Стр. 172. *Педро Жестокий* — португальский король Педро I (1357—1367), боролся против феодальной знати за укрепление абсолютизма.

Стр. 178. *Дейвице* — предместье Праги; *Градец Кралове* — городок на юг от Праги; *Пардубице, Часлав* — дачные места возле Праги.

Стр. 197. *Фаллический культ* — культ, обожествляющий органы оплодотворения, известен у многих древних народов.

Стр. 200. *«...златые дни Аранхуэса миновали...»* — Намек на первую фразу из драмы Ф. Шиллера «Дон Карлос»; г. Аранхуэс — летняя резиденция испанских королей.

Стр. 201. *Торре дель Оре* — Золотая башня, старейший архитектурный памятник в Севилье (1220).

«Ля вангуардиа» — барселонская газета.

Збраслав — предместье Праги.

Стр. 202. *Альбенис* Исаак (1860—1909) — известный испанский композитор и пианист.

Стр. 206. *Гауди* и Корнет Антонио (1852—1926) — испанский архитектор-модернист, строитель храма Святого Семейства, о котором упоминает Чапек.

Стр. 210. *Мейе* Антуан (1866—1936) — видный французский языковед, профессор сравнительного языкознания в Коллеж де Франс.

Картинки Голландии

В Голландии К. Чапек бывал несколько раз, в конце июня 1931 года он присутствовал на конгрессе Пен-клуба, а затем ездил по стране. Впечатления о Голландии писатель публикует в «Лидовых новинах» в июле и сентябре 1931 года и журнале «Пршитомност» — в декабре 1931 и в январе 1932 года; отдельным изданием «Картинки Голландии» вышли в 1932 году.

Перевод выполнен по изданию: Karel Čapek. Cesty Evropou. Praha, 1955.

Стр. 221. *Графы Оранские* — старинная дворянская фамилия, представители которой играли большую роль в истории Нидерландов.

Стр. 223. *Вермеер ван Дельфт* (1632—1675) — выдающийся голландский художник, автор сцен городской жизни и видов Дельфта. *Ван-Гог* Винцент (1853—1890) — выдающийся голландский художник, работал также во Франции и внес заметный вклад в историю французской живописи.

Гоббема Мейндерт (1683—1709) — известный голландский художник-пейзажист.

Стр. 234. *Израэльс* Иосиф (1824—1911) — голландский художник, создававший скромные, проникнутые поэзией бытовые сцены, посвященные тяжелой жизни голландских тружеников.

Стр. 235. *Кейп* Альберт (1620—1691) — голландский художник-пейзажист; *ван де Вельде* — имя трех известных голландских художников XVII в.

Стр. 237. *Поттер* Пауль (1625—1654) — голландский художник-анималист и пейзажист. *Броуэр* Адриан (1606—1638) — голландский художник, один из основателей школы голландской бытовой живописи; *Остаде* Адриан ван (1610—1685) — голландский художник и гравер, мастерски изображал сцены народной жизни; *Ян Стен* (1626—1679) — голландский художник, мастер юмористических жанровых сценок; *Рейсдаль* Якоб ван (1628—1682) — крупнейший голландский пейзажист, картины которого проникнуты большой поэтической силой и драматизмом; *Брейгель Старший* Питер (1525—1569) — голландский художник, тан же как его сыновья Питер и Ян. Творчество Брейгеля Старшего является одной из вершин голландской реалистической живописи.

Стр. 238. *Доу* Герард (1613—1675) — голландский художник-реалист, ученик Рембрандта, изображал преимущественно бытовые сцены; *Терборх* Герард (1617—1681) — крупный голландский художник, бытописатель жизни мелкой буржуазии; *Метсю* Габриэль (1629—1667) — голландский художник, особенно мастерски изображал пышную одежду и обстановку; *Питер де Гох* (1629 — ум. после 1684 г.) — голландский художник, мастер жанровой живописи. *Воуверман* Филип (1619—1668) — голландский художник-пейзажист; *ван дер Нер* Аарт (1603—1677) — голландский художник-пейзажист, мастерски передавал эффекты вечернего и ночного освещения; *ван Гойен* Ян (1596—1656) — голландский художник, превосходно изображал природу родной страны.

Стр. 239. *Франс Гальс* (ок. 1580—1666 гг.) — выдающийся голландский художник, мастер реалистического портрета,

Путешествие на север

Последнюю свою поездку за границу, в Скандинавские страны, Чапек совершил вместе с женой, известной актрисой Ольгой Шайнпфлюговой, и в текст очерков «Путешествие на север» ввел ее стихи о путевых впечатлениях. Книга была издана в Брно, в 1936 году.

Перевод сделан по изданию: K a r e l Č a p e k. Cesty Evropou. Praha, 1955.

Стр. 243. *«Вега»* — судно, на котором совершал путешествия полярный шведский исследователь Адольф Эрик Норденшельд (1832—1901).

«Фрам» — судно, на котором совершал путешествия крупнейший норвежский исследователь Арктики и океанограф Фритьоф Нансен (1861—1930).

Кьеркегор Серен (1813—1855) — датский философ-идеалист, считается предшественником современного экзистенциализма; *Якобсен* Иенс Петер (1847—1885) — датский прогрессивный писатель-реалист; *Гамсун* Кнут (1859—1952) — норвежский писатель. Наиболее известны его ранние произведения: «Пан», «Виктория», «Голод»; *Брандес* Георг (1842—1927) — известный датский критик и историк литературы; *Гьелеруп* Карл (1857—1919) — датский писатель, произведения которого проникнуты пессимистическими и мистическими настроениями; *Гейерстам* Густав (1858—1909) — шведский писатель, испытавший влияние натурализма; *Лагерлёф* Сельма (1858—1940) — известная шведская романистка; *Гейденстам* Вернер (1859—1940) — шведский писатель, в творчестве которого сильны тенденции эстетизма и декаданса; *Гарборг* Арне (1851—1924) — норвежский писатель, представитель критического реализма; *Бьёрнсон* Бьёрнстьёрне (1832—1910) — известный норвежский писатель-драматург; *Ли* Юнас (1833—1908) — норвежский писатель, автор романов и повестей из жизни простых людей Норвегии; *Кьеланд* Александр (1849—1906) — норвежский писатель, один из создателей реалистического романа в норвежской литературе, остро критиковал пороки буржуазного общества; *Дуун* Олаф (1876—1939) — норвежский писатель, автор романов из деревенской жизни; *Унсет* Сигрид (1882—1951) — норвежская писательница. Наиболее известна ее историческая трилогия «Кристин, дочь Лавранса»; *Пер Гальстрём* (1866—1901) — шведский писатель и критик; *Ола Гансон* (1860—1925) — шведский поэт и критик; *Иухан Бойер* (1872—1959) — норвежский писатель-романист.

Стр. 245. *Нордическая раса.* — Чапек намекает на расистские теории нацистов, провозгласивших северную, «нордическую», расу

высшей расой человечества, будто бы создавшей всю цивилизацию.

Стр. 248. *...Оденсе, родина Андерсена.* — Выдающийся датский писатель, автор всемирно известных сказок Ганс Христиан Андерсен (1805—1875) родился и жил в Оденсе.

Стр. 250. *Друиды* — жрецы у древних кельтов.

Стр. 251. *Поль Гоген* (1848—1903) — выдающийся французский живописец.

Стр. 252. *Якобсены* — владельцы датских пивоварен, основатели Карлсборгского фонда поощрения наук и искусств, подарили Копенгагену свое собрание античной скульптуры.

Свенд Борберг (1888—1947) — датский литературный и театральный критик.

Руны — древнейшее письмо скандинавских народов, сохранились главным образом в надписях на надгробных плитах.

Стр. 253. *Гамлетовский Эльсинор* — старинный замок, место действия трагедии В. Шекспира «Гамлет».

Стр. 259. *Беллман* Карл (1740—1795) — шведский поэт.

Стр. 260. *Эстберг* Рагнар (1866—1945) — известный шведский архитектор.

Стр. 263. *Адриен де Фриз* (1560—1627) — голландский скульптор, был придворным мастером императора Рудольфа II (ум. в 1612 г. в Праге) его произведения, выполненные для дворца Вальдштейна в Праге, в 1648 г. были вывезены в Швецию как военные трофеи.

Стр. 264. *Густав III* — шведский король Густав III (1771—1792) — увлекался литературой, написал несколько драм, которые ставились в стокгольмском театре, был убит на балу участником заговора высшего офицерства, мстившего ему за ограничение дворянских вольностей.

Стр. 265. *Здесь почиют Линней и Сведенборг...* — то есть выдающийся шведский естествоиспытатель Карл Линней (1707—1778) и шведский теолог Эммануэль Сведенборг (1688—1772).

Содерблом Ларс (1866—1931) — профессор теологии и истории религии, архиепископ лютеранской церкви в Швеции, активный пацифист и сторонник дружбы между народами.

Библия Вульфила — перевод Библии, сделанный вестготским епископом Вульфилом (ок. 311 — ок. 383 гг.), насаждавшим среди племен готов христианство; является главным памятником готского языка.

...собственноручные письма и документы Баннера и Торстенсона, Папенгейма и Вальдштейна, Густава Адольфа, Кристиана Ангальтского и Бернгарда Веймарского. — И.-Г. Баннер, Л. Торстенсон, Б. Веймарский, Папенгейм, Вальдштейн (Валленштейн) — вое-

начальники, участники Тридцатилетней войны; Густав II Адольф — шведский король (1611—1632), возглавлявший во время Тридцатилетней войны союз протестантских государств.

Стр. 268. *Йест Берлинг* — герой романа С. Лагерлёф «Сага о Йесте Берлинге» (1891).

Стр. 273. *Осебергская скорлупка.* — Лодка вошла в историю по названию города Осеберг, где она была обнаружена.

Стр. 277. *Свердруп* Отто (1850—1930) — норвежский полярный исследователь, в 1893—1896 гг. сопровождал Нансена в его путешествиях.

Человек, погибший в снежной пустыне, куда он полетел, чтобы спасти какого-то хвастуна, сунувшегося в его Арктику. — Руальд Амундсен (1872—1928) — известный норвежский полярный исследователь, первым достигший в 1911 г. Южного полюса, погиб во время попытки оказать помощь итальянской экспедиции Нобиле, потерпевшей катастрофу на дирижабле «Италия» во льдах полярного бассейна. Экспедиция, возглавляемая Нобиле, была организована весьма легкомысленно, организаторы ее больше заботились о рекламе. Экспедиция была спасена советскими полярниками.

Стр. 282. *Ганзейский союз* — торговый союз северогерманских городов, который в XIV в. держал в своих руках все северные торговые пути; утратил свое значение в XVI в.

Стр. 292. *...после расторжения унии со Швецией...* — Навязанная Норвегии в 1814 г. Священным Союзом уния со Швецией была расторгнута в 1905 г. в результате длительной национально-освободительной борьбы норвежского народа.

Стр. 306. *Фердинанд Пероутка* — чешский журналист, эмигрировавший после февральских событий 1948 г.

Этертон (род. в 1879 г.) — офицер английских колониальных войск, известен своими путешествиями по Востоку, в том числе по Гималаям.

Стр. 335. *«Шелл», «Файфс»* — рекламы фирм.

Картинки родины

Осенью 1936 года, возвратившись из путешествия по северу Европы, Чапек задумал написать книгу путевых заметок о родном крае.

По свидетельству жены писателя, он собирался предпринять ряд поездок по Чехословакии и описать их. Политические события ближайших лет и преждевременная смерть помешали Чапеку выполнить свое намерение. В наследии Чапека остались только подобранные им для будущей книги очерки, ранее написанные на эту тему.

Главка «Родной край» была подготовлена писателем для альманаха «Кмен», посвященного высказываниям известных писателей о родине, который должен был выйти в 1939 году, но в оккупированной фашистами стране не вышел.

Эпиграфом к книге взят ответ К. Чапека на анкету, организованную газетой «Ческе слово», 1938, №№ 13/11, в которой приняли участие также М. Пуйманова, И. Ольбрахт и другие известные писатели. Большая часть очерков, составивших книгу, публиковалась в «Лидовых новинах».

Переводы сделаны по изданию: Karel Čapek. Obrázky z domova. Praha, 1954.

Стр. 365. *Бабушкин дол* — местность в Восточной Чехии, названная в честь героини повести выдающейся чешской писательницы *Божены Немцовой* (1820—1862) «Бабушка» (1855); *ратиборжский мельник, Викторка* — персонажи этой же повести.

Алоис Ирасек (1851 — 1930) — выдающийся чешский писатель-реалист, автор широкоизвестных исторических романов и повестей, ниже упоминается четырехтомный роман-хроника «У нас» из времен чешского Возрождения (1896—1904).

Трутное, Скалице, Наход... и Садовая. — чешские города, близ которых разыгрались кровопролитные сражения во время австро-прусской войны (1866). Под деревней Садовая 3 июля 1866 г. австрийская армия потерпела крупное поражение.

Отец писателя, Антонин Чапек (1855—1929) был врачом в Малых Сватонёвицах, а позже, в 1890—1907 гг. — в Упице.

Стр. 366. *...бунтари, как во Ртыни.* — Имеется в виду восстание чешских крестьян в 1775 г., для подготовки которого был избран крестьянский совет, находившийся в селе Ртынь близ Находа и получивший название Крестьянского губернаторства.

Стр. 367. *Будители* — просветители, деятели чешского Возрождения.

Стр. 368. *Шольц* Вацлав (1834—1871) — чешский поэт, автор книги «Первоцветы».

Вацлав Шпала (1885—1946) — известный чешский художник-пейзажист.

Стр. 370. *Космак* Вацлав (1843—1898) — священник, писатель католического направления, автор многочисленных рассказов, очерков, фельетонов.

Стр. 374. *Минориты* — «меньшие братья» (от лат. «меньший») — члены католического нищенствующего ордена францисканцев, основанного в начале XIII в. в Италии и получившего распространение в других странах Европы.

Рожмберкские розы. — Имеется в виду роза, изображенная на гербе старинного чешского рода Рожмберк,

Стр. 375. *...монастырь вышнебродских цистерианцев* — заложен в XVIII в.; принадлежал монашескому ордену цистерианцев.

Вышнебродский мастер — неизвестный чешский художник середины XIV в., в живописи которого ярко проявились реалистические черты. В созданных им сценах из жизни Христа нашли отражение элементы средневекового чешского быта.

Стр. 377. *Ленора* — поселок в юго-западной Чехии.

Стр. 378. *Гус* Ян (1369—1415) — вождь реформации в Чехии, вдохновитель чешского национально-освободительного и антифеодального движения первой половины XV в. По приговору церковного собора в Констанце был сожжен; *Жижка* Ян (ок. 1360—1424 гг.) — выдающийся чешский полководец и политический деятель, предводитель войск таборитов, левого, крестьянско-плебейского течения в гуситском движении.

Стр. 387. *Младочешская* — партия младочехов, сторонников более радикальных изменений в области экономики; здесь имеется в виду их стремление перестраивать Прагу.

Лорета, здание в Праге, построенное орденом капуцинов в XVII—XVIII вв., и *Кршижовницкая площадь,* где находится монастырь кршижовников (крестоносцев) — яркие образцы чешского барокко.

Стр. 388. *Со времени переворота* — то есть после 1918 года, когда была провозглашена Чехословацкая независимая республика.

Стр. 389. *Национальный театр* в Праге был заложен 16 мая 1868 г. Борьба за открытие чешского театра, чему всячески препятствовали австрийские власти, представляет собой один из эпизодов национально-освободительного движения чешского народа. Для постройки театра был произведен сбор средств, в котором приняли участие самые широкие массы чешского населения. Закладка Национального театра превратилась во всенародное торжество.

Зитек Иозеф (1832—1909), *Шульц* Иозеф (1840—1917) — известные чешские архитекторы; Национальный театр построен по проекту И. Зитека.

Шнирх Богуслав (1845—1901), *Мысльбек* Иозеф (1848—1922), *Вагнер* Антонин (1834—1895) — чешские ваятели, создатели скульптур, украшающих здание Национального театра; *Алеш* Микулаш (1852—1913), *Женишек* Франтишек (1849—1916), *Тулка* Иозеф (1846—1882), *Маржак* Юлиус (1832—1899), *Адольф Либшер* (1857—1919), *Гинейз* Войтех (1854—1925), *Брожик* Вацлав (1851—1901) —

чешские художники, принимавшие участие в оформлении здания Национального театра.

Стр. 390. *Сметана* Бедржих (1824—1884) — выдающийся чешский композитор; основоположник чешской музыкальной классики.

Стр. 408. *Гвездослав* Павол Орсаг (1849—1921) — один из крупнейших словацких поэтов, в творчестве которого нашла отражение борьба народа за национальное освобождение и социальную несправедливость. Гвездослав был сторонником единства чешского и словацкого народов. Гвездослав жил и похоронен в Дольном Кубине.

Чаплович Вавржинец (1778—1853) — словацкий собиратель книг, оставил библиотеку в шестьдесят тысяч томов, среди них — много ценных рукописей.

Стр. 410. *Гуситскими... чашами.* — Гуситы, выступая против привилегированного положения католического духовенства, требовали причащения хлебом и вином, что разрешалось только духовенству. Поэтому чаша стала символом гуситства. Образ чаши занимает исключительное место в чешском и словацком народном творчестве.

Стр. 413. *Тесноглидек* Рудольф (1882—1928) — чешский писатель и поэт, автор очерка о Деменовских пещерах близ Брно (1926).

Стр. 6. Иозеф Чапек. Обложка «Итальянских писем», Прага, 1923.

Содержание

ПИСЬМА ИЗ ИТАЛИИ

Перевод Н. Аросевой

ПИСЬМА ИЗ АНГЛИИ

Перевод В. Чешихиной

АНГЛИЯ

ПОЕЗДКА В ШОТЛАНДИЮ

ПИСЬМА ОБ ИРЛАНДИИ

ОПЯТЬ В АНГЛИИ

ПРОГУЛКА В ИСПАНИЮ

Перевод Е. Эелькинд

ПУТЕШЕСТВИЕ НА СЕВЕР

Перевод Ю. Молочковского

Чапек К.

Ч19 Собрание сочинений. В 7-ми томах. С илл. Карела и Иозефа Чапеков. Т. 5. Путевые очерки. Пер. с чешск. Коммент. И. Бернштейн. М., «Худож. лит.», 1976.

446 с.

В том включены очерки К. Чапека, написанные во время путешествий по странам Европы — в Италию, Англию, Испанию, Голландию, по Скандинавии, а также очерки о Чехословакии.

Том иллюстрирован рисунками Карела Чапека.

Ч $\frac{70304-085}{028(01)-76}$ **подписное**

И (Чехосл)

Карел Чапек

Собрание сочинений
том 5

Редактор
И. Иванова
Художественный редактор
Г. Масляненко
Технический редактор
О. Ярославцева
Корректоры
Д. Эткина
Н. Шкарбанова

Сдано в набор 20/VIII 1975 г. Подписано в печать 23/XII 1975 г. Бумага типогр. № 1. Формат 84х108 $^{1}/_{32}$ — 14 печ. л. 23,52 усл. печ. л. 22,67 + 1 вкл.= 22,72 уч.-изд. л. Тираж 75 000 экз. Заказ 145. Цена 1 р. 30 к.

Издательство
«Художественная литература»
Москва, Б-78, Ново-Басманная 19.

Ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького Союзполиграфпрома при Государственном комитете Совета Министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 197130, Ленинград, П-136, Гатчинская ул., 20,